

ПИСЬМА ИЗ
ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА



Борис
ХАЗАНОВ

БОРИС ХАЗАНОВ

ПИСЬМА
ИЗ
ПРЕКРАСНОГО
ДАЛЁКА

«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...».

Заглавие своей новой книги Б. Хазанов, русский писатель, живущий за границей, заимствовал у Гоголя. Это сборник избранных писем к друзьям и коллегам по литера-турному цеху — писателям, поэтам, философам, эссеистам в России и за её пределами. Книгу открывает предисловие автора «Об эпистолярной прозе».

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Б о р и с Х А З А Н О В

ПИСЬМА
ИЗ
ПРЕКРАСНОГО
ДАЛЁКА

Эпистолярный 1900-2000 годов

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2014

УДК 82-6
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
X 152

Хазанов Б.

X 152 Письма из прекрасного далёка. Эпистолярный 1900–2000 гг. – СПб.: Алетейя, 2014. – 420 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-90670-513-6

«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...». Заглавие своей новой книги Б. Хазанов, русский писатель, живущий за границей, заимствовал у Гоголя. Это сборник избранных писем к друзьям и коллегам по литературному цеху – писателям, поэтам, философам, эссеистам в России и за её пределами. Книгу открывает предисловие автора «Об эпистолярной прозе».

УДК 82-6
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-90670-513-6



9 785906 705136

© Б. Хазанов, 2014
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014

ОБ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЕ

Вместо предисловия

В XVII веке Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де Севинье, чью жизнь с детства и юности омрачили утраты (ранняя смерть матери, отец пал в сражении с англичанами, беспутный муж убит на дуэли), долгими часами одиноко бродила в саду перед своим бретонским замком и, возвращаясь к «скуке кресла», охваченная тоской разлуки с дочерью, создала новый литературный жанр — почтовую прозу. Тысяча сто писем написанных набело почти без черновиков, мысленный разговор с дочерью, графиней Граньян (ответные письма не сохранились), обессмертили маркизу, положив начало традиции, не увядшей поныне. Готфрид Лейбниц оставил 15 тысяч писем, изрядную долю которых составляют философские трактаты. Роман в письмах, «классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный», излюбленный жанр европейской прозы семнадцатого и восемнадцатого столетий, — всё-таки, говоря по-верленовски, — только литература. Личные письма предназначаются для адресата, не ожидающего получить художественное произведение. Гениальное изобретение мадам де Севинье, казалось, заведомо было обречено разделить судьбу традиционного романа в письмах. Ничуть не бывало.

Моё отрочество совпало с войной и эвакуацией. Я мечтал стать писателем. Однажды я получил сложенное треугольником послание из далёкого уральского города от троюродного дяди, он выражал желание затеять со мной литературную переписку. Я с восторгом откликнулся на это предложение; переписка завязалась. Мой корреспондент был удивлён, узнав, что я не оставляю себе черновиков. Несколько лет спустя — война окончилась, и мы вернулись в Москву — я был арестован, крысы в погонах нашли и утащили все письма. Так завершился мой первый опыт переписки на темы, да-

лёкие от бытовой обыденности. Эмиграция в Германию побудила на свой лад последовать примеру незабвенной маркизы. Живя много лет на чужбине, я сочинил и послал друзьям столько писем, сколько не писал прежде за всю жизнь. Часть этой словесности решаюсь предложить читателям.

*Борис Хазанов
Мюнхен, 2013*

Письма к Нине Кацман¹

Мюнхен, 15 февр.1999

Дорогая Нина! Примерно в то же время, когда ты так тяжело и опасно болела, меня тоже сразил грипп, и, хотя осложнений у меня, кажется, не было, я до сих пор не могу оправиться: слабость, пушечный кашель и пр. Заболел я на обратном пути из Венеции, Лора тоже болела, но, к счастью, справилась быстрее. Позавчера она улетела от меня в Чикаго на две недели пасти нашего внука (ему пошёл третий год, он лепечет по-немецки и по-английски), а я собираюсь ехать на курорт в Нижнюю Баварию, не слишком далеко от наших мест. Связано это со старой историей — радикулитом. Одолели хвори, одним словом; хотя до сих пор, если не считать разных мелких инцидентов и большой автомобильной аварии, в которую мы однажды попали под Кёльном, я был более или менее в порядке. Между тем в этом году мне стукнул 71 год, каково?

Вероятно, ты уже давно в Москве и снова трудишься. Странно, как все разлетелись по разным концам земли. Ярхо я помню аспирантом, подававшим, кажется, большие надежды, но знакомы мы не были. А куда девался Нахов? Остался ли вообще кто-нибудь из старых или, вернее, тогдашних молодых преподавателей на кафедре? От античной филологии я в общем давно отошёл, греческий сильно забыл, латынь помню лучше, по-прежнему читаю и люблю Горация, который стал как-им-то спутником жизни; даже в лагере, как ни удивительно, он был со мной. Несколько лет назад я опубликовал роман под названием «После нас потоп», представь себе, с эпиграфом из малоизвестного христианского поэта Рутилия Клавдия Намациана, галла, который в начале V века трогательно прощался с Римом, — для чего пришлось специально добывать его текст. Потом был ещё такой грех: я напечатал однажды новеллу о Горации, который, правда, не назван там по имени, называется это «Пока с безмолвной девой».

Последние недели я ничего или почти ничего не мог делать, а так — царапаю всё время что-то. Почти все мои более или менее крупные сочинения вышли в Германии, отчасти на других языках; в России

¹ Нина Лазаревна Кацман — профессор классической филологии, педагог-методист.

печататься труднее, да и вряд ли находятся охотники читать мои изделия; последние годы меня приютил журнал «Октябрь». Тоже удивительно — если вспомнить, чем этот журнал был когда-то.

Видишь ли ты кого-нибудь из наших — чуть не сказал: девочек? Что ты читаешь? Остаётся ли вообще время для чтения? Что нового и хорошего в Москве? Крепко жму твою руку.

Мюнхен, 16 марта 99

Дорогая Нина, сегодня получил от тебя хорошее, подробное письмо и, как видишь, сразу же отвечаю. Правда, дойдёт оно — если дойдёт! — не так быстро, как твоё. Я давно заметил, что расстояние от нас до Москвы гораздо длинней, чем от Москвы до нас: причуды почтовой географии.

Я вернулся из Kurklinik (некто вроде санатория) несколько дней тому назад, это было прекрасно организованное и комфортабельное учреждение, где твой слуга подвергался всевозможным испытаниям, как-то: хитроумная гимнастика в воде и на суше, могучий, словно по тебе прокатываются камни, массаж, истекание потом в сауне, плаванье в термальном бассейне и под открытым небом (правда, небольшой бассейн есть и в нашем доме), обкладывание — не матом, подвешивание за филейную часть и прочее. Всё это, кажется, хорошо помогло. Но у меня обнаружилась, уже в городе, глаукома. Скучно об этом писать.

Читая твоё письмо, я снова как будто всё увидел воочию: увидел наши старые времена. Несмотря на то, что мы все виделись, когда я приезжал в Россию, лица девочек и мальчиков по-прежнему заслоняют тех или, вернее, то, во что мы превратились.

Ты спрашиваешь о моей литературе. Мой псевдоним — Борис Хазанов — изобретён не мною: будь моя воля, я придумал бы что-нибудь получше. Он возник во времена Самиздата, когда редактор подпольного журнала присвоил мне имя реального человека, отнюдь не диссидента, уехавшего в Америку и как бы уже недосягаемого для КГБ; эта наивная конспирация не помогла. Но имя приклеилось ко мне. После перестройки я, как многие, хоть и не сразу, начал печататься в России, вышло даже несколько книжек. Они, очевидно, так же малодоступны, как и публикации в журналах, довольно многочисленные. На античные темы я в общем-то писал мало; и роман с эпитафией из Намациана — это, как и другие мои изделия, роман о России, которая, правда, сопоставляется с гибнущим Римом; меня преследовала мысль о том, что крушение СССР, этого наследника Российской империи, — историческое событие, сопоставимое с падением Рима или Византии. Значение этого катаклизма мы, возможно, ещё не осознали. Впрочем, и римляне пятого века ничего не знали о том, что с ними умирает античный мир. По-русски роман этот называется «После нас потоп», он был напечатан

в «Октябре», № 6 и 7, 1997 г. В этом журнале было за последние годы опубликовано довольно много моих сочинений — рассказов, романов и статей. Их можно найти в списках опубликованного за год, которые обычно помещаются в последних, двенадцатых номерах.

В Италии я был много раз, в Венеции — трижды. Зимой этот город не забит туристами, отели значительно дешевле, а облик волшебного города только выигрывает от туманов и безлюдья. Правда, в этот раз Венеция в конце января была залита солнцем.

Дорогая Нина, — до следующего твоего письма. Будь здорова и счастлива. Жму руку.

Мюнхен, 27 мая 99

Дорогая Нина! После дождей, таких обильных, что Дунай, Инн, Изар, Аммер и другие реки и речушки вышли из берегов и несколько городов в Нижней Баварии затоплены, чего с ними не случилось очень давно, вдруг наступило лето: сегодня больше 30 градусов. Письмо твоё шло, как видишь, не слишком быстро, но всё-таки дошло. Когда этот ответ доберётся до тебя, — если доберётся, — в университете будут уже каникулы. Я получаю от Яши изредка письма, но об осложнениях сахарного диабета он не писал. Когда-то я бывал у него дома (они жили в бараке в Проточном переулке), видел его больного отца; видимо, Яша во многом повторяет его. Будет ли как-нибудь отмечаться 50-летие выпуска?

Твоё письмо украшено диковинными марками: Николай II отдельно и с семейством. Царь окружён ангелами. Этот православно-патриотический кич как-то не вызывает у меня восторга. Между прочим, по обычаю, принятому везде, почтовые марки с портретом монарха, причём только ныне царствующего, выпускаются лишь в монархических странах.

Ты вспомнила старую статью в «Литературной газете», вероятно, имея в виду статью под названием «Любимый ученик». В те времена я довольно часто печатался в этой газете. Теперь такой текст в России, конечно, никто бы уже не опубликовал. У меня был один знакомый, который жил в Доломитах, в итальянском Южном Тироле, где в горах немецкие деревни, а внизу итальянские городки: пока у немцев ещё зима и туристы катаются на лыжах, в долинах уже почти лето, и цветут цветы. Это был теолог и то, что называется Privatgelehrte, учёный сам по себе. Он очень интересно рассказывал и писал о Новом Завете, и мысль о том, что возлюбленный ученик был не Иоанн, а Иуда, в самом деле была его догадкой, которую он более или менее убедительно аргументировал.

Я разыскал эту давнишнюю статью и перечитал её. Ты пишешь, что «всё было понятно», хотя имена не были названы. Между прочим, когда я первый раз приезжал в Москву, шесть лет назад, случилась маленькая история: меня сагитировали поехать на несколько дней в Переделкино, в тамошний дом творчества писателей. И вот, представь себе, вылезая из машины перед главным входом и вдруг вижу Юру Шульца. Он подошёл ко мне, мы поздоровались. После этого я несколько раз встречал его, он явно хотел со мной поговорить, но у меня как-то не было ответного желания, он понял это и стал только холодно кивать мне; а потом я уехал. Я не питал к нему никаких дурных чувств. Но мне было бы тяжело говорить с ним, не из-за нашего «дела», а скорее из-за одного случая, который произошёл после моего возвращения из лагеря (я был освобождён «условно-досрочно», с волчьим билетом): была оттепель, кто-то уговорил меня и Яшу разыскать так называемых свидетелей и попросить их официально отказаться от своих показаний, данных в своё время под угрозами. Показаниям этим был грош цена, они были нужны для оформления дела, в качестве формального повода для ареста, отнюдь не являясь его причиной. Между тем легко предположить, что у Юры было уязвимое место: хотя он говорил, что его отец был эстонцем, фамилия и отчество (Францевич) были немецкие.

Короче говоря, я отправился к нему, — история, конечно, совершенно дурацкая. Разыскал его где-то в Черёмушках, в 55 году туда ходил только трамвай; видимо, он получил там квартиру как заведующий кафедрой (латинского языка) 2-го медицинского института, где я предварительно побывал и даже столкнулся на лестнице с нашей бывшей студенткой Таней Мерцаловой — она отшатнулась от меня, как от призрака. Юра жил с матерью. Я подождал его, он вернулся с работы, был неприятно удивлён, мы вышли вместе на улицу, чтобы не разговаривать в присутствии мамыши, он сказал, что подумает. Я пришёл к нему снова через неделю, и он мне сказал, что встретился со своим бывшим следователем (или позвонил ему), и тот ему отсоветовал отказываться от показаний. После чего мы расстались.

Ну вот; что бы тебе ещё хорошего рассказать... Я старею. Собственно говоря, я уже стал старым хрычком; изрядно обленился. Может, и надо было бы съездить в Москву, но это становится всё сложнее. Обычно я снимал квартирку, и ко мне приезжал один приятель, полуродственник из Твери, готовил еду и возил меня на своей машине по гигантскому городу с безумным, хулиганским движением. По правде сказать, меня как-то даже не очень тянет туда, я привык к другому образу жизни, и, собственно, главным, если не единственным, мотивом моих паломничеств было желание встретиться со старыми друзьями, со всеми нами, да ещё с двумя-тремя родственниками.

Я занимаюсь по-прежнему своей литературой, — что же мне ещё делать, — слушаю музыку, перелистываю книжки. Изредка путешествую, главным образом по Германии, которую изъездил за эти 16–17 лет буквально вдоль и поперёк. Дорогая Нина, напиши подробнее, как ты живёшь, кто твои студенты, каковы планы на лето. Однажды я, между прочим, напечатал (всё в том же «Октябре», 6, 1998) рассказ о Горации, он называется «Пока с безмолвной девой»; вот дай его почитать своим питомцам, чтобы они полюбили этого поэта, с которым прошла вся жизнь.

Мюнхен, 30 июля 99

Дорогая Нина! Давно ничего не получал от тебя, очень рад твоему письму, хоть и печальному. Имя Иды Ароновны Лифшиц мне, конечно, совершенно не знакомо, видимо, я его забыл, но женщину эту помню. Она была тогда совсем молоденькой. Я сдавал ей зачёт по латинскому языку вместо Юры Морозова, нашего с Яшей приятеля, учившегося на русском отделении, заочном, что облегчало задачу. (Юра М. тоже умер, уже лет десять тому назад.) Всё это казалось забавным приключением, мне ведь и раньше приходилось сдавать вступительные экзамены в разные институты за других людей. И я хорошо помню, как я звонил И.А. Лифшиц из телефона-автомата, висевшего в новом здании, в коридоре на первом этаже недалеко от буфета, чтобы договориться, когда занести ей зачётную книжку; почему-то я не имел её с собой, когда сдавал зачёт. Я позвонил и по рассеянности назвал собственную фамилию, потом поправился: Морозов. Если бы ты за меня не вступилась, меня бы вышибли из университета.

Ты упомянула о другом Юре — Шульце. Может быть, он и говорил где-то, что я или мы шантажируем его, требуя, чтобы он отказался от своих свидетельских показаний. Этого я не знаю. Разумеется, никто его не шантажировал. Вся история была довольно глупой, кто-то уговорил нас — время было либеральное, многие возвращались — попросить «свидетелей» формально отказаться от показаний. Как я уже тебе писал, я разыскал Юру, он сказал, что хочет посоветоваться с бывшим следователем. Очевидно, он каким-то образом связался с этим следователем или побывал у него; мне он сказал при следующей встрече, что ему не советуют отказываться. Наш разговор был очень коротким, на улице, я ему ничего не сказал и ушёл.

Между прочим, я всё же подал заявление о пересмотре дела, — кажется, это было несколько позже, — и летом следующего года, перед тем как ехать на целину, был вызван в прокуратуру, где меня принял некий Салин, заместитель Генерального прокурора, грубый мужик народного типа. Он сказал: «Вот ты тут пишешь... Мало тебе дали! Можешь идти». Я получил вскоре по почте бумажку, где говорилось, что моё заявление отклонено, я осуждён правильно.

Хотя потом, гораздо позже, меня официально реабилитировали и я даже получил 80 рублей в виде возмещения, этот Салин был прав. По законам этого государства я действительно получил по заслугам: говорил, что у нас фашистский режим, смеялся над Усом и так далее.

Ты спрашиваешь о Лине Абкиной. (Её паспортная фамилия была Абкина-Лазарева.) Я вспоминаю о ней с большой теплотой. У неё была какая-то трудная жизнь, трудный характер, это и тогда чувствовалось. Какая-то тяжёлая тайна окружала её. При этом она была очень талантлива и трудолюбива, незаметно выяснилось, что она сделала большие успехи в сравнительном языкознании; думаю, что подавала большие надежды. Я её после ареста больше уже никогда не видел; к ней ездил Яша. Почему её заставили, как и Шульца, давать показания, не знаю и не понимаю. Может быть, в семье был кто-нибудь «репрессирован», как тогда выражались. КГБ (тогда называвшийся МГБ, — сколько раз эта контора меняла вывеску, теперь они называют себя на новый, западный лад) всегда пользовался этим для разного рода вымогательства и шантажа. Сравнительно недавно, когда я приезжал из Мюнхена в Москву, я узнал, что у Лины был несчастливый брак, ребёнок, что она заболела психически и умерла. Заболела шизофренией и другая наша студентка, Нина Вахромеева (одноклассница моей сестры), чьё заявление о том, что я и Яша — космополиты и еврейские националисты, следовательно мне однажды зачитывал (хотя в деле оно никакой явной роли не сыграло), но это была совсем другая девочка, активная комсомолка и общественница.

Всё письмо ушло на это старьё. Я могу сказать только одно: я глубоко убеждён, что до тех пор, пока в России существует тайная полиция, пусть даже пребывающая, как сейчас, в летаргическом сне, — ни о какой демократии не может быть речи.

Живём мы по-старому, перезваниваемся с Чикаго, нашему внуку скоро будет уже три года. Он говорит, произносит даже отдельные фразы, по-английски и по-немецки. Когда Лора весной ездила туда, на этот раз без меня, он начал произносить и русские слова, но шансов на то, что он будет говорить на этом языке, очень мало. Я занимаюсь литературой. Изредка езжу, остальное время, как сейчас, сижу за компьютером. Дорогая Нина, ты совсем ничего не написала о твоих делах, вообще о том, как обстоят дела в университете. Вернёшься ли ты в наше отечество? Дружески обнимаю.

Мюнхен, 9 авг. 99

Дорогая Нина! Не знаю, застанет ли тебя это письмо, и пишу несколько второпях. К сожалению, октябрь — время, когда ты собираешься гостить во Франции, а оттуда могла бы заехать к нам, — неподходящее. Я хочу съездить, как обычно, на ежегодную книжную ярмарку во

Франкфурт, где моё издательство устраивает приём и пр., но это даже не главное; а главное то, что мы собрались с Лорой лететь на Балеарские острова в отпуск, которого у неё не было уже много лет. Билеты, гостиница и т.д. заказаны, переиграть невозможно. Всё это займёт часть сентября и почти весь октябрь. Впрочем, может быть, мы всё-таки сами соберёмся и приедем в Москву поздней осенью или весной. Хотя, конечно, это только проекты, никто не знает, что с нами будет завтра. Такие дела.

Германия после Франции представляет большой контраст, Германия заметно богаче и благоустроенней, но Франция — это Франция, и не зря Франклин (кажется) сказал когда-то: *Chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France*. К несчастью, я мало бывал в этой стране, трижды посетил Париж, зато однажды мы прожили несколько недель в Провансе, в восьми километрах от Aix-en-Provence, ездили по округе и побережью, в Авиньон, в Камарг, в Ниццу, заехали в крошечный городок, который называется Святые-Марии-у-моря. Лучшего места на земле, чем Прованс, нет, — разве только Тоскана или Иудейская долина весной.

Снова эти воспоминания... О том, что Ира Дембо заболела психически и скончалась, я узнал в Москве. Я тоже с ней мало общался, она казалась мне взрослой, оттого что единственная, кажется, из наших девочек употребляла губную помаду. У неё был острый язычок, она умела давать ребятам едкие и остроумные клички. Вахромееву я назвал по ошибке Ниной вместо Лены, спутав имя с другой нашей студенткой, которая тоже была одноклассницей моей сестры: Ниной Радзской. Лина Абкина в последний год, я помню, как-то странно сдружилась с Виноградовой. Что могло быть у них общего? У нас был другой человек, по возрасту и общественным заслугам близкий людям такого сорта, как Таня Виноградова, но гораздо более порядочный: Иван Скляр (если ты его помнишь). Когда весной 55 года я вернулся из лагеря, какая-то сила потянула меня в университет, я вошёл в коридор нашего факультета и столкнулся со Скляром. Он приветствовал меня дружески. Оказалось, что он аспирант, живёт в общежитии на Ленинских горах, но слишком долго засиделся в аспирантуре, и теперь его направляют — после классического отделения — в деревню, председателем колхоза. Года полтора назад Яша прислал мне вырезку из «Вечерней Москвы»: репортаж о некоем дедушке Иване, который собирает деньги, вместе с какой-то женщиной, игрой на скрипке в подземном переходе; там же и фотография. Это был Скляр. В беседе с репортёром он жаловался на советскую власть...

То, что мы стали объектом внимания, не было случайностью. У Яши был приятель, с которым и я подружился, по имени Сёма Виленский. Он тоже писал стихи, был студентом, сначала в Москве, потом

во Львове, так что дружба наша, в сущности, продолжалась очень недолго. Летом 1948 г. стало известно, что он арестован. У Сёмы был друг детства, Сева Колесников, студент закрытого военного Института иностранных языков. Он заложил Сёму, а затем приклеился к нам. Из Внутренней тюрьмы Сёма попал не в относительно либеральную Бутырскую тюрьму, как я и Яша, а в Сухановку, так называемую дачу, с весьма жестоким режимом, о которой и тогда ходили зловещие слухи. Сёма рассказывал мне, что у него в одиночной камере начались галлюцинации: он сидел, и ему казалось, что колени у него чудовищно разрослись.

Четыре года в университете необыкновенно сильно отпечатались в памяти и кажутся мне сейчас самым важным временем жизни, — может быть, и самым счастливым, хотя в юности чувствуешь себя ещё менее счастливым, чем в старости. И вместе с тем — какое это было гнусное время. Университет был просвечен насквозь. Никакая карьера не была возможна без участия или хотя бы молчаливого одобрения тайной полиции. Эта полиция незримо присутствовала везде. Она глядела и слушала глазами и ушами многочисленных осведомителей: одни из них были добровольными энтузиастами, другие работали по принуждению, из страха, что с ними самими расправятся, если они не будут достаточно усердны. И отовсюду маячил, как лес на горизонте, — хоть мы его и не замечали, — призрак лагерей.

Ну, ладно. Я живу по-прежнему. Завтра в Мюнхене состоится репетиция конца света — полное солнечное затмение. Жму руку, всего тебе доброго.

16 окт. 99, Мюнхен

Дорогая Нина, возможно, я клепал по привычке на российскую почту, потому что твоё письмецо пробыло в дороге всего лишь чуть дольше двух недель. Правда, в XIX веке письма Достоевского из Бад-Эмса доходили до Старой Руссы за четыре дня. Но то были другие времена, век прогресса. Конечно, легко догадаться, что письма «ходят», точнее, лежат без движения дольше, чем положено, но я всегда, думая о делах в нашем отечестве, склонен добавлять некий иррациональный коэффициент. Каверин в молодости написал рассказ о карточной игре. Короли, дамы и валеты находятся в сложных отношениях друг с другом, плетут интриги и ведут между собой борьбу, а игроки — всего лишь орудие этой борьбы. Примерно так же можно себе представить, что письма обладают свободой воли и сами решают, отправляться ли им в путь, полежать немного на почте или вообще отказаться от полёта.

Я дважды побывал в Израиле, жил там по несколько недель и, конечно, позвонил бы Гале Полонской или даже навестил её, если бы знал, что она там; это было другое время. О том, что она дочь русской матери, я тоже не знал. Думаю, что профессорская кафедра была бы

для неё очень подходящим местом. В университете мы сравнительно мало общались с Галей, она не была привлекательной девочкой, а ты знаешь, как это бывает. Она дружила с Лерой Чеботарёвой. Что с Лерой, куда она делась?

Отпуск был на Мальорке, главном из Балеарских островов, которые с некоторых пор стали чрезвычайно популярны в Германии и, в сущности, превратились в немецкую экономическую колонию. От Мюнхена лететь меньше двух часов. Всё отлично организовано, никаких забот, комфортабельный отель и сказочный пляж, но массовый туризм подчас действует на нервы. К тому же мы оба болели гриппом, который привёз один приятель из Москвы. В былые времена мы много ездили по разным странам, снимали, между прочим, Ferienhaus, то есть домик для отпуска, в уединенных местах, то в Дании, то в Провансе, то в Тоскане, которая некогда называлась Этрурией, в нескольких километрах от Сиены, словом, в райских местах, и это было гораздо лучше и даже не так уж дорого.

В Мюнхене всё ещё осень, настоящая золотая, красная и зелёно-жёлтая осень, никаких особенных новостей нет, и стремительно приближается новое тысячелетие. Поразительно, что прошло 50 лет. Как вы отмечали тогда окончание университета, где, у кого, как вообще всё это происходило? Существовало ли распределение? Что ты знаешь о наших профессорах? Я помню, однажды, приехав в Москву из деревни, где я врачевал, случайно увидел в газете, которую держал человек в метро, извещение о смерти Радцига и был на его панихиде. Речь произнёс Александр Николаевич Попов. Теперь и его нет.

Аббревиатура S.V.B.E.E.V. означает: si vales, bene est; ego valeo.

Дружески обнимаю и приветствую.

7.02.2005

Дорогая Нина,

я только что включил компьютер и увидел твоё письмо. Отвечаю под свежим впечатлением. За эти дни я побывал в больнице, был оперирован по поводу варикозного расширения вен на ноге, которое мне изрядно досаждало. У нас солнечная, слегка морозная зима. Через несколько дней прилетит к нам семейство нашего сына, родители и дети, наши внуки, два мальчика восьми и четырёх лет. Проведут у нас день и отправятся в Австрию, в Альпы, кататься на лыжах. Через неделю вернутся и погостят некоторое время. То-то будет шуму. В конце марта мы с Лорой сами собираемся в Чикаго. Кроме того, я, вероятно, поеду 19 марта на два дня в Париж, где по случаю очередного Salon du livre (в этом году посвящённого России) должна выйти моя книжка. Всё это когда-то меня забавляло. А пока — тишина. И вот я сижу и думаю о нашем времени и нашей жизни.

Фашизм, и отечественный, и немецкий национал-социализм, преследовал меня, можно сказать, всю жизнь — не только меня, конечно, но, в отличие от наших сверстников, я имел возможность читать (в Ленинской библиотеке) немецкие материалы о гитлеровской Германии в собраниях документов, выпущенных после войны. Когда говорят: от нас скрывали то-то, не давали читать Достоевского и т.п., то это соответствует истине только отчасти. Правда, бывало и другое. Однажды я вознамерился прочесть, наконец, Шпенглера, заказал «Закат Европы» и жду возле стойки, где выдаются книги. Из заднего помещения появилась дама, и я видел, как она говорила с библиотекаршей, поглядывая на меня. Потом подошла и спрашивает: «Это ты заказал Шпенглера? А ты знаешь, кто это такой?» — «Философ». — «Это фашистский философ! Чтоб это было в последний раз!»

Я отвлекся. Я хочу только сказать, что приехал в Германию уже, так сказать, с некоторым теоретическим багажом. Но ещё с самых юных лет — и, как ни странно, именно во время войны, когда для всех вокруг Германия была исчадием ада, когда не было человека, который не знал бы, не повторял бы стихи Симонова: «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей, сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!», когда вся страна читала пылающие мезью и ненавистью статьи Эренбурга, — всё это ты, конечно, прекрасно помнишь, — именно в это время началось моё увлечение тем, что некогда называлось Германией духа, которая как-то почти неестественно отделилась от Германии зла.

И вот через много лет я оказался в этой стране, и мой брат, мои знакомые в Москве недоумевали, как это я, еврей, решил туда ехать, не говоря уже о друзьях, поселившихся в Израиле: ведь там Германия и немцы, все немцы, до сих пор — предмет ненависти, в лучшем случае — ледяного презрения. И ведь это так понятно. Впервые приехав в Америку, где мне нужно было выступать перед российской публикой, я, как Остап Бендер, которому всякий раз задавались два вопроса: почему в магазинах нет колбасы, и «не еврей ли вы?», должен был постоянно отвечать на один и тот же вопрос: как это так...? То обстоятельство, что за минувшие десятилетия в Германии сменилось два поколения, что подавляющее большинство населения сегодня — это люди, родившиеся и выросшие после крушения нацизма, не принималось во внимание, ибо «немцы остаются немцами». Один парень, математик, у которого в Москве я брал уроки иврита, совершенно серьёзно считавший немцев потомками амалекитян (!), «и, следовательно...», написал мне однажды из Израиля о тогдашнем, только что избранном федеральном президенте: «А вот интересно, что делал этот Рау во время войны?», на что мне оставалось лишь ответить, что к концу войны Рау было 12 лет.

Возвращаясь к этой войне, которую мы оба хорошо помним, а ты ещё лучше меня, — что мне сказать? Не думаю, чтобы наши с тобой

расхождения были так уж велики. Было бы странно утверждать — и я вовсе этого не хотел, — что война с Германией была выиграна по одной единственной причине: только потому, что военачальники не щадили солдат. На вопрос, почему всё-таки удалось победить, невозможно ответить одной фразой (о чём и сказано в моей статейке), нельзя сослаться на какую-то одну, единственно решающую причину; великие исторические события — всегда следствие целого клубка обстоятельств. И, например, небывалое патриотическое воодушевление, которое охватило людей, готовность к жертвам, ущемление национального чувства, скорбь и отчаяние, и ненависть к захватчику — сыграли роль ничуть не меньшую, может быть, более значительную, чем жестокость военного руководства.

Мне приходилось (в лагере) слышать рассказы белорусов и украинцев, переживших немецкую оккупацию. Они были убеждены, что если бы немцы (которых сперва встречали с цветами) вели себя в занятых областях иначе, не грабили бы население, не демонстрировали своё презрение к крестьянам, если бы не террор «полицаев», не карательные рейды СС и пр. (массовые расстрелы евреев никого особенно не волновали), то исход войны был бы другим. Они забыли, что в этом случае вермахт не был бы тем, чем он был: армией преступного государства. Так или иначе, но вот ещё одна из множества причин. Гораздо позже я услышал (от участников войны) и такую версию: немца одолели благодаря огромной американской помощи, в частности, благодаря поставкам современных грузовиков-студебеккеров. Можно было бы привести немало других соображений более общего характера (столкновение двух тоталитарных режимов, в некотором смысле стоящих друг друга), сослаться на эффективность неслыханной по размаху лжи, чрезвычайно напряжённой, всесторонней и вездесущей пропаганды (военная пропаганда работала во всех воюющих странах, но сравнить с нашими достижениями можно разве только пропаганду в рейхе), да и мало ли ещё на что.

Но война, несмотря на все усилия приблизиться к исторической правде, по-прежнему в сознании послесоветского человека прослоена ложью, окутана мифами, которые к тому же ещё и постоянно обновляются. То, что глядя отсюда кажется гротескным, — результаты массовых опросов, особенно среди людей старше 40–45 лет (отношение к войне, к роли Сталина), статьи публицистов, национализм, которого не стыдятся, рост профашистских и фашистских настроений и так далее, незачем вдаваться в подробности, — довольно ярко демонстрирует эту порабощённость. И мне казалось, что нужно по крайней мере напомнить о том, что вытеснено, табуизировано в сознании многих людей.

Тебе подумалось, будто я считаю, что Германия поплатилась за собственное поражение, а не за то, что она натворила. Это недоразуме-

ние; в моей статье говорится (цитата): «Цена, которую заплатили за победу над Германией, не уступала цене, которую заплатила Германия за свою агрессию». Но ведь большинство людей в России, действительно, не знает или не хочет знать, каковы были масштабы этого возмездия. Был такой случай: в первые годы перестройки сюда стали приезжать писатели из СССР, которых принимали с почётом. Однажды в университете перед студентами выступал покойный Солоухин. Он рассказывал о том, как советские писатели борются за сохранение памятников старины, об уничтожении церковей большевиками. И, чтобы описать размах этого вандализма, сказал, предполагая невозможное возможным: «Представьте себе, что в вашем прекрасном городе уничтожены все храмы!» Он даже не догадывался, что именно так и произошло в Мюнхене, разрушенном почти целиком.

Смешно меряться бедами. И всё-таки не мешало бы, например, помнить о Дрездене, некогда красивейшем городе Европы, который был уничтожен несколькими налётами союзной авиации 13 и 14 февраля 1945 г., то есть меньше чем за три месяца до капитуляции Германии. Центр города был переполнен беженцами из восточных областей, под развалинами и в дыму пожаров погибло не менее 60 тысяч человек, вместо города осталось 1200 гектаров руин, погибло всё. Это было военное преступление, которое пытались оправдать ссылками на злодеяния немцев, а также военными соображениями: предполагалось, что ковровые бомбардировки деморализуют население, сломят волю к сопротивлению. Но сломить сопротивление, как известно, не удалось; напротив, отчаяние вкупе с унижениями нацистской пропаганды побудило обороняться до последнего издыхания. А оправдывать одно преступление другим тоже не след.

Катастрофу Германии можно сравнить разве лишь с опустошениями Тридцатилетней войны, но в XVII веке не существовало бомбардировочной авиации. Разрушены были все более или менее крупные города. По количеству относительных (к общему населению) людских потерь эта страна заняла второе место после Польши. Погибла четверть всех мужчин. Таково было это возмездие. Должны ли мы сейчас, через 60 лет, по-прежнему повторять: «Так им и надо!» Кому — детям, женщинам?

Сыграла ли именно советская армия главную, решающую роль в военной победе? Да, конечно; никто этого и не отрицает, хотя вопрос, бесспорно, решается сложнее, чем нам казалось. И то, что эта армия совершила подвиг, никто не ставит под сомнение. Я хочу лишь добавить, что честность и то, что называется *fair play*, — попросту обыкновенная порядочность — требует признания и чьих-то других заслуг. А это в России как-то не чувствуется — не принято.

Знаменитый телесериал «Семнадцать мгновений весны» смотрела вся страна, да и теперь он пользуется большим успехом. Сюжет построен на нелепостях, одна из которых больше всего бросается в глаза: Штирлиц — высокопоставленный офицер Главного управления службы безопасности СС (Hauptamt des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS), правая рука Вальтера Шелленберга, который был в свою очередь правой рукой повешенного в Нюрнберге Кальтенбруннера, как тот — правой рукой Гиммлера; другими словами, Штирлиц ex officio крупный военный преступник. Но не в этом дело. Главная идея фильма та, что в то время, как Советский Союз один на один, честно и самоотверженно вёл героическую борьбу, спасал мир от нацизма, западные союзники, лживые друзья, хитрили, изворачивались, вели сепаратные переговоры с врагом и только и думали, как бы получше воспользоваться плодами победы, завоёванной не ими. Фильм снят в советские времена, но вся эта мифология, успешно внедрённая в сознание зрителей, жива доселе.

Письмо затянулось, но ведь, Нина, это разговор бесконечный. Нельзя, пишешь ты, посягать на святое. Мы не воевали, мы не испытали того, что пришлось испытать нашим отцам, и мы, конечно, не умнее наших отцов. Но у нас есть одно преимущество: мы пришли позже. С тех пор слишком многое изменилось. Наша информация полнее. Мы менее восприимчивы к пропаганде. И я думаю, что мы достигли возраста, обязывающего шире и глубже взглянуть на события прошлого.

Любое поползновение публично «извинить» или оправдать преступления фашизма здесь, в Германии, карается как нигде в мире. Попытки отрицать Голокауст уголовно наказуемы. Хуже и безжалостней, чем было сказано о немецком прошлом здесь — в литературе, в публицистике, в кино, по радио, по телевидению, — вероятно, не было сказано нигде. Так что речь идёт вовсе не о том, чтобы как-нибудь выгородить преступников или преуменьшить страдания России. Нет, не об этом.

Будь здорова. Крепко жму твою руку. Твой друг Г.

Москва, 9.02.05

Дорогой Геня!

Я могла бы подписаться под каждым словом твоего письма. Я и не сомневалась в том, что в оценке основных событий нашей нелегкой жизни мы не расходимся... За неправильное цитирование приношу свои извинения. Mea culpa. Конечно, «за агрессию» это не то, что «за поражение». Хотя, разумеется, это была не обычная агрессия, а нечто более страшное и до того в истории не случавшееся, если иметь в виду конечную цель. Или я ошибаюсь? Но дело не в этом. Я написала тебе, почему, по моему мнению, статья не была напечатана. Потому, я и сейчас так думаю (это не касается личности Сталина; все в твоей статье,

что связано с ним лично, в том числе — и оценка его роли в войне вряд ли могло служить препятствием для публикации), что в ней победа оценивается исключительно (или мне так показалось?) через призму роли в ней Сталина, его бесчеловечных приказов, и все выглядит очень мрачно. Нет противовеса. Я, конечно, понимаю, что ты так не считаешь, но в статье получается так, потому что ответ военного юриста, с которым ты беседовал, на вопрос, почему была выиграна война, «Потому что военачальники не жалели людей» остался без авторского комментария. Конечно, *sapienti sat*, потому что трудно себе представить, чтобы нормальный человек, тем более писатель, мыслил так примитивно, но ведь это не разговор двух людей, а статья. То же, когда ты пишешь, что «миф о великом друге и вожде обновляется ... *тоской рабов по державным сапогам*». Я выделила курсивом слова, безусловно оскорбительные для любого народа. И хотя это истинная правда по отношению к тем, кто до сих пор ходит на демонстрации с этим так блестяще описанным тобой пресловутым портретом, но ведь есть и другие, которых, если не большинство, то уж, по крайней мере, не меньше! Т.е. опять без противовеса, а между тем регулярно по всем каналам идут передачи и печатаются статьи, в которых, вопреки бульварной публицистике, которую все глубже и подробней раскрываются преступления сталинского режима, рассказывается о судьбах репрессированных и погибших, выступают выжившие. В твоей статье только одна сторона. И хотя, как ты пишешь в последнем письме, напомнить надо, но без противовеса получается, что другого просто нет. Я пытаюсь рассуждать с точки зрения редактора.

Теперь уже некоторые мои соображения по поводу последнего письма. Ты прав: «смешно меряться бедами». Но при всем том я не говорила бы о *чрезмерности* возмездия, если помнить о Ленинграде, Сталинграде, Киеве, моем родном Харькове, белорусской Хатыни и т. д. Даже если оставить в стороне Что касается Дрездена, то этот бессмысленный акт союзников осуждался (может быть, лицемерно, но я так не думаю) даже в советской печати. К этому можно добавить еще Хиросиму и Нагасаки. С другой стороны, в России мало говорили о роли в этой войне союзников, но еще меньше на Западе говорили о роли в ней Советского Союза. Вспомни, что фильм Ромма там назывался «Неизвестная война». Сейчас, как мне кажется, обе стороны пытаются восстановить справедливость. Ну а «17 мгновений...» это пропагандистский фильм, увлекавший своим сюжетом; сейчас, может быть, только дети воспринимают его всерьез. А сепаратные переговоры разве совершенно не вели?

Я полностью с тобой согласна, что именно в Германии более, чем в любой другой стране осужден фашизм и все, что с ним связано. Но и в Германии есть реваншистские нацистские организации, к сожалению.

В России все так, как ты пишешь — есть фашистские и профашистские организации, есть антисемитизм, но не на государственном уровне, хотя такие настроения есть и у значительного числа людей во власти, что, в частности, показали последние события. При этом, я думаю, не у всех хватило смелости в них признаться. На самом деле, я думаю, их больше. Думаю также, что в Германии Макашов сидел бы в тюрьме. Но, по крайней мере, его осуждают по всем теле— и радиопрограммам и каналам. Для России это уже прогресс. В Германии все, что произошло, — это была раковая опухоль. Больной пережил тяжелую операцию и выздоровел. В России это давняя хроническая болезнь, поэтому выздоровление не может быть достигнуто хирургическим путем. Тем не менее нельзя отрицать, прогресса в состоянии больного. Ты уже отвык от наших реалий, Геня. Здесь, в России, в этой огромной стране нельзя рассчитывать на очень быстрые перемены. Я думаю, что те изменения, которые произошли в стране за такой исторически короткий срок огромны. Хочется надеяться, что ситуация будет улучшаться. Выросло совершенно новое поколение. Все зависит от того, кто возьмет в нем верх.

О настроениях многих (но далеко не всех) в Израиле по отношению к немцам знаю. В Израиле была два раза. Но в последний мой приезд, три года тому назад, там уже исполнялся Вагнер. Несмотря на многочисленные протесты. Слышала и разговоры с осуждением тех, кто уехал в Германию. Взглядов этих никогда не разделяла. Шиндлер тоже был немцем. И еще на меня огромное впечатление произвел польский фильм «Пианист», ты, наверное, видел его. Это подлинная история польского пианиста Шпильмана (он только недавно умер), которого спасли поляки, а на последнем этапе — немецкий офицер, который потом сам погиб в советском плену. Кроме того, я знаю подлинную историю о еврейской женщине, которую спас полюбивший ее немецкий офицер. Но дело, конечно, не в этих отдельных лицах, я просто никогда не питала ненависти к немцам как к немцам, и знаменитое стихотворение Симонова у меня вызывало ощущение неловкости, потому что вместо слова «фашист» там было слово «немец». У меня есть хорошие друзья в Германии. Сначала возникли деловые контакты с профессором Лейпцигского ун-та Ильзой Бехер, потом они переросли в личные: я была у нее в гостях, потом она гостила у меня в Москве. Она, к сожалению, умерла. А когда я жила у нее в Лейпциге, я ездила по окрестным городам и во время поездки в Дрезден познакомилась с одной супружеской парой. Мы подружились. Они тоже гостили у меня, а я у них. Мы все время переписываемся. Они мне пишут по-немецки, я им отвечаю по-русски. У них есть друг-филолог, который знает очень прилично русский язык, он им мои письма переводит. С ним и его женой я тоже встречалась и в Москве,

и в Германии. Они живут в Апольде. Меня твой отъезд в Германию не удивил, напротив, я считала твой выбор страны совершенно естественным, поскольку ты знаешь немецкий язык,

Вот видишь, и мое письмо получилось длинным. Надеюсь, мы поняли друг друга. Тебе привет от Риты, Иры, Гали и Леры Чеботаревой. Последние два переданы по телефону. К сожалению, ни Галя, ни Лера приехать не смогут (я по-моему писала тебе, что Лера живет в Киеве), а вот Эля Петруханова, как я узнала сегодня от Иры, приезжает.

Всего тебе самого доброго, крепко жму руку — Нина

23.05.2005

Странно было бы «не обращать внимания» на твоё мнение, дорогая Нина, ведь оно для меня очень важно, да и вообще — что говорить — не так уж много у меня столь внимательных, терпеливых и компетентных читателей. Видимо, я в самом деле поддался этой злокачественной моде уснащать прозу грязными словечками, надо быть как-то брезгливее.

Совсем забыл сообщить тебе, что я как раз на этих днях получил от Гали Полонской (опять же благодаря тебе) два тома её мемуаров и ответил ей сразу же. Читал и перелистывал до глубокой ночи, с наибольшим интересом, конечно, — об университете, о наших временах. Книга получилась — не просто личные воспоминания, но сплав личности с эпохой. Это то, что меня занимало долгие годы: каким образом человек может (и может ли вообще) сопротивляться своему времени, зловещей Истории, враждебной, если не истребительной, по отношению к человеческой личности.

Ты пишешь об английских книгах о войне. Все эти годы, как ты могла заметить, я всё больше погружался в войну, странно, не правда ли, ведь я не был на фронте, пороху не нюхал, до второй половины июля находился в Москве, самые страшные месяцы, да и почти всю войну, провёл в эвакуации, за тысячу вёрст от театра военных действий, и вернулись мы, то есть мой младший брат, моя мачеха и я, лишь в августе 44 года. Мне было 16 лет, я был рабочим на почтамте; если бы война продолжалась до осени следующего года, я был бы призван в армию. Вместо этого я поступил в университет. Но, живя скоро уже четверть века вне России, в той самой стране, которая напала на нас и причинила нам всем столько несчастий, встречаясь с участниками войны (в разное время я разговаривал с многими, у меня есть и друзья, воевавшие в России), читая книги, дневники, воспоминания, погружаясь в эти, как прежде могло казаться, чуждые судьбы, повидав города, посмотрев множество документальных фильмов о войне, не только немецких, я получил в некотором смысле возможность взглянуть на эти годы и события, как мне кажется, под более широким углом зрения,

чем это было возможно в СССР. Не то чтобы я «переметнулся во враждебный лагерь» или что-нибудь подобное, речь, как ты понимаешь, во все не об этом, да и в нынешней Германии это возможно (если вообще возможно) ещё меньше, чем в России. Речь идёт о том, что мы, пришедшие позже, не можем смотреть на прошлое только глазами наших отцов. Мы не умнее их, мы не пережили их страдания и усилия, мы не разделили их подвиг, не наследуем их заслуг, — но мы пришли позже, и в этом всё дело.

Тут и встаёт вопрос, как же всё-таки приходится теперь взирать на войну и победу. Не мне рассказывать тебе о том, каким густым облаком новой мифологии заволоклось сейчас это прошлое в России. Это облако спускается сверху и встречает (если судить, например, по статьям публицистов, речам политиков, высказываниям писателей даже либерального толка и т.п., а ещё больше по результатам массовых опросов — в работах Бориса Дубина, в только что вышедшей книге Льва Гудкова) в высшей степени сочувственный отклик снизу.

Вероятно, и ты видела по телевидению грандиозный парад на Красной площади в честь 60-летия победы. В западных странах Восьмое мая отмечалось скромно как день памяти о погибших. В Москве Девятое мая 2005 года было отпраздновано как день победы. Шагали войска в мундирах и с оружием времён Отечественной войны. В открытых фургонах везли ветеранов в специально пошитой полувоенной форме. И так далее. К счастью (и это, конечно, большой прогресс), не было грохочущей техники, не было ракет и прочего.

Но праздник не обошёлся без некоторой неловкости. Ни звука о бывших союзных республиках, пострадавших от войны и оккупации хуже всех, потерявших огромную долю своего населения и разделивших в общем государстве победу с Россией, — о Белоруссии и Украине. Словно их вовсе не существовало. Кодекс военной чести, да и обычной порядочности, требовал хотя бы вскользь упомянуть о бывших союзниках — Англии, США, Канаде. О них тоже ни единого словечка. Словно они не воевали, не бомбили врага, не победили Роммеля в Северной Африке, не высаживались в Италии и Северной Франции, не помогали нам вооружением, обмундированием, транспортными средствами, семенами, довольствием, которым народ кормился и в войну, и после войны.

Получается так, что воевали мы, одолели врага мы и только мы. Не Вторая мировая война, но Великая Отечественная. (На вопрос: как Вы думаете, кто победил Германию во Второй мировой войне? — 60 процентов москвичей, опрошенных в 1997 г., ответили: русский народ. Сейчас этот процент людей, позабывших не только о западных союзниках, но и о других народах Советского Союза, ещё выше. На вопрос, мог бы СССР победить в этой войне без помощи союзников, 71 процент опрошенных в 2001 г., ответили: да!).

Письмо снова затянулось, но я ещё хочу написать о любви к России. Ты пишешь о своём впечатлении: я хорошо вижу всё плохое в современной России и не хочу замечать ничего хорошего. Хотя бы даже то, что можно свободно приехать в страну и публиковать здесь свои сочинения. Ещё бы мне этого не видеть. Ещё бы не чувствовать, не понимать разницы между нашим не таким уж далёким прошлым и сегодняшним настоящим. Даже сам по себе факт, что мы можем переписываться... да о чём тут говорить. В своё оправдание я мог бы сослаться на то, что я люблю своих героев, а ведь это по большей части соотечественники, люди России. Можно было бы, и, я полагаю, не без основания, повторить старые слова: люблю отчизну я, но странною любовью. Слово «любовь», может быть, и не совсем годится: для этого я слишком прирос к России, и с этим ничего уже не поделаешь.

Сидя за бугром, ругать покинутое отечество, выдавать себя за кого-то другого, мы-де с этим отечеством не желаем больше иметь ничего общего, — дешёвый номер. Ещё в первые наши годы здесь, опубликовав несколько статей в журнале «Merkur», который именуется «журналом европейской мысли», я получил предложение от одного издательства в Майнце написать книжку, она вышла под названием «Mythos Rußland» (а позднее была издана и по-русски в Америке). В этой книжке, было по крайней мере столько же любви, сколько и хулы. Тем не менее в тогдашней правой русской зарубежной печати я был заклеимён как русофоб. Но это всё было и быльём поросло, а суть дела, я думаю, вот в чём. Я не люблю своё время. Эта эпоха, этот век внушают мне отвращение и ужас, я испытываю чувство тяжёлого стыда и не понимаю людей, заявляющих, что они горды тем, что им довелось жить в XX веке, — и в этом опять-таки всё дело.

Дорогая Нина, мне, конечно, очень хотелось бы, если можно, получить *primum libellum Latinum* для детей. В свою очередь не знаю, что тебе послать. В Киеве, в издательстве «Дух и литера», вышла ещё одна книга прозы, называется «Следствие по делу о причине», частично включающая известные тебе изделия, но там есть и другие, а также роман «После нас потоп» (впрочем, ты и его, кажется, знаешь). Если этой книги нет в Москве, я постараюсь добыть и прислать тебе.

Крепко жму руку. Твой друг Г.

4.11.2009

Дорогая Нина, как ты там поживаешь, здорова ли? Работаешь? Меня снова выдвинули на две премии — на старости лет я, можно сказать, делаю карьеру. А между тем, *horribile dictu*, мне скоро стукнет 82. Получу ли я эти премии, неизвестно, но мне прислали приглашение,

билет на самолёт, так что я собираюсь всё-таки приехать 25 ноября и пробуду в Москве, если останусь жив, две недели. Будешь ли ты в это время в городе? Очень хотелось бы повидаться с тобой.

Жму руку, твой старый товарищ ГФ.

31 мая 2010

Рад, дорогая Нина, что у тебя всё благополучно. Мои внуки были, я их ещё не видел, вместе с Сузанной они остановились у её матери в Гермеринге, небольшом городке под Мюнхеном. К несчастью, Инга (мать Сузанной) накануне их приезда сломала руку. Была оперирована и сейчас уже дома. В четверг прилетит мой сын, мы соберёмся все вместе, а 6-го семейство отправится назад в Чикаго.

На вопрос, определились ли склонности у моего старшего внука Яши, ответить трудно. Он занимается спортом, учится играть на саксофоне, читает английские и немецкие книжки, но сказать, что его больше интересует, техника, математика или что-нибудь гуманитарное, он, пожалуй, и сам не сумеет. Впрочем, и я в этом возрасте (13 лет), насколько помню, тоже не мог решить; пожалуй, больше склонялся к литературе, а вскоре сам сделался весьма плодовитым автором. Но были и совсем другие интересы: астрономия, физика. Это была другая страна, другая эпоха.

Ты спрашиваешь, что значит спасти свои произведения. Я вычитываю старые вещи, от которых в большой мере отошёл. Расстояние позволяет увидеть то, чего прежде глаз и ум не замечали: всякого рода несообразности, ошибки и огрехи, утомительные длинноты, плохо звучащие фразы. Вот и стараешься спасти то, что ещё можно спасти: вычёркивать, сократить или попросту, потеряв терпение, переписать заново.

Меня удручает, когда я читаю или, вернее, проглядываю, современную русскую литературу, общая болезнь — многоглаголие. Тягостное, наводящее тоску и скуку блудословие. Симптомы этого недуга я нахожу и у себя. Я понимаю, что вернуться к лаконизму латинской прозы, к великой французской литературе XVIII века, к сжатости и концентрации Пушкина (двухтомный роман «Дубровский» — это всего лишь 80 страниц) невозможно, но невозможно вынести и безвкусную, водянистую, болтливую и скудоумную словесность наших замечательных современников.

Может быть, до отъезда в июне ещё успеешь мне написать?

Крепко жму руку, твой старинный друг Г.

Письма к Юрию Колкеру¹ (1999–2002)

Мюнхен, 14 июля 1999

Дорогой Юра, попробуем этот способ переписки (с помощью attachment), может быть, получится. Рад был получить от Вас весточку.

Я веду довольно однообразную жизнь. Изредка езжу с выступлениями, но по большей части сижу дома. Мои сочинения более или менее регулярно публикуются в России (главным образом в «Октябре»), но не могу сказать, чтобы это доставляло мне особенную радость. Почти всегда текст пестрит ошибками или опечатками, к которым я, как и Вы, весьма чувствителен. Главное, однако, не в этом, а в том, что слишком часто печатный текст обнажает и выставляет напоказ беспомощность написанного.

Какие у Вас новости и что Вы пишете? Каковы перспективы дальнейшей работы на Би-Би-Си, продолжается ли Ваша культурно-политическая программа?

Сердечный привет Вам и Тане от нас обоих. Как насчёт того, чтобы пожаловать к нам в гости? Обнимаю, Ваш Г.

Дорогой Юра, как и прежде, я восхищён Вашей прозой, благородством языка и слога, выверенностью каждого слова. Я могу поставить Ваше умение писать в этом жанре только рядом со статьями Ходасевича. И, конечно, я согласен — поневоле согласен — с Вашим анализом стихотворений «Две книги я несу...» и «Где-нибудь в углу...», — он убийствен, — с каждым или почти каждым Вашим замечанием. Кстати, на фоне этой критики Ваша похвала другому стихотворению Ольги Седаковой звучит особенно весомо.

Всё же я думаю, что Вы не совсем справедливы, выбрав из всего сборника две едва ли не самые неудачные пьесы. Возможно, Вас раздражила рекламная фраза «профессора поэзии»; Вы пишете, что её можно оставить без обсуждения и тем не менее обсуждаете её; но согласитесь, что Седакова в этой глупости не виновата.

¹ Юрий Иосифович Колкер — поэт, эссеист, мемуарист.

Мне кажется, некоторый недостаток Вашей статьи тот, что Вы не рассматриваете «Дикий шиповник» — раз уж зашла о нём речь — как целое и целостное произведение. Не далее как на прошлой неделе Вы толковали мне о том, что поэтическая книга есть именно книга, нечто законченное и замкнутое в себе, а отнюдь не случайное собрание стихотворений. А теперь Вы как будто забыли об этом. Между тем «Дикий шиповник», насколько я могу судить, да оно и бросается в глаза, завершён в себе, каждая пьеса соотносится с целым; Вы, как мне показалось, игнорируете этот факт.

Я бы не решился (это уже между прочим) упрекать поэта в том, что он злоупотребляет эпитафиями, не стал бы говорить о филологической спеси или даже самолюбовании. Эпитафии вышли из моды, это другое дело; советская поэзия отказалась от них, ни одного эпитафия нет, если не ошибаюсь, ни у Маяковского, ни у Твардовского. Но вспомните, как пестрит эпитафиями «Поэма без героя». Мне эта переключка с далёкими голосами поэтов не мешает. Что касается мнимой заносчивости, то в сборнике «Стихи» 1994 года, куда вошёл и «Дикий шиповник», имеются примечания, все иноязычные цитаты аккуратно переведены или растолкованы; поэтесса отнюдь не отменяет «непосвящённых». Вообще Седакова работает достаточно серьёзно, кокетство и в стихах, и в прозе ей чуждо; я думаю, что эту серьёзность нужно уважать.

На случай, когда Вы будете собирать Ваши литературно-критические статьи и этюды для книжки (давно пора): в стихе из заупокойной мессы *Tuba mirum spargens sonum* у Вас опечатка, а перевод несколько своевольный. Буквально это означает: «Труба, распространяя (распространяющая) дивный звук». Имеется в виду труба Страшного суда, но *mirus* (средний род *mirum*) — слово двусмысленное, как и соответствующий русский корень: чудо — чудовище; чудный — чудной.

Сослаться на Баха после слов *Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig* (О, как ничтожно, о, как быстротечно) вполне естественно: именно хорал Баха является источником этой цитаты, так как имя поэта давно забыто. *Selva selvaggia* — так у Данте, Седакова даёт точную ссылку и, конечно, пишет *selvaggia* с маленькой буквы, а не с большой. Имя «Иов» я, как и Вы, произношу с ударением на первом слоге, но это вовсе не обязательно: по-еврейски (Ийов), как и в западных языках, под ударением стоит «о»; такое же ударение (на русском втором слоге) даёт Энциклопедический словарь «Христианство» (1993) и для библейского Иова, и для русских церковных деятелей, носивших эти имя.

Мюнхен, 27 дек. 1999

Дорогой Юра! Я прочёл книгу «Ветилуя» и буду говорить о ней («Завет и тяжба» мне уже знакомы, о поэтических переводах судить не решаюсь).

Не хочется рассыпаться в комплиментах, — Вы знаете, что я высоко ценю Вашу поэзию, нахожу в ней многое, что мне близко, всегда наслаждаюсь гармонией, строгостью, важностью Вашего стиха; и в новой книге Вы всё тот же. Назову некоторые пьесы среди тех, которые мне особенно понравились: Ничего не случилось; «Всё влажно в стране островной...»; Уткина дача, ночь; «Материнскую твердью...»; «Возьми в моём люблю...»; Ориенталии; «Кто годы страшные...»; «Передай генотип и умри...»; «На Петровском острове...»; «Жизнь кончилась, а человек живёт»; «Куда как просто Фауста сыграть!»; «Те двое никогда не разлучались...»; впрочем, и многие другие.

Общее впечатление от сборника: качества Вашей поэзии в нём сгустились. Провозглашённый (уже в который раз) консерватизм почти нарочито, чтобы не сказать — назойливо, заявляет о себе на каждой странице. Размеры XIX века, мелодика, античные реминисценции, концовки, скрытые цитаты из Бо(а)ратынского, из Ходасевича. На этом пути, как мне показалось, больше, чем в прежних книгах, Вас подстерегает опасность, которая не миновала второго из названных поэтов: велеречивость, переходящая в риторику. Довольно много стихов-деклараций (не знаю, хорошо это или плохо) и то и дело повторяющийся за стихами автопортрет автора, всегда занимающего оборону против кого-то. Я бы отметил также некоторую избыточность и пестроту имён, терминов, паролей разных эпох и культур.

Решаюсь сделать несколько частных и мелких замечаний (под девизом: «Картину раз высматривал сапожник...»).

В стихотворении «Истина, какой она мне чудится» (стр. 16) Вы употребили любопытную грамматическую форму — причастие будущего времени действительного залога. В русском языке известно только одно *participium futuri activi*: это само слово «будущий». У Вас: «скажущий». Любопытный неологизм.

Стихотворение «Проста меня пославшая» (стр. 18). Декларативность доведена до предела; это, я бы сказал, уже не апология, — идеология. Как бы то ни было, такие стихи требуют безупречной внутренней логики. Речь идёт о Музе и её слугителе. Это скиталец, неточно названный паломником (ведь в четвёртой строфе говорится о том, что вера — прах). Суму, тем более — хлеб не берут взаймы: они достояние нищего. Почему рассудку приписывается боковое зрение? Агасфер тоже явно не вписывается в обозначенный ряд, это из другой оперы. Би-

гуди — может быть, и атрибут суеты, но отнюдь не блестящей: ведь никто не красуется в бигуди или, скажем, в папильотках. (В последней строчке — опечатка: лишнее «то».)

Примерно то же можно сказать о стихотворении «Берсерк» (стр. 21): третья строфа выпадает из образа; Валгалла, Голгофа, Синай, смешанные в одну кучу, совершенно не работают.

«Видсид» (стр. 23). Тут меня смутили «бавары». Предки нынешних баварцев именуется баюварями (Bajuwaren).

«Висит хвостатая звезда» (стр. 26–27). В строчке «Косматый кельт, этруск и галл» неправильное перечисление. Кельты — родовое обозначение, галлы — видовое. Галлы были кельтами.

К стихотворению «Сладко уразуметь, как прядут и ткут» (стр. 28) подошёл бы эпитафия из «Фауста» (хотя Вы не любите эпитафий):

So schaff´ ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Так на станке проходящих веков
Тку я живую одежду богов.

А может быть, и такой: *В избушке, распевая, дева...*

Между прочим, Вы употребили в этой пьесе редкий размер, он придаёт ей какую-то диковатую прелесть.

«День гнева» (стр. 29). Вообще-то замечательная вещь. Но...

«Чем от руки нанявшего его» — очень косноязычно. Вдобавок убивали не сами властители, а наёмные убийцы, bravi.

«Бальдаччо никому не уступал...» и т.д. — все три строчки звучат, как из учебника и чуточку пародийно. «Считалось, что держать вождя опасно...» — тоже как-то неинтересно, школярски. Зато дальше начинается замечательная история.

«Река Тамесис...» (стр. 32–33). «Не ты ли ятью свет преобразил?». Я не понял, что это значит. Вдобавок *ять* (название буквы) мужского рода, справьтесь в словаре.

В стихотворении «Рог, чаша, спираль» (стр. 35–36) вызывают протест первые пять строк. Мне даже показалось, что вещь, в целом очень хорошая, выиграла бы без этого вступления. «Праксителю розу изваять не смог И раковину, нежности обитель... Не нашей мерой жаркий трепет красок Отпущен им...». Праксителю м о г изваять и розу, и раковину: он был скульптор. Чего он не мог, так это (по смыслу стихотворения) воссоздать живую розу и натуральную раковину. Да и с красками ваятель не работает. Я уж не говорю о том, что

эти стихи («нерукотворные дворцы», «жаркий трепет») риторичны, маловыразительны, но в этих пяти строках есть внутренняя неслаженность, нелогичность.

Надеюсь, не обидел Вас.
С Новым годом!

Дорогой Юра, я получил сейчас извещение, что несколько моих последних электронных посланий Вам не могли быть доставлены адресу. Между тем Вы на них ответили, из чего следует, что Вы их получили. Я думаю, эта путаница отчасти связана с тем, что Вы пользуетесь несколькими адресами, обратный адрес (когда я посылаю Вам «Ре») оказывается другим и т.п. Установите для переписки со мной один окончательный адрес, по которому я мог бы посылать Вам мои письма. Вчера вечером читал стихи и наслаждался. Но предпочитаю читать небольшими порциями и буду ещё перечитывать. Ваш Г.

Дорогой Юра, я рад, по крайней мере, что Вы не лишились работы на «бибисях», — опасность, о которой Вы несколько раз писали.

Хотя мы вернулись (из Чикаго) уже почти неделю тому назад, я всё ещё не пришёл в форму. Это оттого, что обратный полёт происходит в противоестественном направлении, как если бы Вам предложили пробежать стометровку спиной вперёд.

Минувшей осенью я посетил, после почти двухлетнего перерыва, Москву. Я давно уже чувствую себя там только гостем. Прожил там две недели в хороших, надо сказать, условиях. Но впечатления какие-то невесёлые. Кроме того, у меня остался неприятный осадок от посещения издательства с названием, похожим на имя морского гада, — «Вагриус», — которое собирается выпустить сборник моих сочинений. Оно бы, конечно, и неплохо, но редакторша принялась немилосердно править и сокращать мои тексты, приведя три довода: 1) правка — «в моих же интересах», 2) «у нас демократическое издательство», и 3) книга невыигрышная, неизвестно, кто её купит. Последняя мысль, конечно, справедлива, но раз уж взялись... Я похерил все исправления и уехал, и с ужасом думаю о том, что они там могут сотворить из моих изделий. Утешаться можно разве только тем, что если книжка выйдёт, вряд ли кто-нибудь там — редактриса права — будет её читать. В Новосибирске подготовлен к печати маленький сборник статей и этюдов. «Далёкое зрелище лесов» должно выйти по-немецки осенью.

Я публиковал разные вещи в разных журналах, главным образом (как и прежде) в «Октябре». Но последний мой роман им, кажется, не приглянулся. Он называется «Аквариум» и в самом деле, что называется, не блещет.

Вместе с Джоном Глэдом мы составили книгу бесед о литературе, эмиграции, жизни и разных других увлекательных предметах на основе электронной переписки, которую вели почти целый год.

А так — жизнь идёт по-старому.

27 янв.01

Дорогой Юра! Я послал запрос Джону Глэду, кто автор стихов «Men feel their weakness...», но и он не смог ответить.

Это мой старый приятель, профессор-славист и полиглот, переводчик русской прозы, критик и т.д., живёт в Вашингтоне. Книжка, которую мы замыслили и даже довели до кондиции, ждёт издателя; не уверен, дождётся ли.

О том, чтобы издавать мои писания на собственные деньги, я, откровенно говоря, никогда не помышлял, хотя преимущества, о которых Вы говорите, очевидны. Но эту книгу наших бесед в Москве, как мне сказали, можно было бы в принципе выпустить таким способом, тысячи за две. Ах, не хочется об этом говорить, пропади они все пропадом. Да и денег у меня таких нет.

Электронный сайт, зачем? Кто это будет читать? В короткое время Интернет успел превратиться в чудовищную мусорную свалку. В Москве модно говорить о «сетевой литературе». По-моему, это что-то вроде выгребной ямы. Или кладбища литературы.

Буду очень благодарен, если пришлёте мне книжку. У меня ведь целая библиотечка Ваших поэтических книг. Иногда я читаю из них кое-что вслух кому-нибудь или самому себе. Петрарка сказал: *Nec metuit solus esse dum secum est*. И не страшится быть одному, доколе вдвоём с самим собой.

Мюнхен, 4 янв. 2002

Дорогой Юра! Я получил Ваше новогоднее поздравление и сразу же ответил по адресу отправителя (другой адрес, <http>, оказался негодным). Но нет уверенности, что мой ответ дошёл до Вас, тем более, что Ваши электронные адреса то и дело меняются: у меня их уже целая коллекция. Так что поздравляю Вас и Таню на всякий случай ещё раз.

Последнее известие о Вас, дошедшее до меня, была рецензия на «Ветилую», кажется, в «Знамени», которая порадовала дружелюбным тоном. У меня ничего особенного нет. Весной вышла моя книжка прозы под титулом «Город и сны» в издательстве, которое носит название, напоминающее имя морского гада: Вагриус. *И гад морских подводный ход*. Что касается книги о литературе, моей и Дж. Глэда, о которой я, кажется, Вам писал, то она, как ни странно, нашла издателя (Игоря Захарова) и даже вроде бы вышла неделю или две тому назад. Называется «Допрос с пристрастием». Там есть кое-что о литера-

туре в эмиграции, небезынтересное, быть может, для Вас. Если бы она до Вас дошла, не хотели бы Вы написать рецензию — разумеется, нехвалебную, желательню зубастую.

Ваше сообщение о «Колоколе» заслуживает всяческого внимания. Что это за предприятие? Как часто выходит журнал? Вашей рекомендации достаточно, и я не прочь поучаствовать. Сообщите мне, пожалуйста, какого рода текст, какого объёма, кому и т.д. я мог бы прислать.

Мюнхен, 7 янв. 2002

Вчера я послал Вам два текста и, что называется, с трепетом ожидаю Вашего решения. Недостатки первого сочинения до некоторой степени ясны мне самому. Повесть отзывает памфлетом. И я в общем-то занимался в последние годы совсем другими вещами, далёкими от столь навязчивой актуальности. Но у меня было сильное, до ощущения необходимости, желание написать это. Первую, значительно отличающуюся от этой редакцию я предлагал месяца два тому назад журналу «Знамя», в виде теста. Этот тест они блестяще выдержали, отказавшись, как и следовало ожидать, от публикации. Тем сильнее хочется увидеть повесть напечатанной, — само собой, вместе с приложениями. (Ответ «заместительницы» — моё собственное сочинение). Что касается фрагмента переписки с Дж. Глэдом, то и он, похоже, — не лучшее в нашей книжке, но уж так получилось.

Я открыл Ваше *http* и с удовольствием перечитал статьи мне известные, а заодно всё, что прошло мимо меня. Например, заметку о Житинском, в самом деле замечательном поэте, чьё имя слышу впервые. С творчеством Геннадия Айги я едва знаком, то, что приходилось читать, не произвело на меня никакого впечатления. Подозреваю, что Ваш приговор в целом справедлив, хотя одного единственного стихотворения в качестве улики маловато. В статье встречается кое-что, против чего мне хотелось возразить, например, такой пассаж: «Поэзия, подсовывающая нам действительно новую мысль, может случайно оказаться хорошей философией, но наверняка будет плохой поэзией». Вот те раз.

Между прочим, я занимался летом, как ни странно (и некоторая наглость с моей стороны), составлением антологии европейской поэзии. Отобрал около 50 стихотворений античных, средневековых и новых поэтов — греческих, латинских, русских, французских, немецких и английских. Из авторов минувшего века брал тех, кого уже нет (следуя славному правилу: «Они любить умеют только мёртвых»), и руководствовался собственным профанным вкусом и пристрастием. Иноязычные стихи я привёл в оригинале, снабдив самодельными прозаическими

ми подстрочниками, отказавшись от переводов. Кроме того, присовокупил к каждому стихотворению краткий комментарий. Нашлась, представьте себе, даже издательница, но пока что всё — вилами на воде.

[От Колкера]

Дорогой Геня, мое решение здесь ни при чем. Я, вероятно, могу влиять на Шлепянова, поскольку он спрашивает мое мнение, но не рвусь. Моя страсть — расставлять запятые и ставить строчные вместо прописных.

Оба Ваших текста Шлепянову понравились. Оба он хочет публиковать, но не в одном номере, конечно. Про повесть (он называет ее рассказом) сказал: «рассказ очень силен». Про диалог — что не мешало бы сократить. Как вы смотрите на сокращения? Так сказать, журнальный вариант создать. Шлепянову кажется, что мысли там — не на пять с половиной тысяч слов.

Насчет оригинальности мысли в поэзии — продолжаю держаться моей реакционной точки зрения. У Пушкина — не то что своей мысли, у него ни одного своего сюжета нет (включая и Онегина). Только — поэзия. Версификация — не от слова ли версия? Поэзия, прости господи, глуповата, простодушна.

8 янв. 02

Дорогой Юра, «версификация», как и «версия», восходит к глаголу *vertere*, поворачивать, и в этом, может быть, всё дело. Может быть, мы говорим об одном и том же. Хотя сюжет и мысль не одно и то же, хотя незачем (по словам Гёте) придумывать новые сюжеты, но можно сказать, конечно, что и новых идей с тех пор, как существует литература, ни поэты, ни прозаики не высказывали. Но это верно только в самом общем и формальном смысле. Важны «повороты». Вы сослались на Пушкина (*поэзия, прости Господи...*), однако Пушкин — это поэзия чувства и поэзия мысли. И Фет — поэт поразительной мысли. И я не в состоянии провести границу между поэтической мыслью и эмоцией. (Мог бы сослаться и на Ваши вещи). Во всяком случае, я не могу понять, куда Вы с Вашей теорией денете того же Гёте, куда деть Гёльдерлина, Рильке (*Дуинские элегии*), Готфрида Бенна, что делать с Элиотом, с Эзрой Паундом, и мало ли ещё кого можно назвать.

Если Ш. пожелает опубликовать по очереди оба текста, я буду рад. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы вначале пошёл рассказ. (С запятыми, которые Вы любите расставлять, а также кавычками, строчными буквами и т.д. там всё в порядке. Хочу попросить Вас оставить диалоги в кавычках-ёлочках, так всегда печатаются мои тексты). Что касается отрывка из нашей с Дж. Глэдом книги, то можете сокращать

его как Вы сочтёте нужным. Дело в том, что книга (а также жанр беседы-переписки) задаёт другой ритм, нежели журнальная статья, отсюда впечатление рыхлости, недостаточной концентрации, многословия.

Есть ещё одно предложение: я могу выбрать из книги какой-нибудь другой кусок.

Вы просите прислать ещё что-нибудь. *Вы просите песен. Их есть у меня...* Посылаю Вам наугад две вещички.

Ваш, с любовью, ГФ.

Мюнхен, 12 янв. 02

Дорогой Юра, жаль, конечно, что мой текст не может пойти в этом номере, я напрасно так спешил, и вдобавок журнал ведь может на первом номере и прекратиться, как это бывало со многими начинаниями. Что касается нашей с Джоном переписки, то, мне кажется, лучше всего от неё вообще отказаться, тем более, что книжка уже вышла (хотя до меня всё ещё не дошла).

Правда, я послал Вам 8 января, по Вашей просьбе, ещё два текста: рассказ почти такой же длины (dorfn.doc) и значительно более короткую «публицистику» (exil.doc). Может, она бы подошла?

Ставить в одном случае прописную букву (Красные Ворота), а в другом — строчную (Чистые пруды или, скажем, Красная площадь), конечно, нелогично; об этом и я могу догадаться. Но я старый москвич и, кстати, вырос в этом районе, в переулках между Красными Воротами и Чистыми прудами. Могу Вас заверить, что таково традиционное, не придуманное мною, но с давних пор установившееся написание, его надо уважать.

Точку перед второй скобкой во фразах, заключаемых в скобки, я тоже ставил раньше и постоянно поправлял нашу наборщицу, но это противоречит правилу русской пунктуации (см. справочники) и к тому же плохо смотрится. Для читателя это было бы некоторым затруднением. Видимо, поэтому и установлено такое правило, и его всё-таки надо бы соблюдать. Две точки здесь, само собой, не нужны.

Можно было бы написать маленький трактат об излюбленных знаках препинания у разных авторов (злоупотребление тире у Горького, постоянные двоеточия внутри фразы у Андрея Белого, пристрастие к паре «запятая, тире» у А.Н. Толстого и т.д. вплоть до бесконечных многоточий у Фридриха Горенштейна. Сюда же — рассуждение Блока о разнице между тремя и четырьмя (!) точками в многоточии. Возможно, Вы заметили, что современные авторы игнорируют правила различного употребления двоеточия и тире — результат плохого школьного образования — и ставят тире там, где надо и где не надо. Почти исчез знак точка с запятой, столь любимый нашими классиками; видимо, утрачено ощущение его интонационного и смыслового значения. Многие

якобы образованные люди, начиная фразу со слова «однако», ставят после него запятую, но забывают выделить его в запятых, когда это слово стоит внутри фразы. Не все знают, что нехорошо начинать абзац с цифры, её нужно писать в строчку. И так далее.

Из всего этого, однако, можно сделать вывод: абсолютизм пунктуации недопустим, при всей строгости общеобязательной школьной орфографии она оставляет возможность для некоторых индивидуальных вариаций. Знак препинания — Вы это знаете лучше меня — может иметь немалое стилистическое значение. Как и на всём в прозе, на нём играет отсвет души.

Я, как и Вы, придаю большое значение разнице между точкой с запятой и двоеточием, между двоеточием и тире. Для меня очень важно членение текста на абзацы, которые я ввожу иногда как бы не там, где полагается, сознательно нарушая привычную логику повествования.

Насчёт кавычек. Я использую «ёлочки» для однозначно прямой речи. Для передачи «мыслей» я не пользуюсь никакими кавычками: в моих текстах, где прямая речь перетекает в косвенную, персональная — в «объективную» (авторскую или псевдоавторскую), где вообще часто стёрта грань между личным и внеличным, — в кавычках нет надобности. Да и в других случаях я стараюсь по возможности избегать кавычек (злоупотребление ими, весьма распространённое, — принадлежность дешёвого газетно-фельетонного стиля, а то и просто признак малограмотности).

Замена привычных тире кавычками в диалогах отнюдь не является исключительно западным (не только английским) заимствованием: такой способ применялся и в России, постепенно выходя из употребления. Я восстановил его в моих текстах, и они всегда так печатаются.

Я соблюдаю также *иерархию кавычек*: «гусиные лапки» внутри «ёлочек».

Все эти вещи имеют большое значение во втором рассказе, «Сера и огонь», — если Вы сочтёте возможным взять его для журнала.

14 янв. 02.

Дорогой Юра, — приятнейший, неожиданный подарок: я ведь не знал, что первый номер уже подготовлен. Журнал пришёл сегодня. И, конечно, я бросил все дела и стал читать и перелистывать. Многое отложил на потом, а пока что — первое и по необходимости поверхностное впечатление.

Начну с того, что мне *очень* понравилось редакционное вступление. Догадываюсь, что написано Вами. Из того, что я успел прочесть в журнале, это — лучшее, и, думаю, что и после того, как будет прочитано всё остальное, вступление останется самым ярким материалом. Читается с наслаждением. Абсолютно никаких возражений.

Статья «Прав ли Берлускони?» тоже очень интересная, но требует обсуждения — не столько по фактам, которые там приводятся, сколько по самой постановке вопроса, — однако сейчас я не могу в это вдаваться. Заголовок показался мне не совсем удачным, то есть недостаточно привлекающем внимание: что за фигура Берлускони? Сегодня он здесь, завтра о нём никто не вспомнит.

Журнал ищет — и, кажется, уже нашёл — некий особый жанр. Это попытка наполнить «глянцевый» журнал серьёзным содержанием. Нужно привыкать к тому, что текст Герцена соседствует с западной рекламой и т.п. Свободомыслие намерено ужиться с коммерцией. Так сказать (простите за лёгкий тон), и рыбку съесть, и... Что ж! Журнал, если говорить о содержании, об уровне, действительно оказался серьёзным, интересным, достаточно разнообразным и предъявляющим определённые требования к читателю. Но тут возникает противоречие: цена номера рассчитана на богатого покупателя, который ничего такого на дух не переносит. Распространять такой журнал в России, боюсь, будет непросто. Люди, которых он в самом деле заинтересует, без сомнения, найдутся, но они не смогут его приобрести, не говоря уже о подписке. Может быть, надежда на рекламу, но ведь и она не увеличит подписку.

Меня несколько разочаровали стихи Кушнера, стихотворение о Тютчеве показалось мне нелепым (там даже есть биографическая неточность), а последнее стихотворение звучит пародийно.

Совсем не могу понять, каким образом на Ваших страницах засияло славное имя Лимонова, да ещё в таком обширном материале и с богатейшей иконографией. Мне кажется, этот писатель вовсе не заслуживает никакого внимания; это — для других потребителей и других страниц.

Но всё это мелочи.

Журнал, конечно, не литературный. Это очевидно, и говорить об этом нет необходимости, но я-то принужден заниматься литературой. Общественный, политический, публицистически-эссеистический журнал, который может позволить себе побаловаться между делом и коротенькой беллетристикой в качестве украшения, и даже стихатами. Вероятно, авторы вроде Вашего слуги вряд ли смогут найти в нём уголок, но это говорит не против журнала, а против таких авторов.

Словом, держайте ныне ободренны, я в самом деле и от всей души желаю Вам, Юра, хорошей, интересной работы и успеха. Сердечно благодарю Вас. Ваш всегда Г.

1 марта 02

Дорогой Юра, сообщите, пожалуйста, каков лимит времени для того, чтобы я мог сократить рассказ. Если дело срочное, я сделаю это в ближайшие дни.

Рассказ Рины Малкиной очень ученический, очень несамостоятельный и очень дамский. Писательница не умеет дистанцироваться от себя и собственного душевного и эмоционального опыта. Вместо того, чтобы использовать этот опыт как сырьё, она делает его просто содержанием своей прозы. Получается рассказ «из жизни», то есть нечто вполне тривиальное. В нём есть только одно более или менее живое лицо — она сама. Достоинством рассказа является простота и безыскусность. Я бы этот рассказ напечатал, но попросил бы автора пройтись по нему ещё раз, а главное, подсушить его, сделать жёстче и отстранённой, особенно там, где говорится о чувствах героини к мужу и к любовнику. Все эти «отдала ему всю жизнь» и т.п. безжалостно вычеркнуть.

Дорогой Юра!

Посылаю Вам сокращённую версию. Готовил её на всех парах. (Если подойдёт, нельзя ли сделать пометку: журнальный вариант — или что-нибудь в этом роде?)

Объём сокращён примерно на одну треть. Похерены целиком две главы, вычеркнуты абзацы и фразы во многих других местах. Больше сокращать, не рискуя поломать всё, невозможно. Буду рад получить от Вас ответ.

Пожалуйста, — если подойдёт, — сохраните принятый мною способ печатанья диалогов: в кавычках, а не через тире.

Дорогой Юра!

С глазами у меня пока неважно. Даже коротенький текст отнимает много времени. Жду теперь второй операции (11-го). У нас снова гостят внуки, так что работать всё равно невозможно. Но даже если бы и можно было, у меня нет сил возвращаться к моему рассказу. Я просто не могу на него смотреть. Делайте с ним что найдёте нужным. Либо выбросьте в корзину (это было бы лучше всего), либо сократите хоть наполовину, мне, по правде сказать, уже всё равно. Я на Вас не сержусь и понимаю, что даже если бы он изначально был вдвое, втрое, даже вчетверо короче, его понадобилось бы сокращать: это закон журналистики. Что касается выступления по Би-Би-Си, то я сейчас, к сожалению, не способен что-либо делать. Обнимаю Вас, Г.

Дорогой Юра,

имя М. Гаспарова мне, конечно, знакомо, я кое-что читал, у меня есть подготовленное им превосходное издание Авзония; я привык его уважать. Ваши замечания убийственны и, по-видимому, увы, справедливы. Я говорю: «по-видимому», потому что рецензируемую книгу не читал.

Прежде всего — одна неточность у Вас. Iam вместо jam — не ошибка и не опечатка: так как у римлян буквы j не было (она появилась у средневековых переписчиков), то среди филологов-латинистов считается хорошим тоном её не употреблять. Так было и в моё время. Так печатаются — без буквы j — тексты авторов в научных изданиях. Но это мелочь.

Ещё одна мелочь: «Не излишним ли постмодернизмом дышит позиция учёного...» (стр. 2). Скажите на милость, причём тут постмодернизм.

Вы, вероятно, написали эту рецензию в расчёте на тех, кто знаком с книгой. Я её не читал, и это в большой мере обесценивает все мои возможные замечания. Всё же скажу о двух вещах. По-видимому, возмутительная операция над Боратынским была произведена не с бухты-барахты, но по какому-то поводу, в определённом контексте, который если и не извиняет, то по крайней мере объясняет её. Вы (полагая, как и сам Гаспаров, что sapienti sat) ничего об этом контексте или поводе не говорите. Это ослабляет Вашу критику, ибо рецензии пишутся не только для тех, кто прочёл рецензируемое сочинение и хорошо его помнит.

То же можно сказать о некоторых других Ваших замечаниях, которые более или менее справедливы, но касаются мелочей, выхваченных там и сям из книги. Никакой обобщающей характеристики книги Гаспарова у Вас нет, неизвестно даже, о чём она.

Второе моё возражение или, лучше сказать, соображение касается заключительного пассажа о «литературоведах». Эти бедолаги могут быть талантливыми или бездарными, зрудитами или невеждами. Но я не мыслю существования литературы, включая поэзию, без литературоведения. И я вполне допускаю (как и сами они), что формальный анализ стихотворения вовсе не обязательно разрушает его целостность и прелесть. Я допускаю, что о литературе можно и бесполезно говорить на метаязыке, внеположном ей. У Вас чувствуется какая-то личная нотка, мешающая читателю; Ваше раздражение доходит до того, что Вы готовы чуть ли не всех историков литературы и литературоведов объявить скопцами в серале.

А вообще-то — я прочёл рецензию с удовольствием.

Жму руку. Ваш Г.

Янв. 2003

Дорогой Юра, рад, очень рад получить от Вас весточку. Я тоже был в отъезде, прожил три недели в Париже, а теперь должен буду 25-го лететь в Чикаго, помочь Лоре опекать нашего старшего внука, но собираюсь также навестить и Юза в Новой Англии. Домой, то есть в Мюнхен, рассчитываем с Лорой вернуться 8 октября.

Письмо Ваше не очень-то весёлое, я не совсем понимаю, почему в октябре должна окончателно, как Вы пишете, закончиться Ваша деятельность на ВВС, — это после того, как Вы проработали там столько лет. Правда, журнал, если я Вас правильно понимаю, стоит на ногах достаточно крепко. Занимались ли Вы в Петербурге литературными делами, кроме «Колокола»?

Я был занят в Париже одной работой, которую затеял примерно полгода тому назад, это нечто вроде небольшого романа. Закончил или почти закончил. А что дальше? Всегда, и на этот раз ещё больше, чем прежде, меня отвлекает мысль о том, что вся эта работа никому не нужна. Что бы я ни писал — это никому не нужно. И, конечно, остаётся неизвестным, кто и где это будет печатать. Но ничем другим заниматься я не в состоянии.

Февр. 03

Дорогой Юра, Ваше письмо на этот раз меня очень встревожило. Литература не только удручает своей действительной или кажущейся никчёмностью, но литература лечит. Может быть, в этом и состоит ее конечный смысл. Муза исцеляет, это знали все поэты, начиная по крайней мере с Горация, — а ведь я Вас числю его дальним потомком, — и писательство — это то жизнеспасующее средство, которым мы с Вами всё-таки располагаем. Это не риторика. Соберитесь с духом. Сердечно обнимаю Вас.

Дорогой Юра! Мне ужасно неудобно перед Вами из-за неприятностей, которые я Вам доставил. Извините, ради Бога.

О «Зеркале» я вообще забыл, так это было давно.

Вам как автору, вероятно, такая ситуация знакома. Вас просят что-нибудь прислать, а потом никто не отвечает. Отослав кому-нибудь свой текст, Вы никогда не можете узнать, дошёл ли он, будет ли он напечатан, и если да, то когда. И даже если Вам обещают, невозможно быть уверенным, что обещание будет выполнено.

«Зеркало Загадок» — очень малотиражный, еле державшийся на плаву журнал. Последнее время он вообще не выходит. Заверьте г-на Шлепянова, что ни о каком суде, конечно, речи быть не может.

Жму Вашу руку, обнимаю, ещё раз извините и передайте мои извинения главному редактору.

Ваш ГФ.

P.S. Послезавтра я улетаю в Америку. Если нужно, чтобы моё письмо в редакцию «Колокола» (я посылаю его по электронной почте) было снабжено собственноручной подписью, сообщите мне сразу, я пошлю второй экземпляр обычной почтой. Сообщите также точный почтовый адрес.

Письма к С. Майзель¹

(по поводу американского перевода повести
«Праматерь», 2004)

Дорогая Сильвия,
позвольте мне сделать несколько замечаний.

Название «The Mother of us all» кажется мне неудачным. «Пра-матерь» — это не наша общая мать или что-либо в этом роде. Скорее это мать-прародительница, праматерь всего сущего; название содержит мифологические коннотации. Смысл моего заголовка — женщина, которая пробудила мальчика от детского сна, от сна детства, как бы вторично его родившая. Я предоставляю читателю (и Вам) возможность толковать туманный заголовок как ему вздумается, но мифологический и сакральный смысл должен брезжить в его сознании. Он должен присутствовать и в английском названии.

Вы предлагаете другой эпиграф. Но Бокаччо не годится. «Декамерон» — вещь, написанная в совершенно другой тональности, комедийно-юмористической, фривольной; это не отвечает эмоциональной окраске моего рассказа, задаёт совсем другой тон. Кроме того, motto не служит для объяснения; его задача иная. Я взял свой коротенький эпиграф из стихотворения Киплинга, предпосланного роману «The Light That Failed», там он звучит рефреном к каждой строфе, и его тон очень соответствует тону и настроению моего рассказа: вечная тоска по матери. Пожалуйста, сохраните мой эпиграф.

«Кишук» — «щука». Подростки любят переименовывать фамилии, делать их значащими кличками. Это знак особого языкового чутья. Но воспроизвести это в переводе, конечно, невозможно. Я согласен с Вашим переводом: Pike. Наконец, насчёт famous novel. (В русском тексте: «...сделаться невидимкой, как в известном романе»). Вы пишете, что американский читатель не поймёт, о чём идёт речь. Имеется в виду роман Уэллса (H.G. Wells) «Человек-невидимка», «An Invisible Man». В России он хорошо известен, а в детстве я смотрел американ-

¹ Сильвия Майзель — американский русист, переводчик.

ский фильм по этой книге. Там есть место (и соответственно кадр в кино), когда Невидимка спасается от преследователей и оставляет на снегу следы босых ног. После слов об «известном романе» можно вставить имя автора.

Насчёт «ящика». Ребята на дворе не сразу догадываются, что это такое, настолько это необычные, шикарные шахматы. Лакированная деревянная коробка, а что там внутри, ещё никто не знает. Мальчик по кличке Щука — сын важного папаша, которого все побаиваются (офицер тайной полиции), и Щука охотно демонстрирует перед другими детьми свое социальное превосходство.

Рассуждения рассказчика о том, что слова с шипящими буквами «заключают в себе угрозу»: таковы же и фамилия «Кишук», и кличка «Щука», то есть хищная, опасная рыба. И, действительно, этот Кишук в дальнейшем становится причиной катастрофы. Дети обладают необыкновенной языковой и фонетической чувствительностью. Ничего не зная о репрессиях и терроре, они чувствуют, что их окружает страшная атмосфера, 1937 год. Как это всё передать в английском переводе? Может быть, Вам придётся немного отступить от оригинала и что-нибудь такое сказать о звучании фамилии Кишук для английского уха, найти какие-нибудь ассоциации, связывающие эту фамилию с опасностью, угрозой и т.п. Может быть, даже дать этому мальчику другую фамилию, придумать что-нибудь подходящее. И, наконец, самый простой выход — вообще выкинуть фразу-рассуждение о шипящих.

Теперь насчёт абзаца: «Было ли у меня самого ощущение...». Смысл его прост: первая любовь физиологически связана с пубертатным периодом и вместе с тем романтична, идеальна, то есть игнорирует физиологию, страшится телесного сближения.

В конце октября я должен быть в Америке — выступить (по-русски) в Wesleyan University в городке Миддлтаун, штат Коннектикут. Приглашение поступило от Mrs. Priscilla Mayer, славистки, приятельнице писателя Юза Алешковского и моей старой знакомой. Русское отделение устраивает конференцию в честь 75-летия Алешковского.

Я согласен с Вами, дорогая Сильвия, что это место («Не ждите от меня каких-нибудь откровений...») изложено невнятно. Мысль следующая: с одной стороны — физиология полового созревания, от которой никуда не денешься, а с другой — подросток переживает нечто такое, что объяснить в терминах физиологии невозможно и что отчасти даже противостоит физиологии, восстаёт против физиологии.

Перекинуть мост, понять, что одно не противоречит другому, подросток не может. С одной стороны, все мы устроены более или менее одинаково, а с другой — каждому приходится начинать заново, нащупывать свой собственный путь в жизни, самому справляться и с физиологией, и с внезапно постигшей, как тяжёлая болезнь, детской, юношеской любовью. В этом заключается некая «хитрость», коварство нашей природы, некий подвох, словно посреди безмятежной жизни, детских увлечений (шахматы, марки) нам вдруг подставили подножку, и мы едва удержались на ногах. Для рассказчика этот кризис усугубляется тем, что он делает ещё одно открытие: кругом царит страх.

Ваша фраза «...but memory fools us and all we're doing is creating an illusion of the past», сама по себе очень удачная, всё же не совсем точна. Смысл этого абзаца, как я его понимаю, следующий: хотя я (рассказчик) отлично помню своё детство и отрочество, для меня невозможно снова стать таким, каким я был в то время, ибо я отягощён тем, что происходило со мной впоследствии. Я взрослый и даже пожилой человек и невольно тащу с собой опыт моей жизни в мою тогдашнюю жизнь, в моё прошлое. Поэтому я невольно стилизую мои воспоминания, моё детство и юность. Сам того не замечая, я придаю моим воспоминаниям стиль моего теперешнего восприятия и способ теперешнего мышления. Я хочу честно рассказать всё как было, но я давно вырос и из этого детства, и из всей той, навсегда ушедшей эпохи. Я не могу его не осмысливать, не могу повествовать о моей полудетской любви так, как я рассказывал бы о ней, если бы оставался подростком.

«Вы никогда не решите, где кончается...»

Речь идёт о тонком сплетении условностей, навязанных обществом и воспитанием (девочка должна вести себя не так, как мальчик, играть в другие игры, интересоваться другими вещами и т.д.), с биологическим поведением, которое жёстко обусловлено физиологией, запрограммировано сексуальной детерминацией. С одной стороны, правила социального поведения в ханжеском пуританском социуме (власть общества), а с другой — то, что непосредственно связано с половой принадлежностью, заложено генетически. Разделить оба комплекса, понять, где кончается социальное и начинается биологическое, почти невозможно. Но в обоих случаях речь идёт о насилии над юным, вступающим в жизнь человеком. С одной стороны — власть общества с его полицейской нравственностью, ханжеством и лицемер-

рием. С другой — «заговор желёз внутренней секреции»: внутренний процесс созревания. Восстать против общества так же невозможно, как бороться с собственной физиологией, с изменениями тела.

По мнению рассказчика, девочки справляются с этой коллизией несравненно легче, они приветствуют в себе начавшееся превращение ребёнка в женщину. Для них всё это — нечто естественное, само собой разумеющееся. Счастье жизни. Для мальчика, каким вспоминает себя рассказчик, это совсем не так: это стыд и ужас, катастрофа.

Девочка хочет стать женщиной. Мальчик боится стать мужчиной. Но это происходит — неожиданно, как молния с ясного неба, жестоко и неотвратно.

Начинается рассказ о встрече и любви подростка и взрослой женщины. Необходимым фоном для этого романа являются повсеместное присутствие и тайная угроза политической полиции, конкретно — в лице мужа Ольги Варфоломеевны и её сына, по всей видимости готового идти по стопам отца.

Вам кажется, что история любви слабо связана с мыслями рассказчика о мальчиках и девочках, об инфантильности подростков, о детстве, которое (у мальчика) отчаянно сопротивляется взрослению и пытается спрятаться в своей детской крепости — в мире марок и шахмат. Я так не думаю. Рассуждения в начале рассказа — это необходимое предисловие, роковое предвестие того, что должно случиться. Все эти вещи тесно связаны. Эти чуждые, непонятные, почти враждебные девчонки-сверстницы внезапно превращаются в одну взрослую женщину, красота которой подобна электрическому току высокого напряжения. В итоге первая любовь едва не оборачивается гибелью подростка.

Слово «фараон» в значении полицейский в России употребляется только в переводной литературе (напр., в рассказах О'Генри). В русском сленге милиционер — «мент», «мильтон», в уголовном жаргоне — «мусор».

Нет, речь идёт не о милиции. По-видимому, семья рассказчика — евреи (хотя об этом нигде не говорится, так как в рассказе это не имеет значения), отец сохранил следы еврейского воспитания и пользуется иносказательно образами Библии. Под «фараоном» подразумевается Сталин. Телохранители фараона — это сотрудники НКВД. Один из них — отец Шуки. Из дальнейшего (работает по ночам) можно догадаться, что это следователь.

«То, что становится тягостным бременем для подростка...» Общеизвестно, что девочки созревают раньше мальчиков. Рассказчик

прав. Но он пытается развить эту мысль. Он считает, что в пубертатном периоде, когда происходит ломка организма и меняются формы тела, девочки справляются с этим легче, проще мальчиков. По его мнению, девочки-подростки как бы уже заранее подготовлены к этим переменам и «вступают во владение полом» не так болезненно, как это происходит с мальчиками: подростки-мальчики неуклюжи, не уверены в себе, стесняются своего тела, не знают, куда деть руки, ноги и пр. Для девочек же, как он думает, тело, приобретающее женские формы, не бывает помехой, напротив — они гордятся этими переменами. Рассказчик вспоминает свои собственные переживания и считает их общим правилом.

Романтическая любовь подростка, переживаемая очень интенсивно, — не любовь, а влюблённость; не столько вожелание, сколько обожание. Телесные помышления, пробуждение пола воспринимаются как нечто стыдное, оскорбляющее любимую женщину и унижающее влюблённого. Прибавьте к этому, почти естественному в таком возрасте идеализму пуританское воспитание и гнёт общества, где секс табуизирован. Подросток чувствует себя как бы на крыльях, но в то же время стыдится своих чувств. Напомню Вам, что подростки-мальчики отличаются особенно обострённой стыдливостью. Его любовь — нечто тайное, скрываемое от всех (если узнают, мальчишки во дворе начнут его высмеивать, родители накажут, учителя в школе будут его стыдить, читать ему нравоучения: «разврат», «рано тебе ещё думать о таких вещах» и т.п.). Короче, он будет осмеян и унижен. Не говоря уже о том, что речь идёт об увлечении взрослой женщиной, матерью его соученика. Он и сам мало помалу начинает видеть в своей любви что-то крайне неприличное, недозволенное, унижающее и унижительное. Это обратная и мучительная сторона его романтизма.

«Красота унижает, уничтожает...». Почему? Мне кажется, весь этот абзац достаточно объясняет фразу рассказчика. Перед явлением красоты окружающие ощущают свою неполноценность. Подросток не решается приблизиться к ослепительной красавице, какой она ему кажется, — это чувство знакомо и взрослому мужчине, но подросток переживает его впервые в жизни. Себе самому он кажется некрасивым, неловким. Он теряет, лишается дара речи. Как если бы богиня явилась к простым смертным.

Ваш последний вопрос: «sexual intercourse» или «naked sex»? Рассказчик — немолодой человек. Он находится в «приличном обществе», говорит с дамами. Он начинает с того, что ему трудно рассказывать свою историю благопристойным языком, «от которого, — до-

бавляет он, — мы ещё не отвыкли здесь, вдали от России». (В современной России изъясняются на вульгарном жаргоне). Рассказчик старомоден. Я думаю, что «naked sex» в его устах будет выглядеть слишком современно, слишком прямолинейно и грубо.

«...когда я вошёл следом за ней в большую комнату, полную ожидания».

Мальчик входит в комнату, где он уже был однажды и где прошлый раз произошёл смутивший его разговор о «поклоннике». Теперь его пригласили снова, и ему кажется, что сейчас что-то должно случиться, он ждёт чего-то. С улицы доносятся голоса, там осталось его детство, оно зовёт к себе, но здесь, где оба, мальчик и женщина, наедине друг с другом, — здесь, перед ней, среди роскошных вещей, которые смотрят на гостя с неммым вопросом, перед зеркалом, похожим на омут (в русском языке омут, яма на дне реки или озера, символизирует нечто тёмное, опасное для жизни и в то же время притягивающее; в омут бросались девушки-самоубийцы), — здесь должно что-то произойти.

«Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходитя земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом».

Подросток догадывается, что его влюблённость, встреченная благосклонно, в конце концов приведёт их в постель, что это какой-то неумолимый закон. И ему это кажется чем-то ужасным.

«Непристойное — это обратная сторона сакрального, священное становится непристойным, когда о нём говорят вслух <...> У нас нет языка, чтобы выразить то, что мы хотели бы выразить <...> О сексе можно говорить разве только языком мифа, но проклятье нашего века, нашего воспитания или, может быть, проклятье всей нашей цивилизации состоит в том, что мы воспринимаем миф всего лишь как иносказание».

Напомню Вам, что латинское слово sacer означает и священный, и проклятый (у римлян — посвящённый подземным богам). Рассказчик хочет описать, как произошло первое физическое сближение, рассказать всё без утайки, но не находит для этого подходящих слов. Половой акт есть нечто священное, но если называть вещи своими именами, рассказывать всё как есть, как это было, получится непристойность. О сексе можно говорить лишь языком мифа. Но мы давно

отошли от мифологии, перестали относиться к ней всерьёз, мы, взрослые, уже не воспринимаем миф как нечто живое, имеющее непосредственное отношение к нашему существованию, к живой жизни. Для нас миф — это просто сказка. Или способ обойти неудобные темы, ханжеская уклончивость, лицемерное иносказание.

Sacrilegious, по-моему, не подходит. «Непристойный», согласно Толковому словарю русского языка, — крайне неприличный, предосудительный. Откровенный разговор о сексе рассказчику по старой памяти, в силу его воспитания и оттого, что он находится в дамском обществе, кажется неподходящим, оскорбительным для окружающих, нарушающим правила хорошего тона.

Мне трудно решить, но, кажется, the indecent — самое подходящее слово.

«...мысль и память исчезают в эти мгновения, вроде того как у тонущего лёгкие заливаются водой. Пожалуй, это сравнение можно продолжить. Нашу кровать можно было сравнить с кораблём в океане. За окном всё сверкало и гроыхало, крупный дождь стучал в стекло».

Рассказчик старается передать свои ощущения. Он как будто захлебнулся и пошёл на дно. В это время за окном густые облака заволкли небо, стало темно, пошёл сильный дождь. Аналогия тому, что произошло с ним самим (семяизвержение). И далее продолжается эта цепь метафор: кровать — как корабль во время бури. Дождь стучит в стёкла квартиры. Они оба на качающемся корабле.

«The indecent is the opposite of the deeply intimate». Это неправильно, здесь другая мысль. «Другая сторона» — это изнанка, наподобие изнанки платья. Непристойное — не противоположность, а другая сторона священного, поэтому я и сослался на значение слов sacer, sacralis. То, что является сакральным, есть в то же время и непристойное, то, о чём не говорят. Такова сфера пола.

«Расколдовать демона». Представьте себе заколдованный лес, где водится нечистая сила. В нашем случае — это страх и невозможность говорить открыто,

«Полководец в юбке» — ферзь, королева (в шахматах). Слово ферзь происходит от «ферязь», длинное, наподобие женского платья, одеяние в средневековой Руси. Шахматная фигура напоминает женщину. Но она — главная наступательная фигура.

«Не ждите от меня каких-нибудь откровений, всё, что можно сказать на эту тему, давно сказано. Хитрость в том, что каждому приходится начинать заново. Видите ли, в чём дело: тот, кто думает, что

открытие, которое совершает ребёнок, — можно было бы сравнить его с утратой веры в Бога, если бы мы не жили в атеистическом обществе, — тот, кто думает, что разоблачение тайны пола и есть тот рубеж, за которым кончается детство, — ошибается: можно запомнить все слова и приблизительно знать, что они означают, и оставаться, как прежде, ребёнком. Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходуется земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом».

Попробую объяснить ещё раз.

Пубертатный период, переживания подростка, — говорит рассказчик, — вещи известные, ничего нового я вам (то есть дамскому кружку) тут не открою. Но мальчик ничего об этом не знает. Даже если он что-то слышал от приятелей, читал в книжках, — это ничего не меняет. Ведь тут дело идёт не о ком-то другом, а о нём самом. Как все в его возрасте, он сосредоточен на самом себе; он открывает себя, и это открытие оказывается и очень важным, и достаточно болезненным. И вот, говорит рассказчик, особенность нашей природы, её хитрое устройство, обусловленное простым фактом: каждый из нас — суверенная обособленная личность, — состоит в том, что, хотя все более или менее похожи друг на друга, каждому приходится всё переживать заново. Каждый должен пройти этот путь в одиночку. Конечно, разоблачение тайны пола и половой жизни, которую взрослые скрывают от детей, наступает раньше, чем приходит пора полового созревания: мальчишки рассказывают об этом друг другу, девочки слышат эти рассказы от сверстниц ещё раньше. Но ошибка думать, что с этим открытием наступает конец детства. Дети остаются детьми. Это открытие может дразнить любопытство, но остаётся формальным. Конец детства — это когда приходит первая мучительная любовь и вместе с ней догадка о том, что любовь, нечто высокое, — в конце концов приводит к чему-то (как думает подросток) позорному и унижительному. Мальчику, каким вспоминает себя рассказчик, это кажется катастрофой.

Письма к Я.И. Мееровичу¹ (Якову Серпину) 1998–2000

Мюнхен, 16 апр. 98

Дорогой Яша, ты подарил мне в мой первый приезд поэму «Насими» в твоём переводе, двадцать два листа с лишком. А теперь ты пишешь об эпосе Фазу Алиевой объёмом, который сопоставим с «Илиадой». Поражаюсь твоей творческой работоспособности, а ещё больше тому, что такие произведения всё ещё пишутся. Раньше мне казалось, что огромные поэмы представляют собой стихотворный аналог романов, которые в советское время было принято называть опупеями; ты, конечно, помнишь это словцо. Последним образцом этого рода были Колёса, в большой мере сохранившие верность социалистическому реализму. Но что побуждает талантливого поэта (ты говорил, что Фазу очень талантлива) трудиться в жанре, который, может быть, умер навсегда? «Умчался век эпических поэм». Или Пушкин заблуждался? Или, может быть, это не относится к Востоку? А впрочем, хорошо, что есть работа. Не можешь ли что-нибудь прислать из своего? Как ты себя чувствуешь? Растаял ли, наконец, лёд перед домом? У нас, как часто бывает, природа никак не может решить, какое время года ей выбрать.

Я не совсем понял, занялся ли ты вплотную Овидием (или ещё кем-нибудь), то есть выкроил ли время, или всё ещё «обходишь дозором». Для меня любимым и живым поэтом древности по-прежнему остался Гораций. Он ведь даже был со мной в лагере; может, поэтому и остался в живых. Живу я всё так же. Назвать моё существование вполне свободным от суеты, забот, разных неприятностей и прочего я бы не решился, но всё же я не хожу на службу, это, брат, великое дело. Завтра собираюсь поехать в городок Бад-Цвишенан в Нижней Саксонии, довольно далеко от нас, оттуда в Эссен, а в мае — на церемонию в славный город Гейдельберг, где твоему слуге, представь себе, отвали-

¹ Яков Иосифович Меерович — поэт, переводчик, филолог-классик.

ли литературную премию. В России это было бы немислимо. Что я пишу? Мне принесли только что третий номер журнала «Знамя», где, как оказалось, помещена статья об истории нашего бывшего журнала, скончавшегося шесть лет назад; это старое сочинение. Из более свежих «Октябрь» обещал напечатать несколько рассказов и один небольшой роман, действие которого происходит в деревне. Я работаю (если это можно назвать работой) всё время, я даже не могу себе представить, что бы я делал без литературы, но никакого отклика — я имею в виду опять-таки Россию — эта деятельность не встречается.

Крепко обнимаю тебя. Всем твоим привет.

München, 15. Juli 1998

Дорогой Яша, последний раз я писал тебе уж не помню когда, должно быть, весной, а сейчас уже середина лета. У тебя должен быть отпуск — впрочем, конечно, не от домашних забот и, очевидно, не от работы с переводами. Удалось ли тебе разделаться с гигантской поэмой Фазу Алиевой? Платят ли сейчас сколько-нибудь приличный гонорар за этот каторжный труд? Как называется поэма и где она будет напечатана? И, наконец, переводы так называемых национальных поэтов, составлявшие интегральную часть литературы, — существует ли сейчас эта институция?

Я получил два письма от Оли Петровой, — она и теперь носит эту фамилию, — её жизнь, в отличие от других, сложилась удачно. Единственное, на что она жалуется, то, что, живя в Крыму, они оказались в другой стране. Не могу её представить себе пожилой дамой, доцентом, автором учёных трудов, матерью семейства и так далее.

Я ездил в Гейдельберг, во Фрейбург; как ты помнишь, это великие университеты и старинные, к счастью, мало пострадавшие во время войны города. Осенью собираюсь, как обычно, на книжную ярмарку во Франкфурт, где издательство DVA (что означает Deutsche Verlags-Anstalt), давно меня приютившее, выставит роман, в немецком переводе называемый «Vögel über Moskau». Но главное событие осени, если доживём, — полёт в Чикаго на две недели, будем сидеть с внуком Яшей, чтобы дать немного отдохнуть родителям. Этому господину полтора года. Он одновременно немец, еврей, русский и американец. Все четыре персонажа анекдотов в одном лице. Путаные дороги, по которым блуждали его разношёрстные предки, сошлись на нём. Как-то раз, я помню, я видел по телевидению выступление покойной Маргариты Юрсенар, автора «Мемуаров Адриана», она высказала простую, но удивительную мысль. Генеалогические деревья изображаются, сказала она, ветвями книзу; на самом верху — ствол:

легендарный родоначальник. Между тем следовало бы дерево перевернуть. Ствол — это мы. У каждого из нас два родителя, четыре пра-родителя, шестнадцать прапрадедушек и прапрабабушек и так далее; итог этой геометрической прогрессии тот, что за каждым стоит всё некогда существовавшее человечество.

А пока что твой тёзка ни то, ни другое, ни третье, немножко понимает главным образом немецкую речь и произносит отдельные слова, возможно, шумерского происхождения.

Остаётся ли у тебя свободное время для чтения, для каких-нибудь развлечений? для музыки? Ты говорил как-то, что занимался богословием. Что ты читаешь? Видишь ли кого-нибудь из наших?

Обнимаю тебя, привет домашним.

Мюнхен, 17 авг. 1998

Дорогой Яша, я перечитал (в компьютере) своё последнее письмо от 15 июля и твоё от 2 августа, прибывшее несколько дней тому назад; все письма, которые я тебе писал и полученные от тебя, как будто дошли. Итак, ты переводишь дух после огромной работы. У меня не укладывается в голове, как можно было одолеть эту махину, справиться с поэтической задачей подобного масштаба в такой относительно короткий срок. Поэма Фазу должна быть издана в Махачкале. Есть ли там русские читатели? Поэма рифмованная; существует ли рифма в аварской поэзии? Гонорар, как ты пишешь, — 4 копейки за строку. Если бы Гомер, сочинивший, если не ошибаюсь, 27 тысяч гекзаметров (15 тыс. «Илиада» и 12 тыс. «Одиссея») или около того, получал за строчку столько же, получилось бы 108000 копеек, то есть чуть больше тысячи рублей; анекдотическая плата. Правда, в нынешней Греции или даже в Германии он едва ли сумел бы заработать больше. Конечно, при условии, что удалось бы найти издателя.

Может ли поэтесса в Дагестане, даже такая продуктивная, жить на литературные заработки? Что она за человек?

На этих днях исполняется 16 лет, как мы покинули отечество. Я помню этот день, как вчера или сегодня. Я помню всё это жуткое время, омерзительных людей, сидевших в многочисленных учреждениях. Большинство из них проявляло такое рвение, или, лучше сказать, остервенение, какого, может быть, от них и не требовали, и трудно было понять, что ими руководило: служебный долг, советский патриотизм или обыкновенная зависть. Должно быть, всё вместе. И, наконец, последний день, обыск на Шереметьевском аэродроме с раздеванием догола, как во Внутренней тюрьме, полёт в советском самолёте и Вена: тишина, солнце и поразительное чувство, что никого и ни-

чего больше нет, ни Москвы, ни русского языка, ни злобных таможенников, ни КГБ, ни хамских окриков, ни всего этого блядства. Всё давно ушло, провалилось в тартатары, и когда я теперь приезжал, всё выглядело уже совсем по-другому. Но лица и голоса были всё те же.

Через две недели я собираюсь поехать в Альгой, на крайний юг страны, где один старый приятель, отставной профессор, будет отмечать своё 75-летие, — доживём ли мы сами до этой даты? — дорога всё круче, — а потом предстоит, как я тебе уже писал, полёт на две недели в Чикаго.

Пока это письмо доберётся до тебя, подойдёт начало учебного года. Сможешь ли ты уделять время поэзии? Что касается меня, то я теперь большую часть времени сижу дома. Вместо того, чтобы заняться романом, который еле шевелится, засыпанный каким-то песком, я потратил всё лето на сочинение разных мелких сочинений, от которых надо было отвязаться. В Штутгарте должна выйти на этих днях книжка, которую повезут, в числе других сомнительных достижений, на Франкфуртскую ярмарку. Журнал «Октябрь» обещал тиснуть в августе мой роман, который даст мне право, как я надеюсь, считаться писателем-деревенщиком. Поздновато, ибо пейзажная литература как-то зачахла; но всё же.

Дорогой Яша, не хворай, будь бодр, сердечно обнимаю.

Мюнхен, 5.XI.1998

Дорогой Яша, твоё письмецо от 15 сентября давно уже прибыло, на этот раз я задержался с ответом. Сначала — путешествие в Чикаго, потом радикулит, настигший меня аки тать в ночи, потом, едва успокоились боли, тромбоз геморроидального узла, из-за чего пришлось лечь в больницу и подвергнуть себя хирургическому вмешательству, как это было уже однажды семь лет тому назад. Из-за радикулита пришлось на этот раз отказаться от поездки на ежегодную книжную ярмарку во Франкфурт, где издательство DVA выставило мою книжку, только что вышедший роман, и забронировало для меня гостиницу. Впрочем, всё *vanitas vanitatum*. Как ты там? Учебный год, очевидно, уже в полном разгаре. Какая у тебя нагрузка в этом году? Продолжаешь ли ты, кроме университета, преподавать в лицее? Ты писал, что с лицеем в этом году будет покончено. Что поделявает твоя муза (прислал бы что-нибудь) и продолжается ли работа над эпосом Фазу Алиевой.

В Москву я в этом году, как видишь, не собрался. Между тем тучи весьма сгустились, и я даже не знаю — никто не знает, — есть ли реальная надежда выбраться из этого кризиса в более или менее близ-

ком будущем. Новости, довольно скудные, которые я черпаю главным образом из рассказов и сплетен, а также телевизионных передач, маловразумительны и во всяком случае не вдохновляют.

Я надеюсь вернуться к моему прежнему образу жизни, пытаюсь снова заниматься прежними делами, что-то писать, листаю книжки, слушаю музыку, что мне ещё остаётся? В ноябре и январе предстоят вечера в Нюрнберге и в Гамбурге, — чтобы достичь последнего пункта, как ты знаешь, мне нужно пересечь всю страну с юга на север. По здешним масштабам это довольно далеко, не меньше шести-семи часов самым быстрым поездом, по российским же — рукой подать. (Недавно, впрочем, я совершил ещё одно довольно далёкое путешествие по автострадам в один вестфальский городок). Я не отказываюсь от приглашений, так как за это платят гонорар. Вообще же за все минувшие годы я исколесил, можно сказать, всю Германию вдоль и поперёк. Помнишь ли ты: «По Саксонии сосновой, по Тюрингии дубовой, по Вестфалии бузиновой, по Баварии хмельной...», любишь ли ты Багрицкого? Мы как-то мало говорили о поэтах. А сохранил ли ты былую дружбу с Боротынским? Кого ты вообще любишь?

Письмо состоит из одних вопросов. Будь здоров, Яша, кланяйся твоим.

Мюнхен, 10 марта 1999

Дорогой мой Яша! С почтой творится что-то непонятное, я отвечаю регулярно на каждое твоё письмо. Дойдёт ли это письмо? Я болел довольно неприятным гриппом, потом провёл три недели в санатории в Нижней Баварии по поводу замучившего меня радикулита, вернулся только сегодня и нашёл в ящике твоё письмецо от 17 февраля — по правде сказать, не очень-то радостное... Авось весной станет легче. А я, между прочим, совершенно забыл о твоём дне рождения, на всякий случай поздравляю тебя сердечно с круглой датой. Сам-то я этот порог уже перешагнул и не устаю удивляться, как нам удалось дожить до таких лет. Подумай, какой невообразимой далью казался тогда, в университете, конец века.

То, что ты сумел получить отпуск, — как бы он там ни назывался, — всё-таки неплохо. Ты пишешь об изданиях переводов; а как обстоят дела с твоими собственными стихами? Я по-прежнему занимаюсь своей литературой, но опять же в последние два месяца почти ничего не смог сделать. В январе мы, как и в прошлом году, ездили в Венецию, а потом началась эта история. Лора, кроме того, ездила на три недели в Чикаго, на этот раз без меня, — пасти нашего внука, твоего тёзку. Ему третий год, он начал произносить отдельные фразы,

по-английски или по-немецки, смотря по тому, с кем приходится иметь дело, — у детей это перекодирование совершается с поразительной лёгкостью. А вот русский язык не только никогда не станет для нашего потомка родным, но очень может быть, что он вообще не будет его знать. Кстати, в Германии появилось огромное количество людей из России, главным образом с Украины. Даже в маленьких городках можно услышать на улице южнорусскую речь.

Круги странным образом замыкаются и расходятся. Как-то раз, это было давно, в городе Нью-Хэйвен (где находится Йельский университет) один профессор меня спросил, знаю ли я этимологию моего имени. Я сказал, что фамилия Файбусович происходит от еврейского имени Файвус или Файвуш, а окончание славянское (белорусское). Он возразил, как обычно возражают евреи: «Да, но...» По его мнению, Файвус — это северогерманская транскрипция латинского *vivus*. Весьма сомнительная гипотеза, но если ей верить, мои предки должны были переселиться на Восток откуда-то из тех мест, что само по себе весьма вероятно.

Бываешь ли ты где-нибудь, кроме кафедры? Что читаешь? Кого видишь? О том, что умер Ося Вайнберг, я знал. Что с ним случилось? Я видел его в один из моих приездов, это была прекрасная встреча, и он был, как мне показалось, более или менее здоров.

Мюнхен, 5 мая 1999

Дорогой Яша! Конечно, я хорошо помню ваше жилище в Проточном переулке, а сейчас вспомнил и славные «мееровичи». Я тоже разгуливал в заплатанных портах, правда, не до такой степени заплатанных, и, хотя мне это вовсе не доставляло огорчения, стеснялся снимать на занятиях чёрную железнодорожную шинель моего отца под предлогом, что в аудиториях холодно. Темно-желтые книжечки серии «Римские классики»? Как же; у меня и сейчас стоит на полке одна такая книжка, *Orga selecta* Горация, изд. 1947 года, с вводной статьёй академика Покровского, покойного мужа Жюстины Севериновны, и даже с кое-какими моими пометками карандашом, — одна из немногих оставшихся со мною после России книг. Есть у меня и обе грамматики — латинская и греческая С.И. Соболевского. Вот, кстати, поэт (Гораций), который действительно остался на всю жизнь, был со мной в лагере, я читаю его до сих пор, однажды даже сочинил рассказик о том, как Меценат приехал к нему в гости на виллу в Сабинских горах.

А что касается Арбата и бывшей улицы Коминтерна, потом Калинина, ныне снова Воздвиженки, — сколько воспоминаний связано с

ней и всем этим районом. На улице Фрунзе (Знаменке) жила моя двоюродная сестра Ада, я там бывал с детства; в одном из переулков, соединяющих Знаменку с Воздвиженкой, проживала её подруга по имени Мэри, одно из недолгих увлечений в последний год войны, да мало ли что ещё было.

Когда (и если) это письмо дойдёт, весна в Москве уже кончится. Внезапный приход весны — это тоже осталось в России, так было всю жизнь с тех времён, когда у нас во дворе ставили снеготаялку, гремели сосульки в водосточных трубах и сверкающие ручьи текли в подворотню и оттуда по переулку вдоль тротуара. Здесь у нас зима незаметно переходит в весну, которая довольно скоро оказывается летом или даже, минуя лето, осенью. Настоящим зимним месяцем, со снегами и морозами, можно назвать только вторую половину января и полфевраля, да и то не каждый год. И всё же у нас тоже весна, цветёт черёмуха, тёмно-розовая японская вишня, на каштанах появились белые и розовые свечи, и дрозды поют под окном с четырёх часов утра так неистово, что просыпаешься то и дело.

Живу туда-сюда, без особенных перемен. Занимаюсь своей литературой, временами езжу по Германии. Изредка получаю письма от Нины Кацман — она совершила большую поездку в Англию, тяжело болела гриппом — и от Оли Петровой из Симферополя. Все стали бабушками. Видишься ли ты с кем-нибудь? Когда возобновляются занятия в университете и лицее? Как вообще сейчас выглядит университет? Какое у тебя впечатление от студентов?

Крепко обнимаю тебя, не хворай, кланяйся семейству.

Мюнхен, 15 июня 00

Дорогой Яша! Я заглянул в компьютер — последнее письмо от тебя, на которое я ответил, было около года тому назад. И вот, наконец, вынимаю из ящика конверт с обратным адресом «улица Цюрупы», слово, похожее на урюк, так и хочется переставить гласные. Никто, наверное, уже давно не помнит, кто такой был этот Цюрупа; я тоже не помню.

У тебя диабетическая ретинопатия — так это называлось в наши медицинские времена. Беда. Моё зрение тоже ухудшилось, но, видимо, не так серьёзно, как у тебя. Удивляюсь и восхищаюсь тем, что ты ходишь на работу, занимаешься переводами. Ты не написал о том, когда всё-таки выйдет твой сборник стихов, как он называется.

В Италии я был много раз, в разных местах, но всё же многого из того, что тебе удалось увидеть, не видел.

Что нового произошло за этот год... В Москве я за это время не был, зато мы снова гостили в Америке, где нашему внуку теперь уже три с половиной года. Путешествие было довольно насыщенное, из Чикаго мы полетели в Сан-Франциско, замечательно красивый, привольный город, потом ездили за 300 километров в Национальный парк Йосимити, оттуда назад в С.-Франциско, потом снова в Чикаго. Ездил я и по Германии. На следующей неделе собираюсь в Баденвейлер, курортный городок в Шварцвальде, где — ты помнишь — умер Чехов. Он сделался своего рода литературным патроном этого города. Вообще же я стал довольно инертен и большую часть жизни торчу дома, слушаю музыку. Время от времени ездим купаться на городское озеро, в восьми минутах езды от нас. Никаких планов на лето нет, в августе, если ничего плохого не случится, хотим поехать на Всемирную выставку в Ганновер.

Я дописал с грехом пополам один небольшой роман, который называется «Аквариум» и начинается с описания океанологического музея, похожего на музей-океанариум в Чикаго. Там мы бывали с твоим прославленным тёзкой несколько раз, музей произвёл на нас обоих большое впечатление. Кстати, в Чикаго функционирует знаменитый Чикагский симфонический оркестр, есть прекрасная опера и Institute of Art — богатейшая картинная галерея. Но в романе моём речь вообще-то идёт о России. Заключил с немецким издательством DVA, где меня терпят уже много лет, договор на другой роман, предыдущий и уже печатавшийся в России, под поэтическим названием «Далёкое зрелище лесов». Писал также разную всячину, рассказы, этюды; кое-что появлялось в «Октябре». Целый год я обменивался электронными письмами с одним профессором из Вашингтона, проект был сделать книжку бесед о литературе, об изгнании и прочих увлекательных предметах, и даже маячил на горизонте грант. Работа закончена или почти закончена, но грант лопнул. Найти издателя не просто. Так что хвастать нечем.

Одно время я получал более или менее регулярные письма от Нины Кацман и от Оли Петровой из Симферополя (украинская почта, между прочим, работает много лучше российской). Но обе что-то замолкли.

Мюнхен, 22 ноября 00

Дорогой Яша! Прочитал в твоём письме: «Сочетаются ли ранние стихи (45–50 годы) с поздними (90–95 гг.)?», и сразу вспомнилось: «Сколько лет инвалидом стоял в депо, прислонившись к обветренной стенке...» и так далее, мне особенно нравилось это «подогнув колен-

ки», вероятно, напоминало ломаный игрушечный паровоз; вообще я помню всё стихотворение наизусть. Его, конечно, нет в этом сборнике. Помню, как ты читал его, и не раз, как буй-тур Луговской в поэтической студии университета, в полуподвальных комнатах клуба на Моховой, который теперь захватила, чёрт бы её побрал, церковь, — как Луговской трубным басом, под навесом своих знаменитых бровей, спрашивал: что значит «к обветренной стенке»? «Я бы выбил портрет его — дым и угли», — это тоже вызвало недоумение у нашего принципала. Брови, да ещё «Песня о ветре» — вот и всё, кажется, что от него осталось...

Итак, книга стихов вышла, я получил её с небольшим опозданием, так как был снова в разъездах. Таскался по Рурской области, — выступления и разные встречи, — через неделю ездил во Франкфурт и на дачу к друзьям в Рейнгау. Приезжаю — лежит уведомление о том, что на почте меня дожидается заказное отправление. Прекрасная латинская дарственная надпись. Но почему же *ultimum donum*?

Книжка прекрасно смотрится и, по-моему, составлена очень удачно: книга, а не сборник. Правда, отсутствуют даты стихотворений. Может, они и не нужны. Как бы то ни было, вырисовывается целая поэтическая жизнь. Множество стихов нравятся мне как стихи и близки внутренне; некоторые вообще как будто написаны от моего имени. Спасибо тебе за этот подарок.

Я вернулся с своим занятиям, что-то пишу, утром кажется — вроде бы терпимо, вечером ужасаюсь беспомощности и никчёмности написанного. В Новосибирске собрались выпустить небольшой сборник моих статей или «эссеев». В моё отсутствие у нас снова гостила наша сноха Сузанне с внуком Яшей, которому исполнилось четыре года. А ведь я так живо помню время, когда моему сыну было четыре года.

Обнимаю тебя, бодрись. Сердечный привет Лиле.

К вдове

2002

Дорогая Лилия! Ты задаёшься вопросом, какому жанру принадлежит написанное тобою, но жанр сложился сам собой: это записки о жизни; может быть, так и следовало бы назвать эту книгу или хотя бы обозначить в подзаголовке. Во всяком случае, это целая готовая, сильно и прекрасно написанная и по-своему законченная книга. Я читал её без передышки несколько часов подряд до самого вечера, сегодня с утра дочитывал.

Я нахожусь под сильным впечатлением от всего, что там высказано и рассказано, и, хотя сам я постоянно живу в воспоминаниях о жизни в России, у меня такое чувство, как будто меня снова окунули в этот страшный быт, в эту повседневную и повсеместную бесчеловечность, в эту «систему», как ты её называешь, где все друг друга унижают и угнетают, где издевательство над человеческой личностью — не исключение, а правило и традиционный стиль жизни, так что невозможно уже понять, где причина, где следствие, кто виноват, советская власть или вековые традиции: это что-то вроде обратимой функции, если существует такой термин. Ах, что говорить...

И над всем этим — великая любовь, описанная так, как это может сделать только женщина; единственное, непоугающее Солнце жизни.

Книга заставила меня ещё раз задуматься над судьбой Яши (нечего и говорить о том, что дружба с ним сыграла в моей жизни очень большую роль), и мне кажется сейчас, что два главных события его жизни были для него великим счастьем и драмой. Счастьем была встреча с тобой. Драмой — то, что профессия поэта-переводчика в большой мере оттеснила его собственную, изначальную поэзию.

Я перенёс все три части присланного тобою текста в свой компьютер в таком порядке, как они находились в attachment'e, и хронология оказалась переставленной, но от этого цельность книги насколько не нарушилась, ведь воспоминание — процесс, который не бывает линейным.

В первом отрывке ты возвращаешься к нашему разговору, к сожалению, короткому, на станции метро; ты как бы снова спрашиваешь меня, готов ли я принять участие в задуманной тобою книге. Представь себе, я не знаю сейчас, что ответить. Книга, собственно, уже сделана. На 144 страницах ты сумела рассказать об очень многом, собственно, обо всём, и если бы что-то понадобилось к этому добавить, это могла бы сделать только ты.

Я постоянно думаю о прошлом — это несчастье и привилегия старости. Но так как я занимаюсь писательством или, по крайней мере, внушаю себе, что я писатель, то мои воспоминания, очень живые и подробные, превращаются в материал для чего-то другого, назовём это громким словом: для литературы. Отсюда следует, что если я, например, обращаюсь к временам нашей университетской юности, то получается нечто такое, что может вызвать отталкивание у живого свидетеля и участника этой жизни. Он скажет: всё было совсем не так! Химический процесс, пышно именуемый творчеством, денатурировал действительность. Хуже того: самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Не будем, впрочем, залезать в эти дебри.

Я написал два романа, в которых действие происходит в университете в послевоенные годы. Первый, под названием «Антивремя», был сочинён ещё в Москве в конце 70-х и начале 80-х годов, был у меня отнят во время второго обыска и «арестован» как антисоветский, о чём меня вполне серьёзно уведомили в специальной бумаге. Этот роман я потом написал заново (и даже послал в Москву, когда он был издан, экземпляр с дарственной надписью заместителю начальника следственного отдела Прокуратуры, руководившему акцией по изъятию рукописи; надеюсь, он был тронут). Конечно, я вложил в эту книжку много личного; тем не менее университет и тогдашняя Москва — это лишь более или менее правдоподобные кулисы. Действующие лица и сюжет выдуманы.

Теперь, представь себе, совсем недавно, я снова вернулся к тем местам и временам и дописывал в Париже, как раз в те дни, когда ты прислала мне свою книгу, другой небольшой роман или что-то в этом роде (называется «К северу от будущего»), где снова идёт речь об университете, войне и второй половине сороковых годов. Я не представляю себе, кого сейчас в России могло бы заинтересовать подобное сочинение, но это вопрос, который приходится выносить за скобки. Важно, что и тут снова, может быть, даже в ещё большей степени, литература перемолола реальность. От этого, возможно, пострадала убедительность книги, — но тут уж ничего не поделаешь.

Конечно, мне случалось писать и что-то мемуароподобное. Но я не знаю, как сейчас, в состоянии, похожем на выжатый лимон, я мог бы приняться за что-то подобное.

Я уже писал тебе, что собираюсь (25-го) лететь в Чикаго. Если до этого времени у тебя будет время и желание написать мне что-нибудь, буду рад и благодарен. Вернуться я должен — это ещё точно не решено — в середине октября. Ещё раз — спасибо, дорогая Лиля, крепко жму руку, мужайся, обнимаю. Г.

Письма к Г.Н. Новикову¹

Мюнхен, 3 июля 1998

Дорогой Гера! Чтобы покончить с нашей философской контрверзой, ответу, почему, как мне кажется, нужно возразить против твоего тезиса о том, что мышление и мысль возможно будет со временем понять (то есть описать) наподобие того, как было понято и описано движение Земли вокруг Солнца, описано строение молекулы и атома и т.п. Я вовсе не хочу сказать, что мысль есть нечто абсолютно непостижимое, для человека, получившего как-никак естественнонаучное образование, это заявление было бы странным. Но те категории и методы познания, на которые ты ссылаешься, в данном случае неадекватны и неприменимы. Мысль не есть объект, подобный небесному телу или микрочастице. Мысль вообще не может быть «объектом». Объектом исследования и описания может быть лишь её субстрат, или, лучше сказать, процессы, которые сопровождают мышление и в той или иной мере его обуславливают; эти процессы уже и сейчас изучены чрезвычайно подробно. Но они не идентичны мысли.

По поводу *Les gardiennes* Анри де Ренье, стихотворения, которое мне очень нравится и в оригинале, и в твоём переводе, сделанном теперь уже полвека назад, скажу ещё раз: как жаль, что ты не предпринимал тогда никаких попыток (по-видимому, и не помышлял об этом) публиковать свои стихотворные переводы или хотя бы связаться с людьми, которые профессионально занимались французской поэзией, символистами и т.д. даже в те гнуснейшие времена. Ведь твои переводы часто не уступают работам весьма известных и искусных переводчиков. Жаль... Кстати, ещё одно, чтобы не забыть: продолжаешь ли ты «Записки дилетанта»? Я тут недавно получил от Марка Харитонова выдержки из его дневника, который он вёл много лет и сейчас готовит для публикации; а некоторое время тому назад по странному совпадению я сам сочинил довольно пространную статью о дневниках писателей. Эту статью обещал тиснуть в конце года всё тот же многотерпеливый журнал «Октябрь».

¹ Григорий Наумович Новиков — инженер-физик, преподаватель техникума.

Мережковского я читал в конце войны, уже вернувшись в Москву, когда работал на почтамте: ходил по вечерам в читальный зал Исторической библиотеки в Старосадском переулке и брал там огромный трактат «Не мир, но меч»; читал с упоением; в университете читал некоторые романы. По-видимому, это умерший писатель, причём во всех трёх лицах: и как философ, и как романист, и как слагатель стихов.

Помнишь ли ты, как во время войны я тебе писал, что никаких национальных характеров не существует, и ты резонно возражал мне. И вот теперь ты у меня спрашиваешь, в чём состоит, по моему мнению, отличие европейцев от русских. Вопрос молчаливо исходит из презумпции, что русские — это не европейцы. Ты подразумевал Западную Европу. При этом опять же имеется в виду, что Европа — это нечто целостное, почти однородное и в этом качестве может быть противопоставлена России и россиянам; между тем как Европа столь же едина, сколь и разношёрстна; Германия и Франция, Франция и Италия, Север и Юг, Англия и континент — это разные миры, и сами европейцы это прекрасно чувствуют.

Мне легче говорить о конкретных европейцах — например, о немцах. Это самый многочисленный народ в Западной Европе, вдобавок населяющий срединную страну, — ясно, что тут всего намешано и в антропологическом смысле, и в том, что касается черт национального характера. Правда, «характер» — вещь в себе, нечто неподдающееся определению. Во всяком случае, о нём, как и о пресловутом русском характере, можно говорить лишь с большой осторожностью, с бесконечными оговорками. И всё же.

Сейчас, когда много людей из России приезжает в Германию, кто с целью поселиться и зажить по-человечески, кто в гости или на заработки, кто с намерением попользоваться богатством и либерализмом чужой страны, кто вообще неизвестно зачем, — сейчас эта разница, может быть, больше, чем когда-либо, бросается в глаза. Всем рассуждениям на эту тему должно, однако, предшествовать, как я думаю, отчётливое понимание того, что нынешний облик человека из России в большой мере сформирован последним веком; русская классическая литература снабжает нас представлениями, которые сегодня уже весьма далеки от действительности. Язык не лжёт, и появившиеся меньше десяти лет назад словечки «совок» и «совковый» выражают некую истину. Три войны и семьдесят лет советской власти, истребив или изгнав огромную массу людей, преобразили «оставшийся» народ.

Человек из России (будем условно называть его просто русским) кажется постоянно и тщетно воюющим с самим собой, с хаосом, живущим в его душе, и неорганизованностью, которые составляют часть его натуры; он ничего не может с ними поделать. Он всегда опаздывает, не

вовремя приходит, не вовремя уходит, не держит слово, не выполняет обещаний, любит уклоняться от решений, не имеет представления об учтивости, не знает разницы между вежливостью и подобострастием. Его отношения с государством и обществом напоминают жизнь подростка под гнётом деспотичного отца; он принижен и раболепен, и бунтует тайком; он ненавидит своего отца и обманывает его как только может, но беспомощен без его опеки; свобода для него синоним анархии. Русский человек редко бывает жадным, с трудом приучается вести счёт собственным — а также чужим — деньгам. Он может быть жесток и человеколюбив, груб и жалостлив. Одна из самых устойчивых черт его характера, именно та, которая сейчас подвергается наибольшему испытанию, может быть даже уходит в прошлое, — небуржуазность и даже антибуржуазность.

Немец теряет и негодует, когда видит малейшее отступление от заведённого порядка; он «порядочен» в обоих смыслах этого слова. Он верен данному слову, верен обязательствам, верен долгу, верен даже там и тогда, когда верность лишается смысла, а то и вовсе предосудительна. Он любит труд, владеет культурой труда, его трудолюбие и старательность могут принимать почти болезненные, невозможные на взгляд русского человека формы. Ему с большим трудом приходится привыкать к мысли, что люди другой национальности не считают добродетельным то, что он привык считать добродетелью. Русский нигилизм ему претит. Он практичен и расчётлив. Это приводит к тому, что он может быть гораздо более эгоистичен, чем человек, выросший в России. Он куда опрятней внешне и внутренне, физически и морально. Он более замкнут, часто бывает стеснителен, внутренне скован, порой в нём чувствуется какая-то судорожность. Он не умеет по-настоящему наслаждаться жизнью. Как все европейцы, он строжайше блюдет границы своей индивидуальности. Нарушение этих границ может мгновенно сделать внешне цивилизованного человека чёрствым хамом. Вместе с тем ему нередко свойственна черта, в большой мере определившая своеобразие немецкой литературы, — особого рода задумчивость о жизни. Немцы необычайно музыкальны, это тоже отличает их от подавляющего большинства русских.

Твой второй вопрос ещё трудней: «кто умнее, мужчина или женщина». Оба умнее — или оба глупее. В сущности, мы знаем ответ (или ответы), нам подсказывает их опыт жизни. Но подытожить это знание трудно. Вопреки успехам равноправия, феминизма, известной феминизации общества, женщина по-прежнему в большей мере ориентируется на мужчину, приспосабливает и ориентирует своё поведение, сообразуясь с присутствием мужчины и необходимостью завоевать мужчину, чем мужчина приспосабливается к женщине; это значит, что ум

женщины нужно было бы оценивать дважды: как собственно женский ум и как адаптированный псевдомужской. Ясно, во всяком случае, что умственные способности и дарования женщин не уступают мужским. С точки зрения мужчины женщины в массе своей несравненно глупее мужчин; с точки зрения женщин — мужчины тупы, несообразительны, недогадливы, узколобы, духовно неповоротливы и просто глупы. Традиционное представление, будто женщины живут главным образом «сердцем», а мужчины — «головой», приходится постоянно подвергать сомнению, хотя в нём присутствует, видимо, зародыш истины. Я тут, между прочим, сочинил одну небольшую повесть (с довольно скандальным сюжетом), где есть нечто по этому поводу. Можно было бы написать небольшой этюд на тему о том, как по-разному ведут себя женщины и мужчины в изгнании, в эмиграции, какому испытанию подвергается «женский» и «мужской» ум на чужбине, — это как раз та ситуация, в которой искомая разница высвечивается весьма демонстративно. Но письмо разрослось.

Гера! Дорогой Гера. Что сказать об одиночестве? Это судьба многих. От чего, конечно, не становится легче. Как всегда, ты очень мало пишешь о дочерях, это, конечно, само по себе говорит о многом. Но всё же: что делает Алла? Живёт ли она по-прежнему с человеком, которого я видел. Как живёт Ирина? Я всегда с нетерпением жду твоих писем. Крепко тебя обнимаю и целую.

Мюнхен, 24 мая 1998

Дорогой Гера, твои вопросы о природе мышления или, лучше сказать, твои возможные ответы (мысль — комбинация микрочастиц, волновое движение полей, химический процесс и т.п.), на мой взгляд, некорректны, так как остаются в области объективного, сводят мысль к некоторому объективному, наблюдаемому извне явлению, между тем как мысль по определению не может быть объектом. Это то же самое, как если бы мы пытались сфотографировать галлюцинацию и ожидали бы увидеть её следы на светочувствительной плёнке. В мире объектов, в терминах позитивной науки — физики, химии или нейрофизиологии — мы можем говорить лишь о корреляциях, например, можно вводить микроэлектроды в клетки отделов, ответственных за высшую нервную деятельность, — скажем, в серое вещество полушарий большого мозга, — и наблюдать те или иные изменения электроэнцефалограммы. Угадать, какому «содержанию» отвечают эти изменения, то есть читать мысль, мы не можем. Я забыл многое, и вдобавок наука ушла далеко вперёд с тех пор, как я учился этим премудростям, но и тогда уже, к примеру, были достигнуты значительные успехи в понимании нейрохимической природы шизофрении. Но и в этом случае речь

может идти только о корреляциях, о том, что субъективные знаки болезни, поскольку о них вообще можно судить (по высказываниям больного, по характеру бреда, по внешнему поведению), сочетаются с теми или другими изменениями химизма мозга. Ты скажешь, что эта старая точка зрения классиков нейрофизиологии, старинный дуализм; совершенно верно. Ты называешь себя материалистом, я и на это не посягаю, хотя «материализм» — малосодержательный термин. Я говорю лишь о том, что нельзя втиснуть «мысль» (как бы мы ни пытались её определить) в систему понятий, принципиально исключающих её или, что то же самое, редуцирующих мысль к частицам, волнам и т.п.: ведь это и означает лишить мысль её решающего признака — субъективности, ненаблюдаемости, непереводимости.

А вот насчёт памяти... Я, собственно, имел в виду не память на имена, числа и так далее, вообще не «такую» память; я и сам нередко, разговаривая со знакомым, мучительно пытаюсь вспомнить, как его зовут; вдруг забываю слова, немецкие, русские; ты утверждаешь, что память твоя ухудшается, но правильной было бы, я думаю, сказать, что память не ухудшается и не улучшается, но меняет свою ориентацию. Словом, я говорю о другом — о памяти прошлого, бесконечных воспоминаниях, которые всегда здесь, всегда при тебе, как некто шепчущий на ухо. И чем старше становишься, тем эта память становится всё навязчивей. Разве я неправ?

Странно: ты писал мне, что плохо помнишь Галю Гинзбург, а между тем у тебя сохранилось так много стихов к ней и о ней. Стихотворение «Осень сегодня такая красивая...» очень хорошее, его главное достоинство — простота и задумчивость. Единственное возражение — то, что можно было бы, как мне кажется, обойтись без последней строфы, хотя четыре слова первой строки, переставляемые каждый раз, казались, требовали и четырёх строф. Но на самом деле эта четвёртая строфа ничего не добавила к сказанному. Первое стихотворение («Нет, жизнь не в знаньи») мне понравилось меньше. В нём есть какая-то наставительность, хотя бы и обращённая к самому себе.

Занимает ли меня, спрашиваешь ты, что-нибудь кроме литературы. В известной мере, да. Я не могу существовать без музыки. Мы довольно часто ходим в концерты и оперу. Я всегда испытывал определённую тягу к философии. Впрочем, и то, и другое вплетается в литературу. Я не читаю или почти не читаю газет, у меня вызывает отвращение и брезгливость постоянная, ставшая всеобщей болезнью политизация всех сфер жизни, но полным равнодушием к политическим новостям я всё же похвастать не могу, виной этому, конечно, телевидение. Меня чрезвычайно интересует Германия — её ситуация в мире, её внутренние проблемы и тяжкие трудности, её прошлое, одним словом,

её судьба. Германия, как это ни покажется странным, возбуждает и возрождает грёзы юности. Если во мне всё ещё сохраняется некая закваска романтизма, то это благодаря Германии. Притом что пишу я почти исключительно на русские темы, во всяком случае если говорить о моей беллетристике.

Ты спрашиваешь о Гейдельберге. Город присуждает премию каждые два года; она называется премией писателям-изгнанникам, или премией имени Хильды Домин. Это старая дама, известная поэтесса и эссеист, немецкая еврейка. Она вернулась в Германию в 50-х годах, проведя в эмиграции около 25 лет. Церемония происходила в зале ратуши, собралась публика, произносились речи, я тоже должен был сказать речь. Потом был праздничный обед и т.д. Накануне было чтение. Я получил грамоту и чек на 20 тысяч марок, пришедшихся очень кстати, потому что мы изрядно истратились на помощь Илье и Сузанне. Они купили себе квартиру в Чикаго, разумеется, в кредит, но сперва нужно было сделать вступительный взнос. В присуждении премии есть очевидная ирония судьбы, ведь речь идёт о человеке, у которого на обысках отнимали всё до последнего клочка бумаги и которого даже собирались посадить именно за то, что сейчас стало поводом для награды.

Жаль, что я не могу прочесть книжку Рейна. Я читаю разные книжки, вернее сказать, больше перелистываю, чем читаю. Я читаю *Les Liaisons dangereuses*, замечательный роман, недавно экранизированный, который я, конечно, знал, но никогда ни по-русски, ни по-французски толком не читал. Он был издан за несколько лет до Великой революции и как-то весь пронизан чувством, что «долго это продолжаться не может».

В «Октябре» обещали, может быть, в шестом номере, тиснуть несколько моих рассказов. «Далёкое зрелище лесов» — это такой роман, небольшой, на деревенскую тему, не без некоторого зубоскальства.

Поразительно, до какой наглости дошла твоя подагра: ты больше не можешь предаваться любимому занятию мыслителей и мечтателей всех времён. Будь здоров, целую тебя, не хандри, не давай себя одолеть мыслям об одиночестве. Вдохновись на очередное, подробное, интересное, как всегда, послание твоему

Январь. Мюнхен

Дорогой Гера! До сих пор не удалось найти никаких подтверждений тому, что «мозговое устройство женщин и мужчин» неодинаково: между мозгом мужчины и женщины нет морфологических различий, «мужская» нейрофизиология ничем не отличается от «женской», это же относится к биохимии, к данным электроэнцефалографии и т.д.

Между тем хорошо известно, что разница полов простирается далеко за пределы половой сферы. Как сейчас помню первый экзамен на первом курсе, все ужасно его боялись: нормальная анатомия. Профессор Иван Сергеевич Кудрин, которого, впрочем, очень любили, массивный, толстый, торжественный, картавый, как парижанин, и не умеющий произносить букву «л», что не мешало ему быть блестящим, увлекательнейшим лектором, в твёрдом от крахмала белоснежном халате и шапочке, за столом, на котором разложены, как карты крапом кверху, экзаменационные билеты. Рядом на мраморных столах лежат два великолепно отпрепарированных трупа. Полагается рассказывать и показывать. Какой-то мальчик читает билет, первый вопрос: половые отличия черепа.

«Г' ассказывайте пововые особенности чег' епа!»

Студент начинает упавшим голосом:

«Череп мужчины отличается от черепа женщины».

«Ну, это мы и так знаем! Пг' одовжайте».

А дело в том, что разница есть, и её можно заметить даже у живого человека. Например, лоб женщины представляет почти вертикальную плоскость, лоб мужчины более наклонён. Лобная кость мужского черепа покато переходит в теменные кости, в женском черепе отчётливо виден прямой угол между лобной и теменными костями. Поверхность мужского черепа бугристая, женского — почти гладкая. Череп женщины в среднем немного меньше черепа мужчины того же возраста и т.д. Спрашивается, какое отношение имеет строение черепа к полу. Таз — другое дело, но череп?

Или, например, разница в строении локтевого сустава: её тоже легко заметить. У женщины возможно переразгибание локтя, когда ось плеча и ось предплечья образуют не прямую линию, как у мужчины, а находятся под тупым углом. При ходьбе мужчина помахивает рукой в вертикальной плоскости, женщина почти всегда — во фронтальной, это связано с упомянутым различием. Существуют известные каждому врачу отличия в наклонности к разным заболеваниям, казалось бы, тоже не связанным с собственно половой сферой, с морфологическими отличиями, с половыми гормонами. Все хронические болезни лёгких, за исключением туберкулёза, у мужчин регистрируются чаще, чем у женщин. Правда, это можно объяснить отчасти разницей между мужским (брюшным) и женским (грудным) типом дыхания, а также курением. Но чем объясняется то, что у женщин чаще встречается митральный стеноз — один из пороков сердца, сужение левого предсердно-желудочкового отверстия, — а у мужчин — порок клапанов аорты? Почему врождённый вывих бедра — несчастье новорождённых девочек, а не мальчиков? Отчего группа наследственных заболеваний, объеди-

няемых под названием гемофилии (патологической кровоточивости), передаётся женщинами, но заболевают одни мужчины? Существуют гены, сцеплённые с полом, — почему, собственно, они сцеплены с полом? Таких вопросов я могу задать ещё два десятка.

Я убеждён, что «Размышления дилетанта», как и другие материалы твоего стола, представляют немалую ценность, и надо было бы подумать об их судьбе. У меня тоже, веришь ли, накопился за годы жизни в Германии громадный архив. И я не знаю, что с ним делать. А сколько архивов погребло в России, в подвалах тайной полиции. Кончилось тем, что после смерти писателя у него вообще ничего не находили, он сам всё уничтожал. Кстати о Германии: ты упомянул ночную передачу по телевидению на тему: куда идёт новая Германия. (Почти так же называлась нашумевшая в конце 60-х годов брошюра Карла Ясперса.) Мне такая передача, тем более русская, неизвестна. Но я сильно подозреваю, что это чушь. Почти всё, что печатается в России о Федеративной республике и немцах, поверь мне, — смесь глупости, наивности, неосведомлённости, неумения расставить акценты и отличить главное от пустяков, а подчас и самой обыкновенной недобросовестности.

«Куда движется новая Германия?» Этот вопрос ты задаёшь мне. Если б я мог, если бы все мы могли на него ответить... Я думаю, что ответа не знает и сам федеральный президент (которого я, кстати, недавно видел и слышал на праздновании 50-летия Баварской академии изящных искусств). Главным или даже единственным достижением футурологии было понимание того, что будущее непредсказуемо. Можно предположить, что в ближайшие десятилетия Германия останется экономическим лидером в Западной и Восточной Европе. Можно думать, что Берлин начнёт претендовать на место европейской столицы XXI века (как Париж был, по выражению Вальтера Беньямина, столицей XIX века). Количество эмигрантов в Германии, очевидно, будет расти.

Ты ведешь реестр российской литературной эмиграции: последних десятилетий или всех трёх послереволюционных волн? (Сейчас поговаривают уже о четвёртой). Но почему лишь 135 человек? Если иметь в виду всех пишущих и печатавшихся (включая, правда, и публицистов), то, например, даже в неполном и не вполне надёжном справочнике *Free voices in Russian literature 1950–1980*, вышедшем больше десяти лет назад, числится свыше тысячи рыл. Как-то раз я сочинил статейку или маленький этюд о писателе в эмиграции, под названием «Хорошо быть чужим» или «Ветер изгнания», статья была напечатана несколько раз, в том числе в искалеченном виде в Литературной газете. Посылаю тебе развлечения ради, если она тебе не попадалась. Авось дойдёт.

Занимаюсь я всё тем же самым. В сентябре мы собираемся полететь на две недели в Чикаго, пасти внука Яшу. Насчёт очередного паломничества в Москву — сказать трудно. Ты написал очень интересное письмо. Ошибок или описок я в нём не нашёл. Там много тем и вопросов, коснусь пока что только одного: похороны останков императора. Меня в общем-то эта тема, даже если это «подлинные» останки, никак не трогает. Не так давно прах Фридриха Великого был перевезён в Потсдам. Можно, в конце концов, перетащить и то, что осталось от Николая. Незадолго до этой церемонии я увидел в той же Литгазете интервью с руководителем группы экспертов. Корреспондент спрашивает: «Православная церковь ставит вопрос о ритуальном убийстве царской семьи. Что вы скажете об этом?» Эксперт, цивилизованный человек, отвечает, не моргнув глазом: Я считаю, что церковь подняла вопрос своевременно. Нет, мы доказали, что это не было ритуальным убийством. Что очень важно, так как опровергает версию антисемитов... И никто, ни газета с её читателями, ни эксперты, ни сама эта церковь, не замечает постыдности этого разговора. Вместо того, чтобы ответить: извините, в порядочном обществе этот «вопрос» не обсуждается, эксперт совершенно серьёзно толкует о его своевременности. Вообще-то «вполне могло быть», но, к счастью, не было. Это интервью кажется мне очень характерным.

Мюнхен, 3 сент. 1998

Дорогой Гера! Изречение В. Токаревой (которую я не читал, только слышал о ней) справедливо: достаточно представить себе, что было бы с нами, какой оказалась бы наша жизнь, если бы мы совершили то, чего не сумели совершить, достаточно лишь попытаться представить себе эту гипотетическую другую жизнь, — чтобы согласиться и с писательницей, и с Сартром, чей знаменитый тезис гласит: человек — это его поступки.

Но невозможно отделаться и от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случаю. Да что там наша частная жизнь. О всей мировой истории можно сказать то же самое. Об истории можно сказать, что это не только то, что происходило, но и то, что не произошло. О ней можно также сказать, что она вся — результат случайностей. Будь нос Клеопатры на сантиметр длиннее, история Рима пошла бы иначе, сказано у Паскаля. Как-то недавно я нашёл в библиотеке книжку под названием «Несостоявшаяся история» (A. Demandt. Ungeschehene Geschichte), главная мысль которой та, что история — это не только то, что было на самом деле, но и прячущаяся за ней история неосуществлённых возможностей, история того, что было не менее вероятным, чем то, что фактически произошло.

Стрелочник истории (это я уже сам фантазирую) может перевести свою стрелку, и поезд послушно свернёт на другой путь, и вот — через несколько минут другой пейзаж будет бежать за окном вагона, другие станции, другие страны. Можно сесть (что, по-видимому, и произошло с Россией) не в тот вагон. Тот, кто, подобно традиционному историку, смотрит назад, видит множество рельсовых путей, которые все сходятся к одному единственному; а кто действует, тот смотрит вперёд, и для него веер дорог не сужается, а раздвигается. В таком же положении оказывается и тот, кто действует в воображении: так сказать, историк-«возможник» (эвентуалист). Но ведь и прошлое было когда-то будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившаяся возможность; их было много. Так женщина в старости с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка.

Вспомним, к примеру, что у римского наместника в Иудее было более чем достаточно оснований, вместо того, чтобы предать казни галилейского проповедника, отпустить его на все четыре стороны. Евангельский рассказ о том, как Понтий Пилат пошёл на поводу у черни, кричавшей: «Распни его», в высшей степени неправдоподобен; невероятно уже само предположение, что прокуратор мог советоваться с толпой, как ему поступить; кто был он и кто были они? Особой политической необходимости в том, чтобы казнить Иисуса, не было. Итак, представим себе, что Пилат велел для острастки вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника, тёмную личность — Варавву, а Иисуса помиловал. Распятие на Голгофе и всё, что непосредственно последовало за этим, отпадает. Но религиозное брожение могло продолжаться и потребовало бы вмешательство Рима; в конце концов виновник брожения должен был всё-таки поплатиться жизнью. Если бы, однако, он умер, своей ли смертью или от руки подосланного убийцы, мы получили бы христианство без креста. А это уже огромный минус, так как со времени Павла ядром христианского учения является жертвенная смерть Христа — смерть как искупление грехов человечества. Допустим, что Учитель ещё жив, он продолжает свою деятельность, его известность растёт, набирается толпа учеников; но сила проповеди ослаблена, ожидание близящегося конца времён выдыхается. Иисус становится основателем новой секты, главою религиозной общины, каких было великое множество: саддукеев, фарисеев, ессеев и прочих. Все они исчезли.

Но успех христианства был связан и с другими обстоятельствами. Мечта о мистическом избавлении, спасении, радикальном обновлении, мечта, охватившая низшие слои. Популярность восточных культов. Тяга к философски обоснованной, более духовной и более возвышенной

религии, чем язычество, у образованных людей. Необходимость новой государственной религии, которая сцементировала бы гигантскую империю. И тут выдвигаются конкурирующие с христианством верования и системы. Например, культ Солнца, интерпретированный в гностико-неоплатоническом духе. Если бы этот культ восторжествовал, связи с языческим наследием остались бы более прочными. Чего доброго, не распалась бы и Римская империя. Не было бы христианского Средневековья, вообще Средних веков в нашем смысле слова. Не было бы Реформации. И так далее...

Мы упомянули вскользь наше отечество. Ты спрашиваешь: отчего Россия такая несчастная страна? И отвечаешь: оттого, что она слишком велика; превзойдена некоторая критическая величина, выше которой невозможна стабильность. Россия, конечно, не единственная злополучная страна даже в том регионе, на который мы привыкли равняться, т.е. в Европе. Я уже не говорю об Азии, Африке или Южной Америке, о каком-нибудь Судане или Бенгалии. Но можно ли считать счастливой Польшу, преследуемую каким-то роком? Или Германию, дважды на протяжении трёхсот лет понёсшую такой урон, от которого едва ли какая-нибудь нация вообще была бы в состоянии оправиться: я имею в виду Тридцатилетнюю войну, после которой страна превратилась в пустыню, и Вторую мировую войну.

На это можно ответить, что от чужих невзгод нам не легче. Что стряслось с Россией? Твоя теория заслуживает рассмотрения, ты скорее всего прав, но я не думаю, чтобы исторические загадки можно было бы разрешить при помощи одного какого-нибудь ключа, тут всегда приходится говорить о букете причин и следствий, которые в свою очередь стали причинами. Можно назвать узловые станции, где стрелочник повернул стрелку не на тот путь. Георгий Федотов считал, что несчастьем для будущего единого государства было возвышение Москвы. Ещё раньше граф Алексей Константинович Толстой скорбел об утрате самостоятельности купеческих республик — Новгорода и Пскова. Сколько перьев затупилось, описывающих беды, которые принесло монгольское иго. Существует взгляд, по которому принятие византийского православия вместо римско-католической веры было фундаментальной ошибкой Владимира. Можно обсудить причины копившейся веками исторической отсталости, ведь она не была написана на роду: накануне татарского нашествия Киевская Русь была нормальным средневековым государством, не хуже западноевропейских. В конце концов эта отсталость привела к тому, что крепостное право было отменено слишком поздно, земельный вопрос не был решён даже реформой Столыпина, средний класс не успел сформироваться, двор и высшая бюрократия не желали слушать ни о каких новшествах, и, наконец, общеевропейская катастрофа Мировой войны, кризис буржуазного общества и кризис

демократии на всём континенте; и власть без особого труда захватила маленькая тоталитарная партия, о которой прежде никто не слышал. Эта власть нарубила много дров, тем не менее мало помалу выяснилось, что в истории не бывает перерывов и новое «государство рабочих и крестьян» имеет все основания считать себя преемником Российской империи: многоплемённая, многоязыкая, раскинувшееся на двух частях света, от Индии до полярных архипелагов держава, устроенная на подобие пирамиды, управляемая административно-полицейскими методами сверху из единого центра; монстр, похожий на вымерших ящеров, государство архаического типа, сопоставимое с Римом и Византией и, разумеется, обречённое, как они.

Опять письмо затянулось, этак можно философствовать до бесконечности. Но я ещё не ответил на твой вопрос насчёт того, делает ли человека счастливей религия и вера в личное бессмертие. Вероятно; но лучше отложить это до следующего раза.

Стихи Леконта де Лиля (прекрасный перевод) сразу напомнили мне давнишние времена, зиму сорок пятого года. Мне кажется, ты тогда мне их и читал. Вообще интерес к Леконту пробудил во мне ты, не говоря уже о том, что это имя я впервые услышал от тебя. Я помню, как я сидел в Горьковской (университетской) библиотеке и выписывал стихотворения из сборника «*Poèmes antiques*». Что касается «Сна ягуара», то, кажется, это из другого сборника, «*Poemes barbares*», — или я ошибаюсь?

Как я провожу свои дни? Есть стихи Гёте: *Arm am Beutel, krank am Herzen schleppt' ich meine langen Tage...* (С пустым карманом, с больным сердцем влачил я свои долгие дни). За исключением поездок я сижу дома. Лора работает. Вечерами я читаю или слушаю музыку, иногда смотрю телевидение. У меня есть небольшое количество друзей среди немцев, ещё меньше среди россиян. Мы с Лорой довольно часто ходим в концерты, иногда в оперу. У меня есть приятель в *Münchener Kammerspiele*, лучшем мюнхенском театре, я часто там бываю. Завтра я собираюсь ехать на два дня в Альгой к одному старому приятелю, оставшему профессору, который празднует свое 75-летие. Альгой — область на юге, род перекрёстка, на котором сошлись вместе федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг и три государства: Австрия, Швейцария и Великое княжество Лихтенштейн. В Альгое я бывал многожды, один раз ездил во владения князя. Нужно переехать на машине через Рейн, который здесь ещё неширок, по мосту, украшенному синекрасными флагами с золотой короной, и ты уже в другом государстве. Поезд Инсбрук-Цюрих идёт девять километров по территории княжества. Народ Лихтенштейна — подданные князя Ганса-Адама II — говорит на алеманском диалекте и на все остальных языках, кроме русского.

А через шесть дней мы собираемся лететь через океан и добрую половину американского континента в Чикаго. Я увидел в библиотеке 8-й номер журнала «Октябрь» с моим романом. Называется «Далёкое зрелище лесов». На этих днях вышла по-немецки (я получил авторские экземпляры) книга «Птицы над Москвой», название, которое навязало мне издательство, это тоже роман, тот, который в оригинале называется «После нас потоп» и, кажется, тебе знаком; он тоже печатался в «Октябре». В начале следующего месяца я должен буду съездить во Франкфурт на ярмарку — к сожалению, не невест, а книг. Однако я надеюсь ещё в этом месяце получить от тебя обстоятельный, вдохновенный и, как всегда, очень интересный ответ. Крепко целую тебя.

10 окт. 1998, Мюнхен

Дорогой Гера! Сегодня я всё утро занимался одним текстом, потом ненароком нажал не ту клавишу, на экране появилось нечто ненужное и незваное, панические поиски исчезнувших страниц ни к чему не привели, и, словом, весь труд пропал даром. Есть такая невидимая печка без огня, которая мгновенно сжигает то, что не догадался вовремя зафиксировать в памяти прибора и что ещё не успело попасть на бумагу. С горя я отправился гулять, у нас прекрасная золотая осень, которая и по-немецки называется почти так же (Altweibersommer), как по-русски: бабье лето. Плющ перед окном сделался красным, как вино, и вот-вот опадёт.

Гулять, говорю я, хотя я сильно хромаю. Вскоре после нашего возвращения из Чикаго меня настиг радикулит, несколько дней я не находил себе места от болей, не находил подходящей позы («такой позы вообще не существует», сказано в одном месте у Томаса Манна), потом инъекции и другие меры несколько утихомирили это чудовище. Некое современное и, конечно, дорогостоящее исследование — слава Богу, платит больничная касса! — показало, что у меня слегка съехал межпозвоночный диск, теперь я щеголяю в корсете, как денди 1900 года. Мне пришлось отказаться от поездки на книжную ярмарку во Франкфурт, где издательство выставило мой роман.

Изречение Сартра (которое ведь отнюдь не бесспорная истина) побудило тебя разразиться целой тирадой самоуничужения, хотя мне непонятно: разве учёба в весьма трудном институте, успешная работа (ты ведь и сам говорил, что находил в ней удовлетворение, многие ли могут сказать это о себе?), женитьба, семья, книги, нынешняя трудная жизнь, разве всё это не в счёт, разве это в конце концов не решения и соответствующие им поступки? Я всегда восхищался широтой твоих интересов и вкусов, разнообразием дарований, начитанностью, солидными гуманитарными знаниями за пределами твоей профессии, кото-

рая, казалось бы, должна была прочно запереть тебя за своим забором. Вспомни, многие ли из твоих коллег по техникуму обладали такими интересами. Это, впрочем, относится и к медикам.

Насчёт того, передаются ли дарования по наследству, я, кажется, вспоминал в одном письме, что Шопенгауэр утверждал, будто человек получает в наследство от отца черты характера, а умственные способности и таланты — от матери. Это подтверждается — иногда. Можно также процитировать четверостишие Гёте:

Vom Vater hab´ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.

То есть: «От отца у меня телосложение и осанка, серьёзное отношение к жизни; от матушки — веселый нрав и любовь к сочинительству».

Ты, кстати, упомянул о своём отце. Я не мог его помнить, но он как будто присутствовал в квартире на Метростроевской, его прекрасная библиотека стояла на полках, и я предполагаю, что ты на него похож в разных отношениях, и физически, и духовно. А ведь он был весьма нестандартным человеком.

Воспитание в школе точных наук даёт себя знать: ты и в истории хочешь остаться детерминистом. Чтобы ни случилось, какие бы актёры ни появлялись на подмостках, пьеса идёт свои чередом, и многочисленные отклонения от сюжета не меняют её по существу, не отменяют того факта, что сюжет с у щ е с т в у е т. В конце концов от носа Клеопатры не так уж много и зависит. Закон истории, подобно физическому закону падения тел, пробивает себе дорогу несмотря ни на что; так я тебя понял?

Я думаю, что всех историков можно разделить на две группы: тех, кто верит в имманентные законы исторического процесса, эти законы надо открыть, и дело в шляпе, — и тех, кто сомневается в существовании таких законов и говорит лишь о рамках и условиях, таких, как география, человеческая природа и т.п.; все остальные закономерности, если они вообще заслуживают такого названия, возникают и исчезают внутри самой истории, то есть обусловлены сочетанием обстоятельств. Но я думаю также, что всем историкам можно противопоставить Стивена Дедалуса (персонаж Джойса), который говорит, что он хочет пробудиться от «кошмара истории». История, словно кошмарный сон, оставляет чувство глубокого недоумения, бессилия и усталости.

То, что ты называешь «глобальными законами, определяющими историю, как всё в природе», постижение этих законов — очевидно, близко к тому, что торжественно именуют смыслом истории. Где он и в

чём он? Раз уж я размахнулся на столько цитат, то вот ещё одна: из интервью Голо Манна, младшего сына Т. Манна и замечательного историка и стилиста, между прочим, очень похожего лицом и голосом на своего отца; я успел застать в живых Голо Манна, несколько раз видел и слышал его и, по-видимому, впервые переводил его на русский язык — главу о Марксе из «Истории Германии XIX и XX веков».

«Как историк и преподаватель истории я никогда не чувствовал себя в состоянии объяснить своим студентам, в чём смысл истории. В лучшем случае я мог показать множественность значений, причём фрагментарных значений, мог говорить о тех или иных успешных обобщениях, которые, однако, очень скоро подвергались сомнению в ходе дальнейших исследований или резко менялись, причём самым непредвиденным образом. Итак: если от меня добиваются уяснения смысла истории, то как честный человек я должен уклониться от этой задачи, ибо я не знаю будущего... В этом незнании, я полагаю, нужно скромно сознаться. Но это не значит, что отдельные тенденции исторического процесса не могут быть осмыслены, и притом в положительном, даже оптимистическом духе».

Ты помнишь навязшую в зубах фразу Гегеля о том, что история есть пророчество, обращённое вспять. Постигнуть смысл истории, её принципы или фундаментальные законы — значит сказать: вот чем она была до сих пор — вот что будет дальше. Ведь законы неотменимы. От истории всегда требовали, чтобы она была не только систематическим знанием о прошлом, но и сумела предсказывать будущее. Это значит, что историческому знанию согласны были приписать такую же объективность, другими словами — неумолимую принудительность, какой обладает естественнонаучное знание (что бы ни случилось, камень упадёт на землю); но одновременно в истории искали высшее утешение.

Как хочется думать, что в конце концов «всё не напрасно»! Хочется говорить о борьбе прогрессивного с ретроградным, о постепенном росте благосостояния, о совершенствовании человека, о построении справедливого общества, наконец, об исполнении некоторого плана или Божьего замысла о мире и человечестве. Идёт ли человечество к какому-то финалу или кружится по замкнутой линии? Какая из двух моделей истории правильна: иудейская стрела или греческий круг? Или, может быть, соединение двух чертежей, спираль Гегеля: кругами, но всё выше и выше?

Историософские построения обладают свойством, которое сближает их с романами. Они заражают нас чем-то лежащим по ту сторону логики. Вдобавок они обладают насильственной тотальностью. Они всеобъемлющи и просты, потому что дают единый ответ на множество

вопросов; они предлагают окончательную р а з г а д к у. Вся история сводится к смене культур, каждая культура проходит один и тот же цикл от рождения через юность и зрелость к упадку и гибели; наша — фаустовская — клонится к закату, и ничего с этим не поделаешь (Шпенглер). Вся история есть история борьбы классов, побеждают прогрессивные классы, гибнут реакционные, и ничего не поделаешь (Маркс). Создатели универсальных схем притязают на самый широкий охват истории и поработают читателя своим авторитарным тоном, навязывая ему в конце концов под видом науки некую новейшую мифологию. Я же лично думаю, что надо выбирать одно из двух: либо учиться истории — либо делать историю. Потому что «делать историю», приняв в качестве руководства к действию какую-нибудь из универсальных систем, — дело по меньшей мере рискованное. Нам дано было испытать на собственной шкуре, к каким печальным результатам приводит соединение теории с практикой.

В конце твоего письма — интересное замечание, брошенное вскользь: «несмотря на всё», Россия в конце концов будет такой, как будто не было ни советской власти, ни войны! Гм, гм...

Жду твоих писем, целую и обнимаю.

Мюнхен, 25.XI.1998

Дорогой Гера! Начнём с конца: ты спрашиваешь, как я отношусь к астрологии. К предсказаниям и пророчествам вообще? Я думаю, что прежде всего в разговоре на эту тему надо оставить в стороне рыночное гадание, все эти объявления и обещания в бульварных газетах, рекламирование сверхъестественных способностей какой-то Раисы Сумеринной, вещания Павла Глобы и т.п. Всё это не заслуживает обсуждения.

Мистическая увлекательность астрологии очевидна. Лично для меня звездословие обладает чисто эстетической прелестью, коротко говоря — это красивая штука. Загадочность символики и терминологии, красота таблиц и чертежей, за которыми скрывается нечто неясное, таинственное и будоражащее фантазию. Астрология представляет собой пример прекрасно разработанной, изящной и строгой знаковой системы с крайне туманным содержанием. В этом тайна её привлекательности. Астрологию можно сравнить с музыкой, гороскоп — с нотной партитурой. Ты видишь перед собой некий род письма, графическую запись, подчинённую определённым правилам. Каждый знак функционален и встраивается в иерархию знаков; в итоге перед тобой — текст со своим алфавитом (система элементарных знаков) и грамматикой (правила сочетания знаков). И ты чувствуешь, что за ним должно стоять какое-то сложное и глубокое содержание. Но какое? Пересказать «содержание» музыки почти невозможно. Если это язык, то язык пре-

дельно мягкий, семантически туманный. То же можно сказать и о семантике гороскопа. Чертёж выполняется по строгим правилам, а его смысл настолько зыбок, что астрологическое предсказание легко приспособить к самым разным происшествиям.

Прелесть и притягательность астрологии можно было бы описать иначе: это то же, что прелесть женщины. Приближаясь к ней, ты чувствуешь, что прикасаешься к Судьбе. Что, собственно, подразумевается под судьбой, никто не знает. Нечто заранее решённое и каким-то образом зафиксированное? План твоей жизни, расчисленный ещё до того, как ты начал жить? Можно было бы сказать, что комбинация нуклеотидов, четырёхбуквенный код наследственности, заложенный в хромосомах, и есть этот план; в самом деле, наследственность в большой мере программирует нашу жизнь. Но такой ответ расхолаживает, пересаживает будущее в наш собственный организм, лишает судьбу и предназначение таинственности, в которой — весь смысл, вся прелесть. Как-то давно я писал тебе о романе «Антивремя», который, собственно, и был посвящён теме предназначения.

Что такое смысл жизни? Некая жизненная задача, которая может быть выполнена или не выполнена; нечто предписанное, предуказанное, нечто такое, что одновременно стоит позади, как указующий перст, и маячит впереди сквозь сутолоку и суету жизни? На склоне лет герой пытается разгадать этот смысл. Его жизнь была цепью случайностей, он жил, не зная, что с ним случится завтра. Всё что с ним происходило, — «случалось», то есть было случайностью. От случая — чего-то, что могло и не случиться, зависели главные повороты жизни. Хаос, произвол случайностей — вот чем была его жизнь.

Но теперь, когда он её вспоминает, когда движется в направлении, обратном току времени, происходит чудо: он убеждается, что на самом деле его жизнь следовала некоторому проекту, подчинялась порядку, о котором он не догадывался. Случай и судьба — это были просто две стороны одного и того же. Два противоположенных потока времени: один влёк его от случайности к случайности, другой внёс в его жизнь порядок и смысл.

И тут (я говорю о романе) появляется человек, который превращает эту догадку в некоторого рода науку. Павел Хрисанфович Дымогаров занимается метаастрологией, он её создатель. Что за штука эта метаастрология, непонятно, можно лишь догадываться, что это какая-то усовершенствованная астрология. Занимается он ею не из чистой любви к искусству: его цель — создать Большой прогноз, то есть предсказать судьбу России. Ирония, которая присутствует в этом романе, состоит в том, что Хрисанфович — русский националист и верит в великую историческую миссию нашей страны, пророчествует об этой мироп спасающей миссии; а кроме того, он обыкновенный вульгарный стукач.

Когда я это сочинял — это было ещё в Москве, черновики почти готового романа погибли при обыске, — мне понадобились некоторые знания в этой области, я добыл солидный немецкий учебник астрологии некоего барона Глётнера, из которого почерпнул необходимую мне терминологию и пр.; надо было пустить пыль в глаза читателю. Само собой, я не собирался «разоблачать» астрологию.

В руководствах обычно делаются попытки доказать научность звездословия, чаще всего приводятся статистические доводы. Дескать, если сопоставить по возможности большое число астрологических прогнозов с тем, что потом произошло на самом деле, то процент совпадений превосходит меру случайных совпадений согласно теории вероятностей. Тем не менее существует простой факт, с которым не может совладать астрология. Для составления гороскопа требуется точное знание места и времени рождения человека. Дальнейшая процедура состоит в том, что определяют (по эфемеридам) взаимное расположение Солнца, Луны и планет над данной точкой Земли и в данное время суток и по определённым правилам, руководствуясь значением, которое приписывается каждой планете, составляют прогноз жизни — её первой и второй половины. В родильном доме какого-нибудь большого города одновременно, в определённый час и даже в определённую минуту может родиться несколько младенцев. Их гороскоп одинаков. Но их жизненный путь будет совсем не одинаков.

Я немного отвлёкся; я хотел только сказать, что вопрос о «правильности» астрологических предсказаний — вопрос, который ты задаёшь, — меня никогда не интересовал, потому что, стоит нам только встрянуть в эту дискуссию, начать доказывать, что астрология — это не чушь или, наоборот, что астрология — чушь, и таинственная прелесть астрологического мифа рассыпается. Всякий миф поддаётся рациональной оценке лишь извне, на то он и миф. Внутри себя миф представляет собой некоторое эстетическое единство, некоторую полноту, — если угодно, полноту квази-истины. Можно объяснить исторические, психологические или какие-нибудь другие основания астрологии, объяснить условия её происхождения и её удивительной живучести, — хотя времена, когда придворный астролог был обязательной фигурой в окружении монарха, когда полководец советовался с астрологом накануне военной кампании или решающего боя, прошли безвозвратно: эта фигура окончательно исчезла в Европе на исходе XVII века. Разумеется, астрологическое пророчество основано на фантастических послых; ну и что? Красота астрологии от этого не вянет.

Как всегда, я не смогу ответить на все вопросы, не обижайся, это не оттого, что вопросы недостаточно умные, не оттого, что я уклоняюсь от ответа. Просто в одном письме всего не охватишь. Кроме того, я не гуру,

я и сам бы не прочь послушать какого-нибудь мудреца. Новости из России весьма неутешительны, а между тем ты в последнее время совсем не пишешь о своей жизни, о повседневной жизни. По-прежнему ли ты питаешься в столовой? Ходишь ли в библиотеку? Что читаешь? Мне было бы интересно услышать твой отзыв о моём деревенском романе, который тиснули в «Октябре» в 8-м номере этого года, он совсем коротенький. Я как-то недавно говорил с ними по телефону; они едва держатся на плаву.

Я тоже думаю, что после смерти Лены тебе не следовало оставаться одному. Дочери отделились от тебя, это, конечно, старая история, это копилось, как я догадываюсь, годами, — и всё же: как они живут? Чем занимается Алла? Я как-то толком не мог понять. Живёт ли в Вашей квартире — или хотя бы бывает — тот человек, кажется, по имени Саша, с которым я однажды познакомился? Видишься ли ты с Ирой и её семейством?

У меня не совсем удачная полоса: после радикулита мне пришлось делать небольшую операцию по поводу геморроидального тромбоза, а сейчас мы с Лорой кашляем, сипим, перхаем и громкоподобно сморкаемся: грипп, от которого вдруг начинаешь чувствовать бремя возраста. Дни стали совсем короткими, ещё нет пяти часов, а уже темно. Лежит снег. В промежутках между хворями я ездил на ПЕН-сборище в Вестфалию и в Гамбург, огромный и почти уже морской город, где прежде я был только проездом.

Дорогой мой Гера, держись и крепись. Жду твоих писем, целую, обнимаю.

1 января 1999 года.

Дорогой Гера, сегодня первый день Нового года, последнего в целом тысячелетии, чувствуешь, с какой торжественностью я начертал эту дату? Я решил тебе написать, не дожидаясь твоего письма, о котором ты говорил мне по телефону. Существует власть цифр, магия десятичного счисления. Тысячу лет назад, накануне 1000 года, люди в Европе ожидали конца света. Я смотрю на это число, на эти три девятки, и не верю своим глазам. Ведь совсем ещё недавно эти цифры казались невообразимо далёким будущим, были принадлежностью научно-фантастических романов. И уж, конечно, я никогда не думал, что доживу до такой даты.

На улицах тишина, всюду валяются картонные гильзы, остатки пиротехнических ракет, которые хлопали всю ночь. Лора, увы, работает. Вчера вечером она уложила свою пациентку и приехала за мной. И мы встретили Новый год за бутылкой Вдовы Клико, воспетой Пушкиным; этой даме больше двухсот лет, и она благополучно существует до сих пор.

Все последние дни меня терзал по утрам Hekenschuß, то есть выстрел ведьмы, — по-русски прострел, но сегодня удивительным образом обошлось, ведьма проспала Новый год. Можно ли это считать добрым предзнаменованием? Или, наоборот, плохим? Минувшей ночью было полнолуние. Прошлый раз мы толковали об астрологии. Я забыл добавить, что все приметы и гадания основаны на одном общем принципе: в огороде бузина, а в Киеве дядька.

Через две недели мне предстоит короткая поездка в Нюрнберг, и есть ещё один план: съездить, как год тому назад, в Венецию. Опять же — год назад, ведь это было совсем недавно. Это эффект окружности; год подобен кругу. Расстояние между двумя точками ничтожно, но для того, чтобы очутиться во второй точке, понадобилось описать целую окружность. Однажды я познакомился с философом и семиотиком Вилемом Флуссером, пражским евреем, который скитался по многим странам, тридцать лет прожил в Бразилии. Это был блестящий человек. (Он погиб осенью 1991 года в автомобильной катастрофе). У него есть этюд «Три времени». Там говорится о том, что некогда время было подобно кругу или колесу. Всё, дни и годы, и жизнь поколений, регулярно и равномерно повторялось. Потом — примерно три тысячи лет назад — время превратилось в поток, всё уносящий. А ныне время становится песком. Песчинки времени одинаковы, как песок в песочных часах. Время от времени в песчаных нагромождениях возникают сгустки, комы. Но ненадолго: всё снова рассыпается.

Принято подводить итоги года. Что было в этом году? Я получил две литературных премии. Но это единственное, что можно записать в графе «Актив». Мой роман увяз и, как утомлённый путник, уселся на обочине. Я болел. Мною было сочинено несколько сочинений — рассказов и разных статей, но хвастаться этим скудным уловом невозможно. Я состарился ещё на один год.

Жду твоих писем и посылаю тебе для развлечения небольшую статейку. Она была однажды напечатана в «Литературной газете» под вымышленным редакторами названием, но надеюсь, что ты её не видел, так как они жутко её искалечили. Ещё раз — с Новым годом! Обнимаю, целую.

Мюнхен, 17 янв. 1999

Дорогой Гера!

Это, конечно, недоразумение: я не отвечал на те или другие твои вопросы не потому, что вопросы якобы недостаточно умные, — вопросы как вопросы, — а просто потому, что их много, в одном письме дать ответ на всё невозможно; а бывает и так, что я просто не умею ответить как следует.

Я получил вчера — в день рождения — твоё письмо от 25 дек., надеюсь, что моё новогоднее, от 1 января, вместе с небольшим текстом-статейкой до тебя уже дошло.

Чтобы уж закончить разговор об астрологии: мне не совсем понятно, почему то, что я тебе писал, могло показаться заумным. Не было у меня и намерения поиздеваться над астрологией. Напротив, я хотел сказать, что она всегда обладала для меня определённой и немалой привлекательностью — эстетической и, если угодно, культурно-исторической. Гёте пересказывает в «*Dichtung und Wahrheit*» свой гороскоп. Герман Гессе, если ты помнишь, начинает своё полусерьёзное, полувывымышленное «Краткое жизнеописание» с аспекта планет: «Я родился под конец Нового времени, незадолго до первых примет возвращения средневековья, под знаком Стрельца, в благотворных лучах Юпитера». Нельзя утверждать, что за этими цитатами стоит безусловная вера в звездословие как способ предсказания жизни. Скорее это художественный язык, не хуже и не лучше всякого другого.

Ты недоумеваешь, почему серьёзная наука игнорирует астрологию, почему (если я тебя правильно понял) серьёзные учёные не снисходят на критики астрологии. Я вспоминаю старую шутку: ребёнок спрашивает у отца, откуда люди узнали, как называются планеты. Почему мы думаем, что Сатурн — злоеющая, несущая беды и гибель планета, а Юпитер — благая, откуда нам это известно? А ведь именно на таких коннотациях основан астрологический прогноз. Научная критика астрологии не имеет смысла, совершенно так же как нет смысла критиковать и опровергать античную мифологию и натурфилософию позднего средневековья — питательную почву астрологии.

Даже довод, на который ты ссылаешься — большое число оправдавшихся или якобы оправдавшихся предсказаний, — не выдержал бы критики, если бы кто-нибудь занялся им всерьёз. Есть античный рассказ о путешественнике, посетившем храм Посейдона. Все стены храма увешаны венками — благодарственными приношениями спасшихся во время кораблекрушений. «Теперь вы видите, — говорит жрец, — как могуществен наш бог». — «Да, но я не вижу подарков от тех, кто не спасся», — ответил гость. Рассказы об астрологии уснащены ссылками на удачные предсказания, но никто никогда не сообщает, сколько предсказаний не сбылось.

Между прочим, сейчас астрология стала общедоступной, как модная одежда. Купи себе программу, введи в свой компьютер, и он будет тебе выдавать гороскоп, для этого требуются лишь входные данные — место и время рождения.

Ну вот, а теперь попробуем ответить на вопросы (очевидно, это какая-то викторина?) Но за правильность не ручаюсь.

1. У пчелы два глаза, но, как и у других насекомых, это глаза фасеточные.
2. Наверное, жук.
3. Женщина без ума всё равно, что... с умом.
4. Пушкин: «Неуважение к предкам есть первый признак...» Слова очень знакомые, мне казалось, что они должны быть в одной из журнальных статей; перелистал весь том, но так и не нашёл.
5. Истинное терпение — это... когда продолжают терпеть, хотя всякое терпение иссякло.
Удовлетворяют ли тебя такие ответы?

Мюнхен, 19 марта 99

Дорогой мой Гера! У меня была скверная полоса: радикулит, грипп, то да сё, теперь, на закуску, диагностировали у меня глаукому. Твоё письмо (от 8 февр.) дождалось моего возвращения из курклиники — что-то вроде санатория, — где я провёл целых три недели. Жил я, подвергаясь разным процедурам, в весьма благоустроенном и хорошо организованном учреждении, в небольшом городке в Нижней Баварии. Поэтому задержался с ответом.

Телевизионная программа, для которой ты приготовил вопросы (весьма хитроумные), очевидно, уже давно прошла; отослал ли ты их?

Здесь, что называется, ключом бьёт литературная жизнь. Под Штутгартом находится замок *La solitude*, где некогда помещалась военно-административная школа, в которой учился юный Шиллер. Об этом, правда, мало кто помнит. Теперь там нечто наподобие дома творчества для иностранных творцов. Туда прибыл из Москвы писатель Пётр Алешковский (племянник Юза). Вчера был его вечер в мюнхенской русской Толстовской библиотеке, меня просили сказать вступительное слово. Должно быть, ты слышал об этом авторе; он принадлежит уже к послесоветскому литературному поколению. Два раза его выдвигали на самую престижную премию. Когда-то я читал пролог к его роману «Владимир Чигринцев», этот текст показался мне весьма талантливым. Судя по тому, что Алешковский читал на вечере (из других вещей), этот роман остался его лучшим произведением. Кроме чтения, он очень долго рассказывал о себе; вероятно, этот рассказ будет продолжен завтра, когда писатель придёт ко мне в гости. Он человек словоохотливый.

Всякий раз, когда мне приходится знакомиться с приезжающими отечественными литераторами, я испытываю разочарование. Ты скажешь, что это эмигрантский снобизм. Но это также и чувство принадлежности к другой литературе, даже к другой культуре. Существует громадный разрыв между Россией и европейским Западом, разрыв, ко-

торый, по-видимому, особенно чувствуют такие люди, как я, сидящие на двух стульях или, если угодно, между стульями. В художественной словесности он даёт себя знать какой-то роковой бедностью мышления, банальными, устарелыми представлениями о сути и смысле творчества, наконец, дурновкусием, которое, как в случае П.Алешковского, не исключает литературного дарования. В конечном счёте это другой мир, и я прекрасно понимаю, что я сам представляю собой — на другой лад — безнадёжный вчерашний день.

За последнее время я почти ничего не сделал, если не считать разных мелочей. Мне хотелось написать один роман, я возвращаюсь к нему время от времени вот уже, кажется, полтора года, но выходит из этого мало что путного. «Октябрь» (если ты ещё имеешь возможность видеть журнал) поместил в декабре статью или этюд под названием «Дневник сочинителя»; кажется, я уже упоминал о нём. Кроме того, я написал статью «Величие советской литературы» — если хочешь, могу её прислать, — с позором отвергнутую «Знаменем». Мне принесли рецензию на «Далёкое зрелище лесов» в «Новом Мире», весьма недружественную.

Твой почерк, по-моему, в полном порядке. Крепись и не забывай меня.

Крепко целую.

Мюнхен, 25 мая 1999

Дорогой Гера! Сегодня пришло твоё письмо от 27 апреля; если оно так долго шло в короткую сторону, представляешь себе, сколько будет идти в обратную, длинную сторону мой ответ. Но, конечно, надо удивляться и радоваться хотя бы тому, что российская почта вообще функционирует, что каким-то образом продолжает своё существование вся эта страна. Это было загадкой не только для нас.

Ты говоришь об одиночестве. Когда-то ваш дом на Метростроевской был таким оживлённым, всегда было много людей; я как сейчас слышу голос тётки Ривы, вижу, как ты стоишь посреди комнаты и разговариваешь с моим отцом... Странно было бы тогда представить, что ты останешься совсем один, где-то на другом конце города, в одном из этих далёких районов, которых в те времена вовсе не существовало. А всё-таки — видишься ли ты с Ириной? Как поживает Алла?

Смотрел ли ты когда-нибудь знаменитый фильм Ингмара Бергмана «Земляничная поляна», он шёл в Москве, прекрасно дублированный, больше тридцати лет тому назад. Он, собственно, на эту тему. Я помню, как я его смотрел первый раз и странным образом как-то даже не сразу понял, что это фильм об одиночестве. Я не буду тебе посылать статью о советской литературе, она в самом деле неудачная, ну её к

чертям. А лучше я тебе пошлю другое произведение, ближе к этому разговору, — полурассказ, полуэюд; он был напечатан и здесь, и в России, но, кажется, до тебя не дошёл. (Или я тебе его уже посылал?)

Ты, вероятно, имеешь в виду прекрасное 13-томное собрание сочинений Мопассана под редакцией Ю.Данилина; там даже было несколько текстов (несколько писем в заключительном томе), не вошедших во французское полное собрание, чем редактор очень гордился. Это имя для меня много значило; это был любимейший писатель, и не только проза, очерки, письма и т.д. меня необыкновенно занимали, но и его биография. Я написал однажды полулитературную, полумедицинскую статью о нём (как ты знаешь, он погиб 43-х лет от прогрессивного паралича), это тоже было очень давно. Мне даже кажется, что какое-то время я подражал Мопассану. В лагере у меня был последний том известного издания Conard — последние и посмертно опубликованные произведения: фрагменты романа «L'Angélu», два очерка о Флобере, «Жизнь пейзажиста» и пр.; с тех пор я, собственно, уже не читал его по-русски, и до сих пор иногда пробегаю страницу-другую. Это верно, что слава Мопассана потускнела, особенно в самой Франции, между тем как звезда его учителя всё так же стоит в зените. Но для меня Мопассан остаётся великим писателем.

Его отношение к женщинам — почти общее место тех лет, написанное не без вызова, так как дамам полагалось говорить только комплименты, и тем не менее общее место; не следует судить о Мопассане только по этому пассажиу в случайной, наспех сочинённой статейке. Есть ведь и такие вещи, как роман «Жизнь», одна из лучших, может быть, книг XIX века; есть «Монт-Ориоль», где страдающая женщина противопоставлена дрянному мужчине, есть новеллы, где с такой пронзительной силой выражено восхищение женщиной и сочувствие, и сострадание к женщине, как это редко кому удавалось.

Между прочим, я как раз, по странному совпадению, последние недели занимался Отто Вейнингером, некогда знаменитым теоретиком ненависти к женщинам (и к евреям), которого читал в юности, которого и ты, наверное, тоже когда-то читал. Это был мальчик, который в 22 года стал доктором философии, крестился, в 23 года выпустил свой труд «Пол и характер», а через пять месяцев застрелился.

Почему ты решил, что мушку наклеивали (или рисовали) на щеке, чтобы не казаться слишком красивой? Наоборот: считалось, что мушка делает лицо ещё интересней. В романе Фейхтвангера «Изгнание», который я читал в отрочестве с огромным увлечением, не подозревая, что когда-нибудь разделю судьбу его героев, есть такая сцена (дело происходит, если помнишь, в тридцатые годы накануне войны): некий нацистский бонза, проживающий в Париже, лечится у зубного врача-еврея,

пациент требует, чтобы ему вставили самые красивые, самые блестящие зубы, а врач ему говорит, что «слишком красиво — не так красиво». Это похоже на твои рассуждения о том, что красота женщины не должна быть чересчур ослепительной.

Ты поймал меня на слове — насчёт «разрыва между Россией и европейским Западом». Это, конечно, вполне субъективное впечатление, хотя оно было у россиян, посещавших Европу, и в прошлом веке, не зря в русской литературе Россия вечно противопоставляется «Западу» (о котором всегда толкуют как о едином целом, хотя этот Запад отнюдь не однороден). Но ближайшая причина того, о чём я говорю, это, конечно, культурная изоляция страны в течение добрых шестидесяти лет.

Тут, само собой, не избежать схематизма. Но такое чувство — чувство разрыва и отрыва — возникает то и дело. Черты типичного российского дискурса, будь то статья в газете или журнале, эссе на общие темы, интервью с писателем, юбилейная речь или что-нибудь в этом роде: категоричность суждений, наивная непосредственность, отсутствие дистанции, подозрительное отношение к иронии как к чему-то подрывающему устои, банальность, мания поучать мир и изобретение велосипедов.

Что я делаю? Сажу дома. Около месяца тому назад ездил на конференцию ПЕН в Саксонию-Ангальт, одну из новых земель; между прочим, побывал в городишке Цербст, откуда некогда приехала в Россию 16-летняя принцесса София-Фридерика-Августа Ангальт-Цербстская, выданная замуж за Петра III, — приехала, чтобы семь лет спустя стать матушкой государыней Екатериной Второй. Городок был разрушен советской артиллерией и до сих пор являет жалкое зрелище. Литература моя в упадке, я сочиняю разные мелочи, разную ерунду, роман мой не движется. А так — живём по-старому, Лора работает, Илюша звонит нам из Чикаго раз в неделю.

Крепко обнимаю тебя, целую, жду твоих писем. Держись и крепись.

Мюнхен, 11 окт.1999

Дорогой Гера! Мы провели две недели на острове Мальорка, после этого мне пришлось поехать на три дня на один семинар, поэтому я немного задержался с ответом. Но и без того твоё письмо, помеченное 24-м августа, шло ужасно долго. Я удивляюсь тому, что письма вообще доходят.

Мальорка — самый крупный остров в Балеарском архипелаге, который является частью Испании, но фактически представляет собой нечто вроде немецкой экономической колонии; от Мюнхена два часа полёта. Западное Средиземноморье, популярное курортное место с

прекрасными пляжами, со всеми преимуществами и недостатками мест массового туризма: комфортабельный отель, тьма народу, омерзительная рок- и поп-музыка и т.д. Отпуск наш был не вполне удачным: мы оба болели гриппом.

О Мопассане мы, кажется, уже говорили. Он очень много значил для меня в молодости, мне всё нравилось: и романы, и новеллы, и эссеистика, меня интересовала его жизнь; мне кажется, я испытал его влияние; он жив для меня как человек, я и теперь считаю его великим писателем. Но звезда Мопассана потускнела.

Что касается феминизма, я никогда не принимал его всерьёз, — мужской шовинизм, ничего не поделаешь. В Советском Союзе он вообще не существовал, а в Европе массовое общество и занятость женщин лишили смысла чуть ли не все феминистские лозунги. Феминистическое движение существует, но о нём как-то мало слышно. Что касается отношения Мопассана к женщинам... что тут сказать. Такие вещи, как «Жизнь» и «Монт-Ориоль», перечёркивают всё, что сказано в очерке о Манон Леско.

Мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал о прошлом нашей семьи, ведь разница в восемь лет, о которой ты пишешь, в детстве и юности поистине огромна. Я совсем не помню твоего отца, не знаю, видел ли я его вообще когда-либо. Я помню мою мать, но вероятно, совсем не так, как ты. Ты, кстати, совсем не пишешь и о том, как поживают обе твои дочери, видишься ли ты с Ириной? И что вообще нового в Москве?

Пишу тебе на этот раз кратко, но очень жду от тебя писем. За последнее время они стали, увы, редкостью. Не хандри, держись. Для развлечения посылаю тебе несерьёзный рассказик на весьма популярную тему. Обнимаю, целую.

Письма к Г.С. Померанцу¹ 1998–2003

Дорогой Гриша, Вы пишете мне о великом единстве литературы и философии, литературы и религиозного сознания; «Братья Карамазовы» — пример этого единства. Что говорить, прочитав теперь, во второй или в третий раз, роман, невозможно не поразиться вновь грандиозности замысла и величию исполнения. Невозможно не заметить и некоторую неровность. Согласитесь, те места, где эта религиозность выходит на поверхность, не относятся к числу самых удачных. И это не то чтобы слабость гения; это знамение времени. Где-то глубоко в душе писателя дремлет и просыпается иррелигиозность, зреет страшное подозрение, что без религии можно обойтись, как суждено будет обходиться без очень многого в наступающем времени, и можно увидеть в этом романе не поле борьбы Бога с дьяволом (видоизменяя слова Мити), но поле отчаянной арьергардной войны с собственным безверием.

По поводу Ваших слов об отсутствии или, по крайней мере, зыбкости границ между литературой, философией и религиозностью: во-первых, я узнаю в них старинную традицию русской культуры, культуры синкретической, если угодно — традицию византийского средневековья. Эта традиция несла с собой нечто волшебное. Она изжила себя. Вы ссылаетесь на Достоевского и даже на всю русскую классику. Но художественные провалы у Достоевского — как раз свидетельство того, что эта традиция рушится, осыпается. Все хорошо помнят, что литература в России была «всемир», заменяла и философию, и публицистику. Тем не менее историю русской литературы можно рассматривать как историю преодоления культурно-эстетического синкретизма.

Во-вторых — религия... Мне хотелось написать роман — я несколько раз приступал к нему — о человеке, который живёт вне системы ценностей. Это, как я полагаю, и есть истинный герой нашего времени. Не то чтобы он их отрицает, насмехается над ними, отказался от них; не то чтобы ценностей незыблемая скала заколебалась. Время со-

¹ Григорий Соломонович Померанц — писатель, литературовед, мемуарист, историк, философ.

мнений и святотатств, время бунта, время Ивана и Смердякова, и Федьки Каторжного, который находит особую сладость в том, чтобы не просто украсть жемчуг, а украсть его у Богородицы, — миновало, давно миновало. Три войны, две мировых и гражданская, крушение буржуазного мира в Европе, Сталин и Гитлер, цивилизация концлагерей, Освенцим, наконец, массовое общество, каким оно сформировалось в послевоенные десятилетия, — не могли пройти даром. Итогом оказывается появление массового человека, для которого общечеловеческие ценности — абстракция, а разговор о религии беспредметен, как если бы толковали ему о цивилизации шумеров. Вот поистине жуткое посрамление Паскаля и Достоевского. Повторяю, этот человек не атеист, не богоборец, не развращённый просвещением хулитель Бога. Невозможно быть врагом и хулителем того, что попросту отсутствует в сознании, невозможно дискутировать по вопросу, который — не вопрос.

Вот отчего, по-моему, так важно осознать и отстаивать независимость искусства, эмансипацию искусства, в данном случае — достоинство повествовательной прозы, которая не вторит потерявшей своё земное царство религии, но противостоит дегуманизированной идеологии. Однажды я написал статью о романе, она называлась «Апология нечитабельности», там я старался внушить воображаемому читателю — и, конечно, себе самому, — что башня слоновой кости (автономия искусства) уже не то, чем она была или казалась прежде. Теперь это приют человечности, может быть, последний приют.

Жара, слава Богу, спала, а с ней и лето пошло на убыль, как будто израсходовало всю свою энергию. Мне предстоит съездить на день рождения к одному старому приятелю, отставному профессору Гарри Проссу, в Альгой на юге Баварии. Ему 75 лет. Он был некогда организатором ежегодных международных семинаров, которые продолжались десять лет. Теперь решено устроить чтения из работ участников, умерших за это время, — довольно странная идея для именных торжеств. Я буду там читать текст Вилема Флуссера, который стал в последнее время довольно известен, это был человек со сложной и богатой биографией, колоритная личность, с внешностью и манерой вести дискуссию, как у Лео Нафты, — семиотик и философ, погибший в автомобильной катастрофе несколько лет тому назад; я когда-то его переводил и был его первым публикатором на русском языке.

Время бежит, скачет; чем я занимался всё это лето, кроме того, что кряхтел, потел, ездил купаться на озёра, виделся с Беном и с писательницей Л.Улицкой, — сказать трудно. С трудом нацарапал несколько рассказов или небольших повестей, ещё кое-что, а также пытался продолжать свой безнадежный роман, о котором, кажется, Вам писал. «Знамя» напечатало подборку высказываний разных людей о «второй

культуре», где заслуживают внимания Beiträge Ольги Седаковой и Б.Гройса, причём текст Бори представляет собой род литературного манифеста, видели ли Вы его? Настоящей словесностью, отвечающей эстетическим нуждам времени, объявлено творчество Пригова, Вл. Сорокина и Л. Рубинштейна.

С большим опозданием до меня дошёл харьковский сборник «Вторая навигация» под редакцией М. Блюменкранца. Я нашёл там Вашу статью, очень интересную и заслуживающую отдельного разговора. Позвольте старому педанту указать на маленькую фактическую неточность. Вы комментируете «Песню немцев» Гофмана фон Фаллерслебена («Von der Maß bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt...») и поясняете, что Эч — это река По. На самом деле Эч, по-итальянски Адидже, — река в Южном Тироле, где я много раз бывал; речь идёт не об австрийских владениях (да и странно было бы ожидать этого от северного немца и либерала Фаллерслебена), а о пределах распространения немецкого языка. «Песня» представляла собой призыв к объединению, откуда и первая строчка «Deutschland, Deutschland über alles», впоследствии перетолкованная в духе имперского шовинизма.

Я только что вернулся из Альгоя, из этих красивейших мест, где встречаются Австрия, Швейцария, две германские федеральные земли и миниатюрное Великое княжество Лихтенштейн.

Вести из России невесёлые, здесь они довольно подробно комментируются. Но отношение к тем, кто заслуживает самого жёсткого порицания, всё ещё остаётся корректным, отчасти из традиционной симпатии к этой непутёвой стране. Правда, ни для кого не тайна, что огромная денежная помощь мало кому помогла и почти полностью и бесследно исчезла, чтобы затем очутиться на личных счетах в каких-нибудь швейцарских банках.

Вчера до глубокой ночи я листал и читал (точнее, перечитывал) Ваши «Записки», которые, несомненно, останутся в числе самых примечательных — и замечательных — professions de foi русского интеллигента этого времени. Кое-что, например, вступительную главу, я прочёл впервые. То, что она посвящена стилю — в литературном и в более широком смысле, — показалось мне очень важным и удачным. Некогда, во времена, когда Вы публиковались здесь, я писал о Вашем стиле, превосходном по ясности и чистоте языка. Если верен афоризм Бюффона, что стиль — это человек, то не менее справедливо и обратное.

Читая «Записки», мысленно слушая их, как произносимую Вами речь, я имел случай лишний раз убедиться, насколько она отличается от моей речи. Во многих отношениях эта книга кажется мне очень российской, характерной для того образа мыслей и набора духовных ориентиров, который был образом мыслей всего нашего поколения и от

которого я так отдалился. Я не знаю, что было бы, если бы я оставался в России, — скорее всего я тоже ушёл бы куда-нибудь в сторону, — но для меня ясно, во всяком случае, что если бы мне пришлось сейчас вести в Москве дискуссии на все эти темы — диссидентство, еврейство, литература, религия, etc., — я оказался бы в плачевной ситуации человека, с которым говорят как будто на том же самом русском языке и в то же время не на том. Только один пример: рассуждая о национализме, Солженицыне и т.д., вспоминая годы, когда ещё имело смысл вести полемику, я не мог бы продолжать её теми же самыми словами и не мог бы не упомянуть Освенцим. Слово, отсутствующее в книге. По существу — понятие, отсутствующее и в сознании.

Из Вашего письма и посвящения (ещё раз спасибо за прекрасную книжку!) я понял, что Вы приняли мой проект написать роман о «человеке без ценностей» за желание написать о самом себе. Это недоразумение. Вы правы, говоря о том, что тема не блещет новизной; и, конечно, первое, что приходит в голову, это трилогия «разрушения ценностей» Германа Броха. Вообще это чуть ли не главная тема европейской литературы нашего века. Но у меня перед глазами стоит специфический российский опыт и российский человек. Вы пишете мне, что Вы не сомневаетесь в том, что я сумею написать о человеке, у которого нет ценностей, ибо это мой двойник; Вы спрашиваете, не страшно ли этому двойнику в бесценностной пустоте. Тот человек, о котором я собирался писать, никакого страха не испытывает, в этом вся суть; время страха, борьбы с самим собой, время сомнений и желания возратить Творцу билет — для него далёкое прошлое, вот в чём трагедия. Но откуда Вы взяли, что я имел в виду себя? Когда с большим опозданием была опубликована исповедь Ставрогина, раздался голоса, что-де у самого автора на совести преступление, подобное тому, которое он приписал Ставрогину. Моя нелюбовь к сентиментальной риторике и религиозному китчу, мне кажется, не даёт ещё основания считать меня самого человеком без ценностных ориентиров. Она воспитана не только и не столько чтением, сколько опытом жизни; между прочим, и врачебным опытом. Ведь как никак я бывший медик, через мои руки прошло великое множество больных, легион людей, искалеченных физически и духовно, жаждущих помощи. Думаете ли Вы, что врач, который старается честно выполнять свои обязанности, может быть нигилистом?

Дорогой Гриша, мои планы порушились; поездка на ярмарку во Франкфурт накрылась медным тазом, хотя мне заказали и оплатили удобную гостиницу, прислали билет и разные приглашения. Вскоре после возвращения из Чикаго у меня случилось воспаление седалищного нерва, и до вчерашнего дня я терпел муки, «непостижимые для чело-

века, не перенёсшего их», как пишет Томас Манн в «Истории Доктора Фаустуса». Не знаю, удастся ли мне съездить в середине месяца на ПЕН-сборище в Зауэрланд.

Насчёт «Записок Гадкого утёнка» Вы ошибаетесь: я не просто перелистал эту книгу, я читал её полночи всё с тем же интересом, и потом ещё несколько дней. Каждый хвалит в книжках то, что близко ему. Как я уже писал Вам, меня подкупает в этих мемуарах прекрасный стиль, сжатый и прозрачный язык, благородная интонация. Если же позволить себе критическое замечание, то я бы поставил автору в упрёк (хотя как посмотреть: может, это входило в задачу мемуариста) отсутствие или недостаточность дистанции: люди и атмосфера первых оппозиционных кружков, дух поздних 50-х и 60-х годов и далее встречи с диссидентами, полемика с националистами, с нашим пророком и пр. оцениваются почти в тех же выражениях, что и в тогдашние, теперь уже столь далёкие времена.

Спасибо Вам за сочувственный отзыв о «Далёком зрелище лесов»; то, что Вы пишете о нём (литература — цель самой себе, и даже не литература, а самый процесс писания), — истинная правда. Очевидно, для Вас это признак, чтобы не сказать улика, того, что Вы называете «постмодернизмом», то есть литературного нигилизма. Но я не знаю, существовал ли когда-нибудь писатель, кроме уж самых ангажированных, для которого писание не было бы в той или иной мере самоцелью, что, правда, отнюдь не исключает других намерений, целей или задач. Дело такое, что его не сведёшь к единому знаменателю; и что в конце концов получится, никто из нас не знает. И всё же искусство немислимо без заикливания на самом себе, без этого сознания самодостаточности, без какой-то бесцельной спонтанности, и это вовсе не исключительный признак нашего гиблого времени. Спросили бы Вы у Гогена или Матисса, для чего они пишут свои картины. Кроме, само собой, того, чтобы продавать их. *Traum der Sommernacht, phantastisch, zwecklos ist mein Lied, ja zwecklos, wie das Leben, wie die Liebe.* Я эти строчки Гейне (из фрагментов к «Атта Троллю») помню с юности. Художественная литература не может существовать без элемента игры, литература — это и есть игра в некотором высоком смысле. И, может быть, эту игровую природу сочинительства имел в виду Толстой, когда говорил о себе (цитирую, как Вы, на память), что ему странно, что неглупый старик в 70 лет всё ещё балуется таким несерьёзным делом, как писание романов.

Обыкновенно, когда я берусь за какую-нибудь более или менее продолжительную вещь, я хоть и не знаю, что там получится, не имею никакого плана, но по крайней мере представляю себе приблизительно, чем всё это должно кончиться. В этот раз, то есть когда я начал сочинять то, что потом получило название «Далёкого зрелища», у меня перед глазами маячило только одно: некто приезжает в заброшенную

деревню, чтобы как-то разобраться в своей жизни. Но потом стали появляться персонажи, я решил, что читатель как-нибудь смирится с существованием людей из разных времён, как я с этим постепенно смирился, не давая себе труда объяснить, как же это возможно (сон? галлюцинация? игра воображения? Все объяснения казались мне ненужными), — и постепенно почувствовал, что игра увлекает меня самого. Впрочем, *prenez garde!* Когда лично знаком с автором, начинаешь невольно переоценивать автобиографический элемент в его сочинениях, находить его там, где он, этот элемент, может, и не ночевал.

Из России приходят удручающие известия, и коль рушатся цитадели коммерции, то я уж не знаю, какая судьба ожидает такое хилое предприятие, как литература. Чего доброго, в один прекрасный или ужасный день (а может, он уже настал?) накроются все немногочисленные журналы и все сколько-нибудь приличные издательства, которых можно пересчитать по пальцам. Вот и конец нашим возвышенным дискуссиям. Как будто голос свыше объявит: «Братцы, — поиграли и будя».

Мюнхен, 5 дек.1998

За минувшее лето и осень я сочинил несколько сочинений, несколько статей или этюдов, несколько рассказов или коротких повестей — то, что называется *long short story*. Сейчас занимаюсь тем, что переписываю одно такое произведение, с глупым намерением напечатать его, но то, что доносится из России, удручает больше обычного. Правда, литературные журналы уцелели — Бог знает, надолго ли. Но общие известия ужасны. Некий генерал произносит в Думе кровожадную антиеврейскую речь — и никто или почти никто не возражает; большинство, напротив, потирает руки. Какие-то нацистские радиостанции. Решение снова водрузить на пустующую тумбу Железного Феликса. Международный валютный фонд отказывает России в финансовой помощи, наконец-то догадавшись, что все деньги проваливаются, как в трубу, чтобы некоторое время спустя осесть на счетах подставных лиц за границей. Отказ в помощи означает, что невозможно будет платить проценты долгов, и петля затягивается дальше. Месяцы проходят, но беспомощное и, по-видимому, проданное на корню правительство не в состоянии ничего предпринять. Целые области промышленности находятся в руках жуликов, города контролируются бандитами. Какого же чёрта мы пишем трактаты и философствуем; кому нужна литература? Последний раз, когда я был в Москве, это было уже более полугода назад, мне как-то особенно бросилась в глаза вульгаризация общества. Хамский базарный тон газет, базарные голоса телевизионных дикторов, всеобщая дикость на улицах, хулиганское движение, поломанный, покорёженный язык писателей и публицистов, похожий на поломан-

ный вид деревень и городов. Вызвано ли это поспешной коммерциализацией всего, что можно продавать и что готово себя продать, коммерциализацией, сразу принявшей самые примитивные формы? Или тем, что страну покинуло значительное количество культурных людей, а оставшиеся мало-помалу люмпенизировались? Тем, что у власти и на командных постах повсюду находится чернь, а власть в России, как известно, всегда задаёт тон, диктует свои вкусы? Видите, письмо получилось весьма монотонное. Пишите, не забывайте.

Сегодня Три Волхва — *Drei heilige Könige*, или, по-народному, *Dreikönig*, последний день рождественско-новогодних праздников. Я провёл их, сидя дома и сражаясь с радикулитом. Время от времени, однако, мне приходится ездить: в Гамбург, потом в один замок под Бонном, где мне вручили премию ПЕН-клуба; на следующей неделе должен буду отправиться в Нюрнберг.

Вы возвращаетесь к вопросу о ценностях, о которых я, помнится, упомянул в связи с проектом написать роман о человеке без ценностей: я встречал таких людей в России в огромном множестве; впрочем, крушение ценностей — одна из центральных тем европейской литературы этого века. Из Вашей теории ценностей (если я правильно её понимаю) следует, что Западная Европа живёт скорее реликтами распадающейся аксиологической системы прошлого, нежели ценностями или святынями в собственном смысле. Это и так, и не так. Здесь не принято разглагольствовать о святынях, и людей, которые приезжают из России, дабы читать морально-религиозные проповеди, выслушивают скорее с вежливой скукой, потому что хотят знать: а что же вы *реально* предпринимаете, чтобы защитить униженных и оскорблённых? и чем мы, европейцы, могли бы вам помочь? Я думаю, что Ваша уверенность в том, что западные люди всего лишь следуют ценностным привычкам, как Вы их называете, основана на поверхностном и мимолётном знакомстве с жизнью на Западе и, конечно, в большой мере основана на шаблонном представлении об этой жизни. Когда тысячи и десятки, если не сотни тысяч людей выходят на улицы городов со свечами, чтобы протестовать против ксенофобии, когда ежегодно собираются огромные пожертвования для помощи голодающим странам, когда вся Бельгия потрясена известием о том, что какой-то сексуальный маньяк надругался над двумя девчущками и убил их, когда гигантская демонстрация во главе с премьер-министром движется по Елисейским полям в знак протеста и гнева от того, что осквернены еврейские камни на могилах, — это что, только привычки? Когда дискуссия о преступлениях вермахта, совершённых более полувека тому назад, волнует буквально всех, когда споры идут на улицах, когда невозможно пробиться в переполненный зал, — я сам слушал одну из таких дискуссий по радио в

холле Гастайга, вместе с многими другими, не сумевшими попасть в зал, — когда люди тесно сидят на лестнице театра, в котором две недели подряд происходит чтение дневников Виктора Клемперера, того самого, кто был автором книги «Lingua Tertii imperii» (Язык Третьей империи), и слушают трансляцию из зала, — это всего лишь ценностная привычка вместо сознания?.. Нет, Гриша, всё это не так просто, как Вам показалось.

Мне было бы очень интересно послушать хотя бы одну из Ваших радиопередач, нет ли у Вас кассеты или печатного текста? Я, конечно, не «обличал» Вас за незнание Запада, это неподходящее слово. Просто всё дело в том, что ревнителям русской самобытности нечего беспокоиться: разница между Россией и европейским Западом, пропасть, разделяющая два мира, настолько велика, что нет оснований предполагать, что она исчезнет на нашем с Вами веку. Человеку, случайно и на короткое время приехавшему в Европу, может показаться, что он достаточно знаком с этим миром, но это заблуждение, о чём я могу судить и по собственному опыту. Я живу здесь вот уже семнадцатый год, больше общаюсь с немцами, чем с россиянами, чувствую себя дома в Германии (а в Москве, напротив, — гостем). И всё же я не решился бы утверждать, что «знаю» по-настоящему эту страну.

У меня была скверная полоса, я почти ничего не мог делать, написал только шесть коротких текстов для «Искусства кино» по просьбе Л.Карахана и по этому случаю получил от него несколько последних номеров журнала, который давно не держал в руках. Оказалось, что при весьма специальном характере журнала у них по-прежнему, как бывало когда-то, есть рубрика, которую можно было бы назвать: «На свободную тему, или Кто во что горазд». Там я нашёл, между прочим, статейку Игоря Золотусского о диссидентах и эмигрантах, довольно некрасивую, — что-то вроде запоздалого сведения счётов. Почитайте её при случае.

В Вашем письме выражена надежда прожить оставшиеся годы, «прислушиваясь к языку, на котором думаю, не отрываясь от своих читателей и слушателей...» Я же, напротив, всегда был уверен, что нигде, может быть, не был в такой мере оторван от своих воображаемых читателей, как в России. Я думал так даже ещё задолго до того, как стал регулярно заниматься литературой, во времена, когда созерцал, по тогдашнему речению, «шаланды, полные баланды». Но вопрос о языке, то есть о том, чтобы иметь возможность прислушиваться к живому языку или навсегда лишиться этого счастья, не так прост, как бы мы здесь ни хорохорились. Один мой близкий товарищ когда-то даже просил оставшегося в Москве приятеля брать с собой при посещении пивных портативный магнитофон — записывать для него живую речь за-

булдыг, дабы, сидя в эмиграции, не отстать от жизни. В Москве я слышал или даже обонял — или слышу от приезжающих писателей и т.п., или вижу в московских литературных журналах — язык, на котором уже не говорю. Сумел бы я воспользоваться художественными преимуществами языка люмпенизированного общества, останься я там? Вопрос. Я понимаю, что я представитель культуры, которая стремительно умирает в России. На смену ей идёт другая культура. Но ей побудет много лет, чтобы созреть. Обнимаю Вас и Зину.

Если письма мои дойдут, Вы к этому времени уже вернётесь из Норвегии. Завидую Вам: я бы и жить не прочь в этой стране; но никогда там не был. Я помню, как мы с моим сыном, тогда ещё маленьким, в Москве, недалеко от Арбата, останавливались перед посольством, на котором красуется красный варяжский щит с золотым львом в короне и с секирой св. Улафа, — герб, знакомый с детства по маркам: Kongeriket Norge, Королевство Норвегия, здорово звучит, а? Собирали ли Вы марки когда-нибудь?

Вы полны энергии, это замечательно. По-видимому, Вы реализовали себя, обрели самость, выражаясь языком аналитической психологии; текст, который я только что прочёл, это, собственно, не лекция, а религиозная проповедь, хотя и не вполне выдержанная догматически в рамках какого-либо определённого вероисповедания. Правда, будь я человеком в полном смысле религиозным, христианином или иудаистом, мне, вероятно, кое-что («Бог прорастает во мне», «Нельзя иначе Богу появиться» и т.д.) показалось бы как-то не совсем целомудренным.

Насчёт постулируемой Вами русской открытости к проклятым вопросам и Вашей «открытой речи» — это, как я понимаю, отчасти отзвук нашей старой дискуссии о допустимости прямолинейных высказываний. Нет, такая речь здесь совсем не показалась бы старомодной, или неприличной, или нарушающей какие-то придуманные Вами правила салонной игры. Я уверен, что эта речь, простая и вдохновенная, так же, как и в России, нашла бы благоговейных и благодарных слушателей. Всё дело в аудитории: просто я думаю, что слушатели, которые пришли бы к Вам, не удовлетворили бы Вас; а та аудитория, к которой Вы действительно хотели бы обратиться, не была бы удовлетворена Вами. Кроме того, как Вы знаете, в Западной Европе всякий серьёзный дискурс более или менее институционализован: проповедей ждут от священника, разъяснения, развития или критики священных текстов — от теолога. От философа и эссеиста ожидают другого; и совсем уже другого — от писателя.

Что до меня, то я всегда имел в виду именно последнее: литературу, писательство, художественную прозу; там прямые, каменно-

серьёзные декларации какого бы то ни было содержания и уровня воспринимаются как нестерпимая фальшь. Притом что, заметьте, «контакт с собственной глубиной» нигде, может быть, не осуществляется с такой полнотой.

Дорогие Гриша и Зина. В этом году мы собрались пойти на ежегодный мюнхенский кинофестиваль и видели позавчера два русских документальных фильма, первый был о Льве Толстом. Используются киносъёмки в Ясной Поляне, сделанные в последние годы Толстого, потом Астапово и похороны Толстого. Я эти немые фильмы никогда не видел, на меня всё это произвело большое впечатление. Но фильм подпорчен ностальгически-слюнявым и слащавым авторским текстом, который звучит за кадром. Второй фильм был о Солженицыне, в двух частях, режиссёр Ал. Сокуров, довольно известная фигура; может быть, и Вы видели эту работу. В первой части автор и писатель прогуливаются в лесной усадьбе Солженицына, во второй части он работает над рукописью, показаны два рабочих кабинета, летний и зимний. Небольшой разговор с Натальей Солженицыной и долгие беседы с «самим» на морально-религиозные и отчасти литературные темы. Фильм очень плохой. Невозможно представить себе, чтобы здесь на Западе так делались документальные ленты, в раболепном тоне, чуть ли не стоя на коленях перед героем фильма, с ханжеским комментарием; эстетика советского пропагандистского фильма. Вообще говоря, сам Солж производит, я бы сказал, впечатление симпатичное, для его возраста он в прекрасной форме, он работает, он говорит нормальным великорусским языком, который так разительно отличается от слога его произведений. Фильм куда вернее достиг бы своей цели, если бы его снимал свободный человек. Беседы — вопросы режиссёра и ответы, долженствующие продемонстрировать мудрость Солженицына, — удручают своей банальностью. Временами писатель говорит неправду, но, конечно, ни о каких возражениях не может быть и речи; не фильм, а житие.

Я заметил, читая московские журналы, что такой стиль там никого не коробит. Благочестивый китч считается признаком хорошего тона. Несвобода была и осталась воздухом этих людей.

Я получил после долгого ожидания Ваше письмо с впечатлениями о поездке в Норвегию. Об этой стране я, как уже писал Вам, сужу главным образом по кинофильмам. Однажды я видел большой документальный фильм о монархии и короле Харальде. Было время, мы прожили три недели в Дании. Даже Киль, где я был однажды, напоминает Скандинавию.

Знаете ли Вы, кто такой был граф Дракула? Представьте себе, я написал о нём рассказ.

Я уже писал Вам, что значительный блок писем от Вас, накопившихся у меня за эти годы, передал (года два назад) Русскому архиву в Бремене, кстати, очень богатому. Заведует этим архивом Гарик (Габриэль) Суперфин, лучшего архивариуса невозможно себе представить, и я лишний раз убедился в этом, когда побывал в Бремене.

Иногда просматриваю журналы. В последнем номере «Знамени» помещена статья Андрея Новикова, независимого критика и эссеиста, как его рекомендует редакция, под названием «Я устал от слова “культура”», — с «приглашением к спору». Спорить, собственно, не о чем, так как главная мысль — протест против опошления культуры — не особенно нова. Но поразительна самоуверенность, с которой это написано, — и, конечно, недостаточность той же культуры. Много раз употреблено слово «артефакт», значение которого автору неизвестно. О министерстве культуры говорится: «Явление очень редкое в практике мировых правительств». Он, вероятно, не слышал о том, что Мальро был министром культуры, каковое существует во Франции и сейчас; здесь в Германии министерство культуры есть в каждой земле, а недавно создано федеральное министерство. Редакции всё это тоже, очевидно, неизвестно, но почему бы не проверить? И таких глупостей можно найти сколько угодно. Книжки из России, которые я иногда заказываю, пестрят чудовищно неграмотными опечатками, хотя всюду указано: корректор такой-то; о стиле и говорить нечего. Что происходит?

Вы отнесли к моему рассказу о визите в замок графа Дракулы с серьёзностью, которой он, то есть рассказик, возможно, не заслуживает. Речь, собственно, о том (возможна и такая интерпретация), каким образом можно вжиться в миф до такой степени, что теряется граница между мифологией и действительностью, и коль скоро такое вживание рассказчику, как он думает, удалось, он должен был, в качестве специалиста по психологии мифотворчества, испытать не только чувство избавления от страха, но и некоторое удовлетворение. Вы правы: миф удалось впустить в подсознание, и там он нашёл некую благоприятную почву.

Я вполне присоединяюсь к тому, что вы пишете о поле и сексуальности и, вероятно, выразил бы своё собственное отношение к этим вещам так же или почти так же, как Вы (правда, избегая слишком настойчивых упоминаний о Боге, которые рискуют показаться назойливыми и преступают известную границу, полагаемую целомудрием). Но литература, вернее, проза, дело особое, она не может заниматься тем, чему надлежит быть; критерии хорошего и дурного в ней лишь подразумеваются, но никак не декларируются. В этом смысле демонизм существует в литературе на равных правах с нежностью. Ваше отношение к полу другое; конечно; и моё тоже. Задача

литературы, однако, не в том, чтобы иллюстрировать то, что и без неё хорошо известно. Впрочем, то, что Вы пишете, — впечатление читателя, и я, конечно, не могу и не хочу с ним спорить. С меня достаточно того, что Вы терпеливо дочитали это сочинение до конца, что Вы дали ему определённую оценку. Ведь я обыкновенно исхожу из убеждения, что у меня в России вообще нет читателей.

Хотя я не вполне здоров, мне придётся в конце недели ехать в Берг на Штарнбергском озере, на очередной немецко-русский симпозиум о «поисках идентичности». Я бесчисленное число раз бывал на подобных собраниях, но до сих пор не могу понять, что все эти слова означают. Мы живём среди какого-то нескончаемого листопада мёртвых слов: духовность, ментальность, идентичность...

Последний раз я писал Вам по возвращении с острова Мальорка, стоит глубокая осень, и дрозд за окошком доклёвывает последние ягоды, всё что осталось от пышной завёсы плюща. Я не ездил во Франкфурт на ярмарку книг, по большей части сидел дома, раза три выезжали с Лорой в театр, в концерт, особенных новостей нет. На днях получил от Марка весточку из Парижа, где Fayard готовится выпустить (или уже выпустил) две его книги. Как Ваши дела, здоровы ли Вы? Чем занимаетесь, что сочиняете?

Мне удалось закончить роман, впрочем, совсем небольшой, но над которым я корпел довольно долго, с большими перерывами; называется он «Аквариум». Не могу сказать, чтобы я был от него в восторге, совсем даже наоборот, но больше не могу им заниматься; должно быть, в самом замысле был дефект. В этом романе почти нет никакого сюжета. Речь идёт, как я Вам когда-то уже писал, о человеке или о людях, не то чтобы утративших верования, убеждения, ценности, а также веру в необходимость верований, утративших сознание этой необходимости, — но попросту живущих без них, не испытывая чувства потери. Как если бы они продолжали играть в шахматы после того, как у них съели короля. Человеческий тип, распространившийся после двух мировых войн, лагерей уничтожения, в массовом обществе и т.д. во многих странах, но особенно, как мне казалось и кажется, характерный для России. Тут как-то на днях мне попала подборка материалов дискуссии на тему «Христианство и культура» в октябрьском номере «Знамени» (никакой дискуссии, собственно, там нет, все дудят в одну дудку), некоторые из них поражают какой-то странной смесью мракобесия и наивности, такой наивности, что хочется спросить: вы где живёте?

Кстати, вести из нашего отечества одна другой мрачнее, безумие на Северном Кавказе продолжается, и становится ясно, что цель этого нового крестового похода — не расправа с террористами, а что-то совсем другое...

Дорогой Гриша, в ожидании письма от Вас я написал Вам вне очереди две недели тому назад, вложив в конверт один старый рассказик, о котором вспомнил под впечатлением страшных картин на Северном Кавказе, которые видишь на экране чуть ли ежевечерне. Чем всё это кончится? Может быть, тем, чем закончится вся эта затянувшаяся промежуточная пора, междувременье, — торжеством порядка, при котором, например, переписка с границей вроде нашей с Вами станет невозможной.

Я веду, по-видимому, более однообразную жизнь, чем Вы. Закончил свой роман (так и хочется поставить ударение на первом слове), он совсем небольшой и малоудачный, и написал довольно длинную статью о заговоре 20 июля. Вы спросите, кого в России интересует это 20 июля, — никого, разумеется, но оно интересует и всегда интересовало меня.

Вы разьяснили мне значение таинственных слов «духовность», «ментальность» и «идентичность», спасибо. Продолжая мысль (и цитату) Витгенштейна, на которого Вы сослались, можно сказать, что мистицизм не диалогичен, так как мистик разговаривает только с самим собой или с тем, что он полагает реальным вне себя; поэтому я не могу ни возразить, ни вообще как-либо ответить; Целое, так Целое, пусть будет так. Скажу только *pro domo mea*, что лагерь, вероятно, вызвал какой-то сдвиг в каждом из нас, как когда-то каторга совершила переворот в душе Достоевского; меня же лагерь научил пониманию двух абсолютных ценностей: человеческого достоинства и искусства. Так что тут наши ориентации — как это часто бывало — несколько расходятся; но это не мешает нам беседовать, не правда ли.

Наши письма идут навстречу друг другу, как поезда, минуя друг друга. Когда дойдёт это, минует, наверное, уже значительная часть нового года и века.

Мой рассказ с названием из Аполлинера («Мост Мирабо» — никакой перевод не в состоянии передать волшебство этого стихотворения) был сочинён давно и, пожалуй, навеян не только распрей между народами бывшей Югославии, но всё ещё сохранившимся в России уважением к национализму; все национализмы отвратительны, но зверские черты прямо пропорциональны величине народа, который их культивирует. То, что сейчас происходит в Москве и на Северном Кавказе, эти карикатурные выборы в карикатурный парламент, под дальний грохот войны с объявленной целью истребить целый народ, повергает меня в ужас. Я смотрю на физиономии этих политиков-дельцов с грязным, а подчас и преступным прошлым, и мне кажется, что все они стоят друг друга. Не знаю, что я делал бы, если бы оставался в России, — вероятно, сидел бы взаперти и уж, конечно, не голосовал бы ни за кого.

Я говорил Вам о том, что был занят очерком о заговоре 20 июля; закончил его и теперь взялся за одну новую работу, но, как всегда, то и дело отвлекаюсь. На носу Рождество, в западных странах это главный праздник года. Мы с Лорой ведём довольно однообразную жизнь, она работает, я почти всё время сижу дома, иногда вылезаем, позавчера слушали в Гастайге (зал Карла Орфа) Рождественскую ораторию Баха, всё ту же и вечно новую, невыразимой красоты вещь, а завтра собираемся на «Волшебного стрелка». Вольфганг Казак прислал мне свою только что вышедшую книгу «Christus in der russischen Literatur», там есть две страницы, посвящённые Зине, и ещё несколько упоминаний о ней. Кстати, Вы пишете о сказке о зайцах и волках; означает ли это, что ёлочные представления для детей продолжают? Не могли бы Вы прислать мне статью, о которой Вы упоминаете?

Иногда хожу в Баварскую библиотеку. Подхожу к полке и вижу газету под названием «Православная Русь», издаётся по благословению архиепископа такого-то. На первой странице шапка: христоролюбивый русский народ вступает в последний и решительный бой с исламским фундаментализмом и еврейским нацизмом. Потом открываю «Литературную газету», которая не постыдилась напечатать воинственную расистскую статью какого-то Осетинского, нафаршированную самой грубой лезвием премьер-министру.

Дорогой Гриша! Эрнст Юнгер собирался жить в трёх столетиях, это желание чуть было не осуществилось: он не дожил до XXI века меньше трёх лет. Но то, что нам удалось перепрыгнуть этот рубеж, граничит с чудом. Итак, первый раз я пишу эту дату: две тысячи. Компьютер автоматически перестроился, по-видимому, не испытывая большого волнения. Мне, однако, придётся ещё долго привыкать. Чувствуешь себя сразу каким-то древним старцем.

За Рождественской ораторией и «Волшебным стрелком» последовала Девятая Бетховена, которую мы слушали в первый вечер Нового года, это тоже традиция, в Национальном (оперном) театре и в самом лучшем составе, под управлением Zubin Mehta. Согласитесь, что ради того, чтобы услышать «Freunde, nicht diese Töne» и «Seid umschlungen, Millionen» на родном языке Шиллера и Бетховена, стоит жить в Германии.

Я затеял одну новую работу, но тут такое настроение порога, что тянет скорее думать о том, до чего не пришлось дотянуться, чего так и не удалось сделать. Я стремился к синтезу. И всё-таки мне кажется, что написанное мною — семь романов, около сорока рассказов и повестей, эссеистика и пр. — приближается к этому синтезу, представляет в своей совокупности некий эпос, где сюжетом является ситуация человека, а фоном — мрачное время и страна, в которой нам выпало родиться и

жить. Будет ли этот эпос забыт, как забывается всё, — в силу внутренней недолговечности, оттого, что литература в этом обществе отгеснена на обочину, или по той же причине, по какой будет забыто, утоплено в жиже прошлого и это время: по причине национальной амнезии, неизлечимого недуга?

К сожалению, я уже несколько лет не видел газету «Русская мысль», в библиотеках, где я бываю, её не получают, и я не смогу прочесть Ваш комментарий. Я почему-то подумал, что ёлки для детей с чтением сказок в Вашем доме продолжают или возобновились. Что касается событий на Северном Кавказе, то я перестал удивляться тому, что война встречена в России с энтузиазмом, как перестал удивляться и этой уверенности, будто «на Западе» телевидение и газеты пичкают людей односторонней и непременно антирусской информацией. Старые мифы чрезвычайно живучи — и вообще не хочется об этом говорить. Поразительно, что даже в чисто политическом и военном смысле — оставляя в стороне мораль, международный престиж страны и т.д. — урок Афганистана никого ничему не научил. Меня, однако, несколько озадачили Ваши слова о том, что «демократическая власть может быть достаточно шовинистической». Конечно, после прежних режимов, сталинского или послесталинских, можно говорить о больших успехах. Но я не могу представить себе демократическое государство, в котором у власти, сопоставимой с диктаторской, оказался человек, сделавший карьеру в преступной организации. Одно это обстоятельство должно было бы закрыть ему доступ к какой бы то ни было политической деятельности.

Вы ничего не пишете о том, чем Вы сейчас занимаетесь, что пишете. Пишете ли что-нибудь? Интересует ли Вас ещё — на этом страшном фоне — литература, искусство? Я ездил на собрание ПЕН под Берлином, где, между прочим, посетили огромный атомный бункер для бывших бонз ГДР, нечто сюрреалистическое, зато на обратном пути (я ехал с одним приятелем) мы завернули в Наумбург, где мне посчастливилось побывать десять лет тому назад. И я снова увидел каменные статуи фундаторов в соборе, среди них Уту и Реглиндис, чьё волшебство описать невозможно. Других поездок вроде бы не намечается, если не считать того, что в апреле мы собираемся полететь в Чикаго, а оттуда — в Калифорнию.

Что ещё? Ещё я написал небольшую повесть, страниц 50, из рода тех, которые когда-то в советском обиходе зачислялись в рубрику «мелкотемья». Это сугубо приватная история, где я некоторым образом пытался соединить мотивы и темы, всегда занимавшие меня: любовь, память, время, предопределение, предназначение. Я пишу, ломая голову над каждой фразой, пишу (как сказано в одном письме

Флобера), словно играю на пианино пальцами в свинцовых напёрстках, — прекрасно понимая, что, с одной стороны, работаю впустую. Но, с другой стороны, задача заключается в том, чтобы — тавтология тут неизбежна — выполнить некую художественную задачу; в этом, собственно, всё дело и вся цель, других целей у литературы нет; удаётся ли эту задачу выполнить, that's the question. Некоторая закулисная свертха тема этого сочинения та, что горизонтальное и вертикальное время — время повседневного существования и время истории — иллюзорны по сравнению с внутренним, нелинейным временем человека; подлинным временем, которое открывается сознанию иногда по прошествии целой жизни.

Помню, я когда-то, лет двадцать тому назад, переводил послесловие к известной книге Дж. Биллингтона «Икона и топор», оно называлось, если не ошибаюсь, «Ирония русской истории» и было потом напечатано в нашем бывшем журнале. Но ссылки на то, что Россию унизили в Косове и что это будто бы — источник дальнейших бед, кажутся мне, простите, смехотворными. Кто унизил? Снова кто-то виноват, только не «мы», и этот «кто-то», конечно, в первую очередь — американцы. Между тем российское правительство и русская общественность, поскольку вообще можно говорить об «общественности», с самого начала заняли просербскую позицию, нисколько не заботясь о том, к чему могли бы привести действия белградского князька, которого так и не удалось урезонить, несмотря на многомесячные предупреждения. Девятьсот тысяч беженцев из Косова никого в России не беспокоили. Теперь эта огромная, владеющая ядерным оружием страна, видите ли, обижена. Скорее надо было счесть унижительным — и, конечно, бесстыдным — то, что она вела победоносную войну со старухами и детьми, разрушила до основания полумиллионный город и обрекла на смерть собственных молодых ребят — на западные деньги.

С Вашими рассуждениями о том, что народному сознанию ближе коллективизм, коллективная покорность судьбе и коллективная безответственность, нежели представление о суверенной, отвечающей за себя личности, конечно, нельзя не согласиться. Всё это не новая история, и советская власть, и государственное православие с разных сторон, не говоря уже о прочих и отдалённых обстоятельствах, немало потрудились над этим. И всё же я думаю, что «держава», и «наши интересы», и «национальная гордость» — все эти фантомы перестали бы занимать людей, если бы удалось устроить сносную жизнь для большинства, научиться производить продукты питания, товары и услуги, с которыми не стыдно было бы выйти на международный рынок. Создать демократию — а не то, что называется сейчас этим словом в России. Между прочим, создать и разумную, современную полицию — а не то, что

именуется «правоохранительными органами». Тогда и судьба Железного Феликса интересовала бы людей не больше, чем сейчас их интересуется бородастый Карлхен с голубем на голове. Но Вы не могли не заметить, что и у нового шефа нет никакой экономической программы.

«Чем больше звереет масса, — пишете Вы, — тем больше порыв вырваться из этой массы». Да... на таких людей и осталась надежда. Только как бы ни оказалось — в один прекрасный или ужасный день, — что они все уехали.

Дорогой Гриша, дорогая Зина, я ездил в Рейнскую область и заодно побывал в Бельгии, в приграничном районе, населённом немцами, которые, однако, остаются бельгийцами, что никого не смущает и никого ни на что не провоцирует; после этого, как я уже Вам писал, мы отправились в Новый Свет, жили в Чикаго, в Сан-Франциско, изумительном городе, провели три дня в Йосимитском национальном парке, где дивились разным чудесам. И только теперь, вернувшись в Европу несколько дней тому назад, я узнал о том, что было с Вами, — об операции и прочем. Мне сообщил об этом Марк Харитонов и рассказывали супруги Блюменкранц. Наконец, сегодня я получил от Вас письмо. Какое счастье, что всё, кажется, обошлось.

После возвращения, когда самолёт летит в противоестественном направлении, навстречу крутящейся Земле и солнцу, которое стремительно выкатывается из-за ночного горизонта, я всё ещё не могу прийти в себя, но делать нечего, надо приниматься за свои занятия. Повесть, о которой я упоминал, почти готова, она невелика — примерно два с половиной листа; её нужно лишь слегка доделать, из чего, конечно, не следует, что я ею вполне доволен. Но так как Вы проявили к ней интерес, я пришлю её Вам, правда, рискуя разочаровать Вас: это сутобо частная история, лишённая какого-либо намёка на христианскую мораль. Вы знаете мою точку зрения: искусство взбирается на вертикаль лишь при условии, что не сознаёт этого, или, по крайней мере, до тех пор, пока не извещает об этом читателя.

Мне жаль, что Вы усвоили англоязычную, отвратительно звучащую для русского уха транскрипцию слова *голокауст*, давно существующего в русском языке и пришедшего к нам непосредственно из греческого языка (где *ὁλοκαυστος*, слово, в свою очередь заимствованное из древнееврейского, буквально значило сожжённый целиком). Но невежественные журналисты впервые вычитали его из американских газет и решили, что *Holocaust* английское слово, так как ни о других языках, ни об античности они вообще не имеют представления. Здешние газетчики не всегда превосходят их по части культуры и образования, но по крайней мере догадываются изредка заглядывать в словари.

Журнал «Континент» Баварская государственная библиотека не получает, и виновата в этом редакция самого журнала: зная, что журнал малоизвестен, непопулярен, она должна была бы, ввиду немалого числа русских читателей в Германии, вступить в контакт с библиотекой. Так что я не могу прочесть Вашу статью. Зато прочитал сказку и комментарии к ней. Заяц и серебряная скрипочка, всё это, конечно, мило и трогательно, но боюсь, что в моём возрасте я уже не в состоянии реагировать должным образом на моральную концепцию, которая стоит за этой притчей. Эта концепция слишком проста, чтобы быть действенной. В этом всё дело: какова действенность подобной проповеди в подлинной, реальной жизни, в сегодняшнем реальном мире. Огромный, невероятно сложный, несущийся вперёд мир не влезает в эти штанишки.

По-видимому, дело идёт к тому (уже почти пришло), что большой политикой — «судьбами мира» — будет заправлять концерн многочисленных богатых стран во главе с Америкой. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но, пожалуй, можно радоваться тому, что дирижировать будут всё-таки демократические государства, а не диктаторские; западные, а не восточные. В этом мире всё меньше значит оружие (вот почему, между прочим, как-то на удивление мало приняли всерьёз решение — или угрозу — России пересмотреть концепцию первого удара, приступить к ядерному перевооружению, — спрашивается, на какие шиши). Всё больше значат активы банков, новые технологии, экономическая мощь и возможность навязывать свою волю экономическими, а не военными средствами. Но дело идёт, возможно и к созданию международных мобильных полицейских сил (они уже отчасти созданы), которые будут душить в зародыше всевозможные национально-освободительные движения, гасить региональные конфликты, религиозные распри и т.п., не слишком заботясь о моральной стороне дела, не считаясь с «суверенитетом», не разбираясь, кто прав, кто виноват. Это будет огромный кулак в бархатной перчатке, с золотым перстнем, похожим на кольцо Нибелунга. Как Вам нравится этот эскиз будущего?

Пишу Вам, так сказать, вне очереди и без особого повода; прошлый раз писал в середине июня. Вот уже и солнцестояние позади. Я вернулся из Баденвейлера, где пробыл всего одни сутки. А ехать туда от нас поездом, с двумя пересадками, ни много ни мало пять часов. Да ещё потом на машине, так как курортный городок стоит не на железной дороге. Чехов ехал туда в коляске. Городок прелестный, весь в тени огромных деревьев. При подъезде, на горе — руины замка Церингов, герцогского рода, вымершего в XIII веке. В курзале, весьма современном, происходила сначала публичная «дискуссия», так это называется, ра-

зумеется, сразу съехавшая на Чечню. Потом, как водится, сидение в Клеире до половины второго ночи. На другое утро, в воскресенье, происходило моё чтение в сопровождении откуда-то приехавшего русского оркестра. Так как я тысячу раз выступал с разными чтениями, обсуждениями, докладами и тому подобным, я выбрал текст (о языке), который обычно имеет успех; в Германии его публиковали (по-немецки, конечно) несколько раз. Печатался он и по-русски.

Увидел ответы на обширную анкету, устроенную редакцией Вольфлей, то есть «Вопросов литературы». С его редактором, Лазарем Лазаревым мы когда-то учились на одном курсе в университете, на филологическом факультете, но он был на русском отделении, был фронтовиком и партийным деятелем, членом какого-то бюро, я с ним был едва знаком. Несколько лет тому назад я напечатал в журнале большой этюд об Эрнсте Юнгере, этот опыт публикации был неудачен, они исказили заголовок и внесли цензурные изменения в текст. Но нужно признать, что в каждом номере есть интересные материалы. Я был несколько удивлён, прочитав среди ответов на анкету довольно большой текст Анатолия Бочарова, бывшего влиятельного советского критика, специалиста по «нравственным проблемам» литературы, как это тогда называлось. Его я тоже знал в университете, он учился на нашем курсе, состоял секретарём бюро то ли курса, то ли ещё выше и был, как же могло быть иначе, в эти гнусные времена одной из самых одиозных фигур. Его дальнейшая карьера продолжалась в том же духе. Теперь он стар, ему 78 лет. И вот, представьте себе, я читаю его ответ на анкету (о себе, о судьбе страны, о литературе, о религии), самый интересный из всех помещённых там, — очень трезвый, взвешенный, содержательный и очень горький. Какую сложную эволюцию проделал этот человек.

Я занимался в последние недели мелочами, пописывал кое-что. В Сан-Франциско, в последний наш приезд в Америку, в замечательном, поистине безбрежном городском парке, мы с Лорой, нашим сыном и внуком забрели в японский сад, там мне пришла в голову одна идея. Я написал рассказец под названием «Сад отражений». Кроме того, я занялся одной темой, с которой однажды имел дело лет тридцать пять тому назад, когда находился в аспирантуре и состоял по совместительству переводчиком медицинской литературы при Центральной медицинской библиотеке на площади Восстания; там было такое бюро устных переводов для сочинителей диссертаций. Был один врач, интересовавшийся этой темой. Я говорю о только что ставших тогда известными в СССР (само собой, среди специалистов; в так называемой открытой печати и тем более в литературе об этом не полагалось писать) экспериментах с новым классом веществ — психоделическими, расширяющими сознание препаратами Самый знаменитый из них, о котором Вы, конечно,

знаете, — виннокислая соль диэтиламида лизергиновой кислоты, LSD. О нём услышали, в частности, когда узнали об американских битниках и переведённом на русский язык Джеке Керуаке, который погиб во время одного из коллективных сеансов погружения в LSD. Не знаю, почему эта старая история меня вдруг заинтересовала. (От LSD многого ожидали в клинической психиатрии, так как вещество моделирует некоторые психозы, и надеялись использовать его для лечения; эти опыты, ввиду их опасности, оставлены). Я выписал книгу Альберта Гофмана, изобретателя этого снадобья, она называется «LSD — mein Sorgenkind», 1979, и прочёл то, что известно о двух совместных опытах «погружения» самого Гофмана и Эрнста Юнгера. Одно из примечательных свойств препарата — то, что оно не уничтожает идентичности «я», сохраняет ясность рассудка, не лишает испытываемого способности самоконтроля, хотя и отчуждает его в некоторых случаях от собственного «я».

Короче говоря, я придумал и написал рассказ на эту тему, где, правда, со всей этой историей не так много соприкосновений, а об LSD вовсе не идёт речь. Тут был большой риск для «художественности», так как меня интересовал вопрос, так сказать, квазифилософский: можно ли представить себе экспериментальное подтверждение кантовского тезиса о времени и пространстве как формах созерцания (отнюдь не присущих субстанционально самой действительности, то есть вещи в себе), можно ли освободиться от этих форм, не означает ли уничтожение чувства текучего времени — то, что Гофман называет *das Zugleich aller Dinge*, — субъективного бессмертия и вместе с тем — не грозит ли оно разрушить личность.

Ну, я опять растёкся мыслью по дереву. Хотел ещё написать Вам о «Третьем времени». Я несколько переделал это сочинение, не знаю, к лучшему ли. Мальчик 14–15 лет поглощён своими переживаниями, каждая мелочь имеет для него огромное значение, а в это время где-то далеко идёт война. Где-то идёт немислимая, невероятная по своей жестокости и разрушительной мощи война, ежедневно, ежечасно гибнут тысячи людей, а он погружён в свои переживания. Война обесценивает не только то, чем он живёт, но обесценивает всё: человечность, дух, историю, культуру. От всего человеческого мира остаются обломки, подобно тому, как остаются руины и обгорелые печные трубы от городов и деревень. Отрицательный опыт войны (как и отрицательный опыт концлагеря) отравил и разрушил психику целых народов, наложил печать на всё столетие.

Это противоречие между двумя «временами», невозможность их сосуществования, которую я так болезненно ощущал всю свою жизнь, собственно, и занимало меня больше всего в этом произведении. И есть ещё одно «время» — рутинная повседневность, усыпляющий

быт, который представляет собой некое благословение, даже спасение, или убежище, в котором человек ищет укрытия от кошмара истории (выражение, которое Джойс вкладывает в уста Стивена Дедалуса). Я никогда не понимал людей, которые гордо заявляли, что они жили «со своим народом», славили величие нашего времени, утверждали, что жили «в истории», я не понимаю, как можно жить в такой истории. Слова Тютчева «счастлив, кто посетил...» — для нашего времени абсурдный анахронизм.

Вы пишете мне, Гриша, о «Знамени». Я не совсем понимаю или, вернее, совсем не понимаю, почему Вы считаете, что журнал пал жертвой постмодернизма, что Вы подразумеваете под этим термином, — вероятно, просто плохую литературу. Если так, то Вы правы; но где взять хорошую, настоящую литературу? Что касается Вашего слуги, то мне всё же приходилось там печататься: например, года два тому назад они поместили статью о нашем бывшем журнале. Беллетристических произведений я никогда не предлагал; зато они отклонили мою статейку о советской литературе, за что я им благодарен. Я её переписал, она была напечатана в «Октябре». Статья так себе, но там содержалась важная, хоть и не новая, мысль о материальном обеспечении литературы и классовом (или сословном) сознании писателей в СССР.

Целая страница в Вашем письме посвящена воспоминаниям. Стихи, которые читались запоем, мысли и чувства давно минувших дней... Вот я Вам сейчас процитирую элегию Вальтера фон дер Фогельвейде, рыцаря и поэта, одного из трёх великих миннезингеров XIII столетия. Это *Mittelhochdeutsch*, средневерхненемецкий язык, понимание его может вызвать трудности. Но, может быть, звучание стиха поможет вкусить его прелесть.

Owê war sint verswunden alliu miniu jâr!
ist mir min leben getroumet, oder ist ez wâr?
daz ich ie wânde ez wære, was daz allez iht?
dar nâch hân ich geslâfen und enweiz es niht.
nû bin ich erwachet...

Увы, куда исчезли все мои годы... Приснилась мне моя жизнь или это всё на самом деле? Всё, что мне казалось настоящим, может, было обманчивой игрой. Я долго спал — и не чуял этого. А теперь пробудился...

Дорогие Гриша и Зина, тщетно я названивал Вам, и в четверг, и в другие дни, телефон молчал. Так я и уехал, не повидавшись с Вами. Я пробыл в Москве две недели. Три дня из них ушло на то, что я опекал немецкую чету, старых друзей, не знающих ни слова по-русски и впер-

вые приехавших в Россию. Я их встречал, возил по городу, в которого и сам теперь чувствую себя чужим. Потом провожал в другом аэропорту, они летели на конференцию в Кемерово.

Поездка моя была очень утомительной — и оттого, что мы стареем, и оттого, что город стал ещё менее гостеприимен, чем прежде. Видался с друзьями, в том числе с Марком Харитоновым, и разными людьми, посетил редакции «Октября» и «Знамени», побывал в «Вагриусе». Там собираются издать небольшой сборник моих сочинений, но общение с этим знаменитым издательством оставило у меня тяжёлый осадок: редакторша принялась править мою прозу, выбрасывать куски и т.д., от чего я давно отвык. Всё это делалось, как она объяснила, для моей пользы.

Если же попытаться соединить, хотя это трудно, все мои впечатления, то мне показалось, что люмпенизация общества, засилие варварства на разных этажах власти и в разных социальных слоях — становятся всё ощутимей. Почти не встречаешь интеллигентных лиц, не слышишь нормального русского языка. Разумеется, это лишь беглое впечатление; может быть, поверхность жизни; возможно, Вы не согласитесь со мною.

Получил, наконец, от Вас весточку, дорогой Гриша: слава Богу, Вы оба живы и более или менее здоровы. Как я уже писал Вам, я много раз пытался связаться с Вами и в Москве, и отсюда, после возвращения. Последние недели я разъезжал, правда, не забирался так далеко, был в Бонне, Кёльне, Эссене, гостил у В.Кáзака в деревне Мух, местность, которая называется Bergisches Land, не от слова Berg, а в память о феодальных властителях. Края, мне знакомые; выступления, разговоры. Вчера вернулся из второй поездки, на этот раз из Франкфурта, где был вечер в университете Гёте, потом ездили на дачу в Рейнгау, минуя Вестервальд: путешествие вдоль Рейна, мимо лесов, скал, романтических руин и виноградников, по дороге заехали в один старый монастырь.

Мои занятия... «Die Zeit» просит меня принять участие в годовом обмене мнениями о науке и будущем человека, но будущее непредсказуемо — это входит в его определение, — что же касается науки и технических новшеств, инициируемых наукой, то можно лишь удивляться тому, как мало значения, по-видимому, придавали научно-техническому преобразованию общества марксизм, с одной стороны, и религиозная философия — с другой. Абсолюты, хоть и противоположные, равно заслонили для них реальность. В конце концов мы сами были свидетелями того, как революционизировали жизнь всех людей телефон, автомобиль, телевизор или противозача-

точная пилюля. Сейчас совершается нечто неслыханное с компьютером и всеобщей компьютеризацией; а то ли ещё будет? Надо ли этому радоваться — или ужасаться?

Дорогие Гриша и Зина, знаю, что охота писать письма может пропасть, кажется, что всё уже сказано, но я настолько привык к общению с Вами, хотя бы и заочному, что пишу Вам, не дожидаясь известий от Вас. Год уходит, в Мюнхене Рождество уже на носу, один единственный раз снег показался в воздухе, но до земли так и не долетел. Базар Христа-дитяти (Christkindlmarkt) бушует в центре города; всё как всегда.

После возвращения из Москвы, оставившей, по правде сказать, не слишком весёлое впечатление, сведения мои о России ограничиваются главным образом теми, которые слышу или вижу по немецкому радио и телевидению. Газеты читать — любые газеты — я, как Вы знаете, не люблю. Изредка просматриваю литературные журналы, время от времени выписываю книжки. Через неделю мы собираемся на десять дней в Америку, в феврале предстоит две поездки в Германии. Кстати, в Америке я кое-что напечатал в «Новом журнале»; странный и, надо полагать, недолгий флирт затеялся с этим скучноватым журналом. «Октябрь» тиснул мою повесть «Корсар», с экзотическим сюжетом. Имеете ли Вы представление о креольском языке?

Последнее время я занимался главным образом двумя вещами. Написал довольно пространную для этого жанра статью-рецензию о трёх книгах популярного в наших краях Рюдигера Зафранского: Шопенгауэр, Ницше, Хайдеггер; заодно и о самих философах; нацарапал повесть под названием «Возвращение», в которой действие происходит в двух местах или даже двух мирах: здесь и в России. Второй мир скорее призрачный, а может быть, увиденный во сне. Но не думаю, чтобы это сочинение имело успех в нашем отечестве, если оно вообще будет напечатано: всякая двузначность, хотя бы и эстетически преобразённая, и всякий, даже слабый запах философии вызывает там то, что в иммунологии называется реакцией отторжения. От «Вагриуса» и «Сибирского хронографа» (Новосибирск) никаких вестей.

Женя Барабанов возвращается в конце февраля в Москву.

...Вы привели интересное высказывание Дениса Апраксина. Судя по всему, это отклик на этюд Зины, тот самый, о котором мы когда-то немного спорили, где сказано, что евреи распяли Христа. Я уже писал Вам, что эта «проблематика» кажется мне более не заслуживающей обсуждения. Вообще я не могу относиться к сцене суда Пилата (у Иоанна и синоптиков) иначе как к художественно-мифологической и заведомо тенденциозной, — её историческое неправдоподобие бросается в глаза. Всё это, однако, не умаляет мысль Апраксина. С ортодоксально-хри-

стианской точки зрения его комментарий — сутубая ересь, ну и что с того? Мысль, если я её правильно толкую, состоит в том, что проповедь Христа есть нечто пригодное для ничтожного меньшинства; «народ» же, требуя расправы над Христом, по-своему прав, ибо от него требуют невозможного. (При этом, конечно, мы относим себя к этому замечательному меньшинству, как же иначе.)

Лично меня смущает в этом высказывании некоторая его абстрактность.

1. «Масса», о которой можно говорить сегодня, имеет очень мало общего с толпой народа, наводнившей Иерусалим в пасхальные дни 30 года н.э. Массовое общество второй половины двадцатого века — новое явление в истории.

2. Сегодняшняя элита в развитых странах по большей части равнодушна к христианству.

3. Я предпочёл бы относиться к легенде о Великом инквизиторе более дистанцированно. Её почти памфлетный антикатолицизм несколько портит впечатление от гениального текста. За сто с лишним лет произошло столько перемен, что, увы, легенда уже «не звучит». Достоевский, я думаю, бессмертен как художник — не как моралист.

Мои дела идут ни шатко ни валко. «Знамя» тиснуло мою рецензию на жизнеописание Борхеса, выпущенное на двух языках в Лондоне и Берлине. Напечатают ли они две других рецензии — о появившихся сейчас трёх новых и весьма обстоятельных биографиях Томаса Манна и о книгах Р.Зафранского, — не ведаю; последнюю вряд ли, она слишком длинная, да и предмет, видимо, далёк от интересов редакции. Вы пишете, Гриша, о том, что я воспринимаю и оцениваю информацию из России односторонне. Так оно, очевидно, и есть; да и как может быть иначе, если Россия так далека от мира, в котором я обретаюсь. Правильнее, может быть, говорить об иной, отличной от внутрироссийской, расстановке акцентов. Многие из того, что так интересно и важно для человека, живущего в стране, отсюда глядя, представляется и не столь важным, и малоинтересным. То же самое происходит при перемене вектора. Почти всё, что мне случается читать из России о Германии и «Западе», — либо близорукость, либо просто глупость.

Дорогой Гриша, вчера я получил письмо-пакет, улёгся на диван и стал читать французскую статью, недоумевая, какое она имеет отношение к Вам. Но потом увидел что Ваш этюд об Англии и англичанах — на обороте статьи. Этюд очень интересный и прекрасно читается. Вы правы, говоря, что образ Англии зыбок в русском сознании и занимает в нём гораздо меньше места, чем образ Франции и Германии. Это связано отчасти и с географией: до сих пор — а уж о XIX веке и говорить нечего — гордый Альбион в известной мере сторонится

Европы. Что касается английского языка, то он для России (и не только для России) перестал быть языком культуры и превратился в американский жаргон.

Помните, в «Свадьбе Кречинского» Муромский говорит о Расплюеве: «Послушайте-ка, Владимир Дмитрич, как Иван-то Антоныч англичан режет». На что Расплюев: «Язвительная, язвительная-с нация, никакого благородства...»

Когда-то, 16 лет назад, я переводил для нашего бывшего журнала отрывки из книги Элиаса Канетти «Масса и власть» (название оригинала «Masse und Macht» эффектной, в нём использован любимый немцами Stabreim), а именно, из главы «Массовые символы наций». Там и англичане, и французы, и немцы, и голландцы, и испанцы, и итальянцы, и евреи; жаль только, что нет русских. Как бы ни относиться к его рассуждениям, они во всех отношениях, и по мысли, и по языку, несравненно талантливей того, что лепечет Гачев. Об англичанах сказано у Канетти между прочим следующее:

«Разумнее будет начать с нации, которая не кричит о себе и, однако, вне всякого сомнения обнаруживает самое стойкое национальное чувство, какое существует сегодня на земле: с Англии. Всем известно, что означает для англичанина *море*. Но мало кто знает, как именно связаны друг с другом пресловутый английский индивидуализм и отношение англичан к морю. Англичанин видит себя *капитаном* с кучкой людей на корабле, а вокруг и под ним — море. Он почти один, и даже от команды он во многих отношениях изолирован, ибо он — капитан». И так далее.

Вы оговариваетесь, что Ваша задача — описать *образ* этой страны в русском сознании, а не самую страну. Поэтому, очевидно, впечатление Достоевского, пробывшего в Англии несколько дней, для Вас важнее, чем Герцен, который — редкий случай у крупных русских писателей XIX столетия — жил в Англии. Между тем русский образ Англии и англичан, каким бы он ни был, отнюдь не исчерпывается Достоевским. Не говоря уже о том, что всё это вещи полутора-растолетней давности.

Я совсем не знаю эту страну. В Лондоне мы однажды прожили неделю в крошечной гостинице. Великий и ни с чем не сравнимый город, столица мира — или по крайней мере бывшая столица; имперская архитектура, памятники и парки, каких нигде больше нет на земле; двухэтажные автобусы, внезапно срывающиеся с места, так что успевай только держаться на широкой и открытой нижней площадке (тут я сразу вспомнил, как мой отец говорил мне, что в Лондоне запрещается стоять в общественном транспорте из-за больших ускорений, и я не мог понять, как это может быть, что для всех хватает сидячих мест); тесные улицы, правостороннее движение, крупные белые надписи на тротуа-

рах перед перекрёстками: Look right; всеобщая вежливость и предупредительность, спокойное достоинство людей — стиль жизни гигантского бессонного города; огромное количество представителей цветных рас, наследство империи; плохая еда; старое, но удобное метро, не то, что в Париже; необъятный Британский музей, все сокровища мира, египетские залы не поддаются описанию; циклопический собор св. Павла, где под ногами — надгробная плита сэра Кристофера Рэна с надписью: «Ты ищешь памятник — оглянись вокруг»; и, конечно, Иерусалимский покой с помпезной гробницей Ньютона, — я описывал её когда-то в книжке для школьников: «Мальчик на берегу океана»; дамская компания на ступенях собора, держащаяся особняком, широкополые шляпы с низкой тульей, бледнолиловых, зеленоватых и серых тонов, как принято у британской знати, — кого-то ждут; выезд королевы Елизаветы из Букингемского дворца, толпа перед чугунной решёткой, гвардейцы и полисмены; поразительная красота Большого Бена и Вестминстера, всадник в латах на чёрном коне: король Ричард Львиное Сердце; угрюмый, завернувшийся в шинель сэр Уинстон Черчилль; музей восковых фигур, где можно увидеть всех знаменитостей, всех злодеев и героев, всех халифов на час, и на отдельном помосте залитая светом Royalty, королевская семья; Темза, Тауэр, знаменитые, мрачнейшие вороны и что там ещё; дом на Бейкер-стрит, куда до сих пор приходят письма на имя мистера Шерлока Холмса. And so on, und so weiter... Всё это впечатления туриста, не имеющие ничего общего с подлинным знанием страны.

Кстати, передайте Л.Богораз, что в её выступлении о диссидентском движении (была такая дискуссия в журнале «Знамя») есть филологическая ошибка, которую редакция не исправила. Богораз разъясняет, что слово диссидент происходит от английского dissent. На самом деле оно восходит к латинскому причастию dissidens от глагола dissidere, который буквально означает сидеть не так, как надо, а в переносном смысле — быть несогласным, отличаться от кого-либо или чего-либо. Английское же слово dissent, как и франц. dissentiment, этимологически связано с другим латинским глаголом dissentire, значение которого почти то же: быть несогласным, расходиться в мнениях и т.д. Скажите ей, что специалисту по диссидентству полагалось бы это знать.

Я думаю, что запись Юнгера, о которой идёт речь в моей статье о Двадцатом июля (успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал»), имеет несколько иной смысл, не в том дело, что «страшно далеки они от народа». Не зря он вспоминает Суллу. Юнгер хочет сказать, что шансы на успех были бы выше, если бы во главе заговора стал грубый солдафон, лишённый моральных принципов; в то

время как заговорщики, и штатские, и военные, руководствовались в первую очередь соображениями морали. Но ведь в этом и заключалось величие этих людей.

Случай правит историей. Вы решительно против. Но на вопрос невозможно ответить однозначно. В той или иной степени мы оба правы. Можно только сказать, что вопреки тому, что убийство Цезаря не спасло Республику и т.д., то и дело сталкиваешься со стечением обстоятельств, которое, по-видимому, иначе как случайностью не назовёшь. Но эта случайность тянет за собой роковые последствия. Можно добавить, что минувший век радикально потряс, если не сокрушил, веру в целенаправленность истории, как бы она ни называлась, — потряс, если угодно, веру в смысл истории.

Два Ваших постулата можно оспорить. Но прежде всего: то, что Вы справедливо назвали опьянённостью гитлеризмом, не есть величина постоянная. Одно дело 1938 год, пик успехов национал-социализма. И совсем другое — год покушения 20 июля, время, когда, вопреки усилиям пропаганды, вера в победу угасла почти у всех. Об этом мне говорили люди, которые помнят это время. Да оно и понятно. Любопытный парадокс: у заговорщиков было тем больше шансов встретить сочувствие в «народе», чем меньше оставалось шансов изменить судьбу Германии. Любопытно также вспомнить, что советская пропаганда полностью восприняла тезис нацистской пропаганды о заговоре «кучки генералов»; таково и нынешнее представление у многих людей в России; на самом деле заговор был весьма многолюден и разветвлён, оба мозговых центра представляли отнюдь не военные.

Вернёмся к Вашему письму: Вы сомневаетесь в том, что устранение Гитлера накануне или в начале войны могло бы что-нибудь существенно изменить. Тут мы — в сфере ещё более туманных гаданий. Осмелюсь только заметить, что национал-социалистический режим (пришедший к власти, как Вы знаете, отнюдь не в результате всенародного решения, не собрав даже большинства голосов), хотя и пользовался во второй половине тридцатых годов в самом деле сочувствием и поддержкой подавляющего большинства, но в огромной степени держался на фигуре вождя: так была устроена партия, так конституировался с самого начала и режим. Подчеркнём: с самого начала. То, что в СССР было названо культом личности, будь то поклонение Ленину или культ Сталина, сложилось не постепенно, как у нас, нет, Гитлер был стержнем Третьей империи даже не в 1933 году, но ещё до того, как этот режим воцарился в стране. Вот почему можно всё-таки представить себе, что режим зашатался бы, даже если бы, например, удалось покушение Эльзера, не говоря уже о планах офицерства, занимавшего ключевые посты в армии. Во всяком случае многое, очень многое пошло бы по-другому.

Тем более — после 20 июля 1944 г. Разумеется, Германия была обречена. Планы оккупации, расчленения, территориальных уступок Сталину и т.д. были незыблемы. Но с гибелью фюрера в самом деле всё бы кончилось. Главное, кончилась бы война — на семь с лишним месяцев раньше. А это, согласитесь, само по себе значит немало. То, о чём Вы пишете, — Геринг вызывает с фронта эсэсовские части, «заговорщики вянут» и т.п. — представляется и политически, и с чисто военной стороны совершенно неправдоподобным.

Себастьян Гафнер (Haffner), чьи работы в своё время увлекали меня, — кое-что я переводил и печатал в нашем бывшем журнале, — начинает одну из своих книг, «В тени истории», заявлением: «Только историография создаёт историю. История не есть реальность, она ветвь литературы». Это можно понять двояко. Во-первых, историк отсеивает, подбирает и выстраивает факты и события из имеющегося состава сведений о прошлом; вытягивает нити из клубка; создаёт конструкцию. Отбор одного и отсеивание другого — иерархия фактов — сцепление. Этим занимались и бесхитростные летописцы. Это метод самых правдивых, самых честных историографов, таких, как Фукидид. Во-вторых, историк истолковывает факты, расшифровывает некий скрытый смысл, и тут встаёт вопрос, не есть ли смысл истории в самом деле нечто привнесённое извне. Да, Вы правы: в большом масштабе времени и пространства история обретает законоподобный вид. Это примерно то же, что очертания острова, видимого с большой высоты: вдруг оказывается, что остров похож на ящерицу или на спящую женщину; в Коктебеле показывают профиль Макса в рельефе горы. Следующий шаг — конструирование общих законов истории, создание всеобъемлющих историософских систем, которые не только объясняют прошлое, но и обладают предсказательной силой. Weltgeist Гегеля — великий образец; далее марксистский исторический материализм, концепция классовой борьбы как движущей силы истории, неизбежность победы коммунизма; далее историософия Шпенглера. Сюда же можно присовокупить теорию этносов Льва Гумилёва. Не только прошлое, но и будущее человечества в таких системах оказывается принудительным. В конце концов они поработают самих основоположников.

Я недостаточно компетентен для того, чтобы обсуждать эти вопросы основательно, могу только сказать о моём собственном чувстве истории. Конечно, на него оказывает решающее влияние то, чему мы были свидетелями и то, что происходило незадолго до нашего появления на свет. История продемонстрировала свою абсурдность. Две невиданных агрессивных войны с фантомными целями, колоссальные разрушения и неисчислимы жертвы — ради чего? Каждый конкретный эпизод объясним, но что сказать о целом? Однако мы устроены так, что

не можем смириться с абсурдом. Нам чудится тайный смысл. Или хотя бы то, что имитирует смысл: тайная закономерность. Нас пугает случайность, непредсказуемость, великое «ни с того ни с сего». Нос Клеопатры — как кошмар. Я нахожу нечто общее в судьбе народов и судьбе отдельного человека. Может быть, Вы помните, что я когда-то написал роман под названием «Антивремя»; у меня отняли его при обыске, я написал его заново. Впоследствии он был издан за границей, а потом и в Москве, был переведён также на немецкий и французский. Миф о противонаправленном потоке времени — иносказание, которое можно расшифровывать по-разному; одна из таких интерпретаций — конструирование смысла жизни задним числом. Жизнь, пока она течёт, выглядит как поток случайностей; оглядываясь назад, мы прозреваем в ней некий план. Жизнь предстаёт целенаправленной, осмысленной. Можно сказать иначе: жизнь была прожита для того, чтобы п о т о м обнаружить в ней некий смысл. Это оттого, что наша память — не архивариус, а беллетрист.

...Сегодня суббота, на улицах тишина. Телевидение передаёт из Лондона парад по случаю дня рождения королевы. Музыка, красные мундиры, ряды гвардейских полков, которые не только маршируют на парадах, но время от времени и воюют; шикарные всадники, принцы на лошадях, флаги стран Содружества вокруг огромной площади перед Букингемским дворцом, и, наконец, Her Majesty в коляске (раньше сидела на коне). Внезапный сильный дождь, площадь залита водой. Потом дождь так же внезапно прекращается, публика сворачивает зонты. Королева тоже опускает свой прозрачный зонт. Королева не стареет. Парад, который отличается от парадов в Москве, как... ну, словом, как Англия отличается от России.

Вчера в последних известиях я видел сцену драки в думе. Какой-то депутат боднул головой другого депутата в лицо — типичный бандитский приём.

Я живу по-старому. На следующей неделе собираюсь ехать на десять дней на озеро Комо, где находится бывшая вилла Аденауэра, теперь она принадлежит фонду Конрада Аденауэра, а фонд покровительствует ПЕН-клубу. Так что это нечто вроде премиальной путёвки. Авось по ту сторону Альп погода милостивей, чем у нас.

При всей сомнительности, чтобы не сказать бесперспективности, моего ремесла, я всё так же занимаюсь литературой, сочиняю рассказы или повести и пытаюсь решать те или иные художественные задачи — по большей части неудовлетворительно. Что-то изменилось за последние два-три года, я уже не могу писать объёмистые вещи, притязающие на некий синтез времени; а главное, ирония, которую Музиль считал важнейшим повествовательным рычагом, стала меня покидать. В этом

можно видеть признак старческой деградации. Но исчезла полностью и радость жизни — это уже отечественная черта. Время от времени что-то публикуется, в Москве или в Питере (последнее, что я видел, — коротенькая речь в Гейдельберге, которую тиснул «Октябрь»; представляю себе, какое недоумение она должна была вызвать у отечественных читателей, если её вообще кто-нибудь прочитал). «Вагриус» даже выпустил книжку — сборник прозы. В Германии каждая моя книга сопровождалась хвостом рецензий, передач, чтений и т.п. Не то в России. Ни один журнал, ни один литературный критик и рецензент, насколько мне известно, не откликнулся на неё, книга упала словно в глубокий чёрный колодец. Этого надо было ожидать. Не зря редакторша отнеслась к ней с такой брезгливостью, говоря, что книга всё равно не будет раскупаться. И уплатили за неё (моему брату) так мало, что он даже удивился.

Дорогой Гриша. Среди того, чем я занимался последние месяцы, была повесть, в которой первая любовь, соперничество и смерть двух мальчиков, учеников лесной школы, происходили на фоне исторических событий, таких, как поездка японского министра иностранных дел весной 1941 г. через Советский Союз в Германию для переговоров о будущей войне, тайные совещания, подготовка к агрессии, поставки продовольствия и сырья из СССР и, наконец, вторжение вермахта на рассвете 22 июня. При этом оказывается, что переживания детей, их судьба есть нечто неизмеримо более значительное, более важное и подлинное, чем злоеший фантом политики и того, что Вы и я называем историей. Но этот упырь пожирает людей, пожирает всё живое, пожирает действительность. Собственно, этим я и хотел выразить моё отношение к «истории».

То, о чём Вы пишете, не так уж противоречит фразе С.Гафнера о том, что историю творят историки, ведь и Вы говорите о том, что историки классифицируют эпохи, дают им наименования и т.д. Я думаю, что наш разговор — не столько о том, чтобы «признавать» историю (не признавать её смешно), сколько о смысле и бессмыслице, о случайности и законе.

Когда-то я тоже занимался — дилетантски, конечно, но всё же весьма усердно — Семнадцатым веком, «столетием гениев» (слова Уайтхеда), главным образом наукой этой эпохи, но также и философией, писал о Лейбнице, Ньюtone, Гуке, перевёл огромную философскую корреспонденцию Лейбница, публиковал по-русски разные документы и т.д. «Изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не может произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого Существа». Вот Вам важнейшая идея века, как её формулирует Ньютон в «Общем поучении» к третьей книге «Начал». Наука — мате-

матика, астрономия — поставляет доказательства превосходного мироустройства и, значит, убедительней, чем словопроения схоластов, доказывает существование Творца.

А вот ещё одна цитата, из Лейбница, которого я переводил когда-то:

«Я понимаю, что мы далеко не всегда отдаём себе разумный отчёт в том, что справедливо и что несправедливо, точно так же как мы не можем доказать некоторые математические теоремы; однако всегда надо стремиться к доказательству. Справедливость и несправедливость зависят не только от природы людей, но и от природы разумной субстанции вообще; исходить же из природы божества значит основываться не на произвольных посылках. Природа Бога всегда покоится на разуме (*la nature de Dieu s'est fondée sur la raison*)».

Какие слова!

Всё-таки нужно поставить в заслугу истории — я имею в виду историю нашего, только что ушедшего века, — то, что она радикально изменила нас от метафизического оптимизма. Она внушила отвращение и к универсальным историсофским теориям. Вы заметили, что поколение, не видящее умопостигаемого смысла в истории, — это поколение с пониженной жизнеспособностью. Может быть, — хотя, как сказано в Талмуде, «возможно, справедливо и обратное». Как бы то ни было, оглядываясь назад, я нахожу, что именно жизнь в России, опыт жизненных мук и мытарств в России были лучшей школой разочарования. Ничего, кроме горечи, я не испытываю, вспоминая эту страну.

Я провёл девять дней в Италии, над озером Комо, через неделю отправлюсь в Париж. Дел у меня там нет никаких, пробуду, наверное, дней шесть, буду бродить по улицам, думать — о чём?

Дорогой Гриша, месяц или немного больше тому назад я послал Вам письмо, там речь шла о высоких материях, о зловещем фантоме истории. Как видите, не хватает терпения дожидаться ответа. Надеюсь, Вы здоровы. Здесь, как и в Москве, стоит последние недели убийственная жара, которая, повторяясь каждый год в это время, напоминает мне о том, что я северный человек. Я провёл неделю в Париже, жил в квартирке на Сен-Жермен-де-Пре, по утрам спускался в кафе завтракать, днём бродил, был, само собой, и в музеях, стоял на мостах — город в солнечной дымке, рёв машин и мотоциклов по набережным, остров с собором, сад Тюильри, холм Монмартра с церковью Св. Сердца, похожей на сахарную голову, толпы молодёжи вечерами на узких улочках Левого берега, знаменитые харчевни, книжные магазины, — что ещё? Съездил даже на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, далеко от города. Но в Париже надо побывать в юности, непременно прожить там некоторое время. Мы все были чудовищно ограблены. Последствия ограбления остались на всю жизнь.

Умерли Борис Биргер и Боря Володин, мой старый друг.

Вы оба, вероятно, ещё на даче. Совершенно не знаю, что Вы пишите, появлялось ли что-нибудь в последнее время. Я занимался тем, что составлял антологию европейской поэзии, почти уже кончил; странная идея, увлѣкшая меня. При этом я всегда оказываюсь жертвой самообольщения: мне начинает казаться, что это может заинтересовать и других. Небольшая книга, называется «Абсолютное стихотворение». Стихи Сапфо, Горация, анонимного автора «Полуночного праздника Венеры», Вальтера фон дер Фогельвейде, дю Белле, Гёте, немецких романтиков, Китса, Баратынского, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, гр. А.К. Толстого, Бодлера, Рембо, Аполлинера, Рильке, Блока, Мандельштама, Ахматовой, Т.С. Элиота, Брехта, Бенна, Целана, ещё кое-кого, Бродского; начинается всё с Пушкина. Я выбирал поэтов и стихи по своему вкусу и на языках, которыми более или менее владею, от каждого автора по одному стихотворению, в оригинале, если это не Россия, и с прозаическим переводом, который нужно максимально приблизить к содержанию (что самое трудное), плюс краткий комментарий.

Говорил по телефону с одним старым знакомым и коллегой по «Химии и жизни», теперь он руководит издательством «Текст». Заведение относительно интеллигентное. Хотел предложить ему этот проект. Он ответил вопросом: а кому я буду продавать такую книжку? Истинная правда: некому. О чём говорить? Нам выпало жить и умереть среди варваров. Ничего или почти ничего, что я писал и по какому-то недоразумению, если не чудом, публиковал в России все эти годы, не было или почти не было прочитано.

Кроме этого, я сочинил один рассказ или небольшую повесть под названием «Зов родины», которое говорит само за себя. Тоже, конечно, стрельба в воздух, точнее, в безвоздушное пространство.

Не забывают.

Пока дойдёт письмо, Вы не только успеете вернуться из Осло, но, пожалуй, с трудом вспомните о поездке. Всё же — что Вы там делали? Я иногда вижу на экране короля и его семейство; этим ограничивается моё знакомство с сегодняшней Норвегией. Впрочем, телевидение транслирует сегодня венчание кронпринца Хокона с некой барышней не вполне безупречной репутации.

Иногда я думаю, что и России не помешала бы какая-нибудь приличная, просвещённая и современная монархия, только где её взять. То, что предлагается — обломки дома Романовых, — никуда не годится.

Рад был узнать, что «Записки гадкого утѣнка» выходят вторым изданием. Будет ли оно дополнено, доведено до близкого к нам времени? Я как раз держу книжку в руках, перечитал и рассуждения о диаспоре. Там есть замечательная фраза: «Я сам нечто вроде Австро-Венгрии».

Книга Солженицына о евреях (первый том), свидетельствующая о неиссякаемой работоспособности, состоит наполовину из цитат, подобранных, конечно, не без некоторого умысла — я бы сказал, с оборонительной целью. Но главное, её скучно читать.

Ваши друзья Блюменкранцы прибыли в Мюнхен и сейчас живут в общежитии для «азюлянтов», четверо в одной комнате. Гигантская библиотека в ящиках хранится где-то в подвале. Привезли с собой сборник, где я нашёл две Ваших работы. Очень сожалели о том, что не смогли с Вами проститься.

Волнение, страх и растерянность, вызванные атакой террористов на Соединённые Штаты, хотя и несколько успокоились, но далеко не улеглись. Прилагаются все усилия к тому, чтобы размежевать терроризм и религию, и всё-таки... К чести российского правительства, нужно сказать, что на этот раз оно всё же присоединилось к Западу, президент произвёл даже хорошее впечатление.

Я закончил свою Антологию. Отказался от поэтических переводов, сделав исключение только для Пауля Целана и Рильке (3-я Дуинская элегия, которую я сопроводил, вместо подстрочного перевода, интерпретирующим пересказом Неусыхина). Кстати: заметили ли Вы, что юношеская и несколько стилизованная религиозность Рильке с годами превращалась во что-то совсем другое?

Занимался я также одним рассказом или короткой повестью под названием «Зов родины». Полукриминальный сюжет на тему о забвении. Черчилль или кто там сказал, что забвение прошлого умерщвляет и будущее, но ведь это не так. Совсем даже наоборот: память о прошлом — как куль на спине и мешает идти вперёд, мешает будущему. У меня в Москве, особенно в последний мой приезд, было чувство весьма успешного вытеснения прошлого, взамен которого построены сусальные декорации.

Дорогие Гриша и Зина. Если бы мне приходилось переписываться с архиепископом Фиджи (правда, я получаю по e-mail письма из Камбоджи), письма доходили бы, я думаю, быстрее, чем мои послания к Вам. Успеет ли это письмо прийти к Новому году? Последний раз я писал Вам в начале этого месяца. Мои путешествия продолжаются, теперь я собираюсь в Дюссельдорф, надеюсь также заглянуть в Эссен к друзьям и посетить под Кёльном Казака.

В Москве, как ни удивительно, одна издательница проявила интерес к моей Антологии, но в общем тамошние мои литературные дела — швах. «Октябрь» перестал печатать сочинения Вашего слуги (я посылал им кое-какую беллетристику, а также большой этюд о д-ре Гёббельсе), а «Знамя» отвергло повесть, о которой я сообщал Вам прошлый раз. Собственно, я и ожидал отказа. Хотя я не обольщаюсь

на счёт художественных достоинств этого сочинения, но думаю всё же, что основания не литературные, а «идейные». Действие этой повести происходит в Москве и даже в нынешние времена. Редактор, печатавший в «Знамени», хоть и со скрипом, мои статьи-рецензии (которые давали возможность получать какие-то копейки моему брату), ушёл. А я, как дурак, занялся новой рецензией — на две книги, биографии Бенна и Юнгера.

Вчера я заглянул в Stabi (Баварскую библиотеку) и познакомился с Вашим письмом к А.Зубову и его ответом. О Зубове говорится, что он доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института и прочее. Мне показалось, однако, что о его тексте можно сказать то же, что сказал Эйнштейн, когда ему прислали рукопись труда Энгельса «Диалектика природы»: «Научной ценности не представляет». Удивительное дело: Ваш корреспондент намного моложе нас с Вами, ему меньше 50 лет. Но от его рассуждений тянет вонючей плесенью. Безнадёжная заскорузлая провинция. Его рассуждения об «Анне Карениной» примитивны, почти на уровне школьных интерпретаций, словно он читал не роман, а пересказ в учебнике литературы. При радикальном отвержении (с каких пор?) атеизма, большевизма и т.д., стиль мышления остаётся советским. Философствование сводится к набору шаблонных оппозиций, это относится, конечно, и к теме гражданской войны. Снова всё то же, снова, стоило Вам только заикнуться о погромах, Вас угощают статистикой: 35 процентов евреев... 40 процентов евреев... Почему не 80, не 120?

Можно предположить, что вся эта национально-православная херня соответствует музеальному духу журнала, иначе они вряд ли напечатали бы вашу переписку. Продолжаете ли Вы её?

Поздравляю Вас с Новым годом, хотя он, вероятно, уже давно наступит, когда (и если) до Вас доберётся это письмо. Между тем началась рождественская суета, да и суета выступлений всё ещё не закончилась: позавчера, например, я и переводчица моих творений Аннелоре Ничке два часа упражнялись в красноречии на семинаре немецких переводчиков художественной литературы aus dem Russischen в мюнхенском Доме литературы. А после этого, в тот же вечер, мне нужно было читать на вечере, посвящённом Тютчеву, очерк о мюнхенских годах Тютчева. Странное несоответствие, неконгруэнтность обоих миров, немецкого и русского, и ничего не меняется, хоть я живу так уже почти двадцать лет.

Я занимался этот месяц разными мелкими делами, затеял статью о Бруно Шульце и пр. О моей литературе нельзя сказать ни того, что она процветает, ни что она окончательно зачахла. С разных сторон я получаю предложения напечатать то, издать это, и, как водится в нашем отечестве, посулы и обязательства растворяются в воздухе. Снача-

ла у вас вымогают рукописи, а затем попытки что-либо узнать, даже в самой вежливой форме, оказываются улицей с односторонним движением. Независимо от того, как к вам относятся, вам никто не отвечает. Люди заняты, некогда даже ходить на работу, где уж там заниматься корреспонденцией. Любопытно, что все журналы, словно сговорившись, извещают незадачливых авторов: «...и по их поводу в переписку не вступает», как бы говоря: не суйтесь — и не чувствуя постыдности этих заявлений. Вот так редакторы.

Борис Дубин (вот человек, перед которым я преклоняюсь) прислал мне свою книгу «Слово — письмо — литература», во многом замечательную, знакомы ли Вы с ней? Время от времени я вижу Blumenкранцев, они переживают трудное время. В Мюнхене и других городах, особенно в Берлине, из огромной массы новоприбывших малопомалу выкристаллизовывается то, что можно назвать Четвёртой волной. Странное дело, трижды похороненная эмиграция периодически возрождается.

Дорогой Гриша, я становлюсь суеверным. Позавчера послал Вам пакет с письмом и рукописью в смутной надежде подхлестнуть почту, и смотрите-ка! — сразу же пришло письмо от Вас, и тоже с рукописью. Написано прекрасно в обоих смыслах слова: чётким почерком и прекрасным стилем: сжато, энергично, красиво.

(Сразу, чтобы не забыть: исправьте или вычеркните фразу о сифилисе. Применялась не «серная» мазь, а ртутная. Мазь втирали в разные участки по определённой схеме. С зудом это не имело ничего общего, больные сифилисом не страдают от кожного зуда. Лечение ртутью специфическое, а отнюдь не симптоматическое, и при достаточной настойчивости высокоэффективно, это знал ещё Парацельс. Беда в том, что оно опасно, ртуть ядовита.)

Конечно, Ваша статья может вызвать возражения. Это не удивительно, ведь мы живём в разных мирах. Военные меры оказываются необходимыми, когда дело идёт об организованном международном терроризме или о террористических режимах, и есть несколько хороших примеров. Если бы Израиль не разбомбил иракский атомный реактор, у Саддама была бы ядерная бомба. Если бы американцы не раздолбали его в Персидском заливе, он захватил бы Кувейт с его колоссальными нефтяными богатствами, последствия были бы ужасны. Если бы не утихомирили ливийского диктатора, он превратился бы во второго Саддама Хусейна.

Вы хорошо пишете о корнях и причинах исламского терроризма. Но терроризм — профессия относительно небольшой кучки людей; разгром организаций, изоляция такого человека, как Усама бин-Ладен, может многих отрезвить, не говоря уже о том, что преступление долж-

но быть наказано. Мусульманский мир может ненавидеть западную цивилизацию, но он зависит от неё и тянется к ней, сегодня он просто не может существовать без этой цивилизации. Это ярость опоздавших. Вдохновители террора пользуются её плодами, да и сами бандиты вооружены бомбами и автоматическим оружием западного производства, разъезжают в автомобилях последних марок, летают в реактивных самолётах, живут в европейских и американских отелях.

В другом месте Вы пишете: «Горе современной цивилизации — это горе от ума». Сомнительный тезис. Надо было сказать: горе от безумия. Ведь если говорить серьёзно, единственная надежда — это надежда на человеческий разум, больше ни на что. Я готов подписаться под Вашей критикой технологической цивилизации, мог бы многое добавить к этой критике, хотя, по правде сказать, она, эта критика, давно превратилась в общее место: кто только не обличает современный западный мир. Увы, пути назад нет. Вы упоминаете, и не раз, экологический кризис. Парадокс в том, что успехи борьбы за оздоровление среды, и немалые, достигнутые в некоторых странах, включая Германию, стали возможны только благодаря современной технике и большим капиталовложениям. Норвегия, где Вы были, сделалась процветающим государством, но это благодаря нефти, которую добывают со дна моря и выгодно продают. Созерцательная цивилизация, о которой Вы пишете, — это красивый миф, таких цивилизаций никогда не существовало. В самых консервативных обществах не обходилось дело без войн и распрей, всегда существовали торговля, мореплавание, власть и угнетение, классовые и сословные противоречия, грабительские походы, голод, нищета и эпидемии, о которых мы имеем лишь смутное представление. Не мне Вам говорить, что и в Индии, и в буддийских странах монашеская созерцательность, самоуглубление, духовная культура вообще были достоянием незначительного меньшинства. Отсутствие противоречий, жизнь без кризисов? Но это не жизнь, а смерть.

Нас завалило снегом. Вся Германия в снегу. На дорогах застыло движение, люди ночуют в машинах, работники ADAC (Автомобильного клуба) развозят пунш и горячий бульон, одеяла, устраивают детей на ночлег. На носу западное Рождество. Я получил в подарок из ведомства федерального президента компакт-диск с записью благотворительного концерта в пользу Deutsche Künstlerhilfe, слушаю, как Иоганнес Рау читает сказку «Бременские музыканты», — читает, надо сказать, очень хорошо, да и язык братьев Grimm великолепен, — и слушаю музыку Старого Фрица — Фридриха Великого. Сегодня воскресенье.

Напечатали ли Вы статью о терроризме? Продолжается ли обмен мнениями с доктором исторических наук? Я занимался всё это время, не считая разных домашних забот, мелочами, написал статью о Бруно

Шульце и ещё одну статью о двух книгах — биографиях подруги Гёте Кристианы Вульпиус. Написал один рассказик, вполне безумный, под названием «Песни продолговатого мозга». Иногда кажется, что всё меньше и меньше думаешь полушариями большого мозга, всё больше — продолговатым мозгом. В марте и апреле мне предстоит операция на глазах: я стал плохо видеть. Всё ещё, как видите, протираю штаны перед компьютером, но читать стало трудно. Иногда по привычке проглядываю журналы. В «Воплях» попалась мне большая беседа с Георгием Владимовым. Я с ним был почти не знаком. Разговор отвечает консервативному духу журнала. Писатель возвратился в Россию, так как русскому писателю не полагается жить вне родины. Он остался верен своим взглядам на литературу, усвоенным в школе Твардовского, это — эстетическое кредо прозаика, для которого XX века не существовало. Толстой, реализм, «правда жизни». Владимов — серьёзный и заслуживающий уважения писатель-эпигон. Но вот что удивительно: рассказывая о своей жизни в эмиграции, он не нашёл ни одного слова благодарности стране, которая его приютила, дала ему возможность, нигде не работая, заниматься литературой, — при том, что никто ему здесь ничем не был обязан.

Моя повесть, которая у меня самого вызывает так много сомнений, подала Вам повод к интересным размышлениям, и уже в этом я вижу её оправдание. Кажется, я писал Вам, что проделал эксперимент: позвонил в «Знамя» Нат. Ивановой, которая там, по-видимому, главный человек, и спросил, не могу ли я предложить им эту повесть. После чего послал её, не рассчитывая на публикацию. Ответа не было, я решился позвонить снова и убедился, что моё произведение отвергнуто. Конечно, письмо «заместительницы главного редактора» (в первом варианте, poslanном в журнал, его не было) мною придумано — как и всё прочее. Ведь никто никогда не отвечает авторам, хотя бы потому, что гордость своей миссией и вежливость, по российским понятиям, вещи несовместимые.

Тем не менее Ваше замечание о том, что подобной реакции можно было ожидать только от какого-нибудь оголтелого правонационалистического органа наподобие «Нашего современника» или «Москвы», не вполне справедливо. Моё впечатление — и от того, что я читаю в разных журналах, и от разговоров с разными людьми из России, и, конечно, от моей последней поездки в Москву — таково, что нежелание вспоминать прошлое, не только сталинское, но и послесталинское, нежелание заниматься прошлым, противостояние всяким попыткам напомнить о нём — это некоторая общая тенденция, общий настрой, присутствующий отнюдь не только самым заядлым поборникам национальной идеи. Можно, конечно, найти объяснение ностальгии по советскому

прошлому и попыткам реставрации, и тут, как часто бывает, идеологические построения декорируют главное — эмоциональный настрой. Но не только. Всё оказывается одно к одному: и обновлённый национализм, и новый страх, и новое правоверие, и традиционная немощность исторической памяти, и целенаправленная политика, и мода.

Собственно говоря, тема моей повести или, если хотите, её «идея», выраженная довольно откровенно (против правил искусства) в постскриптуме автора, — это проклятье памяти, принудительность памяти, истинный конфликт человека, прибывшего не только из далёких стран, но также из иных времён, из страны своего прошлого, — с новой жизнью, с людьми, которые с этим прошлым покончили — постарались, и, кажется, довольно успешно, его забыть. Такова, по крайней мере, часть того, что я собирался сказать этим сочинением.

Ваше внимание привлекла сцена в картинной галерее, побочный эпизод, который я тоже вставил позднее. Турист пришёл поглядеть на Троицу Рублёва (кстати, и мою любимую икону, она висит у меня в комнате, хорошая немецкая репродукция), вероятно, потому, что она ему нравится, утоляет горечь, помогает справиться с варварством, даёт возможность насладиться красотой, гармонией, покоем, собраться с мыслями. Такому человеку могут приходиться в голову разные необязательные мысли, например, о том, каким образом древнееврейский рассказ трансформировался в средневековом сознании, но странно требовать от него правильной теологической интерпретации иконы. Это человек другого времени, икона для него — прежде всего произведение искусства. Искусство выше всех интерпретаций, оттого оно и оказалось бессмертным.

Между прочим, если Вы знакомы с иллюстрациями Марка Шагала к Ветхому Завету (я видел когда-то ещё в Москве альбом репродукций, а здесь видел оригиналы), то, может быть, помните, как это выглядит у Шагала. За столом сидят дети с крылышками, трое детей, ноги не достают до пола, а возле них хлопочут старики Авраам и Сарра.

И ещё одно: в мой последний приезд я привёл в Третьяковскую галерею друзей, пожилую немецкую чету из Эссена, которые хотели увидеть оригинал Троицы. И тут я прочёл в вестибюле подле кассы это поразительное объявление: входная плата для иностранцев выше, чем для «своих». Это показалось мне важным для общего тона повести. Любопытно, что сказал бы по этому поводу сам Павел Третьяков.

Насчёт пуговинок бюстгальтера на спине у женщины — Вы совершенно правы!

У меня неприятности со зрением, стало очень трудно читать и сидеть за компьютером. Выхожу на улицу — всё в тумане. Я пытаюсь что-то делать, затеял одну длинную вещь и, кроме того, хотел бы написать статейку о Роже Вайяне, — помните ли Вы такого?

Конечно, я не спорю с Вашей концепцией, пороки цивилизации, и особенно в том виде, какой она приняла буквально на наших глазах, очевидны.

Однажды, это было уже давно, я имел удовольствие провести в одном доме вечер с Карлом Фридрихом Вейцеккером, знаменитым физиком-атомщиком и философом, старшим братом тогдашнего федерального президента Рихарда фон Вейцеккера. Вероятно, Вы знаете, что ему принадлежит множество работ на тему, которой Вы занимаетесь. Разговор шёл о разных предметах, и, между прочим, В. процитировал фразу своего сына, кажется, биолога: этот век (т.е. XX) был веком политики, следующий будет веком экономики.

Я вспомнил это, прочитав Ваше напоминание о том, что Вы в статье и докладе говорите «не о частных проблемах экономики..., а о глобальной невозможности бесконечного роста технического мира по прямой». Эта фраза показалась мне симптоматичной. Её мог написать человек, взирающий на западную цивилизацию из прекрасного далёка. О недопустимости, невозможности безудержного роста говорилось тысячу раз. Выяснилось также, что это — рост отнюдь не только «по прямой». Но для того, чтобы от слов перейти к делам, нужны не только увещевания, не только то, что Вы называете паузой созерцания. Вы не можете заставить государственных лидеров, руководителей международных концернов и крупных банков на минуту остановиться, прекратить свою деятельность, отодвинуть в сторону бумаги и выключить компьютеры, чтобы предаться созерцанию или просто подумать — куда мы несёмся? Совершенно так же, как нельзя заставить машиниста на минуту сложить руки, закрыть глаза и подумать, куда летит локомотив. Но для того, чтобы что-то сделать, нужны реальные соглашения, нужны конкретные экономические меры, увы — именно экономические.

Приходится то и дело вспоминать о том, что мы живём в мире, где небольшая группа вырвавшихся вперёд (так что их уже никогда не догонишь) государств во главе с Америкой диктует свою волю остальному миру — отсталым, бедным, а часто и попросту нищим, ужасающе нищим странам и что этот диктат одновременно означает экономическую опеку. Целые регионы мира оказываются попросту на иждивении богатых держав и международных организаций. Попробуйте-ка обратиться к населению этих нищих, донельзя загаженных и перенаселённых стран — с проповедью умеренности и созерцательности. Обездоленные народы ненавидят Америку и в то же время грезят о благах американской цивилизации, о богатстве и лёгкой жизни, о том, чтобы «покупать и выбрасывать».

Вас восхищает Тибет как пример гармонического общества. Мы мало что знаем об этой редко населённой стране с достаточно суровым климатом. Тем не менее известно, что это край, где распространены

болезни, преодолённые в других районах мира, страна с очень высокой детской смертностью. Страна с теократическим режимом, который в свою очередь подпал под иго китайского тоталитарного коммунистического режима, — согласитесь, что это ужасная комбинация. Можно было бы найти пример получше, например, Исландию. (Там, между прочим, живёт на островке рядом с главным островом старшая падчерица Жени Барабанова, Нина, она замужем, занимается сельским хозяйством и, кажется, довольна жизнью.) Ясно одно: гармоническое общество, если и возможно в наше время, то лишь как этногеографический анклав, с маленьким населением, на обочине мира.

В наших краях дожди, каких ещё не видывали: наводнение во многих местах и даже в разных странах Европы. В России, на черноморском побережье, тоже беда. Ничего не знаю о Вас, здоровы ли Вы.

Свой роман — если это роман — я закончил, хотел бы в Париже ещё раз основательно пройтись по нему. Вещь эта с точки зрения поэтики вполне традиционная, а назвать её можно было бы так: «Победителей не судят». Подразумевается, что победители сами себя судят. Хотя собственно о войне в этой книжке говорится не так уж много, и главное место в ней занимают «чувства», весьма заурядная любовная история. Один из её важных подспудных мотивов — последствия войны или, лучше сказать, длящийся разгром, ибо разгромлены были обе стороны. Парадокс недавней истории, — сколько их, этих парадоксов, и какое массивное присутствие абсурда, — парадокс в том, что страна, достигшая небывалой мощи, сумевшая в результате победоносной войны распространить своё влияние на страны и территории, завладеть которыми прежде и не мечтали, ставшая второй великой державой, — в действительности, как мы теперь видим, понесла самое тяжёлое поражение, может быть, за тысячу лет своего существования. Но проиграть войну было бы ещё ужасней. Итак, говорится о молодёжи, о будущем, наступившем после войны и которое теперь уже — прошлое. Поэтому сочинение называется несколько кудряво: «К северу от будущего». Но это не моё изобретение, а цитата из Целана, есть такое стихотворение: *In den Flüssen nördlich der Zukunft...*

Я как-то всё время возвращаюсь к тем временам, к войне, на которой не был, но которую очень хорошо помню. Теперь я научился смотреть на неё, так сказать, сразу с обеих сторон, и всякий раз, когда я читаю о войне что-нибудь появившееся в России, мне этой второй стороны, этой стереоскопии, не хватает. Между делом я написал рецензию на только что вышедшую книжку графа Крошков о Клаусе Штауфенберге, совершившем взрыв в «Волчьей норе». Эти рецензии, которые я сочиняю для «Знамени», собственно, не рецензии, а скорее полурасказ, полуразговор по поводу, — единственный род прозы, который мне разрешается публиковать в этом журнале.

Вышла недавно и биография Лени Рифеншталь. Можно было бы написать и об этой книжке, тем более, что, как я слышу, в России возникло что-то наподобие культа Рифеншталь.

Дорогой Гриша, дорогая Зина. В Италии на узких улочках верёвки с бельём протянуты через улицу от одного окна к другому на противоположной стороне и крепятся на колёсиках, так что можно, подтягивая к себе бельё на одной верёвке, одновременно продвигать вперёд вторую верёвку. Модель почты. Чтобы подтянуть к себе Ваше письмо, я посылаю своё, внеочередное. Приятно было узнать, что моя рецензия на книгу Марка Вам понравилась. Собственно, я послал её, чтобы подвинуть Вас написать тоже что-нибудь в этом роде. Ведь кроме нас с Вами никто больше на «Стенографию» — как это бывает со всеми интересными книгами — не откликнется. К тому же неизвестно, поместит ли «Знамя» мою рецензию. Статейки об иностранных книгах, которые я время от времени им посылаю, они скрепя сердце печатают, так как всё это — по ту сторону, никого не волнует и никого не задевает. А вот тут, по-видимому, большое значение имеет, принадлежит ли автор рецензируемого сочинения к «нашим» или к «не нашим», тут ждут очереди дядя Вася и княгиня Марья Алексевна, и т.п.

Ваши соображения о приоритете эссеистики (по-видимому, и публицистики), хоть и высказанные наполовину в шутку, я принимаю всерьёз. Что верно, то верно: художественная литература в последние десятилетия только что ушедшего века изрядно потускнела. В массовом потребительском обществе, не имея коммерческого успеха, она отсечена на обочину, мы об этом уже говорили не раз. Во всяком случае, социология этого упадка совершенно ясна, и никаких иллюзий, никаких надежд быть не может, серьёзная литература станет, если уже не стала, занятием любителей. Но Вы говорите о другом — о том, что абсурдная действительность переплюнула возможности художественного воображения. Документ красноречивее всякой беллетристики. Очерк, репортаж, мемуары, дневники, эссе и т.д. больше говорят читателю, ближе к жизни, чем...

Это было бы справедливо, если бы литература видела свою задачу лишь в том, чтобы по мере сил воспроизводить действительность. Но если литература, как говорит С. Зонтаг, — и я с готов с этим определением согласиться, — есть «воплощённое сознание», тогда придётся признать, что эта задача не по плечу ни публицистике, ни эссеистике, ни мемуаристике. Кроме того (это уже другой ракурс), я подозреваю, что Вашими устами говорит старый человек. В пожилом возрасте романы, fiction, становятся малоинтересным чтением.

Дорогие Зина и Гриша, я собираю вещички, включил в последний раз мой портативный аппарат, но, вероятно, придется дописывать это письмо уже в Мюнхене, сегодня я улетаю. Я прожил три недели в маленькой гостинице на Монмартре, до обеда занимался своим романом, остальное время шатался по городу, ездил, бродил, сидел в парках, в кафе, снова бродил. Заглядывал, само собой, и в «вертепы чудные музеев», слушал очень красивое пение в Notre-Dame, и так далее. Хотя я и не первый раз в Париже, но только сейчас начинаю как-то разбираться, впрочем, что значит разбираться? В Париже нужно провести юность, нужно сделать его органом своей души, а не только частью более или менее усвоенной культуры; в этом смысле он «всегда с тобой», как никакой другой город в мире. Нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти улицы и ансамбли, — Париж — город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, всюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром; Париж не зря был назван столицей девятнадцатого века, он поразительным образом не меняется, а вместе с тем, глядя на эти толпы, где каждый третий — выходец из стран распавшегося Французского Союза или по крайней мере сын выходцев, другими словами, потомок и представитель человечества, для которого веков европейской цивилизации вовсе не существовало, как не существовало Греции, Рима, Средневековья, Нового времени, Революции, глядя на них, понимаешь, что здесь происходит рождение какой-то новой и, может быть, чудовищной цивилизации, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск. В общем, как видите, тут не мудрено зарাপортоваться.

Я закончил свой роман, о котором, если не ошибаюсь, Вам уже писал, хотя, возможно, придется сделать небольшие добавления; никаких новых для себя тем я не ввожу, это все то же, говоря обобщенно, сведение счетов с прошлым. Конечно, это прошлое, инфицированное западным взглядом, и всё-таки прошлое, от которого никуда не денешься, как от собственной тени. Спору нет, маниакальное возвращение к минувшим времена есть несомненный и удручающий симптом старости. Чтобы оправдаться, я, как Вы знаете, придумал теорию, согласно которой единственным питательным источником литературы является память. Как бы то ни было, я не мог бы, даже если бы остался в России, писать о том, что вижу перед собой. Для этого существует публицистика, в крайнем случае эссеистика, слово, которое в России на наших глазах подверглось инфляции, но Вам-то не нужно объяснять, что оно означает. Размер упомянутого сочинения невелик, каких-нибудь 120–125 компьютерных страниц, все же я думаю, что его можно назвать романом.

Книжка порождена, как мне кажется, особым чувством, которое Вам, Гриша, по-видимому, чуждо: и в «Гадком утенке», и в «Снах земли», и в других вещах Вы не раз даете понять, а то и прямо говорите, что Ваше чувство истории — это чувство современника и соучастника. Прекрасно понимая, что за время Вам выпало на долю пережить, Вы вместе с тем не чувствуете себя инородцем в этом времени, не ощущаете — так мне кажется — того, что герой Джойса называет «кошмаром истории». Речь идет даже не о том, что мы были свидетелями, а отчасти и жертвами, кошмарной истории только что околевшего века, речь идет о переживании «исторического процесса» как кошмарного сна, с какой-то абсурдной логикой, с ощущением полнейшей нелепости и в то же время предзаданности происходящего, как бывает во сне. Но выпрыгнуть из этого абсурда невозможно, — разве только проснуться... но этот сон есть реальность.

Ну, вот — на чём мы остановились?.. Предыдущее письмо я послал Вам почти месяц тому назад. Вероятно, Вы уже вернулись с дачи. Я устал от поездки и как-то потерял нить мыслей. Речь шла о моем новейшем изделии, — а ведь если подумаешь, кому оно, в сущности, нужно? Я стал просматривать, очень бегло, в Интернете последние номера журналов, наткнулся на статью Аксёнова о романе как об умершем жанре; старые, банальные глупости, исполняемые в обычном для этого автора плясовом ритме. Он говорит о том, как он знаменит, но его романы в Америке не раскупаются. Некий книгопродавец, которого он называет Джеф (а тот его — «проф»), объясняет ему, почему. А надо бы сказать, как Розанов: «Лучше бы ты, Розанов, булками торговал». Общее поглупение — это какая-то, не правда ли, черта всего нашего поколения.

Вы упоминаете, Гриша, о В.Муравьёве, который почитал одновременно Анну Ахматову и Венечку Ерофеева, как бы кланялся в обе стороны Аллаху и Шайтану; как это можно совместить? Я думаю, можно. Венечка был люмпен-интеллигентом. Ахматова — нищим аристократом. Ваш пасынок, видимо, не был ни тем, ни другим, но тяготение к царственному слову, сдобренному матом, настроение, отвечающее комплексу босяка-представителя духовной элиты, и сейчас не редкость; блестящим выразителем его был Бродский. Тут вообще есть любопытные вещи, культ автора «Петушков» можно рассматривать и как некое продолжение традиционного народопочитания (Венечка-богоносец), и как новую разновидность эстетизма, вернее, эстетства. Я когда-то читал его поэму в прозе с большим удовольствием, другие его вещи менее интересны. О Венечке мне рассказывала хорошо знавшая его Ольга Седакова; был австрийский документальный фильм.

Другая тема: «квартирные склоки» и духовная жизнь. Первое — это, очевидно, Юрий Трифонов, так следует из Вашего письма; в более широком смысле — бытописательская беллетристика. А вот мемуары... Я тоже, как и Вы, всё меньше читаю беллетристику, но в мемуарной литературе, мне кажется, накоплено мусора ничуть не меньше, чем в художественной. Однако поздние повести и романы Трифонова, которого я высоко ценю, — отнюдь не квартирная сага, о нет. Может быть, это вообще лучшее, что было написано в прозе в последние десятилетия советской власти.

...Мне по-прежнему приходится время от времени «выступать», но всё это — труха, от которой ничего не остаётся. Я писал кое-что, занимался своим романом, наконец, закончил его, счастливого удовлетворения тоже, по правде сказать, как-то не чувствуется. С одной стороны, существует внутренняя потребность итога, синтеза; эту потребность до некоторой степени удовлетворяет писание; порой кажется, что только литература может справиться с такой задачей, только она способна упорядочить хаос, внести какое-то подобие смысла в чудовищный абсурд истории. А с другой стороны — вечный вопрос: кому это нужно? То, что нужно «людям», мне совершенно не нужно. Прочтите, кстати, статью Бориса Дубина в «Знамени», № 11 за этот год, это выдающийся человек, вдобавок это человек науки. Ему чужды утрированные эмоции, как и вообще какие-либо преувеличения. В статье — диагноз нынешнего состояния литературы в стране.

Любопытно, как совпадают или скрещиваются наши мысли, несмотря на то, что мы живём на разных планетах. Последнее время, в связи с моей работой, я тоже вспоминал (и писал) о нашем давным-давно усопшем вожде. Правда, я не стал бы называть его параноиком. Этот медицинский термин (параноидная форма шизофрении) к нему не применим. Сталин не был душевнобольным. Можно говорить лишь о том, что принято называть патологическим развитием личности; неограниченная власть, всенародное ползание на брюхе и безнаказанность развили в нём до неслыханных масштабов эти черты. Но психическое заболевание? Болезнь могла бы служить для него извинением. Болезнь освобождала бы его в той или иной мере от ответственности за содеянное. В том-то и дело, что он не был больным, как не были клиническими больными истерик Адольф, кровавый старик Хомейни, палач Пол Пот, карикатурный кондукатор Чаушеску, корейский чучхэ, какой-нибудь гаитянский мини-диктатор Дювалье и tutti quanti.

«Религиозная музыкальность» (и, наоборот, амусия) — очень удачное определение; очевидно, можно говорить о религиозности как о настрое, о религиозном слухе или отсутствии оного, наподобие отсутствующего музыкального слуха.

В Ваших рассуждениях поставлен политический акцент: Вы пишете о том, что антитеррористические акции приводят лишь к пополнению кадров террористов. Следовательно, не нужны и даже вредны? Так кажется многим. Ох, не знаю. Америка не предпринимала антитеррористических действий в сколько-нибудь широком масштабе и, однако, сделалась неожиданно жертвой террористической атаки, превзошедшей всё известное доселе; может быть, поэтому и сделалась. С другой стороны, все группы, организации и «армии» террористов, исламских и неисламских, по крайней мере до сих пор, удавалось рано или поздно разгромить.

Ваша беседа с Нуйкиным напомнила о наших старых временах... В сущности, это целая статья и, конечно, статья полемическая. Можно предположить, что для автора всё ещё остаётся более или менее актуальным вопрос, обращённый не только к самому себе. Теперь он даже принял новую форму — когда можно в любое время уехать, никого не спросив. (Лишь бы приняли в страну, куда уезжаешь.)

Для меня этот вопрос — стоит ли жить в России, не лучше ли отряхнуть от стоп пыль отечества, стоит ли, не стоит, ради чего и пр., — конечно же, давно неактуален. Впрочем, мы с Дж. Глэдом довольно обстоятельно мусолили его в нашей книжке «Допрос с пристрастием». О том, что эмиграция — и тем более вынужденная, почти принудительная, когда на сборы даётся несколько дней, а клочок бумаги, именуемый выездной визой, выглядит, как приказ покинуть страну, когда государство и не отличимое от него жульё грабит уезжающих дочиста, отнимает у них всё их прошлое, вообще делает всё возможное для того, чтобы отбить у них последние сожаления об отъезде, — о том, что эмиграция, любая эмиграция, означает колоссальные потери, нечего и говорить. Вашему собеседнику, вероятно, было приятно ещё раз это слышать. Но жизнь за границей и обогащает необычайно. Я говорю именно о жизни, а не о туристических поездках. Про себя я могу сказать, что, хотя у меня было важное преимущество перед другими — я знал язык, был не чужд немецкой культуре, — тем не менее, сравнительно эти двадцать лет в Германии с прежней жизнью, я не могу отделаться от впечатления, что прежде я смотрел на мир одним глазом, а теперь — двумя.

«Русская литература, русский язык органически связаны с Россией». Разумеется, — и, однако, не совсем. Литература в России — это ведь не вся русская литература, а только её часть. Да и в лучшие времена, в те ушедшие времена, когда литература русского языка была литературой мирового значения, — смотрите-ка: Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Тютчев в Мюнхене, Герцен в Лондоне, Достоевский в Дрездене. Вы скажете, что тогда можно было по своему желанию уехать, по своему желанию вернуться. Вот тут-то мы и упираемся в самое, может

быть, главное и болезненное. Одним из условий расцвета литературы и мысли, и это в равной мере относится и к западникам, и к славянофилам XIX столетия, был постоянно обновляемый, живой, человеческий контакт с миром, с Западной Европой. Советский режим на три четверти века пресёк этот контакт. Последствия отнюдь не преодолены, разрыв, ров всё так же глубок.

Я с большим интересом прочёл «Догматы полемики». Стиль и приёмы полемических выступлений Солженицына хорошо известны с давних пор. Теперь он превзошёл самого себя. Когда вышел в свет второй том сочинения о евреях, мне звонили и спрашивали, собираюсь ли я (так как в числе прочих там упоминается и моё имя) возразить автору. Зачем? Если прежние книги ещё могли вызвать желание откликаться, то *эта* книга не заслуживает обсуждения. Это книга гнусная, иначе не скажешь.

Я обратил внимание на Ваши слова о том, что западники — и демократы, и либералы — писали хуже славянофилов или, как Тургенев, «не лучше Флобера» (что в Ваших устах, очевидно, не служит большой похвалой). Это наблюдение, по-видимому, делалось не раз, но его можно принимать лишь в больших ограничениях. Когда речь идёт о русской литературе, этот подход кажется мне плохо работающим. После всего, что пережито, знаменитый русский спор XIX века, спор западничества со славянофильством, кажется архаичным. Он в большой мере принадлежит обществу, от которого ничего не осталось. К тому же, как мы сейчас видим, его роль в русской культуре и особенно в литературе была преувеличена. Достоевский, может быть, самый яркий пример. Для Вас он служит примером великого писателя — убеждённого противника либерализма и западничества. Высмеял Кармазинова и т.д. Но Вы лучше меня знаете, что агрессивно-православное славянофильство Достоевского (называемое обычно поздним почвенничеством) со временем перекочевало в литературоведческий комментарий; осталось нечто грандиозное, неумирающее, действительно важное, остался великий художник. Говорить о таком писателе: православный христианин, почвенник, патриот, шовинист? Да, это так. Но это почти то же, что сказать о Пушкине — очень талантливый поэт. Тогдашние пререкания о судьбах России, предназначении русского народа, заикленность на этих спорах — всё это перестало волновать. Осталась великая литература, открытие о человеке. Это и есть главное.

Дорогой Гриша, дорогая Зина. Я вернулся в Мюнхен три дня назад, прожил три недели на Монмартре, всё в той же гостинице; почти сразу после возвращения пришла Ваша бандероль с книжкой и письмом. Об этой книжке я не знал, большое спасибо.

В письме Вы возвращаетесь к теме, которую мы не раз обсуждали. Вы правы, говоря, что «мифология почвенничества плодотворна в искусстве», надо только оговориться: *была* плодотворной. Причём это касается далеко не всех русских классиков. Далее Вы возвращаетесь к любимой Вами бинарной оппозиции: славянофильство versus рационализм. Это противопоставление, некогда очень важное, кажется мне устаревшим. Ведь рационализм следующего, двадцатого столетия — совсем не то, что классический рационализм XVII и XVIII веков, и не то, что позитивизм XIX в. Вполне обветшала и мифология почвенничества, кстати, представленная — Вы это знаете не хуже меня — и в Германии, и во Франции, и в Польше, и в Испании («кихотизм» Мигеля де Унамуно), и где там ещё. Сегодня она может быть только пародирована (в манновском смысле слова). Если же отнестись к ней всерьёз, если бы всё дело было в этой мифологии, — Достоевский с его «Зимними заметками...» и т.п. давно стал бы нечитаемым писателем. И с «логикой» дело обстоит не так просто в искусстве. Заметьте, кстати, какой продуманной, последовательной, внутренне аргументированной, *логичной* выглядит композиция романов Достоевского.

Книжку В. Каджая я получил и писал Вам о ней, с тех пор мне попало ещё несколько откликов на 2-й том книги Солж., которые мало что прибавили к уже сказанному. Старца щадят, стараются не слишком подчёркивать низкопробность этого сочинения. Откликаются только люди пожилые; для более молодых он абсолютно неинтересен.

Вы пишете о глобализации, которую увязываете с излюбленной Вами антиномией рационального и интуитивного, абстрактного и чувственного. Вообще-то говоря, это две стороны любой, в том числе и вполне изолированной культуры. Сравнение с полушариями мозга в разговоре о глобализации, на мой взгляд, малопродуктивно.

Меня, по правде сказать, страсти вокруг глобализации мало занимают. Но всё же: посмотрите, что происходит в действительности. Если под глобализацией подразумевать (считать различными аспектами глобализации) мировой рынок, господство ведущих банков и давно уже выломившихся из национальных границ промышленных концернов, унификацию индустрии развлечений и массовой культуры — глобализацию пошлости, унификацию мод, массовый туризм, международные авиалинии, всемирную карманно-телефонную связь и электронную почту — и так далее, — то она, эта глобализация, уже состоялась. И будет прогрессировать, и никакие демонстрации, никакие предупреждения консервативно мыслящих интеллигентов, никакие заклинания национальных идеологов не смогут её остановить. Нужно ли этому радоваться? Не знаю. История всё больше становится врагом человека.

Письма к М.А. Поповскому¹ (1998–2002)

Мюнхен, 20 июля 1998

Дорогой Марк, дорогая Лиля,

как я рад получить от Вас весточку. Несмотря на Ваши сетования, Марк, я продолжаю думать, что ещё есть порох в пороховницах и ещё Польша не сгинела; Ваше письмо, по крайней мере, — для меня доказательство того, что Вы ещё ого как поработаете в журналистике и литературе. Приехали молодые волки? ну и хрен с ними, ведь у них нет того опыта жизни и работы, которым Вы располагаете, нет груза памяти, которым Вы обременены. Вот почему я, рискуя Вам надоесть, возвращаюсь к мысли о мемуарах. Я полагаю, что вообще не обязательно составлять полный свод пережитого, не обязательно даже придерживаться хронологического порядка и т.п.; Вы могли бы, например, написать (или продиктовать) превосходную серию очерков о людях, которых Вы знали, о временах, которые ушли, о Москве послевоенных лет, мало ли о чём. Да и архив мог бы помочь освежить полузабытое.

Бахнуло, пишете Вы, 76 лет. Удивительно: а ведь мне кажется, что я только на прошлой неделе поздравлял Вас с трёхчетвертьвековым юбилеем, было такое же лето, такая же изнурительная жара, и я сидел посреди разорённой ремонтом квартиры. Что ж, и мы, батюшка, не молодеем.

Живём мы без особенных перемен, разве что внук в Чикаго шагает в будущее чуть ли не в семимильных сапогах. На фотографиях он выглядит весьма солидно. Как никак стукнуло полтора года. Работают они там почём зря, недавно переселились в квартиру, приобретённую в кредит, и таким образом вернулись из пригорода в город. Рядом, за проволочной сеткой — квартал голытьбы.

Лора работает который уж год без отпуска, но боится потерять работу. Она сейчас основной, если не единственный, кормилец. Моя литература практически ничего не приносит, московские гонорары, тоже,

¹ Марк Александрович Поповский — журналист, социолог русской эмиграции.

должно быть, весьма скудные, получает мой брат, который сидит с престарелой и потерявшей рассудок матерью. Правда, я получил премию, но это случается не чаще солнечного затмения. К тому же надо было помочь детям. Мы было подумывали с Лорой о том, чтобы поехать туда осенью вместе, но, очевидно, не поедем.

Вы спрашиваете, что это была за премия. Она даётся, конечно, за книги на немецком языке, по-русски их не смогли бы прочесть, но это не значит, что я написал их по-немецки. Они все переведены одной и той же, кстати сказать, переводчицей; каждый раз я прочитываю перевод и обсуждаю с ней; в России это называлось, если не ошибаюсь, «авторизованный перевод».

Вы интересно написали о покойном Довлатове. Его необычайная слава в России началась несколько лет назад. Я думаю, что одно из важных достоинств этого писателя — и до некоторой степени условие успеха — то, что он хорошо знал границы своего дарования и не переступал их. Это примерно то же, что имел в виду Зоценко, когда писал о себе: «Я в большие писатели не лезу». Должен признаться, что я читал рассказы Довлатова, испытывая большое удовольствие от чтения. То, что Вы пишете о нём (одарённый мастер пасквиля), не противоречит сказанному. Впрочем, Вы его знали, а я никогда даже не видел.

Как Вы переносите жару в Нью-Йорке? Или куда-нибудь уехали. Не собираетесь ли посетить Старый Свет? Мы бы Вас угостили холодным пивом.

Что это за «Филадельфийские страницы», вот бы поглядеть.
Крепко обнимаем Вас.

Мюнхен, 12 авг.1998

Дорогие Лиля и Марк, хоть Вы и жалуетесь на тусклую жизнь в Вашем гибриде детского сада с домом престарелых, хоть «и скучно, и грустно», но можно Вам и позавидовать: всё-таки жизнь на лоне природы. Дело в том, что у нас, да и по всей Западной Европе, снова невероятная жара: каждый день вокруг 35 градусов, грозятся, что будет ещё жарче. Изредка, если есть возможность, мы ездим рано утром купаться на городское озеро, вчера я провёл почти целый день на Штарнбергском озере, вообще озёр, чистых и очень красивых, в Верхней Баварии, как Вы знаете, великое множество. Но Лора работает, а последнее время вынуждена даже оставаться на службе целую неделю и только один раз приезжает домой.

Время от времени наши края посещают московские столичные гости: например, приехала на виллу, принадлежащую культурному отделу магистрата, писательница Людмила Улицкая, с которой я прежде не был знаком. Она пользуется определённым успехом в России, отчасти и здесь, и рассматривается как соперница Петрушевской в той осо-

бой области, которая носит название дамской, или женской, литературы. В Гармиш (это недалеко от нас, у австрийской границы) на короткое время прибыл мой старый друг Бен Сарнов.

Мы всё-таки решили полететь в Америку, то есть в Чикаго, но лишь на две недели, и в Нью-Йорк, к сожалению, завернуть не сможем. Билеты заказаны на сентябрь. Задача — посидеть с внуком и дать короткую передышку родителям. Найти постоянную няньку, женщину, которая время от времени могла бы присматривать за малышом, как-то не получается. Делались попытки пригласить кого-нибудь из россиянок, но они, как считает Илюша, не годятся: требуют слишком высокую плату прежде, чем покажут себя на работе, да и работать как полагается тоже, по-видимому, не очень-то жаждут. Ну, а если бы Вы собрались всё-таки в Новый Свет, наша обитель — думаю, что нет надобности это повторять, — к Вашим услугам. Выпьем пива, погуляем по городу, обменяемся мнениями о бренности жизни. А там, глядишь, Вы и напишете что-нибудь для американских соотечественников о проклинаемой всеми Германи.

Кстати, Вы совсем не пишете, Марк, продолжается ли Ваше сотрудничество с газетами — и с какими. Есть ли какие-нибудь новые проекты? Я сочиняю, как водится, разные сочинения, в последнее время накатал несколько рассказов, мой роман о деревне должен появиться в «Октябре» не то в этом месяце, не то в следующем. Книжка (тоже роман — знай наших!) выйдет по-немецки, вероятно, недели через две. Вы спрашиваете, за что мне дали премию. Но я сам не знаю. В грамоте, которую мне вручили, стоят общие слова: «за вклад в европейскую литературу» или что-то в этом роде.

Мюнхен, 29 авг.1998

Дорогие Марк и Лиля, трудно подумать, что каких-нибудь десять дней назад у нас стояла изнурительная жара. Прохладно, почти холодно, пасмурно, сегодня суббота, и на улице ни души. Кажется, что лето всё израсходовалось без остатка, а ведь всё ещё август, и деревья даже не начали желтеть. Так что если Вы пожелаете к нам осенью, погода будет, к сожалению, уже не столь приветливой. Правда, мы всё-таки в Баварии, за стеной Альп начинается европейский Юг, Италия, Средиземное море.

Я уже писал Вам, что мы собрались на две недели в Чикаго (в Нью-Йорк на этот раз заглянуть не удастся). Предполагаем вернуться в Мюнхен 22–23 сентября. Вскоре после этого мне предстоит ещё две коротких поездки, в бывшую ГДР и во Франкфурт на книжную ярмарку. Всё это закончится примерно 15 октября. Начиная с этого времени располагайте нами. Сообщите о Ваших планах, а главное, укажите точно, когда Вы придёте, чтобы я или мы оба могли Вас встретить.

Думаю, что Ваши сомнения, Марк, насчёт того, надо ли продолжать обычную журнально-очерковую работу, рассеялись и вы уже впряглись в старую, но добротную телегу. Зная Ваше трудолюбие, я не могу себе представить Вас пенсионером, играющим в домино. О Юрии Безелянском я никогда не слышал, ведь с американской точки зрения мы тут обретаемся на краю света. Имя Льва Разгона мне, конечно, известно; в Германии оно звучало бы эффектней: Лео фон Разгон. Вы спрашиваете меня об Улицкой. Я познакомился впервые с ней и её творчеством только здесь. Она милый и дружелюбный человек. Познакомился и с её мужем художником, мне кажется, мы друг другу понравились. Её рассказы (более крупных вещей я не читал) свидетельствуют о несомненном даровании. Её мир — это обыкновенные, по большей части счастливо-несчастные, симпатичные и немного чудаковатые женщины, старухи, девочки. Вообще в её вещах много теплоты. Она умеет создать иллюзию живой жизни, реальных людей, погружённых в быт. Дальше этого она не идёт, каких-либо вторых смыслов в её прозе, как мне кажется, нет; её сильной стороной является понимание границ своего мира и своего таланта. Далеко не каждый писатель сознаёт, на что он способен и чего ему не следует касаться.

С удовольствием прислал бы Вам что-нибудь из своих писаний, но немецкие книжки, как я понимаю, Вам ни к чему, а журнал «Октябрь», где в последние годы печатались мои изделия — романы, рассказы и статьи, до меня доходит только в Баварской библиотеке. Ведь авторских экземпляров больше не существует, не говоря уже о доставке по почте. Слава Богу, хоть библиотека получает много журналов из России. Да ещё мой брат иногда присылает, но не сразу и в одном экземпляре. Перельман опубликовал в своём журнале один мой роман под названием «Далёкое зрелище лесов».

Дорогие, будьте здоровы. Ждём Вас в Старом Свете.

Мюнхен, 15 дек.1998

Дорогие Лиля и Марк,

пишу вам после значительного перерыва. Надеюсь, что боль после перенесённого Вами несчастья немного притупилась. У меня была неудачная полоса: разные хвори, не слишком серьёзные, преследовали меня одна следом за другой. Между тем приблизилось западное Рождество, а там и Новый год. Мы поздравляем Вас, следующий год должен быть лучше этого.

Живём мы в общем и целом по-старому. Лора работает; в феврале ей предстоит поездка на две недели в Чикаго, где надо будет сидеть безвылазно с малышом, так как Сузанне (наша невестка) должна будет поехать в другой город на курсы усовершенствования. О новостях из России Вы знаете; последнее, о чём я услышал, — постановление Думы во-

друзить на прежнее место Железного Феликса. Представляю себе, как будут счастливы эти крысы в огромном здании на Лубянке, когда снова увидят из окон дорогой их сердцу монумент в долгополой шинели.

Я занимался, кроме того что болел, всё это время обычным делом, — на что же мне ещё убивать время, — то есть сочинял разные сочинения: рассказы, статейки. Здешний ПЕН-клуб отвалил мне небольшую премию. «Октябрь» напечатал деревенский роман, о котором Вы, впрочем, знаете. Вскоре после того, как разразился финансовый кризис, я разговаривал с редактором по телефону, «пока держимся», сказал он. Банк заморозил редакционный счёт, зарплаты нет несколько месяцев и т.д. Вы писали мне, Марк, о размыкании связи между писателем и читателями: это истинная правда. Мне несколько раз и в разное время писали из Москвы о том, что сложилось впечатление, будто никто вообще ничего не читает. Хотя вымирание читателей — общее явление, в России оно, очевидно, ощущается острее, чем на Западе, где всё ещё существует какой-никакой литературный истеблишмент.

Дорогой Марк, не берите с меня пример, опишите по возможности подробней, как Вы там. Что пишете, где печтаетесь? Что вообще новенького в столице мира? Нашему пророку исполнилось 80. Я видел интервью французского телевидения: он в прекрасной форме, жестикулирует, словоохотлив. Хотя в Германии отношение к Солженицыну все последние годы было довольно прохладным, юбилей не прошёл незамеченным: появились статьи в газетах, канцлер послал поздравление.

13 февр. 99, Мюнхен

Дорогие Марк, Лиля, каюсь, давно не писал Вам. Вот уже несколько месяцев тянется скверное время: повторяющийся радикулит, разные другие мелочи, а в конце прошлого месяца я подхватил грипп, от которого до сих пор ещё не отвызался. Кашель и сильная слабость. И, разумеется, отвращение к работе: ведь лень, не правда ли, всегда найдёт для себя приличный повод и оправдание. Как Вы там? Уверен, Марк, что Вы вернулись к трудовой деятельности.

Лора тоже болела, но, слава Богу, в более лёгкой форме. А сегодня она отправилась в Чикаго на две недели, чтобы сидеть с малышом на то время, пока Сузанне, наша сноха, должна будет провести в Вашингтоне на курсах. Я в не совсем хорошей форме, тем не менее и мне предстоит на следующей неделе небольшое путешествие, от которого я не могу отказаться: мне прислали путёвку в курортную клинику по поводу радикулита, где я должен буду провести три недели. Это недалеко отсюда, в Нижней Баварии, поблизости от Пассау, красивого старинного городка, где я однажды был. Касса согласилась взять на себя значительную часть расходов.

Во все эти недели я ничего не мог делать. Перельман написал мне о том, что «Время и мы», теперь уже второй по старшинству русский литературный журнал за рубежом, перебирается в Москву и главным редактором будет критик Лев Анненский. Причины переезда финансовые. Боюсь, как бы это не означало начало конца. Моё сотрудничество с этим журналом не всегда было вполне безоблачным, порой прерывалось на годы, и всё же я теперь вспоминаю, что был одним из самых старых его авторов, ещё с той поры, когда он возник в Израиле, а мы жили в России. Журнал «Октябрь» почтил меня годовой премией за роман «Далёкое зрелище лесов», весьма неожиданная новость. Премия, разумеется, совсем небольшая, но моему брату в Москве пригодится. У меня имеется только один экземпляр номера, где это изделие было напечатано, но мне было бы приятно, если бы Вы нашли возможность заглянуть в него; роман этот, в отличие от некоторых других сочинений Вашего слуги, читается довольно легко; во всяком случае, серьёзным произведением его нельзя считать.

Сегодня суббота, за окнами небывало снежная зима. Вы в Нью-Йорке небось уже забыли, что такое снег. Напишите, Марк, что Вы сейчас делаете, что публикуете. Не собираетесь ли часом в Европу. Мы с Лорой крепко обнимаем Вас и Лилю.

Мюнхен, 14 апр.1999

Дорогие Марк и Лиля! Весна приблизилась, а с нею, может быть, и некоторая нормализация Вашей жизни. Депрессия... о, да. Но как это не похоже на Вас, Марк. Наша жизнь, после того как Лора вернулась из Чикаго, а я закончил своё пребывание в санатории, тоже приняла прежний характер: Лора работает по-прежнему, я изредка езжу с чтениями, остальное время торчу дома. Погода пасмурная, сегодня воскресенье, тишина.

Касса, оплатившая хоть и не полную стоимость пребывания в санатории и разного рода процедур (всё это очень дорогие вещи), но, можно сказать, львиную долю расходов, — это не что иное, как бытовая касса, членом которой я имею честь состоять. Правда, не частная, где взносы весьма высокие, а полугосударственная, которая берёт под опеку людей всех состояний. В Германии, как Вы знаете, страхование на случай болезни, как и некоторые другие виды страхования, является обязательным; если же, как в моём случае, человек получает мизерную пенсию, то касса берёт на себя и половину взносов.

Существование моё довольно монотонно, во время болезней я мало что мог делать, потом снова взялся за перо, как выражались когда-то, цацарапал — опять же устарелое выражение, цацарапает компьютер — несколько рассказов и небольших статей для журнала «Искусство кино», откуда мне звонили. К кино эти упражнения, впрочем,

имеют весьма отдалённое отношение. Изредка кое-что печатает «Октябрь». Раньше я писал рассказы или романы, в которых почти всегда действие происходило в России. Теперь — неизвестно где, страна остаётся неназванной. Означает ли это, что я окончательно провалился в расщелину меж двух стульев? Сохраняете ли Вы внутреннюю связь с отечеством?

И-да; вот такие дела. Что ещё? Я по-прежнему слушаю музыку, иногда мы с Лорой выбираемся в оперу. Россия скрипит зубами по поводу событий в Югославии, время от времени погромыхивает заржавленным, но отнюдь не игрушечным орудием.

Мюнхен, 2 июля 99

Дорогой Марк, дорогая Лиля! Давненько не брал я в руки шапек — давно ничего не получал от Вас. Удивительно слышать от Вас, Марк, что Вы сидите без работы, никуда не ездите, не печтаетесь. Ведь это так на Вас не похоже. Я всегда ставил Вашу трудоспособность и трудолюбие в пример себе и другим. Однако «депрессуха» (как выражается Юз) бывает у каждого пишущего, и я уверен, что Вы эту полосу преодолете. Меня, кстати, весьма заинтересовало то, что Вы пишете о своём дневнике. Как бы Вы сами ни относились к нему, это теперь уже исторический документ. Когда-то подростком и в ранней юности я вёл дневник — и как жаль сейчас, что он погиб. Я сам его уничтожил, после того как был арестован один мой приятель, дело было в конце сороковых годов, целая вечность прошла с тех пор.

Но одно дело — полудетские записи, а другое Ваш дневник, — это ещё и хроника времени, встречи с любопытными людьми, с «деятелями», впечатления советской литературной и околослитературной жизни и т.д. Несколько времени назад я поместил в «Октябре» статью под названием «Дневник сочинителя», о дневниковом наследии писателей, — меня занимал вопрос о соотношении художественного творчества и диаристики. Ваш дневник, возможно, несколько другой жанр, но он от этого не менее интересен. Словом, Вы чувствуете, к чему я клоню: нужно подумать о том, чтобы подготовить дневник — или выдержки из дневника — к печати. (В Москве или Петербурге, мне кажется, любой литературный журнал проявил бы к ним активный интерес — тем более, что мемуарно-дневниковые публикации разного рода вошли в моду). Кстати, множество писателей, самых разных, публиковали при жизни свои записи; были и такие, для которых дневник мало-помалу становился главным литературным жанром и даже главным делом жизни. Пожалуйста, слушайте меня — я говорю совершенно серьёзно.

У нас после целого месяца дождей и прохлад наступила жара. Конечно, это не то, что тяжкая жара нью-йоркского лета. Но я и от

этого зноя страдаю. Вы упомянули о Мексике, да ведь там, наверное, можно просто изжариться живьём. А потом туземцы Вас съедят, с горчицей, с перчиком.

Изредка мы с Лорой ездим купаться на одно городское озеро. Минувшие полгода были не очень удачными, я хворал то тем, то этим. В целом же особых перемен не произошло. Наш внук в Чикаго растёт понемножку и даже довольно быстро — примерно с той же скоростью, с какой стареем мы с Вами. Перспективы на получение заветной Зелёной карты у Ильи и Сузанне довольно неопределённые; если ничего не получится, им придётся, по крайней мере на год, возвращаться в Германию. Вот уж никогда не думал, что американская бюрократия так сложна и малопредсказуема. Из России я, как и прежде, получаю письма. Но ехать туда как-то нет ни сил, ни охоты. Кое-что напечатал там — всё в том же «Октябре», в «Искусстве кино».

Надеюсь всё-таки, дорогой Марк, что Вы воспрянете духом. Сердечно обнимаем Вас и Лилию.

Мюнхен, 18.VIII.99

Дорогие, я задержался с ответом — виною моя расхлябанность. Лето закатывается; между прочим, у нас тут было полное солнечное затмение, которое я наблюдал во всей его полноте, несмотря на перемежающуюся облачность. Теперь будем ждать следующего, через 86 лет. Лето, говорю я, кончается, а с ним, надеюсь, пройдёт и Ваша депрессия, Марк. Впрочем, Вы оба, наверное, уже в отпуске (только сейчас об этом вспомнил), так что этому письму придётся дожидаться Вас в ящике. Кстати, я так и не знаю — не видел, есть ли в Штатах квартирные почтовые ящики. Так или иначе будем рады получить от Вас отчёт об экзотических местах, где Вы побывали.

Я недостаточно осведомлён о жизни вновь прибывающих из России к нам сюда, знаком с немногими, но легко заметить, как изменился облик и «спектр» российской эмиграции в Германии. Подавляющая масса новоприбывших, именно масса, потому что Германия распахнула ворота перед евреями из бывшего СССР, — люди полукультурные и сугубо провинциальные, есть и некоторое количество интеллигентов. О тех, кого я знаю, я ничего не могу сказать плохого, но до некоторой степени повторяется то, что с чем столкнулись когда-то мы: отсутствие общего языка между двумя волнами эмигрантов. И так же, как Третья волна изменила содержание самого слова «эмиграция», по крайней мере, в глазах тех, кто поселился здесь до нас, — нынешние экспатрианты едва ли могут быть названы эмигрантами в том смысле, какой привыкли вкладывать в это слово мы. Переменился и вкус слова «еврей», нецензурного в Советском Союзе, наподобие

матерных слов; наступили удивительные времена — быть евреем стало выгодно. Поэтому в России можно сейчас купить паспорт с вожделеным пятым пунктом. «Читайте, завидуйте...».

Появились и новые писатели — правда, по большей части неизвестные. Соответственно и ими никто не интересуется, не то что когда-то Максимовым, Зиновьевым и другими светилами, ныне закатившимися безвозвратно. (Зиновьев, правда, взошёл в Москве, куда он окончательно переселился). Появились журналы; например, мне прислали недавно выходящий во Франкфурте ежемесячник «Литературный европеец». Выходит множество газет и газетёнок, большей частью эфemerных. Словом, это новый и, пожалуй, чужой нам мир.

Мои собственные успехи невелики, пытаюсь что-то писать; «Октябрь» в октябре грозился напечатать один мой текст, род литературной автобиографии, которая, собственно говоря, для печати не предназначалась. Что с Вашим дневником, вняли ли Вы моим призывам? В двадцатых числах сентября мы с Лорой собираемся в отпуск на Майорку. Вот и все новости. Обнимаем Вас, дорогие Марк и Лиля.

Мюнхен, 13 окт.1999

Дорогие Марк и Лиля! Мы тоже побывали в отпуске, которого ждали много лет, но отпуск не удался, болели гриппом. Ездили мы, точнее, летали, на остров Мальорку в Балеарском архипелаге, место, которое с некоторых пор стало чрезвычайно популярным в Германии и фактически оккупировано немцами, — род экономической колонии. Кроме немцев и местных жителей, там можно встретить англичан, а однажды я слышал русскую речь. Вернувшись, нашли, что лорина пациентка жива, так что жизнь в целом продолжается по-старому. Сам я, правда, как-то не чувствую себя «в форме», и физически, и морально, роман мой почти не подвигается, что-то пишу, но очень плохо. Перельман, который ныне отмечает четвертьвековой юбилей своего журнала, просил меня, по старой памяти, прислать ему что-нибудь, так что я снова стал его автором и жду обещанного гонорара, как рыбарь ждёт на берегу моря, что там попадёт в сети. В Москве журнал «Октябрь» должен был тиснуть кое-что в октябре, но, как Вы знаете, обычай присылать сочинителю авторские экземпляры в нашем отечестве давно вывелся. На Франкфуртскую книжную ярмарку я в этом году не поехал.

Как Вы? Что подельваете, Марк, в смысле литературно-журнальном? Последний раз Вы сообщили много интересного. Что же касается тем и материалов для дальнейшей работы, то не кажется ли Вам, что пора начать пристальней присматриваться к новой поросли российской еврейской и полуеврейской эмиграции, — я имею в виду прибывших за последние годы. Согласен с Вами, что это люди, чаще всего и во

многим чуждые нам, что, однако, не делает эту Четвёртую (условно говоря) волну менее интересным явлением и с социологической, и с культурной точки зрения. Я подумал также о том, что Вы могли бы написать что-нибудь на эту тему — хотя бы потому, что много лет занимались людьми и проблемами эмиграции, так что Вам, как говорится, и карты в руки, — для российских журналов, где она, эта тема, вообще не присутствует.

Обнимаем Вас, дорогие, пишите.

Мюнхен, 1 дек.99

Дорогие Марк и Лиля,

итак, — первый день последнего месяца. Думали ли мы, что доживём до такого рубежа. В наших местах началось Предрождество. Посему, не мешкая (да и кто его знает, справится ли почта с обилием праздничных писем), шлём Вам наши самые тёплые пожелания и поздравления с тремя нулями: с Новым годом, новым столетием и новым тысячелетием.

Я не знал, что Вы, Марк, ещё и поэт. Настройте, пожалуйста, если можете, Вашу лиру на мажорный по возможности лад. И, кстати, нельзя ли почитать?

Я пользуюсь иногда электронной почтой, но мысль о том, чтобы употребить, по примеру американско-русской пишущей братии, Интернет для укрепления своей славы, меня как-то не соблазняет. Там уже накопилось столько баракла. И кто это вообще будет читать? Гришу Свирского я знаю очень давно, с университетских времён. Мы с ним учились на одном курсе: он на русском отделении, я на классическом. Он уже тогда был писателем, автором книги фронтовых очерков «Заповедь дружбы» (кажется, так) и романа «На взлёте», который позднее был опубликован под названием «Здравствуй, университет!». Последние годы я, к сожалению, потерял с Гришей связь; слышу только время от времени о его успехах на бывшей родине.

Ваш проект обозреть и проанализировать (в какой-либо форме: мемуары, отрывочные заметки?) свой жизненный и литературный путь — очень хорош. Это то, к чему я Вас призывал. Собственно, Вы обязаны это сделать. Помимо всего прочего, это как-то подтягивает самого себя. Продолжаете ли Вы начатое?

Когда-то давно я попробовал написать нечто вроде литературной автобиографии. Она называется «Понедельник роз». Её теперь взяли и напечатали (в октябрьском «Октябре»). Последнее время я занимался работой совсем другого рода: написал довольно большую статью о заговоре 20 июля; помните ли Вы, что это такое было? Написал или, вер-

нее, закончил один плохонький роман, на который как-то неприятно смотреть (он покоится в куче бумаг). А вообще мы живём всё той же жизнью, Лора работает. Наш внук в Чикаго недавно с громом отпраздновал своё трёхлетие.

Не хандрите, дорогие. Ещё раз поздравляем с наступающим, обнимаем.

Мюнхен, 10 янв. 2000

Дорогие Марк и Лиля! Итак, мы с Вами уже в новом столетии и тысячелетии, удалось-таки перевалить через этот рубеж. Что ни говорите, а власть чисел, магическая власть, — велика и необорима. Хотя всё вроде бы осталось на своих местах, всё по-старому: погода, пейзаж и мы сами. Сердечное спасибо за рождественско-новогодние поздравления. Мы с Лорой отметили праздники довольно скромно, были в опере, в концертах, — по немецкой традиции в Рождество исполняется Рождественская оратория Баха, в Новый год 5-я симфония Бетховена, — а заветную дату встречали в гостях, где, между прочим, передавался по русскому телевидению (я его, собственно, никогда не вижу) новогодний гала-концерт с участием новых и старых звёзд. К сожалению, концерт не произвёл на меня должного впечатления. Да и вообще всё, что достигает наших ушей из отечества, не вызывает восторга...

Продолжаете ли Вы, Марк, работу над биографическим трудом? Пожалуйста, держите меня в курсе дела, мне это очень интересно. Что вообще поделяете? К Вашей надежде повидаться — по ту или по эту сторону океана — мы с Лорой присоединяемся с великой охотой. Будьте здоровы, пишите подробней о новостях в Америке, о всех Ваших делах.

Мюнхен, 9 марта 2000

Дорогой Марк, дорогая Лиля,

пять минут назад получил Ваше письмо, Марк, и ещё не успел прочесть его Лоре. Письмо меня очень огорчило. Должен признаться, что это состояние пустоты, внутренней исчерпанности, чувство, что больше не способен думать, нет сил и охоты садиться за стол, и т.п. — мне знакомо. Иной раз думаешь: всё, ханá; остаётся только лежать на диване. Тем не менее я убеждён, что состояние это обратимо. Проходит некоторое время, незаметно вода накапливается в колодце, из которого, казалось бы, всё уже выгребли. И я не могу поверить, что Вы не вернётесь к привычной работе: всё это совершенно не вяжется с Вашим характером, насколько я могу о нём судить, с Вашим трудолюбием, а главное с тем, что Вы ещё можете и должны сказать. Проект самоотчёта, автобиографии, анализа прошлого — как бы это ни называлось и во

что бы ни вылилось — нужно во что бы то ни стало осуществить. Должен также сказать, что мне иной раз помогает музыка и чтение. При этом можно прочесть какую-нибудь совершенную ерунду, и она вдруг возбудит мысли, воспоминания, какие-то неожиданные ассоциации, словом, всё, что предшествует потребности писать. Видите, какое я Вам назидание прочитал.

Мне последнее время пришлось возиться с моими венами на ноге, разными мелкими неприятностями, из-за которых пришлось таскаться по врачам. Может быть, мне придётся оперировать ногу, но в любом случае решение будет принято уже после нашего предполагаемого путешествия в Чикаго. Наша сноха Сузанне должна отправиться на две недели в Германию, а мы — в обратном направлении, чтобы пасти внука в её отсутствие. Хотелось бы, конечно, повидать и Вас, но это невозможно. Вообще сидя здесь, в маленькой Европе, забываешь о том, что Соединённые Штаты — страна огромных расстояний.

Занимался я всё это время книгой, которую мы затеяли с Джоном Глэдом (Вы, вероятно, с ним знакомы), — нечто вроде собрания бесед о литературе и эмиграции по электронной почте. Как Вы знаете, сообщение через океан по e-mail приходит к адресату в считанные мгновения. Вот до какой фантастики мы дожили. «Октябрь» поместил мою литературную автобиографию — в некотором смысле я пошёл по Вашим стопам. А так в общем-то особенных новостей нет. Известия из России неутешительны, у власти оказался человек, сделавший карьеру в славных рядах КГБ. Можно не сомневаться, что он будет избран президентом. «Избран» — выражение в данном случае достаточно условное.

Дорогой Марк, не хандрите. Попомните мои слова — «депрессуха» (как выражается Юз) пройдёт. Мы сердечно обнимаем вас обоих.

Мюнхен, 2 мая 2000

Дорогие Марк и Лиля, мы вернулись вот уже почти две недели тому назад, после нашего приезда пришло от Вас письмо. Я не успел на него ответить, как пришло ещё одно. Вы пишете о моём рассказе «Праматерь». Я даже забыл о том, что он был впервые напечатан у Перельмана, номера с рассказом у меня нет, а может быть, кто-то его взял. Ваша похвала для меня чрезвычайно лестна. Мне даже неудобно стало. Я очень благодарен Вам обоим. Вы знаете, что я не избалован комплиментами, да и не всегда уверен в безусловных достоинствах моей прозы. Если же она в самом деле хотя бы чуточку повысила Ваше настроение — лучшей похвалы мне не нужно. Этот рассказ, — я написал его позапрошлым летом или чуть позже, — можно назвать автобиографическим в том смысле, что кулисами для него послужили воспоминания о довоенном детстве. Наш дом в Большом Козловском переулке у Красных Ворот и неподалёку от Чистых прудов, двор, жильцы коммуналь-

ных квартир, игры, собирание марок — вероятно, и в Вашем детстве было что-то похожее. В нашем дворе жил мальчик, мой сверстник, отец которого был чекистом, ходил в длиннополой шинели и был окружён таинственно-мрачным ореолом. Позже эта семья переехала в какой-то другой, привилегированный дом, о сыне, которого звали Юра Зеленков, в самом деле довольно неприятном подростковом возрасте, мне рассказывали потом, что он пошёл по стопам отца и стал чуть ли не генералом. Всё остальное в рассказе, то есть сюжет, придумано. Как-то раз один мой приятель-немец, отставной профессор, известный в Германии публицист, упомянул о нашумевшем случае в каком-то затхлом американском городке: учительница, мать семейства, вступила в связь с несовершеннолетним учеником и родила от него ребёнка. С ней жестоко расправились, лишив её не только работы, но и семьи. Других подробностей я не знаю. Эта история почему-то произвела на меня большое впечатление, я усмотрел в ней не сенсацию, а трагедию.

Вообще же могу сказать, что меня всегда интересовали люди, живущие, так сказать, на обочине общественной жизни: дети, подростки, старики. Люди, не столь поработанные, как взрослые, социальной рутинной, однообразием занятий, заботами повседневности, ещё не успевшие стать рабочими лошадками либо уже списанные за негодностью. Как Вы помните, литературные критики в Советском Союзе называли эти сюжеты — а также всё, что касалось личной, интимной жизни человека, — замечательным словечком: *мелкотемье*.

Ну вот; то, что мы не удосужились позвонить Вам из Америки, конечно, свинство. Наша поездка была, правда, весьма бурной. Сначала мы приехали в Чикаго, потом, вместе с Илюшей и внуком, отправились самолётом в Сан-Франциско: изумительный город. Оттуда, пробыв там два-три дня, — в машине за триста километров в гигантский Йосимитский национальный парк, там тоже провели, среди разных чудес и красот, два дня. Потом назад в Сан-Франциско, а на другой день в Чикаго. Всё это прекрасно организовал наш сын. А там и кончились две недели отпуска.

Дорогие, ещё раз спасибо. Пишите и не хандрите. Стихи «Старик Альцхаймер...» мне очень понравились. Сердечно обнимаем, Ваши Г. и Л.

Мюнхен, 12 июня 00

Дорогие Марк и Лиля, я проваландался с ответом довольно долго. У Вас, наверное, уже наступила настоящая нью-йоркская жара. Собираетесь ли Вы всё-таки куда-нибудь податься? Вопреки Вашим собственным оценкам, Марк, то, что пишете Вы о своём архиве, чрезвычайно интересно. Десятки книг, тысяча с лишним публикаций — это, как говорили когда-то в высшем свете, не хрен собачий. И, заметьте, с го-

дами ценность этого наследия может возрасти значительней, чем Вам теперь кажется. Ибо «нам не дано предугадать...». Но уже сейчас можно было бы составить, например, сборник — летопись эмиграции Третьей волны, выбрав из массы написанного, скажем, несколько десятков наиболее характерных очерков. Снабдить их соответствующим предисловием и т.п. Почему бы Вам этим не заняться? Другой проект, который, по-моему, так и напрашивается, — написать воспоминания об интересных людях, тех самых знаменитостях, чьи письма, надеюсь, Вы не выкинули и с которыми Вы встречались в России и в Америке; а ведь их, должно быть, было немало. А может быть, чем чёрт не шутит, мы доживём и до томика стихотворений?

Я собираюсь поехать на три дня в Баденвейлер, курортный городок в Шварцвальде, где, если Вы помните, умер Чехов. Русское собрание с оплаченным проездом, ночёвками и небольшим гонораром за чтение. В августе, если будем здоровы, двинем, может быть, на Всемирную выставку в Ганновер. Этим, собственно, все планы на лето и ограничиваются. Лора работает в прежнем качестве. Время от времени мы ездим купаться на городское озеро Ферингазее, в 6–8 минутах езды от нашего дома. Здесь, то есть, дома, я сижу почти всё время. Сегодня в наших краях последний день Троицы, на улицах тишина.

«Октябрь», где меня всё ещё терпят, напечатал в апреле мой очерк об Отто Вейнингере, молодом человеке, который застрелился 23 лет, некогда знаменитом авторе книги «Пол и характер». В июльском номере обещали — хотя обещания редакторов стоят немногим больше, чем обещание женщины, — поместить довольно обширный этюд, который я испёк в прошлом году, о заговоре и покушении на Гитлера 20 июля. Тема эта меня давно занимала. Не знаю, кого сейчас в России может заинтересовать эта история, но о ней всё-таки знают в нашем отечестве очень мало. Сочинял ещё разные мелочи. Около года мы с Джоном Глэдом (не писал ли я Вам уже об этом?) потратили на беседы — с помощью электронной почты — об эмигрантской литературе, рассчитывая на грант, который позволил бы сделать из этого книжку. Джон написал шикарную заявку. Увы, грант накрылся медным тазом.

Мюнхен, 17 июля 00

Дорогие Марк и Лиля,

наше лето превратилось в какую-то пародию на осень: каждый день дождь, прохладные дни, холодные ночи. Лучше всё же, чем африканская жара, которая нас тоже время от времени навещает. Ваше письмо от 26 июля я получил уже, наверное, больше двух недель тому назад. Я совершил поездку в Баденвейлер, курортный городок на крайнем юго-западе, в земле Баден-Вюртемберг. Других новостей нет, пытаюсь писать, или, как выражались знаменитые писатели в

нашем бывшем отечестве, «работать»; слово, которое меня всегда немного смущало. Я был усердным читателем «Литературной газеты». Там можно было прочесть, лет тридцать назад, такое, например, высказывание: «Этим летом я побывал на моей родной Вологодчине. Где мне всегда хорошо работается». Имелась в виду, очевидно, попойка с заскорузлыми земляками. Или: «В раздумьях о родном крае...» И фотография: сивоусый, бородатый писатель в какой-нибудь там импортной водолазке на фоне бескрайних, заросших сорняками колхозных полей.

Так вот, как-то плохо работается.

Сочинил я несколько рассказиков и статей; закончили обработку книжки, составленной из бесед, моих с Дж. Глэдом, об эмигрантской литературе и жизни. Про книжку эту я, кажется, Вам писал. Не ведаю, кто её захочет печатать. «Октябрь» в последнем номере поместил мой этюд под названием «Десять праведников в Содоме», об антигитлеровском заговоре 20 июля, а в мае (кажется) статейку на увлекательную тему о советской литературе. Дела давно минувших дней... Посылаю Вам её для развлечения.

Существует такое понятие, как кризис. Он бывает у всех, независимо от возраста. Но не хочется думать, что он у Вас затянется до бесконечности, — в конце концов, невозможно долго ничего не делать, а для Вас, Марк, такое состояние просто противоестественно. Впрочем, Вы пишете о книге очерков об интересных людях. Вероятно, она уже вышла. Был бы очень и очень признателен, если бы Вы как-нибудь испитрились презентовать нам с Лорой экземплярчик.

Из России (я имею в виду редакции), разумеется, никто никогда ничего не присылает и не уведомляет автора о публикациях. Мне номера журнала «Октябрь» изредка присылает по почте мой брат Толя, который их покупает в редакции. Российская почта кое-как функционирует, но при этом живёт как бы в двойной географии: расстояние туда в несколько раз короче, нежели в обратном направлении. Поэтому письма ко мне могут прийти за две недели, а мои письма — за полтора или два месяца. Дорогие, крепко Вас обнимаем, держитесь и крепитесь.

31 июля 00

Ваше письмо, дорогие Марк и Лиля, дошло быстро, я тоже, как видите, отвечаю Вам без промедления. Вы, очевидно, уже дышите всю здоровым лесным (сосновым или, может быть, эвкалиптовым? — в Америке всё бывает) воздухом. Мы с Лорой прочитали вслух письмо, после чего я с чувством продекламировал стихи, имевшие большой успех. Стал припоминать, ведь, чёрт возьми, я должен был помнить замечательную, волнующую песню «Огней так много золотых на улицах

Саратова». И дальше там: «Его я видеть не должна...» Представьте себе, вспомнил и мелодию, и — хоть и не весь — текст. Должен сказать, что Вы, Марк, очень недурно владеете стихотворной техникой.

Ну-с, особенно нового ничего у нас нет, в начале октября мы ждём нашу сноху Сузанне с малышом. Разрешение на пребывание и работу в Соединённых Штатах у неё истекает, она должна покинуть страну, в ожидании, когда Илья получит Green card. У него срок пребывания ещё не кончился. Но приедет она не к нам, а в Майнц, где подыскала себе работу. А мальчик, которого зовут Яша, будет в детском саду или у нас. Ему четвёртый год. Он говорит с родителями по-немецки, а на дворе по-английски.

Вы вспомнили Александра Поповского, я тоже помню это имя, довольно известное. Во времена моего медицинского студенчества мне однажды попалась его книга очерков о пионерах павловского учения в медицине, это была модная тема. Не помню, как эта книжка называлась, и забыл начисто, как звали тогдашнего генерала в этой области, творца абсурдной теории кортико-висцеральной патологии. (В каждой науке и каждой области, как Вы помните, был свой генерал или маршал.) Но я не знал, что А. Поповский был ещё и романистом.

Заранее благодарю Вас за книгу (последнюю или не последнюю, это мы ещё посмотрим), надеюсь, она придёт скоро. Так как Вы просили меня прислать Вам что-нибудь ещё из моих опусов, посылаю Вам одну статейку, правда, не новую. А Вы пришлите что-нибудь из творений Вашей музыки.

Дорогие, сердечно обнимаем Вас, пишете.

Мюнхен, 13 авг. 2000

Дорогой Марк, дорогая Лиля, книга «Мы — там и здесь» пришла, с надписью, которая нас очень тронула. Спасибо. В тот же вечер я уселся её читать. Сразу узнал одного из Ваших собеседников, Арона Каценелленбогена: как Вы помните, он когда-то успешно печатался в нашем бывшем журнале. (Фамилия, не такая уж редкая, звучит для немецкого уха несколько комично: «Кошачий локоть».) Книга очень хорошо издана, прекрасная печать. Читать очень интересно; многое здесь вообще никогда не обсуждалось в литературе нашей эмиграции. Очень хорошо, что Вы посвятили особый раздел женщинам. В общем, повторю уже сказанное: хотя книга построена как некое подведение итогов, я не могу поверить, что это Ваш последний печатный труд.

Прошлый раз, это было всего две недели назад, я писал Вам по Вашему загородному адресу, который Вы мне дали; очевидно, Вы уже скоро возвращаетесь в Нью-Йорк. А вот я после некоторых колебаний решил посетить Москву, теперь уже действительно в последний раз. Повидаюсь там с моим братом, со старыми друзьями, загляну в редак-

цию «Октября». Если, конечно, получится, потому что оформление документов дело нелёгкое: нужно, чтобы в Москве выхлопотали приглашение и притом не где-нибудь, а в Министерстве иностранных дел, в Мюнхене надо несколько раз выстоять длинную очередь в очень плохо работающем консульстве, объясняться через чёрное стекло, платить отдельно и за приглашение, и за визу. Откровенно говоря, мне и хочется ехать — и не хочется. Если все документы удастся оформить, я намерен пробыть там дней двенадцать, начиная со второй декады сентября.

Мюнхен, 19 окт. 2000

Дорогие друзья, Марк и Лиля!

Давно нет от Вас вестей, да и я писал Вам последний раз уже довольно давно. Сначала ездил в Москву, потом — ожидание гостей из Чикаго и, наконец, сами гости: наша сноха с внуком Яшей.

В Москве я пробыл, как и было намечено, две недели, снимал там квартиру. Дни прошли в суете, в беспрестанных поездках по городу, который стал ещё менее гостеприимен. Ощущение всеобщего одичания. Вместе с тем продолжается большое строительство, попытки упорядочить невыносимые транспортные нагрузки. К этому надо добавить хулиганское вождение машин, ставшее нормой. В общем, что говорить, — город не для жизни, город, где обыкновенный человек может существовать только в каких-то щелях. Одно из новых и довольно сильных впечатлений — некрополь уголовных бонз на Востряковском кладбище, на особой и охраняемой территории. Невероятно дорогие, пышные и вульгарные памятники новым хозяевам жизни, убитым, судя по всему (люди всё молодые), другими хозяевами. На мраморных плитах высечены портреты бандитов, иногда во весь рост, стихи во вкусе этой среды или иконы. И когда я видел такую икону, перед которой кто-то кладёт поклоны, и вспоминал другую достопримечательность — храм Христа Спасителя на Волхонке, отделанный с такой же вызывающей роскошью и дороговизной, — мне казалось, что это концы одной цепи.

Был я также в нескольких редакциях, в «Октябре», в «Знамени», а также в издательстве «Вагриус», где собираются издать сборник сочинений Вашего слуги. Но редакторша подвергла эти сочинения правке, от которой я едва не прослезился. Обещала, правда, похерить свои исправления, но сдержит ли слово, неизвестно.

После Москвы я вернулся к своим занятиям, которые, правда, сейчас пошли кувырком оттого, что в доме малыш. Ему почти четыре года, и с ним не соскучишься.

Мюнхен, 30 ноября 2000

Завтра начинается последний месяц года, дорогие Марк и Лиля. А я ещё не успел привыкнуть к числу 2000. Что это творится? Дни текут

сквозь пальцы. В Мюнхене началась тихая предрождественская лихорадка. Мы с Лорой лакомимся миндальным штолленом, так называется традиционный саксонский святочный кекс. Ему около трёхсот лет, но он свеж и юн, как Ганимед. Приедете как-нибудь — попробуйте. Снова вижу, что письмоцо Ваше (октябрьское) залежалось на столе в ожидании ответа. Лень-матушка одолела; вдобавок мне снова пришлось путешествовать. Сначала я ездил в Рурскую область, в разные города, где, впрочем, уже не раз бывал. Потом во Франкфурт, в университет Гёте, и на дачу к друзьям в Рейнгау, это такая виноградная область в среднем течении Рейна, красивые, романтические места. Наша на этот раз необычайно затянувшаяся, солнечная осень, кажется, дотягивает последние дни. Но снега нет и в помине. Московские впечатления тают в дымке, как остров, от которого уплываешь всё дальше. Вы спрашиваете, Марк, чем кончились препирательства с «Вагриусом». Ничем, собственно; я уехал, несколько времени спустя Лена Шубина (редакторша) позвонила и сказала, что сдаёт книжку — очевидно, в печать. Сказала мне, что ликвидировала свои исправления. Но меня там нет, проверить невозможно. Насчёт того, чтобы послать в Москву книгу «Мы здесь и там» — идея, право, не так уж плоха. Может, и в «Вагриус», а если не туда, то в какое-нибудь другое издательство. У Вас, Марк, есть имя. Не мне Вам говорить, что это немаловажный козырь.

Наш прославленный внук с помпой отметил своё четырёхлетие. Он навещает нас время от времени; Сузанне, его мать, сняла квартиру в Майнце, работает и очень недовольна Германией, Илья, наш сын, недавно к ним приезжал, устраивал жильё, привёз с собой какой-то чудодейственный порошок, с помощью которого уничтожил жуткую вонь, оставшуюся после прежнего жильца — старого холостяка, и пропитавшую не только мебель, стены, пол, потолок, кресло в сортире и прочее, но, кажется, и железобетонные перекрытия. Теперь нашим детям так и придётся pendeln — немецкое слово означает качание маятника и поездки туда-сюда. Так как в Америке (по слухам) говорят по-английски, а в семье — по-немецки, то Яша (внук) изъясняется на обоих языках. С русским же дело обстоит плачевно. Нужно сказать, что у Яши богатая интернациональная коллекция бабушек и дедов: две бабки — одна русская, другая немка, два немецких дедули, родной и неродной, и, наконец, ещё один, иудейский дед, то бишь я. У меня, когда я был ребёнком, вообще не было ни дедушки, ни бабушки.

Дорогие, не хворайте. Что нового в Новом Свете?

Мюнхен, 12 дек.2000

Дорогой Марк, дорогая Лиля, на этот раз отписываю Вам без промедления — сегодня пришло Ваше письмо. Я был знаком с дамой по имени Лариса Шенкер, она пригласила нас с Лорой от имени своего

общества в Америку, это было давно. Если не ошибаюсь, моя статейка о жизни Тютчева в Мюнхене была напечатана в её журнале «Слово». Познакомился я и с художником Шенкером (если это тот же самый художник). Он подарил мне понравившуюся мне картинку — иллюстрацию к повести «Час короля». Вы просите меня дать консультацию о Вашем портрете. Я, конечно, не смог бы этого сделать. Могу только сказать о своём впечатлении. Впечатление — как бы это выразиться? Портрет как портрет. Всё на месте. О портретах обычно говорят: похож или не похож. Больше всего похожи брови. Мина, то есть выражение лица, хотя и суровая, однако — согласен — не совсем Ваша, но нужно иметь в виду, что портреты пишутся в общем-то не для родственников и друзей портретируемого: те всегда ищут сходства с оригиналом и больше ничего.

Я сижу дома. В феврале должен буду поехать в Пфальц, а потом на собрание ПЕН-клуба в один замок-виллу под Бонном. Вы спрашиваете, за каким лешим я то и дело таскаюсь по городам и весям. Обыкновенно это приглашения читать и выступать: чаще всего в Федеративной республике, реже в Австрии, ещё реже в Швейцарии. Оплачивается дорога и гостиница, платят гонорар — когда больше, когда меньше. Конечно, это удобный повод познакомиться со страной; за эти годы я буквально изъездил Германию вдоль и поперёк.

Другой Ваш вопрос — о «Вагриусе». Конечно, Марк, Вы можете обратиться к Елене Шубиной, можете сослаться на меня, хотя у меня нет уверенности, что эта ссылка поможет делу. Но повредить тоже не повредит. Вот на всякий случай телефоны издательства (их несколько, одни могут быть заняты, другой какой-нибудь свободен; звонить надо не с утра по московскому времени: как и в редакциях, народ собирается на работу к полудню): сначала код Москвы 007095, потом 785 09 61 или 62, 63 и т.д. до 65. Факс 785 09 69.

Что это за «Русская улица», которую Вы теперь опекаете? Расскажите подробней. Поздравляю Вас с литературными успехами сына. У Чехова есть рассказ о даме, которая приходит к известному литератору читать свою пьесу. Но я не смеюсь: ведь писатель часто сам напоминает Иова. Приходится ли Вам общаться, очно или заочно, с Перельманзоном? «Время и мы» — теперь самый старый (не считая «Нового») русский эмигрантский журнал. Кстати, с этим «Новым журналом» я ввязался как-то незаметно для себя в лёгкий флирт; в декабре или январе, точно не знаю, там напечатан рассказ под названием «Путешествие», из тех, что читают на ночь: со страшным сюжетом. Я сочинил (чуть ли впервые) повесть об эмиграции; совершенствуемся помаленьку.

Мюнхен, 4 июня 01

Дорогие Марк и Лиля! В Баварии Троица, нерабочий день, тишина вдвойне — и оттого, что народ разъехался за город, и оттого, что три

часа тому назад тарарам «в доме Шнейерсона» (как в знаменитой песне) прекратился: наши внуки отбыли с родителями в Майнц. Оба отпрыска в превосходном настроении, барахло еле-еле уместилось в машине. Вероятно, они пока ещё в пути. Наш сын должен будет через два дня возвращаться в Чикаго. Предстоит ещё подыскать женщину, которая сидела бы днём с двухмесячным малышом.

Приезд, так сказать, самая громкая новость. Что ещё? Когда я пишу, что Лора работает, подразумевается, что она пока что не лишилась работы: её пациентка, против всех правил науки, жива. Но всё может случиться в любой день. О, я отнюдь не преуменьшаю трудностей этого способа зарабатывать на хлеб; сам бы я ни в жизнь не потянул такую работу.

Я получил — за какие заслуги, понять трудно — от ПЕН-клуба путёвку на десять дней в Италию, на озеро Комо, где находится бывшая вилла Конрада Аденауэра, ныне принадлежащая фонду Аденауэра; этот фонд опекает ПЕН-компанию, которая сама по себе, естественно, бедна, как церковная крыса. Мне выделили двойной номер, но боюсь, что Лора не сможет составить мне компанию. Рассчитываю вернуться 1 июля. Ну, вот; пытаюсь наскрести скудные новости. На днях я выступал в коллегии иезуитов, читал один свой текст и молол языком. Это, вообще говоря, богатая контора. В награду я получил бутылку вина и скучноватую книгу.

Ишиас, как я понял, Вас всё ещё не оставляет. По последним данным, существует 1857 или 1858 способов лечения этого отвратительно-го заболевания, включая заговоры, заклинания, шаманские пляски вокруг ложа страдальца, а также упомянутую Вами физиотерапию всех видов, ванны, массаж и многое другое. Но, может быть, просто тёплое время года Вам поможет. Кроме того, есть и такая теория: радикулит сам по себе устаёт. Как я Вам сочувствую.

Посылаю Вам, как обещал, свою повесть об эмиграции: можно сказать, первый блин. Она, пожалуй, не относится к разряду вполне реалистической литературы. Довольно длинная бодяга; авось хватит терпения дочитать хотя бы до половины.

Что с французским переводом «Жизни и жития»?

Мй. 11.VII.2001

Дорогие Марк и Лиля, получили Ваше замечательно интересное, обстоятельное письмо. Что касается Вашего отзыва, Марк, на моё сочинение об эмигрантах, очень дружественного и щадящего самолюбие автора, — я бы сказал, терапевтического отзыва, — то, не будучи избалован вниманием читателей и критиков, я могу только сердечно поблагодарить Вас. В сущности, это готовая развёрнутая рецензия. Пожалуй, Вы выставили мне — так сказать, по благу, — несколько завышенную отметку. Впрочем, неизвестно, где я мог бы этот опус опубликовать. Мои отношения с «Октябрём» как-то засохли. Возможно, я им надоел.

Я вернулся из волшебного уголка над озером Комо, тому уже больше недели, а через десять дней собираюсь снова в путь. Не удивляйтесь: в Париж. Лора скорее всего, к великому сожалению, снова не сможет поехать. Настойчиво уговаривает меня ехать одному. Там есть квартирка, снятая одним приятелем, очень скромная, но зато в хорошем месте, в знаменитом квартале Сен-Жермен-де-Пре (то есть, собственно, Святой Германец на лугах, как Вам это нравится?). Но что в этом городе не знаменито? Рассчитываю провести там дней шесть.

Между прочим, я когда-то написал рассказик, в котором действие происходит неподалёку от этих мест, — написал отчасти под впечатлением тогдашних событий в бывшей Югославии. Коли у Вас хватило терпения прочесть мою эмигрантскую повесть, то, может быть, взглянете и в эту коротенькую новеллу. Называется «Пусть ночь придёт». Посылаю Вам для развлечения.

Наши внуки в Майнце, Сузанне пошла работать, как она там управляется с двумя малышами, из которых старший бывает подчас совершенно неуправляем, — Бог знает. Из России вести — так себе. Некоторые известия очень печальны. Вы, наверное, помните Борю Володина, моего старого друга. У него был перелом бедра — как выяснилось, патологический, и теперь ему произведена операция — экзартикуляция бедра.

Пришлите, Марк, автобиографию. Мне это в самом деле очень интересно. Но мне кажется, что Вы могли бы написать и нечто более обширное, а именно, воспоминания о литературных десятилетиях, о встречах с разными людьми, о генералах и фельдфебелях советской литературы, об ушедших друзьях, о том, что становится на наших глазах историей, чему Вы были свидетелем. Не зря же, в конце концов, Вы вели дневник столько лет.

Повесть «Возвращение», конечно, не может быть названа в полном смысле слова реалистической. Она в такой же мере итог виденного и пережитого, как и продукт фантазии. Неизвестно, где и каким образом происходят встречи с умершей женой. Проект стать нищим — это мечта вырваться не только из российского эмигрантского гетто, но и мечта о свободе в широком смысле слова, — род утопии. Кстати: разрешение заниматься сбором милостыни (в определённых местах) в Германии выдаёт полиция, хотя за этим, кажется, следят не очень строго. «Профессор» обещает добыть лицензию, видимо, потому, что его в полиции знают.

Ваши.

Мюнхен, 13 ноября 01

Дорогие Марк и Лиля! Если Вам приходилось видеть фильм Бергмана «Фанни и Александр», то Вы, может быть, помните, что он начинается с праздника Рождества в богатом буржуазном доме. Хоровод детей и взрослых обегают ёлку, бежит по комнатам, и последним тащится

пожилой еврей-антиквар Якоби, в ермолке, старый друг и бывший любовник бабушки-хозяйки. Вот так же и я тащусь по инерции за мероприятиями, в которых мне всё ещё время от времени приходится участвовать. После Парижа я ездил на конференцию ПЕН в Вестфалии, в Католический университет в Эйхштетте (не очень далеко от нас), потом таскался на Франкфуртскую книжную ярмарку, только что вернулся из Дюссельдорфа, где тоже происходило литературное сборище... Гостили у нас и внуки, со старшим, которому на днях стукнет пять лет, — поход в цирк и в кукольный театр. Словом, напряжённая светская жизнь, от которой я порядком устал. Сегодня пришло Ваше письмецо от 5.XI с очень хорошей фотографией, где Вы, Марк, выглядите молодцом. Судя по ней, Вам до Рейгана с его паркинсоном ещё очень далеко. История семьи и рода, которой Вы начали заниматься, — это ведь тоже очень интересно и поучительно.

К сожалению, наши старые фотографии большей частью пропали во время катастрофы отъезда. А я люблю разглядывать старые карточки, особенно снимки неизвестных, давно живших людей. Как много могут сказать эти фотографии. Вы, наверное, видели такие альбомы, например, превосходную книгу Зандера — это был знаменитый фотограф — «Люди XX века». Её можно рассматривать без конца. «Дворецкий в герцогском доме»: перед парадной лестницей стоит человек, одновременно похожий и на лакея, и на герцога.

Ну, вот... что сказать Вам нового? Наш сын в Чикаго получил, наконец, зелёную карту. Правда, это ещё не означает, что его жена и дети (они по-прежнему в Майнце) могут сразу возвратиться к нему. Оба мальчика по рождению американцы, но бюрократия в Штатах, по крайней мере по отношению к родителям-иностранцам, весьма жёсткая. Ещё целый год должен пройти, прежде чем Сузанне, наша сноха, получит право вернуться к мужу и работать в Америке, причём и тогда не сможет сразу получить эту чёртову карту для себя.

Я занимаюсь всё так же литературой, ничего лучшего изобрести не могу. Мой деревенский роман лежит в немецком издательстве пока что без движения. Весной или в начале лета (кажется, я уже писал об этом) издательство под названием «Вагриус» в Москве выпустило книжку Вашего слуги, сборник довольно посредственных повестей и рассказов, называется «Город и сны». Авторских экземпляров, однако, ни это заведение, ни другие московские издатели не присылают. Этот обычай давно похерен. Вообще же с публикациями моих изделий становится всё труднее. Как-то раз, недавно, я послал одну небольшую вещь на пробу в журнал «Знамя», почти уверенный, что её зарубят. Так и случилось. Может быть, виной отчасти была тема. Судите сами (посылаю Вам на всякий случай и для развлечения этот шедевр).

Дорогие, мы Вас, конечно, не забываем. Будьте здоровы, бодры, не хандрите, гуляйте в Вашем прекрасном парке. Сердечно обнимаем Вас.

Мюнхен, 20 февр. 2002

Дорогие Марк и Лиля, каюсь, я тоже давно не писал Вам. Последний раз — в ноябре, и не знаю, получили ли Вы это письмо, поэтому посылаю Вам заодно на всякий случай копию, извлечённую из компьютерных недр. Время спешит, но, кажется, быстрее, чем мы стареем. Говорю это потому, что хотя Вы изобразили себя, Марк, вконец развалившимся старцем, письмо от 12-го, которое мы получили сегодня, этого отнюдь не подтверждает: умное, содержательное, прекрасно написанное, исполненное, скажем так, здоровой самокритики. Жаль только, что Вы прекратили, по-видимому, работу над мемуарами.

Жизнь наша течёт потихоньку, прерываемая, как река порогами, наездами внуков, когда жизнь начинает бурлить и, конечно, всякому порядку, всякой регулярной работе приходит конец. Завтра снова ждём их, Сузанне собирается на две с половиной недели ехать в Америку на некий симпозиум, а главным образом для того, чтобы разведать возможности будущей работы. Вы спрашиваете о моих литературных делах. Так себе, ни шатко ни валко, хотя стараюсь всё время что-то делать. В первом номере «Октября» тиснули мою повесть на эмигрантскую тему, называется «Возвращение». По-моему, Вы её читали. Да, я помню, что Вы прислали мне подробный и очень интересный отзыв. Я даже подумал: отчего Вы не пишете литературную критику?

Кажется, я сообщал Вам, что мы с живущим в Вашингтоне профессором Джоном Глэдом составили книжку на основе нашей электронной переписки. После того, как всякая надежда на её публикацию была потеряна, нашёлся один издатель в Москве, и вот, наконец, этот опус вышел в свет. Я получил книжку на прошлой неделе. Решаюсь послать Вам, хоть и не уверен в том, что она покажется такой уж занимательной.

К сожалению, у меня беда с глазами, трудно читать, почти не различаю букв и особенно знаков препинания на клавиатуре и экране своего прибора. Жду, когда подойдёт моя очередь на операцию, вернее, две операции, по числу глаз, это должно произойти в марте и апреле.

Лора работает, хотя условия теперь изменились (и зарплата уменьшилась). Зато она теперь каждый день дома. Она говорит о том, что ей хотелось бы совершить паломничество в Россию, куда мы ездили вместе почти десять лет тому назад. Я с тех пор, как Вы знаете, побывал в Москве ещё несколько раз, последний визит состоялся в позапрошлом году, и впечатления от столицы и общего стиля жизни были не слишком приятные. Ряды друзей, и без того немногочисленных, пореди. В прошлом году скончался Боря Володин.

Два письма к Б.М. Сарнову¹ (1983, 1986)

1–2. 5. 1983

Дорогой Бен! Позавчера был замечательный день: позвонил, а затем приехал А., привёз Ваше письмо и всё остальное. Потом он меня фотографировал, потом мы разговаривали часа два или три, он рассказывал — словом, праздник. Перед этим накануне я отправил Вам письмо, раздосадованный Вашим долгим молчанием и надеясь в глубине души на мистическую способность посланного письма стимулировать встречный приход; так оно и случилось.

Не буду тратить время на описание новостей, которых, впрочем, нет, да я уже и писал о нашем житье в прошлый раз. Перехожу сразу к Вашей книге. Незачем говорить, что я сразу взялся за неё, прочитал в первый вечер половину, сегодня закончил. Прочитал также и вставил в рукопись кусок об Олеше, да и рукопись заодно полистал маленько; вспомнил наши разговоры, вспомнил всё. Не хочу вдаваться в лирику. И всё же — не могу не признаться, с каким волнением, радостью, тоской читал я Ваше письмо, слушал рассказы А. и просто глядел на него, думая о том, что ещё два дня назад он был в Москве.

Итак, переходим к книге. Что я читал её с неослабевающим интересом, что она вообще интересна, продолжает быть интересной и за каждым поворотом открывает что-то новое, — думаю, и так ясно; могу только сказать, что, по-видимому, сюжет этой вещи куда сложнее и извилистей, чем мне вначале казалось, и теперь я мысленно пытаюсь поставить себя на место автора, которому, между прочим, приходится преодолевать сопротивление читателя, усвоившего определённую концепцию и сопротивляющегося дальнейшему развитию концепции. Читателю бессознательно хочется, чтобы автор оставался прежним и пел всё то же. Я это говорю в общем смысле, но это надо учитывать применительно и к тем попыткам критики, на которую я отваживаюсь.

Несмотря на то, что тема объявлена в заголовке, я не сразу понял, к чему Вы клоните. Я думаю, что Вы добрались до самого сложного и

¹ Бенедикт Михайлович Сарнов — литературный критик, историк литературы, публицист, мемуарист.

спорного во всей проблеме Зощенко. Вы, наконец, дотянулись до той секретной полки, на которой стоит эта загадочная книга. В Москве в больнице я перечитывал её (советский вариант). Тогда, при втором чтении, она мне почему-то не понравилась. Больше всего меня раздражали эти рассуждения о Павлове, Фрейде и т.д.; я читал и думал: вот книга, которая умерла, бесповоротно умерла и напоминает мумифицированное засохшее тело. Сейчас — странное дело — она снова для меня ожила. Когда-то весь Зощенко казался мне странным и непонятным, куда более непонятным, чем, например, Платонов: я никак не мог решить, что это: ерунда собачья или писатель; во всяком случае, мне долгое время не приходило в голову, что это по-настоящему большой писатель. Вы меня в этом разубедили, и больше того, я полностью принял ту общую концепцию смысла его «сатиры», которую я прочёл у Вас и с которой обрала всё новыми и новыми ветвями, всё шло более или менее гладко. Теперь Вы дошли до некоторого существенного изгиба всего ствола, и хотя я крайне смутно представляю себе, как оно пойдёт дальше, у меня возникла некоторая растерянность, как у человека, который карабкается по такому стволу: как бы не гробануться. Впрочем, это всё декоративная метафорика. Попробую как-то проще выражаться. Попробую собраться с мыслями.

Книга «Перед восходом солнца» кажется загадочной прежде всего потому, что её оценка невозможна без попытки анализа загадочной личности самого автора. Я имею в виду уже не анализ мировоззрения, не реконструкцию того, как Зощенко чувствовал себя в новом обществе, что он подразумевал под «пролетарским писателем» и т.д., — словом, не то, с чем Вы блестяще справились. Речь идёт о глубокой и уединённой личности, для которой всё творчество было маской; что представляла собой во всех подробностях эта маска — Вы показали. Конечно, любое произведение писателя «отражает», «выражает», «компенсирует» и т.д. личность его создателя. Но тут случай совершенно особый. И вот я подумал, что все прежние методы и приёмы, которыми Вы пользовались, на которых основана новизна, свежесть, художественная прелесть книги, быть может, для исследования этой вещи недостаточны. Я понимаю, что она остаётся для Вас прежде всего произведением художника. Как она ни оригинальна, она вписывается в творчество Зощенко и далее в русскую литературу, в историю народа, она, может быть, даже больше, чем другие его книги, стенографирует жуткую судьбу страны. Однако тут перед нами именно тот случай, когда писатель спускается со своей литературой, со своим мастерством, со своей эстетикой, со своим «значением» и общественно-национальным инстинктом — как с фонарём, в подполье своей собственной души, чтобы разогнать кишасих там крыс, чтобы увидеть их воочию. Это неважно,

что современный читатель пропускает мимо ушей рассуждения Зоценко о научной психологии и математических достижениях Павлова, чувствуя и цenia необыкновенную атмосферу его книги, красоту и ужас этих маленьких новелл. Важно, что она ближе, чем всё остальное, касается тайной личности автора или по крайней мере наводит на мысль о том, что об обществе тут идёт речь лишь постольку, поскольку речь идёт о его, Зоценко, уединённой личности, а не наоборот, и о мировоззрении («научном» мировоззрении) речь идёт постольку, поскольку размышления на эти темы утоляют боль души. То есть с этой книгой нельзя, как мне кажется, обойтись как с предыдущими, рассматривая её только как художественный и идейный документ. Рано или поздно наступит момент, когда надо отложить в сторону идейность и художественность и взглянуть на книгу как на клинический документ. После этого идейность и художественность предстанут в новом свете, даже, может быть, выиграют: книга покажется более цельной, рассуждения перестанут восприниматься как балласт. Когда-то меня шокировало, если, допустим, произведения живописи рассматривались с психиатрической точки зрения, когда я увидел в учебнике Ганнушкина картины Чюрлениса и т.п. Потом я понял, что «одно другому не мешает». Что, однако, не означает лёгкости перехода от одной точки зрения к другой.

На меня произвело определенное впечатление рассуждение «доброго знакомого» о том, что если бы Фрейд жил не в Австро-Венгрии, а в России эпохи революции и всего дальнейшего, он создал бы другой вариант фрейдизма. Не то чтобы в этом ироническом предположении содержалось что-то новое: ведь оно в сущности попросту иллюстрирует пословицу: «Что русскому хорошо, то немцу гроб» (или наоборот, это неважно). Да Вы и сами цитируете славный анекдот: «Мне бы ваши заботы». В конечном счёте — это всё та же русская гордость страданием и презрением к европейцам, которые тешат себя бирюльками. Но я хочу сказать другое. Зоценко своей книгой, если хотите, реабилитирует Фрейда. Ибо смысл её в том, что даже в эту страшную эпоху, когда «история» пожрала всё: философию, эстетику, психологию, искусство и личную жизнь, — проблемы личности остаются важными и даже главными, до такой степени главными, что в них, а не в «истории» (т.е. не в социальных конфликтах) коренится секрет нашего неблагополучия. Ключи счастья ржавеют на дне глубокого омута, имя которому — собственная душа человека. Книга Зоценко реабилитирует автономность личности. В этом смысле она должна, конечно, считаться сугубо несоветской, возможно, я опережаю события, ведь Вы, как я понимаю, только-только приступаете к разбору «повести о разуме» («Перед восходом»). Путеводная мысль — «искушение простоты», выстраданное жизнью и не лишённое болезненных черт стремление Зоценко разо-

блачить всё, что накручивали на себя интеллигенты и дворяне, сладострастие, с которым растаптываются цветочки идеализма, под которыми — всё та же чёрная, как чёрствый хлеб, земля. Всё это замечательно согласуется с лозунгом «Всё лишнее — за борт», с заказом пролетарского писателя, с мироощущением нового человека, для которого этот писатель пишет и глазами которого смотрит или старается смотреть на мир. И вот тот же самый «метод», в своём роде пародирующий Фрейда, применяется к собственной, сугубо личной и интимной ситуации, которую надлежит упростить, разоблачить — и тем самым преодолеть: выздороветь. Так я примерно и, конечно, очень грубо представляю себе дальнейшее развитие событий в Вашей книге.

Но скорее всего я опережаю эти события, и Вы готовите читателю сюрпризы, о которых я, вероятно, даже не догадываюсь. Меня, однако, смущает одно обстоятельство — именно, что подход к творчеству Зоценко, который до сих пор Вы осуществили с таким блеском, — а вместе с ним, этим подходом, и вся стилистика книги и вся её философия, — могут оказаться неадекватными для повести «Перед восходом солнца». Я не знаю, как надо «подходить» к этой повести. Я только чувствую, что анализ её требует введения какого-то дополнительного измерения, без которого прежде можно было обойтись. И связано это, как я уже сказал, с беспрецедентностью названной повести в рамках творчества самого Зоценко. До сих пор речь шла о человеке постольку, поскольку он — писатель и «пророк», т.е. аккумулятор идей и настроений. Для этого произведения такой подход не то чтобы не годится, но недостаточен. Я чувствую, что ужасно многословен. Но у меня есть опасение, что введение нового измерения, попытки анализировать личность или что-то в этом роде, сам не знаю что, — грозят разрушить стилистику Вашей вещи, всю систему её художественных и аналитических средств. Во всяком случае, я чувствую, что в своей книге Зоценко сделал единственную в своём роде попытку пробудиться от кошмара истории (фраза Стивена Дедалуса), следуя в общем-то рецепту Фрейда, а не Павлова, — между тем как у Вас он прикован к истории, можно сказать — распят на ней.

Считайте, что это — не критика, а просто мысли вслух, подсказанные чтением Вашей книги.

Перехожу собственно к тексту (давно пора). Вы верны себе и щедры на отступления, и эти отступления сами по себе настолько увлекательны, что чтение становится похожим на экскурсию: слезаем с парохода и осматриваем город. Однако, в отличие от экскурсии, наше путешествие имеет некоторую конечную цель. Мы должны куда-то приехать. Значительную часть главы «Ставка на нормального человека» занимает история с Пушкиным, для которой, правда, есть вполне резонный повод, не говоря уже о том, что Пушкин — один из сквозных обра-

зов всей книги. И всё же мне кажется, что здесь мы подвергаете терпение читателя опасному испытанию. Параллельно с сюжетом Зоценко (Пушкин — неврастеник, болезнь порождает в нём стремление к смерти, чем и объясняются все его поступки в последние три года жизни) Вы выстраиваете собственный сюжет, задача которого — напомнить Зоценко, что поэт не может быть нормальным человеком в обывательском смысле слова. (Это похоже на известное возражение Фрейду, кажется, Юнга: если творчество гения — результат невроза, то не означает ли, что излечение невроза есть исцеление от гениальности?) Мне кажется, это можно было сделать короче. Не скрою, что я читал Ваши страницы о Пушкине с увлечением. Казалось бы, жизнь Пушкина, особенно последние годы, известна нам достаточно хорошо, а всё-таки (мне, по крайней мере) читать было очень интересно. Так интересно, что я попросту позабыл, ради чего нагроможен весь этот огород. Кроме того, со всеми этими письмами Пушкина Бенкендорфу, к жене, с Жуковским и т.д. Вы въехали в сложную и запутанную ситуацию последних лет Пушкина, которая не сводится к простой формуле, завершающей весь кусок (поэт — не обыватель). Формула, конечно, справедлива. Бесспорно, возвышенная формула. Но перечитайте письма, выдержки из которых Вы подобрали с таким тактом и искусством (что в данном случае и повредило: ибо образовался собственный сюжет). Перечитаете их. Впечатление тяжёлого жизненного тупика. Какой-то невылазной паутины, в которой запутался Гулливер. И когда он пытается из неё выпутаться, он перестаёт быть похожим на Гулливера. Короче говоря, вывод, что «Пушкин так не мог» (стр. 120), то есть не мог следовать рецепту Зоценко, хотя и справедлив, но как-то слишком прост, даже убог, как убоги, конечно, и рассуждения самого Зоценко по этому поводу. Поэтому у меня есть ещё одно возражение, касающееся этих страниц (115–140, особенно 118–122 и 136–140), хотя, повторяю, сами они очень интересны. Вы начинаете всерьёз полемизировать с пролетарским писателем, как бы не замечая того, что мышление этого писателя и самый его слог (несмотря на то, что в данном случае он говорит не ёрническим языком своих персонажей, а нормальным человеческим языком) разительно не соответствует предмету, за который он взялся. В этих комментариях к «Возвращённой молодости», быть может, как нигде, обнажило себя время, которому всецело принадлежал Зоценко, — о чём Вы сами пишете, — и характерная для эпохи глухота к Пушкину. Отсюда странная голизна этих комментариев, очень трезвых, очень ясных, свидетельствующих даже о неплохой осведомлённости — и вместе с тем дурацких. Вы только послушайте: «Однако погиб не тот здоровый, вдохновенный Пушкин...». «Всё это расшатало силы поэта...». «В двух случаях Пушкин продолжал бы жить...» «Как, скажем, Гёте делается своим человеком при дворе...» «Этот человек был одним из очень не-

многих, который... не имел даже дряхлости...» «Он не пошёл на борьбу и сделался блестящим придворным министром, выкинув всю двойственность, которая, несомненно, расшатывала его здоровье и его личность...» и пр. О каждой из подобных фраз можно сказать: совершенно справедливо — и пожать плечами. Каждая поразительно отмечена клеймом своего времени: таким языком мог писать только человек, оставивший за порогом 17-го года один глаз. С потерей глаза он утратил стереоскопичность зрения и обрёл искомую простоту, другое название которой — двумерное, плоскостное видение исторических игр и событий. И вот с этим одноглазым Вы начинаете всерьёз спорить: садясь (так сказать) с ним за одну доску, Вы начинаете играть по тем же правилам, по которым играет он, другими словами, Вы невольно стилизуете собственную речь под язык и стиль Зощенко. Но это уже другой вопрос, я вернусь к нему позже.

Заговорив об отступлениях (вечная наша тема), я не могу пройти мимо другого места, это страницы 23–35: тоже в своём роде вставная новелла. Содержание отступления о «Сказке об Иване-дураке» важно для всего дальнейшего движения книги, и я отнюдь не думаю, чтобы его можно было просто так взять и сократить. Но какая-то избыточность здесь, по-моему, чувствуется. Избыточность промежуточных абзацев, комментирующих цитаты из сказки. Почитайте их ещё раз: не кажется ли, что они попросту разъясняют, даже повторяют то, что ясно из самой цитаты. Прелесть цитатного приёма состоит в том, что он создаёт некий контрапункт (извините за заезженное слово). Вдруг врывается чужой голос, перебивает автора и твердит что-то своё; потом оказывается, что этот замогильный голос по-своему участвует в повествовании, что-то дополняет или уточняет, словом, служит необходимым конститутивным (а не просто иллюстративным) элементом книги. Но в любом случае, как мне кажется, он должен в той или иной мере контрастировать с голосом самого автора. Отсюда следует, первое, что автор не должен пересказывать цитату (см. стр. 26, абзац «Иван-дурак у Толстого...», в значительной мере повторяющую то, о чём мы только что прочли у самого Толстого). И второе: стиль, интонация авторской речи должны быть иными, нежели интонация цитаты. Вы же, рассказывая о сказке и желая, по-видимому, сэкономить на цитатах, подчас сами подлаживаетесь под язык этой сказки. «Тогда дьявол удумал такую штуку... Пошёл к тараканскому царю... Пойдём, говорит, завоюем этого дурака... Тараканский царь, конечно, обрадовался такому случаю...» и т.д. (стр. 27; есть и другие подобные места). Что это? зачем это? Я уж не говорю о том, что сказка до такой степени нарочито примитивна, что никаких пояснений, повторов и пересказов не требует, не нужно никакого монтажа. Или возьмите, например, три верхних строчки на той же странице 27. Без них вполне можно было бы обой-

тись. Конечно, «Сказка об Иване-дураке...» не принадлежит к числу популярных произведений графа. (Я-то вообще о ней слышу первый раз.) Но я не могу отделаться от впечатления, что можно было бы без ущерба для целого урезать и число цитат, и уж конечно комментарии, по возможности лишив их комментаторского характера и в нескольких энергичных фразах очертив содержание и смысл сказки.

Это же относится к стр. 31 (соображения по поводу текста Толстого «О государстве») Абзац «Ведь все цари...» рассусоливает предшествующую цитату, а точнее, заполняет пространство между двумя цитатами, придавая всему куску привкус популяризации.

Тут встаёт более общий вопрос, уже упоминавшийся выше. Подобно тому, как здесь вы пародируете стиль Толстого, так в других местах книги Вы съезжаете в стилистику Зоценко. Происходит ли это невольно или делается сознательно? Это произошло даже в тексте о Толстом (неожиданное подтверждение Вашего тезиса, на стр. 33, о близости прозы Зоценко к стилю народных рассказов Толстого), например: «В любом человеческом обществе живут-поживают ещё и разные учёные, философы... какие-нибудь там провизоры» (стр. 32). Словарь, может быть, не зоценковский, но интонация та же: «И вот эту самую наивность Л.Н.Т. отчасти и выразил. Тут основатель нашего государства был безусловно прав. Хотя, если разобраться...» и т.д. (стр. 36). Или — стр. 40, короткие абзацы в середине страницы. Последний абзац на стр. 42. Стр. 44: «И вот однажды... И он...» и т.д., особенно конец этого маленького абзаца. Кстати, и прелестное выражение «схлопотать по роже» здесь, как мне показалось, звучит немного искусственно. Стр. 118: «Скорее напротив... Скорее он ему даже нравился...» Стр. 119: «Однако следует признать...» и затем стихи «Из Пиндемонта». Позоценковски! Стр. 140, весь абзац «Иными словами, с Пушкиным...» Тут, конечно, сознательная стилизация, и очень недурная; но зато цитаты из самого Зоценко на этом фоне проигрывают. То и дело натыкаешься: «и отчасти даже развратными», «и скорее всего даже не туберкулёз», «и даже печалит» (144), «скорее это похоже», «скорее даже наоборот» (147), «незрелые и даже вредные» (148), «пожалуй, даже без особого преувеличения» (149) «и... у этого вот самого», «и вот тут-то между прочим», «именно вот таких» (148, 149). В весьма многочисленных цитатах Вы даёте такого густого, пересыщенного Зоценко (на то и цитаты!), настолько внушаете читателю, хотели Вы этого или не хотели, впечатление монотонности зоценковского стиля, однообразия его интонации и лексики, этого как бы бесконечного самопародирования, на котором парадоксальным образом основана его неповторимость, — что воспроизведение тех же ходов в собственном, авторском тексте, даже если это делается сознательно, будет, по моему, раздражать читателя. Короче, моя мысль сводится, к тому, что

и в тех случаях, когда приходится пересказывать то или иное произведение и, пересказывая, пояснять его содержание, — это нужно делать, так сказать, отчуждённо. Как бы соблюдая полную объективность. Не пытаюсь имитировать тон и стиль автора, которому данное произведение принадлежит. Это заставит Вас, кстати, быть предельно сжатым. Ибо выясняется (удачная пародия всегда обнажает скрытые пороки пародируемого), выясняется, что Зошенко не так уж лаконичен, «скорее даже наоборот»: многословен.

В заключение — раз уж Вы разрешили мне потанцевать вдоволь на Ваших костях — несколько мелких замечаний по тексту. В нём есть несколько смысловых опечаток (что неудивительно при той спешке, в которой это перепечатывалось), отмечу их тоже.

Стр. 1 и след. «И вот в этот-то момент... раздался голос». И далее: «это поистине сенсационное заявление...» Тут у меня возникло некоторое маленькое сомнение относительно новизны и сенсационности этого заявления. Не кажется ли Вам, что утверждение, будто русская литература изменила завету Пушкина, отказавшись от сюжетного динамизма и увлечшись рыхлой психологией, отражало точку зрения всего кружка «Серрапионов» и, собственно говоря, принадлежало Лунцу (Вы помните его манифест «На Запад!»). Другое дело, что Зошенко использовал эту идею на свой лад, как довод в пользу необходимости литературы, доступной бедным. Оригинальным мне представляется другое: утверждение, что психологическая проза чужда духу нашего народа. В Европе многословный психологизм воспринимался как русское достижение. Хрестоматийный случай — Мопассан. В конце жизни, как Вы помните, Мопассан стал забывать уроки Флобера, прицеплять по три прилагательных к одному существительному (правило Флобера: у каждого предмета есть только одно определение, нужно уметь его найти) и сочинять психологические романы наподобие «Нашего сердца». Считается, что он приспособлялся к новой моде — к Полю Бурже и т.п. Новая мода пришла со статьями Вогюэ о русских писателях.

Стр. 14. «Так вот, хотите верьте, хотите нет». Я бы эту кокетливую фигуру выкинул.

Стр. 16, вторая строка сверху. «Самил».

Стр. 34. «Способу, известному еще со времён древних греков...» здесь маленькая, формальная неувязка. Выражение «бог из машины» действительно принадлежит Платону (из диалога «Кратил»). Но выражение «с древнегреческих времен именуемым» не совсем точно, потому что мы пользуемся латинским термином, который вошёл в употребление позже, когда Платона читали в латинских переводах.

Стр. 37. «Будучи человеком реальным». Очевидно — реалистическим или реально мыслящим?

Стр. 42. Вместо дверь напечатано «зверь».

Стр. 44. «И вот однажды... И он сообщил...» Снова как будто зощенковский голос.

Стр. 47. «Как говорит шекспировский Полоний». Зачем это? Фраза давно стала пословицей.

Стр. 57. «Этот трезвый взгляд...» и т.д. Очень неловкий причастный оборот.

Стр. 58б. Насчет «всемирной отзывчивости» не переборщили ли Вы? Все-таки Ф.М. имел в виду нечто другое.

Стр. 60. «Пословится».

Стр. 83 и 87. «Какой-нибудь там приказной дьяк... какой-нибудь древний грек или римлянин», «в каких-нибудь там водолазках». Что-то слишком много каких-нибудь.

Стр. 87. «...да и изъяснялись». Попробуйте-ка произнести вслух.

Стр.96. Последняя строчка оборвана, нет продолжения.

Стр. 98. «Мессионизм». Видимо, мессианиззм пополам с сионизмом.

Стр. 101. Ошибка во французском слове. Нужно: *juste milieu*.

Стр. 132–133. 1934 г. вместо 1834.

Стр. 109. «Арестовывавший». «Среди их».

Стр. 126. Второй перевод с французского в подстрочном примечании не совсем правилен. Нужно: «семейная неприкосновенность» (перед словом *famille* отсутствует артикль). Следовательно, перевод не нужен.

Стр. 127. Ошибка во франц. выражении; нужно: *toute reflexion faite*.

Ну, вот. Уф! Я таки подверг Ваше терпение основательному испытанию. Что дальше? Сможете ли вы мне прислать следующий кусок? И... вообще. Как Вы мыслите судьбу книги? «Пусть полежит». «Целее будет». Боюсь задавать все эти вопросы, ведь я и сам не знаю, как на них отвечать. Могу только сказать, что мне ужасно жаль, что эту книгу читаю я один или ещё пять-шесть человек.

Надо закрутляться. Я надеюсь, что Вы всё-таки найдете возможность не только писать мне, но и писать немного чаще. От всей души надеюсь, что Ваши и Славины хвори, по крайней мере серьёзные хвори, отступили. Слава Богу, конечно, что это был простатит, а не аденома или что-нибудь ещё. Но для аденомы Вы слишком молоды; потерпите ещё лет 20.

У нас всё более или менее благополучно. Видимо, во второй половине мая съедем с квартиры. Есть проект поселиться недалеко отсюда, но туда, можно въехать лишь в конце сентября, и надо обеспечить где-то промежуточную посадку. Насчёт моих бумаг (за присланные — огромное спасибо). Я, к несчастью, не помню точно, что там осталось. Наверняка большая часть — хлам. Мой так называемый роман

можете не присылать: один экземпляр записей я получил. Посмотрите на всякий случай, нет ли там небольшого рассказа об орле. Он называется «Прародитель». Ничего особенного не представляет, но всё же мне хотелось бы его иметь. Посмотрите ещё что-нибудь. Если есть какие-нибудь старые письма — пришлите. Сообщите мне при случае (если можно), что там вообще есть.

Насчет нашей с Вами переписки о русской литературе Вы в целом, конечно, правы, хотя я по-прежнему от своих мыслей не отрекаюсь. Конечно, публиковать тот первый вариант не стоило (я и сам не знал, что он таки опубликован). Недавно я попросил Иру прислать мне эти наши тексты, свой читать не решился, а Ваш перечитал. Он мне снова очень понравился. Роман «Остров Крым» я ещё не читал. Как-то так получилось, что последнее время я русских книг вообще почти не читал. Я уж не говорю о том, что многие известные здешние российские писатели внушают мне отвращение. В Париже я, живя у Егидеса, перелистывал другую книгу Аксёнова, кажется, «Ожог», и не мог её читать, притом что я считаю его чрезвычайно талантливым человеком.

Между прочим, я установил связь с нашим другом Горенштейном, получил от него несколько писем, написанных почерком, ужаснее которого ничего невозможно себе представить. Кажется, я писал Вам, что выступал в одном городе с докладом (!) о современной русской литературе. Я выбрал четырех писателей: Трифонова, Искандера, Горенштейна и Вампилова. Горенштейн довольно активно печатается. В мае в Милане произойдет давно намечавшаяся конференция авторов «Континента». По этому случаю (т.е. используя это как повод, чтобы удешевить дорогу) в Европу приедет Юз, обещал завернуть к нам. Я регулярно пишу ему и получаю необыкновенно живописные письма.

Вероятно, это письмо опоздало, но если Вы еще не успели поговорить с Ирой В. о Воронеле, как Вы грозилась, то не делайте этого. Это будет для неё просто лишним огорчением, каковых у нее и без того немало. Между прочим, Воронель прислал мне на-днях очень дружелюбное письмо, предлагает вместе заняться переводом и изданием религиозно-философских книг. Некоторое время назад он прислал мне небольшую часть тех денег и на сей раз даже не просил расписку. Я думаю, что всю эту историю, неприятную для всех, надо просто похерить.

В предыдущее письмо я вложил довольно подробное письмо Грише. На всякий случай сообщаю еще раз, что статьи («Акафист», «К изучению параметров и ритма», «Теория субэкумен») я получил. Сейчас веду переговоры с Марьей Вас. о внеочередной публикации Акафиста в «Синтаксисе». Это наиболее подходящее (да, в сущности, и единственное) место для печатания этой статьи). Я приготовил две передачи о «Снах земли» (кусок, опубликованный в № 8 «Синтаксиса») и, видимо, сам буду читать по радио отрывки из «Снов». Каких-либо политиче-

ских пассажиров, фраз и т.п. в передачах не будет. Мне кажется, что радио может быть подспорьем литературы, так как с публикациями в русской печати дело обстоит туго: почти всё оккупировано «славянами». Прощайте, мои дорогие Слава и Бен. Целую и обнимаю Вас. Ваш Г.

От Лоры и Ильи привет и салют.

Посылаю Вам, любопытства ради, статейку из «РМ» по русскому вопросу.

3. 01. 1986

Дорогой Бен! после долгой, очень долгой паузы получил от Вас письмо от 13 апреля; одновременно Ира и Володя дали мне копию полученного ими письма... Снова и снова я возвращаюсь к мысли о том, какой журнал мы могли бы делать здесь с Вами. Ваши соображения о новом руководителе прочитаны здесь с не меньшим интересом, равно как и все слухи и разговоры, правда, успевшие несколько устареть. Мы по телевидению видим всю компанию довольно часто и, вероятно, даже с большими подробностями.

Как всегда в таких случаях, появление нового человека было встречено в здешних газетах со сдержанной благожелательностью, строились всякие прогнозы, тоже достаточно сдержанные. Ничего существенного и тем более хорошего пока не произошло, тем не менее он, кажется, ещё не успел испортить свою репутацию. Эра «брежневизма», как Вы справедливо заметили, кончилась; парадокс, однако, состоит в том, что невозможно быть уверенным, что наступит новая эра, если под этим подразумевать сколько-нибудь важные экономические нововведения. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что система не может быть реформирована, — или она перестанет быть тем, чем она является. Грубо говоря, реформировать экономику значит отменить партию. Не думаю, чтобы это простое соображение перестало быть актуальным. Как мы живём? Примерно месяц назад я послал Вам довольно длинное и подробное письмо. Как бы мне хотелось, чтобы Вы его получили. Особых перемен с тех пор не произошло. Кажется, я писал Вам о том, что мы совершили небольшую поездку в итальянский Южный Тироль, жили в уютной деревенской гостинице среди снегов и елей на высоте полутора тысяч метров. На прошлой неделе я съездил в Майнц по приглашению одного небольшого, но старого, существующего с XVIII века, издательства. Их заинтересовали мои статьи, напечатанные в журнале «Меркур», и они предлагают сделать из них небольшую книжку. На Рейне всё уже в полном цвету, поезд идёт среди каких-то кущей. Город украшен флагами по случаю Первого мая. В этой стране, которая считается родиной рабочего движения и благодаря ему первой ввела у себя социальные преобразования, бесплатную медицину и т.п., этот день не то чтобы празднуется, но всё же считается нера-

бочим. Меня катали и водили по городу, очень красивому, как все старые немецкие города, со знаменитым собором и «Золотом Рейна» — диковинным сооружением в стиле супермодерн, где помещается ратуша. За мостом по ту сторону реки — Висбаден и другое королевство, т.е. другая «земля». Майнц — столица земли Рейнланд-Пфальц. Вечером разговоры, разглядывание старых книг и пр.

Вышли две мои книги — об этом я тоже как будто уже писал. Одна называется «Идущий по воде», это сборник всякой всячины; другая — однотомник, состоящий из трёх сочинений. Первая книга послана в Россию в довольно большом количестве, часть, вероятно, дойдёт (мы пользуемся разными каналами и постоянно получаем подтверждения, что журнал доходит, даже до некоторых людей, находящихся вроде бы близко от Вас), но, к великой моей печали, я не вижу способа послать Вам лично. Вторую книжку я пока что послал в одном экземпляре в подарок заместителю начальника следственного отдела прокуратуры, имевшему, как Вы помните, некоторое отношение к моему творчеству, думаю, что он её уже получил. В свободное время занимаюсь ещё одной большой работой, которую затрудняюсь пока что характеризовать, — что-то вроде романа, — но именно в свободное время: нехватка времени, как рок, преследует меня на этой планете, как и на прежней. Каждый или почти каждый день я езжу на работу, правда, теперь уже на машине, которую водит Лора. У нас образовалось нечто вроде фирмы, с собственным штатом, телексом, наборной машиной, просто машиной, которая колесит по Европе, квартирой для приезжих, банковскими и другими делами и прочим, но свободного времени теперь, когда машина налажена, почти не прибавилось. Я много думал над вашими соображениями и замечаниями о журнале. Сейчас, когда мы разменяли второй год (в ближайшее время выходит № 4, запоздавший на сей раз по вине типографии, что-то у них там случилось), можно подвести некоторые итоги.

Мы начали выпускать книги; должен выйти сданный в типографию сборник избранных материалов, набрана книга Ю.Карабчиевского «Воскресение Маяковского», знакомая Вам, а затем я начну заниматься романом Горенштейна «Псалом»; но главным делом, конечно, остаётся журнал. Как и Вы, я нахожу в журнале уйму недостатков, но думаю, что был бы им ещё менее доволен, если бы журнал был чисто литературным. Сейчас я поясню, что хочу сказать. Мне кажется, я отчасти понимаю, почему журнал Вам не нравится. Вероятно, это происходит, по крайней мере частично, оттого, что перед Вашим взором маячит образ литературного и литературно-критического журнала, образ, к которому мы все привыкли и который, возможно, грезился и Володе. Такой журнал сделать, по-моему, невозможно, и не только в нашем конкретном случае, когда журнал с самого начала задумывался не

как литературный, а как общественно-политический и культурный (для этой цели комитет и отпускает деньги). Теперь я отчётливо вижу, с какими жестокими трудностями мы столкнулись бы, если бы выпускали литературный журнал с художественной прозой: часть из них существует и теперь. Главная — недостаток людей, которые умеют писать, мы пожинаем тяжёлое наследие Самиздата. Если бы у меня было достаточно досуга, я бы сочинил какую-нибудь поэму во славу ножниц и красного карандаша. Сформировалось и почти в полном составе выехало за границу целое поколение писателей и журналистов, которые давно уже считаются и считают себя профессионалами, пишут десятки лет, но, по-видимому, имеют весьма отдаленное представление о том, что значит работать над словом. Ибо это то, чем они никогда не занимались. Наши столы буквально ломаются от обилия материалов, но уровень огромного большинства плачевен даже не из-за того, что Бог оделил талантом, куда уж там, но просто вследствие крайне нетвердых познаний в синтаксисе и грамматике. Искусство опускать лишние слова, фразы, абзацы, страницы этим писателям так же неведомо, как рыбе — умение передвигаться по суше; вода — их истинная стихия. Происходит массовое, бесперебойное изобретение велосипедов и проч. Если они хотят критиковать, они ругаются, если желают хвалить, не могут обойтись без патоки. Причина та, что «дева не знала мужа»: в представлении этих людей редактор есть цензор, посягающий на их неповторимый стиль и оригинальность мышления. Под редактором я подразумеваю не обязательно себя; редактором может быть и сам автор. Далее, проблема личных взаимоотношений и партий. Она даёт себя знать и в нашем случае, в литературном же органе выросла бы до небес. Вы заметили, что журнал напоминает Вам лебедя, рака и шуку (теперь только рака и: Бабёнышев был вынужден возвратиться в Америку, третий и даже четвёртый редакторы намечены, но ещё не прибыли). Это было бы ужасно в случае с литературой: по-видимому, литературный журнал только тогда и может выжить, когда издаётся группой единомышленников и служит платформой некоторого литературного направления. Но ведь никаких направлений нет. В нашем же случае несовпадение интересов, возможно, является даже чем-то положительным. Я заметил это, работая в «Х. и Ж.» Там все тянули в разные стороны. В результате полотно натягивается, как палатка или плакат. Если этого нет, журнал становится до невозможности однообразным и сектантским. Нет, слава Богу, что наш журнал не литературный. Я представляю себе, как мне пришлось бы хвалить писателей, которые мне не нравятся, и остерегаться хвалить тех, которые не нравились бы моим коллегам. Здесь же я по крайней мере могу печатать то, что хочу. К сожалению, то, что меня больше всего занимает, большинству читателей неинтересно; но это уже другой вопрос.

Ваш отзыв о Маканике показался мне интересным в разных отношениях (сужу, правда, только по одному произведению — повести «Предтеча»). Прежде всего он открыл какой-то особый мир, между большим городом и деревней, мир, возникший на окраинах большого города, на развалинах бывших деревень и дачных посёлков, но не ставший ни городом, ни дачей, ни деревней, ничем; притом его отношение к людям, населяющим этот мир, совсем неоднозначно. Это душный, скособоченный мир, в описании особого рода душевной и безвыходной прозой. Далее, бросается в глаза, что это совсем не советский писатель. К числу его достоинств я отнёс бы и то, что ему абсолютно чужда эстетика плаката. У него есть тяготение к мифологизму. Он грубо реакционен, вы правы. Мне жаль, что мы не можем всё это обсудить подробнее. Сейчас здесь отмечается 40-летие гибели рейха, и мне жаль, что Вы не можете посмотреть замечательно интересные документальные фильмы, идущие по телевидению. Мне жаль, что Вы не можете познакомиться с прекрасными книгами и увидеть волшебные города. Лора кланяется Вам. Сердечный привет М.Ф. и Феликсу с семейством. Обнимаю Вас обоих. Ваш всегда Г.

Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007)

Часть первая

Дорогой Бен, я «устал» не от Толстого (это было бы смешно; думаю, что Вы меня не совсем правильно поняли), а от представления о том, что со времён Толстого и Флобера в литературе ничего существенно не изменилось. И уж, конечно, меньше всего я хотел глумиться над Толстым. Эпоха классической реалистической литературы ушла — вот всё что я хотел сказать. Попытки Толстого взломать эту парадигму, оставшиеся на периферии его творчества, свидетельствуют о том, что и ему было тесно в её рамках. Но в любом случае всё это давно не новость, ибо мы живём не только после XIX века, но и после модернизма, после авангардизма и т.д. И мои философствования о литературе тоже не притязали на особую новизну, равно как и попытки что-то делать в прозе, будь то «Далёкое зрелище...» или что-нибудь другое, на что Вы ссылаетесь. Ведь все эксперименты давно уже проделаны в эпоху литературно-эстетической революции. Напротив, я скорее «архаист», по терминологии Тынянова. Желание высвободиться из оков того, что Вы удачно назвали кондовым реализмом, было вызвано не экспериментаторским зудом, а тем чувством жизни, которое всегда побуждало меня писать, ощущением времени в разных его ипостасях, и как историческое время, и как время человеческой жизни; а также, может быть, влиянием музыки, которая непосредственно имеет дело со стихией

времени. Посылаю Вам вместе со статьейкой, о которой я упоминал, ещё один рассказик, правда, очень традиционный, но который, может быть, убедит Вас, что я ещё не совсем порвал с жизнью.

...На этот раз всё получилось прекрасно. Текст дошёл в самом лучшем виде. Естественно, я сразу же прочёл — не без удовольствия — статью «И стать достойнем доцента...» Она напомнила мне гневные инвективы нашего друга Коржавина, недавнюю статью Юры Колкера «Скопец в серале» о покойном М. Гаспарове. Вспомнилась и статья Лотмана «Литературоведение должно быть наукой», где он полемизирует с Палиевским и Кожинным по поводу структурализма.

В Вашей статье, как всегда, много забавного, увлекательного и поучительного, и всё же она привела меня в некоторое замешательство. Желая узнать поточнее, «что это за штука такая — постструктурализм», Вы обращаетесь к авторитетным источникам. К кому же? К книге Баркова, которая никакого отношения к структурализму и постструктурализму не имеет. И дальше целые страницы о смехотворных толкованиях «Мастера и Маргариты» и т.п. Вольно Вам сражаться с жалким противником.

Я не понимаю, зачем понадобился Корней (не проявлявший, если не ошибаюсь, интереса ни к структуральной поэтике, ни к предшественнику западного структурализма — Опоязу и русскому формализму) с его саркастическим комментарием к А.К. Толстому. Почему Вы решили, что структуралисты так уж обожают всяческие «тайны». Ведь все эти «таинственные сообщения», «приобщения к таинству» и т. п. — достояние бульварного псевдолитературоведения, а отнюдь не структурализма и постструктурализма. В том-то и дело, и беда, что для Вас все одним миром мазаны и нет надобности разбираться, чем одно отличается от другого.

Я не поклонник и не последователь философа и литературоведа Игоря Смирнова (знаком с ним давно; он, кстати, профессор не в Мюнхене, а в университете города Констанц на Боденском озере), сногшибательное открытие прототипа Комаровского меня несколько не интересует. Но вопрос ставится шире, и Вы особо это подчёркиваете. Вас удивило обилие специальных словечек в тексте Смирнова, «все эти дискурсивности, эксплицитности, имплицитности, релевантности, субституирования...» Но это же естественно, любая наука пользуется своим конвенциональным языком, потому что он облегчает общение с коллегами по цеху: эти словечки — термины со строго определённым значением. У Чехова известная Вам дама говорила: это они свою учёность показать хотят и навсегда говорят о непонятном, а Толстой уверял всех, что «почечуй» ничуть не хуже геморроя. Я помню, как наш профессор нормальной анатомии чуть не лишился

чувств, когда на экзамене, на первом курсе, какой-то мальчик, уроженец провинциального городка, назвал тонкий кишечник «кишками» с ударением на первом слоге.

Вопрос, следовательно, таков: является ли университетское литературоведение — и постструктурализм как одно из научных направлений — наукой? Добавляет ли формальный анализ художественного текста что-либо к пониманию литературы? Я думаю, что да, очень даже добавляет и при этом нисколько не мешает эстетическому восприятию текста, любви к литературе, наслаждению литературой. Но я мало начитан в таких специальных областях, как структурализм, постструктурализм или деконструктивизм, и могу только сказать, что серьёзная оценка и серьёзная критика предполагают как минимум основательное знание предмета. В Вашей статье это знание не чувствуется.

Игорь Смирнов — автор нескольких книг по философии (одну из них я читал лет 10 тому назад) и, собственно, начинал как философ. Его литературные вкусы и ориентации — он поклонник В.Сорокина, всерьёз относится к Пригову и т.п. — мне чужды. Всё же я думаю, что Ваша фраза «Человека, пишущего о русской литературе на таком птичьем языке, близко нельзя подпускать ни к Пушкину, ни к Пастернаку» — очевидный перехлёст. Человек старается по-своему и в рамках (или тенетах) своей профессии анализировать литературные тексты — и пусть его. Вам заранее известно, что тексты, написанные невозможным языком, — чушь, и Вы даже не пытаетесь вникнуть, о чём идёт речь. Между тем в рассуждениях о «бессубъектной субъективности» я нахожу кое-что для меня интересное.

Если уж браться за постструктурализм (которым я никогда специально не занимался), то, я думаю, нужно начинать знакомство с более яркими именами. Вы помните, как мы с Вами были в книжном магазине, где я купил том статей Ролана Барта. Он прошёл сложный путь и, кажется, стоял на пороге преодоления постструктурализма, когда погиб от несчастного случая на улице. Вот кого стоило бы почитать. Помимо всего прочего, это блестящий (в своём роде) стилист.

Но, в конце концов, Бог с ними. Чем Вы сейчас заняты? Как поживает Лазарь Шиндель? В прошлом, теперь уже позапрошлом, году я предлагал редактору «Вагриуса» Елене Шубиной обратиться к Л. Лазареву с просьбой написать рецензию на мой роман «К северу от будущего». (Рецензия была бы, вне всякого сомнения, отрицательной). Как раз в это время вышел роман Гюнтера Грасса в русском переводе, под неверно понятым и нелепым названием «Траектория краба». Роман — о потоплении немецкого парохода «Вильгельм Густлофф», история, о которой в Германии долгое время не решались говорить вслух. Лазарь опубликовал на него рецензию, опять же критическую, то есть такую,

какую и должен был написать участник войны. А так как в моём романе речь тоже шла одним боком о войне и гибели «Густлоффа», а другим — о филологическом факультете Московского университета (там даже был персонаж, прототип которого — ныне покойный Яков Билинкус, комсомольский или партийный активист, Лазарь его, конечно, помнит), то я предполагал, что книжка моя, пусть и в отрицательном смысле, заинтересует Шинделя. К сожалению, как сообщила мне редакторша, он ей отказал.

...Пишу Вам между двумя поездками. Миддлтаунский университет устроил маленькую конференцию в честь 75-летия Юза Алешковского, на которой я читал «лекцию» (так это называлось) о современной литературе. Теперь я должен буду поехать на собрание ПЕН, куда, может быть, и не стоило бы ездить: больше всего, как Вы знаете, я люблю сидеть дома.

Я прочёл «Огонь с неба» ещё до отъезда в Америку, решил отложить и сейчас перечитал. Нечего и говорить о том, что моё отношение к нашему пророку не отличается от Вашего. Оно сложилось ещё до отъезда из СССР. Логика национализма должна была привести его к юдофобству (или наоборот). Тем не менее я долгое время отказывал ему в чести быть антисемитом. Лора была другого мнения, я даже спорил с ней. Эта иллюзия в конце концов отпала.

Кстати, я был свидетелем быстрого угасания славы Солженицына в Германии в 80-е годы. О нём постепенно перестали упоминать, чему способствовал не столько его слог (в западных переводах он выглядит вполне прилично), сколько идеология. Не знаю, переведено ли его последнее двухтомное сочинение; думаю, что оно окончательно погубило бы его репутацию. Что говорить — старик под конец сильно обкакался.

Язык его произведений был то, что меня больше всего отвращало. Парадокс в том, что в нём выдаёт себя, как мне кажется, влияние советской орнаментальной прозы 20-х годов, а ведь это было время, когда русский национализм был вовсе не в чести. Вы правы, лучшее, что он написал, — «Один день Ивана Денисовича», можно надеяться, что эта вещь останется в литературе. Это само по себе уже очень много. О грандиозном «Архипелаге» я ничего не могу сказать, книга написана не для таких читателей, как я. Романы будут, вероятно, забыты, о Колёсах и говорить нечего. Публицистика отвратительна. Поражает трудоспособность писателя, целеустремлённость, неиссякаемая жизненная энергия и граничащая с фанатизмом убеждённость в своей миссии. Вы об этом хорошо написали.

В «Огне с неба» много забавных подробностей, подчас комических. Посещение великих писателей с целью собрать подписи, стол, за которым не стыдно было бы восседать королю Людовику XIV, и пр. —

великолепны. Я думаю, что эту вещь будут читать с удовольствием. И в том, что Вы пишете о жидоестве, найден подобающий тон. Если же позволить себе «критические замечания», то их два. Первое — это некоторое многословие, избыточность тех же подробностей, несущественных оговорок, засоряющих текст, и т.п. Второе: мне показалось, что Вы порой впадаете в тон кухонного междусобойчика. Все эти «Эмка», «Лёва», «вошла моя жена» и т.п. создают впечатление рассказа для своих, между тем как вещь предназначена для читателей, которым до всего этого нет дела.

Вы помните, как в Переделкине, в 93 году, когда я первый раз через одиннадцать лет после бегства из России приехал в Москву и при Вашем содействии провёл несколько дней в доме писателей, мы с Вами гуляли по аллее и спорили о модернизме, о мнимом или действительном прогрессе в литературе и прочих подобных материях. Я привык внимательно прислушиваться к Вашим суждениям — в конце концов, Вы были моим учителем — и поэтому запомнил этот разговор. Спор был отчасти возобновлён Вами в послесловии к книжке «Допрос с пристрастием» и, в сущности, продолжается, лишь слегка меня направление.

Отвлекусь на минуту. Я тут как-то случайно наткнулся на редакционную статью в 125-м номере журнала «Континент» за подписью Евг. Ермолина (я с ним не знаком), предисловие к подборке произведений молодых писателей. Выражается надежда, что новое поколение вновь проникнется утраченным ныне сознанием высокой миссии писателя, сумеет восстановить престиж слова, возродить благородные традиции классической русской литературы. Я даже выписал несколько цитат, например:

«...нигде литература не была так генерально, так нераздельно встроена в судьбу народа, страны, национальной культуры. Мне не раз приходилось говорить, и на этом твердо стоит редакция “Континента”, что литературоцентризм есть парадигма русской культуры; литература в России давно стала средоточием духовной жизни, главным текстом культуры и главным ее контекстом. Это наша наиболее достоверная и убедительная *родина*. Русская литература и есть Россия в ее основном содержании. А Россия есть прежде всего — русская литература».

Статья, вообще говоря, — ничего особенного: всё то же, с привычным националистическим привкусом: самообольщение, национальная риторика, ограниченность, повторение навязшего в зубах. И всё же в ней чётко выразилось нечто имеющее отношение к нашей контрверзе.

Сетования на нынешнюю ситуацию в России, на совокупный облик культуры и литературы, видимо, справедливы — более или менее. Рецепт спасения — вернуться к былому величию, к прежней общест-

венной роли писателя. Русская классическая литература — вечный ориентир и образец. Прекрасно. При этом, однако, игнорируются по крайней мере два обстоятельства. Первое — то, что при всей нашей привязанности к классикам (без которых, собственно, невозможно жить) писатель, если он не хочет остаться эпигоном, не может писать так, как писали в XIX веке, не может видеть страну и мир глазами классиков. И второе, связанное с первым: мы живём (или, как я, жили) в стране, которая, хоть и называется Россией, имеет слишком мало общего с Россией Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова. Что осталось? Вы когда-то приводили слова старого эмигранта: «Только снег». Всё это ведь тоже трюизмы, не правда ли. И ныне страна стремительно превращается в массовое коммерциализованное общество, нечто совершенно новое в истории, общество, которое уже сформировалось после войны в Соединённых Штатах, в Западной Европе, в Японии и в котором, между прочим, место и роль писателя никак не может быть таким, как прежде. Нет, роман не умер, поэзия не умерла, одряхлевших корифеев сменяют новые таланты. Но место серьёзной литературы в обществе цивилизованного плебса — на обочине, в лучшем случае на правах почётногo иждивенца, и с этим ничего не поделаешь.

Между тем литература шагает своим путём (звучит несколько выпендренно). Слово «прогресс», разумеется, тут не подходит. Но, как всякое искусство, литература не терпит повторения: повторение — это ложь. И так же, как литература отходит от былых образцов и ориентиров, точно так же уходит прочь от вчерашних верований, представлений, методов и литературоведения. Более того, меняются самые принципы профессионального чтения литературных текстов.

Вы нашли много неприемлемого и даже попросту смехотворного в писаниях второразрядных представителей современного литературного структурализма и постструктурализма. Моя претензия к Вам, собственно, — не по поводу тех или иных профессоров литературы. Ведь им можно противопоставить и другие, более весомые имена. Допустим, работы Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, В. Топорова. Или (это только пример) превосходную книгу Томаса Венцловы «Неустойчивое равновесие. Восемь русских поэтических текстов» с предисловием под заголовком, который уже сам по себе должен был бы вызвать у Вас саркастическую усмешку: «О пансемантичности поэтического текста и способах его прочтения». В «Воплях» — спросите у Лазаря, он, наверное, помнит — была когда-то (1989, 12) помещена статья Ольги Вайнштейн «Леопарды в храме (Деконструкционизм и культурная традиция)», её и сейчас читать интересно и, думаю, полезно.

Нет, моя претензия в Вам — та, что за примерами, которые Вы приводите, идёт ли речь о Смирнове, о Жолковском или даже о самом Гаспарове, проглядывает, если я не ошибаюсь, общая тенденция,

принципиальное неприятие всей этой линии. Между тем она прослеживается весьма отчётливо, начиная с Опояза и далее через структурно-семиотическую школу к постструктурализму, к деконструктивизму. Вы упомянули мимоходом о фрейдистском толковании литературы. Это другое русло. Но и фрейдизм, и вслед за ним юнгианство, перестав быть модой, оставили нечто важное, совершили некую перемену в умах не только литературоведов, но и самих писателей. То же можно сказать о раннем Шкловском, о Якобсоне, о Ролане Барте, о Ж.-Ф. Лютаре: как бы ни судить об их трудах, после них невозможно читать тех же классиков прежними глазами. Совершенно так же, как невозможно (повторяю фразу Зощенко из Вашей книги, писать, «как будто ничего не случилось».

Поп своё, чёрт своё. Наши точки зрения более или менее прояснились, каждый вновь утвердился в своей правоте, но, очевидно, не всегда хорошо понимал точку зрения оппонента. Ваш подход к литературе, основанный на оценке талантливости и того, что Вы называете подлинностью, отличается от литературоведческого (в данном случае структуралистского) подхода примерно так, как вера отличается от теологии. На том, что структурализм в его применении к литературоведению есть наука и, как всякая наука, использует собственный подход к материалу, собственный метод и по возможности точные дефиниции, настаивал, в частности, Лотман в полемике с Кожинным и Палиевским, чья точка зрения совпадает с Вашей. (На эту статью Лотмана я уже ссылался — она так и называется: «Литературоведение должно быть наукой». Была когда-то напечатана в «Воплях» 1967, 1, вошла в известный Вам том «О русской литературе». Через сорок лет, когда классический структурализм уже позади, видно, что она не утратила актуальности). Ваша точка зрения очевидным образом не является научной, что, конечно, не лишает её легитимности.

Но ведь и я не человек науки. Мне лишь кажется странным, что приоритет таланта Вы противопоставляете приоритету «направления», которого (приоритета) я будто бы держусь. Если бы мы постарались уточнить, насколько это возможно, что именно подразумевается под талантом, то, чего доброго, оказалось бы, что и в этом пункте наши представления, а вернее сказать, наши вкусы не вполне совпадают. Ещё труднее, я думаю, было бы сформулировать, что, собственно, мы понимаем под «подлинностью» (попробуйте-ка). Добавлю, что я никак не могу отнести себя к приверженцам или последователям того направления, которое Вы имеете в виду. Ведь Вы, упомянув (к примеру) Сашу Соколова, подразумевали радикальное авангардистское новаторство, не так ли? Экспериментальное творчество разного рода продолжается и сегодня. Но звёздный час авангарда, я в этом уверен, остался позади,

далеко позади. Лет 8–10 тому назад в Баварской академии изящных искусств состоялся вечер концептуалистов — Пригова, Рубинштейна и других; славную компанию представил наш друг Игорь Смирнов. Когда всё окончилось, я встретил в фойе тогдашнего президента академии Гейнца Фридриха и спросил, как ему это понравилось. Он ответил: у нас это было в 50-х годах. Но и тогда ведь авангардизм был уже на излёте. Лабораторная работа Льва Рубинштейна, его «карточки» представляли определённый интерес. К нему (в отличие от Д. Пригова) можно было отнестись всерьёз. Жила быстро оказалась выработанной.

Короче, что я хочу сказать? Нет никакой необходимости писать как Джойс, как Андрей Белый или кто там ещё, да это и невозможно. Талант писателя — именно талант, чутьё, дар и оригинальность художника, а не отвлечённые соображения, воспевают повторение. Вдобавок, увы, на дворе другое время. Но невозможно представить себе сегодня сколько-нибудь серьёзного писателя, который так или иначе не учитывал бы в своём творчестве грандиозный опыт Джойса, остался бы глух к наследию сюрреализма, ничего бы не знал и не хотел знать о Кафке, об Андре Жиде, о Прусте, о Томасе Манне, — я называю, как видите, не только авангардистов, — прибавьте сюда и Платонова, и, пожалуй, обериутов. И если мы вправе предъявить известные претензии к Гроссману (которого оба ценим), то именно оттого, что для него литература остановилась на Льве Толстом.

Когда-то я прочёл в «Рабочих тетрадах» Твардовского любопытный отзыв о «Докторе Фаустусе»: глубокомысленное, хитроумное, рафинированное сочинение, но — продукт кабинетного, головного творчества, далёкий от жизни. Твардовский, которому ведь не откажешь в литературной искущённости и который сам говорил о себе, что он всю жизнь был усердным читателем романов, даже не догадывался, что этот роман о композиторе — в высшей степени актуальное, жгучее и заглядывающее в самый корень эпохи произведение.

Теперь ещё одно — несколько другая тема. Я обратил внимание на такое место в Вашем письме:

«Происходящие перемены — превращение России в нормальную страну вроде Японии (если таковое произойдет), — будут благом и для искусства: оно, наконец, займёт в жизни россиян то место, которое должно ему принадлежать. Художник перестанет быть “властителем дум”, то есть — агитатором и пропагандистом, “ассенизатором и водовозом”».

Эх, Бен, Вашими бы устами да мёд пить. В том, что Россия превращается в «нормальную страну», Вы и сами, по-видимому, не уверены. Но если да, то в какую? Подразумевается, как я понимаю, скорее Западная Европа или Америка, более знакомые нам. Разумеется, то царство, из которого мы вылезли или, как я, унесли ноги, — весьма

благодарный объект для контрастного сопоставления; тут терять было нечего, и слава Богу, что оно рухнуло. Но речь идёт о обществе, которое Вы называете нормальным. Считать его нормой можно разве только в том смысле, что оно неизбежно.

В некотором смысле мы угодили из огня да в полымя. Из советского средневековья мы переселились в эпоху небывалой власти рынка над литературой. То, что называлось Читателем, в массовом обществе называется: Рынок. Не критики и уж, конечно, не писатели определяют реальный сиюминутный облик литературы. Это делают издатели. И если говорится о вымирании культурного читателя, то это просто означает, что для писателя, ориентированного на требовательных читателей, закрыт рынок.

Рынок не просто обеспечивает режим наибольшего благоприятствования двум главным разновидностям кольпортажа — примитивно-развлекательной и скандалёзной. Он целенаправленно вытесняет всё, что превышает определённый уровень. Рынок обладает тенденцией к неограниченной экспансии. Капитализм в сегодняшней России — Вы не могли этого не заметить — следует моделям минувших веков: это рваческий, нацеленный на сиюминутную прибыль капитализм в условиях так и не ставшего на ноги правового государства. Всё, что противостоит рынку, попросту сметается с пути. *L'art pour l'art*, искусство ни для чего: только для продажи. Это долгая тема, не хочу вдаваться в подробности; они известны Вам лучше, чем мне. На Западе литература — часть гигантской индустрии развлечений. Главный конкурент — телевидение. Это означает, что уровень того и другого должен непрерывно понижаться. В России за последние годы, насколько я могу судить, это принимает особенно грубый, драстический характер.

Литература не может себя окупить. Литература, приносящая прибыль, — почти всегда мусор. Значит, кто-то должен поддерживать серьёзное литературное творчество: государство, муниципальные власти, фонды поощрения культуры, просвещённая буржуазия. Очевидно, что рассчитывать на это в современной России весьма трудно. Что же делать? Ничего не делать. Или, вернее, делать своё дело. Нести свой крест и веровать, как говорит чеховская героиня. Веровать — во что?

В 1927 году Гуго фон Гофмансталь произнёс речь, которая называлась «Литература — духовное пространство нации». И он же написал в одном письме вскоре после распада Австро-Венгрии: «Мы все осиротели». Он хотел сказать: инфляция разорила меценатов, которые нас кормили. Некому больше содержать высокое, рафинированное искусство слова, заведомо неспособное жить на подножном корму. Вы скажете, что оно всё же не погибло. Да, — как ни удивительно. Порвав с «народностью», мы вступаем в эпоху инкапсуляции литературы. Впрочем, эпохи демократизации высокой культуры — исключение, а не правило.

Дорогой Бен, я подумал о том, что трудность нашего спора состоит в том, что он постоянно наталкивается на две препоны. Первая — принципиальная разница не только и не столько в содержании, сколько в характере высказываний. Вы авторитарны — в том смысле, в каком это слово применяется к текстам: ясность, определённость, однозначность, категоричность. Отсутствие готовности подвергнуть сомнению собственный тезис. Невозможность какого бы то ни было плюрализма; отсутствие того, что можно было бы назвать фасеточным зрением. Это не порок, это особенность. В моих суждениях, несомненно, тоже присутствует авторитарный тон, но в меньшей степени. Второе, более фундаментальное обстоятельство — разница в стиле и устройстве мышления. Не будучи учёным литературоведом, я всё же (чему, возможно, способствует школа естественных наук) пытаюсь понять резон научно-го мышления. Для Вас этот резон неинтересен или отсутствует.

Правда, Вы признаёте оправданность научной (объективной) истории литературы, а также со скрипом допускаете возможность научного исследования психологии творчества. И на том спасибо. Но это опять-таки не относится к делу. Речь идёт о другой отрасли знания, о другом объекте исследования, о других методах. То литературоведение, о котором у нас идёт речь, — совершенно иное, нежели то, чему учили бо лет тому назад меня на филологическом факультете, а Вас — в Литературном институте. Точно так же, как оно далеко от салонного литературоведения, от импрессионистической критики и эссеизма.

Смешно, конечно, думать, что Якобсон, Лотман, Тименчик, Гаспаров, как и Жан-Франсуа Льютар, Ролан Барт, Жак Деррида и tutti quanti, — что все эти люди не умеют наслаждаться великой прозой и поэзией, неспособны ценить и распознавать художественность, отличать литературу от макулатуры. Не говоря уже о том, что они и сами превосходно владели пером. Смешно и странно, повторяю, думать, что они путают Божий дар с яичницей. Но так как Вы обильно потчуете меня сравнениями, то и я не удержусь. Врач-гинеколог, как и всякий мужчина, видит красоту женщины и худо-бедно отличает хорошенькую от дурнушки, тем не менее, когда он занят своей профессией, его внимание сосредоточено на другом. Когда Гаспаров — или кто там — говорит, что его как учёного не интересует, хорош или плох изучаемый поэт, точнее, поэтический текст, то это не желание эпатировать традиционалистов, подразнить какого-нибудь яростного противника структурализма вроде Эммы Коржавина. Нет, это напоминание о смысле и предмете той дисциплины, в которой он работает. Предмет его исследований — текст, точнее, структура текста, в принципе любого. Это может быть и газетная статья. При этом, кстати, как раз и выясняется, чем структура художественного текста отличается от структуры любого другого — политического, церковного, научного, делового. Вас смущает,

среди прочего, сухость и формализм структурного анализа (к чему под­считывать такие-то элементы стиха и т.п.). На это ответил Томас Венц­лова в предисловии к книжке, о которой я упоминал: «Строгий науч­ный анализ может повредить поэтическому тексту не более, чем астро­номия — звёздному небу». Не может он и возвысить ущербный текст, как в случае с бедным Кобзевым.

По поводу рассуждений о рынке. Что касается нынешней ситуа­ции в бывшем Советском Союзе, культурного пейзажа в целом, — тут Вам, конечно, виднее. Мне помогает то, что я слышу, о чём читаю. Со­шлюсь, в частности, на статьи о социологии современной российской литературы и культуры Льва Гудкова и особенно Бориса Дубина. Они написаны вполне нейтрально, без гнева и пристрастия. Отчасти поэто­му они производят такое сильное, просто-таки ужасающее впечатле­ние. Нас с Вами, Бен, объединяет общая точка отсчёта — славное совет­ское прошлое. Вы пишете о том, что предпочли бы любой рынок госу­дарственной опеке над писателями и дирижированию литературой. Но об этом речи не идёт. Вернуться к советским порядкам, как и к совет­скому строю в целом, невозможно. Этот вопрос закрыт, хотя и с демо­кратией дело швах.

Моё небольшое преимущество состоит в том, что я ближе знаком с обликом массового потребительского общества, которое в России пока ещё лежит в пелёнках. Но кое-что уже усвоено довольно прочно. Отсю­да вытекает и то, о чём я слабо и недостаточно писал прошлый раз. Стремительное порабощение культуры коммерцией. Сопротивляться этому, разумеется, тоже невозможно (поэтому и разговор о капитализ­ме как об опасности или, напротив, как о якоря спасения нерелевантен. Другого пути нет). Остаётся вегетировать в кювете. Отпереть заржав­ленным ключом двери заброшенной башни слоновой кости.

Вообще я ничего не игнорирую из того, о чём Вы мне пишете. Я это принимаю к сведению. Должен Вам сказать, что я не всегда бы­ваю уверен и в собственных суждениях. Стоит мне утвердиться в какой-то мысли, придти к какому-то «взгляду», как я тотчас начинаю думать: а ведь это можно было бы и опротестовать. На некоторые из Ваших за­мечаний я не знаю, что ответить. Например, на то, что Гаспаров расце­нил стихи Мандельштама как агитку. Вероятно, мне следовало бы прочесть, что именно он написал; у меня под рукой нет этого текста. По­дозреваю, что дело обстоит не так однозначно. Может быть, он хотел подразнить читателей, показать, что возможно и такое толкование, не зря же он прошёл школу деконструкционизма, которая учит вскрывать в тексте скрытые противоречия, находить неосознанные подводные камни, выдающие совсем не то, что хотел сказать автор и восприняли читатели. Может быть, попросту не хотелось повторять банальности.

Приведённые Вами слова Гаспарова: «Я получил картину своего художественного вкуса...», по-моему, прежде всего свидетельствуют о скромности. О благоговении перед великими поэтами и скептическом отношении к самому себе, если хотите, высокой требовательности к себе и готовности пересматривать собственные взгляды. Есть в них и своеобразное кокетство.

У меня на полке стоят две книги покойного Гаспарова: «Записи и выписки» и большой том Авсония, подготовленный им, по большей части в его собственных переводах, с замечательной статьёй о поэте и его времени, с комментариями и пр. Клянусь, ни та, ни другая книга не свидетельствует о недостатке художественного чутья. Напротив, это продукт утончённого вкуса, ума, владеющего превосходным знанием и пониманием литературы.

Вы говорите, что Вы «хоть на миллиметр», но сдвинулись: признали значение Джойса, Пруста и Белого. Честь Вам и хвала. Это примерно то же, что сказать: современный писатель не может пройти мимо опыта Достоевского или Чехова, должен знать классиков, даже если сам работает в совершенной другой манере. Как на контрпримеры Вы сослались на Горенштейна, на Искандера. Вопрос конкретного влияния, конечно, не решается простым впечатлением. Эти темы требуют научного исследования. Мне оно было бы не под силу. Подозреваю, однако, что Фридрих, хоть и не читал Джойса (в «Отрывке о Джойсе» Борхес говорит: «Я — как любой другой — целиком “Улисса” не прочёл»), но вряд ли прошёл мимо Пруста.

Вообще же это интересная тема. Я уже писал Вам, что интерпретации меня не особенно интересуют. С удовольствием когда-то прочёл шумевшую статью С. Зонтаг «Против интерпретаций» и главу о толковании Кафки и других в книге М. Кундеры «Преданные заветования» (теперь книга, кажется, переведена и могла бы, если она Вам не попала, Вас заинтересовать). Зато меня, как встарь, привлекает философия литературы. Это имеет отношение к моей работе. Об этом я уже писал. Оттого ли, что я живу за границей и читаю не совсем то, что обычно читают в России, или просто потому, что состарился и облез, но современная русская литература занимает меня меньше, чем это было бы, допустим, лет двадцать тому назад. Как и Вы, я по-прежнему очень высоко ставлю Юрия Трифонова, не раз писал о Горенштейне, ценю Искандера. Но опять-таки это писатели нашего, а не нынешнего времени.

Однажды я получил в подарок от Натальи Ивановой её книгу «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век», собрание статей последних пятнадцати лет. Читал с большим интересом. Автор — чуть ли не главный современный критик (или я ошибаюсь?) и большое литературное начальство. Иерархия чинов, между прочим,

снова стала чувствоваться. Почему я упомянул об этой книге? Потому что в ней проявилась некоторая общая особенность, назовём её изоляционизмом. (В большой мере наследие подцензурного времени.)

Русская литература выглядит в книге «Скрытый сюжет» как остров Лапута, повисший в воздухе. Она оказывается полностью выключенной из европейского культурного и литературного контекста. Мандельштам произнёс когда-то известные слова насчёт тоски по мировой культуре. Эта тоска исчезла. Вместе с ней утрачено целое измерение литературной критики. И, конечно, литературы. Оттого и встаёт время от времени вопрос о Прусте, Джойсе и т.д.

Неудовлетворённость современной русской литературой, по крайней мере, теми довольно известными прозаиками, которых мне удаётся читать или просматривать, я бы объяснил вот как. (Если Вам интересно.)

Этой прозе не хватает внутрироманной дистанции. Я говорю не о так называемых публицистических отступлениях, наподобие отступлений в романе Гроссмана (образец — трактаты о смысле истории в «Войне и мире»). Речь идёт о внутренней рефлексии, которая по существу представляет собой художественный приём, включена в ткань прозы и вместе с тем релятивирует романную действительность, дистанцируется от неё, в известной мере подрывает доверие к абсолютизированной точке зрения повествователя. В старой книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис», где все примеры взяты из западных литератур, — автор оправдывает это тем, что его задача предполагает чтение произведения на языке оригинала, — есть небольшое размышление о классической русской литературе; он говорит об особой и чарующей непосредственности русских прозаиков. Так вот, к концу XX века — для меня, по крайней мере — эта непосредственность становится архаикой.

Далее, слишком редко встречаешь писателей, которые умеют хорошо писать по-русски. Вероятно, это связано с плохим литературным воспитанием, слабым знакомством с хорошими стилистами, дурновкушем, которое чаще всего не осознаётся, но порой и культивируется. Кокетством, кривлянием. Но это также особая черта времени, причём не только в России. Изнурительное, до мучительной зевоты, многословие, наследственное зло. Увлечение бытовой речью, говорком. Кажется (или казалось), что подхваченная налету, необработанная речь с её вульгаризмами, избыточностью, смешением разных лексических слоёв делает литературу более интимной, приближает к «жизни». На самом деле — в этом проявляется особая мстительность искусства — она сама давно стала рутинной. Я ценю в литературе аристократизм.

Мне кажется особым достоинством Вашей книги о Мандельштаме то, что Вы снова привлекли внимание к лагерной судьбе поэта, к лагерю вообще. Исправительно-трудовой лагерь, как Вы знаете, — тема, до-

вольно быстро ставшая некошерной. Дежурный пароль — «примирение» (попробовал бы кто-нибудь здесь, в Германии, призвать к примирению с нацизмом!), и в этом желании позабыть о грязном и кровавом прошлом («мы и так уже всё знаем», «не так уж всё было плохо») настойчивая, хоть и не педалируемая политика сверху трогательно сливается с настроениями внизу. Между тем концлагерь — это феномен века. Это фирменный знак нашего отечества. Настоящее осознание этого в России не произошло. С Вашего разрешения я немного отвлекусь. Когда-то, это было в начале 60-х годов, может быть, помните, я написал небольшую лагерную повесть «Запах звёзд», она была напечатана в Израиле, позже выходила по-немецки. (Теперь издана по-французски.) Но Израиль далеко, Германия ещё дальше, сочинение это потонуло, как всё. Недавно, к моему удивлению, им заинтересовался редактор «Nota Bene» и тиснул его в журнале, для чего мне пришлось написать врезку. Я её сейчас приведу.

Словом, Россия XX века без вышек, прожекторов, без глухих заборов и рядов колючей проволоки — не Россия. Между прочим (тут у меня получается уже отступление внутри отступления), в мемуарах Эренбурга, которые называют теперь «энциклопедией века», о лагерях ни слова, — ничего себе энциклопедия. Когда у Юрия Трифонова появляется, к примеру, «железный малыш» или (в романе «Время и место») кто-нибудь возвращается из дальних мест, о том, что всё это значит, прямо тоже не говорится. Но если молчание у Эренбурга — привычная автоцензура, которая оказывается то и дело в опасном соседстве с ложью, то у Трифонова это, вопреки цензуре, замечательный художественный приём: ни один писатель не сумел передать — благодаря, а не вопреки этой недоговорённости — с такой силой зловещую таинственность режима, воздух невидимого тотального террора, запах трупа в подвале, молчание о верёвке в доме повешенного. Когда о сексе говорят обиняками, эффект, не правда ли, подчас бывает сильнее всякой откровенности. — Это так, á rgoros.

Ваша полемика с Гаспаровым, теперь, когда приведены обширные цитаты, выглядит основательней. Если позволите, несколько замечаний, по большей части мелких.

Замечательная статья Аверинцева «Унижение и достоинство человека» мне, конечно, памятна. Кажется и казалось, — хотя подобного рода аллюзии не были свойственны автору, — что речь идёт не только об античной Греции и Древнем Востоке. Впрочем, не зря у Мандельштама «ассирийское лето». Но меня несколько смущают Ваша фраза о «диалоге молодого Платона, в котором тот перелагал его [Сократа] учение». Сократ у Платона — главный и постоянный участник философского разговора, но диалоги содержат собственное уче-

ние Платона, отнюдь не сократово. «Апология» — предсмертная речь Сократа, лучше которой, может быть, никогда ничего не было написано, — тоже сочинена Платоном. О мировоззрении подлинного Сократа, если уж на то пошло, дают представление мемуарные записи непритязательного Ксенофонта.

О мнимой или действительной переключке в «Стихах о неизвестном солдате». Не знаю, кому могло придти в голову, что речь идёт о переключке на этапе или в тюрьме. И что значит «на этапе»? В общей камере на утренней поверке (не «проверке») выстраиваются в ряды, корпусной (старший надзиратель) выкликает фамилию (часто её перевирая), названный делает шаг вперёд и называет имя-отчество. В столыпинском вагоне, когда надо кого-нибудь выдернуть, солдат из-за решётки светит фонариком на лежащих вповалку наверху и внизу (18–20 рыл в одном отсеке), называет шепотом первую букву: «на Фэ». Кто-то отвечает: «Файбусович». После чего со скрежетом приоткрывается дверь в решетке, отделяющей отсеки от прохода. Та же процедура — в тюремных камерах при вызове на ночной допрос или «с вещами». Когда этап прибывает на комендантский лагпункт (не путать с ОЛПОм, т.е. обычным лагпунктом; лагерем же называется не лагпункт, а всё феодальное княжество, чья территория сопоставима с небольшим европейским государством), когда, стало быть, прибывают на место, вылезавших из вагонов просто считают по головам. То же на утреннем разводе, когда бригады, по четыре в ряд, выходят из зоны на работу: надзиратель у ворот махает пальцем, считает четвёрки. Если на лагпункте устраивается многочасовая общая поверка (что бывает редко, если что-нибудь не сходится, подозрение на побег, распоряжение кума, каприз начальника лагпункта, ибо поверка оказывается наказанием), происходит общий счёт, потом ждут, когда будет подбит итог всех выстроившихся плюс выведенных за зону, оставшихся лежать в бараках, сидящих в изоляторе и т. д., потом снова что-нибудь не сойдётся, и опять двадцать пять. В иных случаях выкликаются фамилии, ответ заключённого: имя, отчество, статья, срок. И только; Гаспаров прав. Но и Ваша правда та, что сводить многозначность метафор к определённом толкованию, исключаяющему всякие другие, бессмысленно.

По поводу попытки О.М. напечатать стихотворение в «Знамени». Для Вас это как бы лишний довод в Вашей системе аргументации. Но разве не ясно, что приводимая Вами реплика Надежды Мандельштам (о том, как ответили из редакции) — это именно саркастическая реплика, а вовсе не изложение всего ответа.

Не кажется ли Вам странным, что слова О.М., которые Ахматова услышала от него на Пречистенке в феврале 1934 г., — буквально те же, что вложены в уста «Иванушки древней сказки», то есть Вс. Князева, в «Поэме без героя»:

После — лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» и в отдаленьи
Чистый голос:
Я к смерти готов

Мне понравилась смелая гипотеза о том, что в «Стихах о неизвестном солдате» присутствует движение времени вспять. («Закон обратного времени»; при желании его можно уловить в той же «Поэме без героя». Вы, помнится, говорили как-то раз, что не считаете эту поэму удачей. Для меня это одна из вершин Ахматовой.) Понравилась потому, что напомнила о придуманной мною когда-то мифологеме двух противонаправленных стрел человеческого и божественного времени, на которой был основан мой старый роман «Антивремя».

Теперь более существенное.

Вас возмутила формулировка Гаспарова «апокалипсис или агитка». Тут есть чему возмутиться. Если только не принимать во внимание, что в дальнейшем оказывается: стихи, о которых идёт речь, — и не то, и не другое. Эпатирующее, скандально заострённое противопоставление в духе бульварного литературоведения, совсем не подходящее учёному, — всмотритесь: ведь оно совершенно не оправдано его собственным текстом. Какая там агитка. Речь вовсе не об этом.

Я тут только что прочёл в последнем номере журнала «Зарубежные записки» статью Игоря Сухих «Попутчик в Стране Советов. Исаак Бабель в 30-е годы». Там говорится о некоторой загадочности жизненной позиции Бабеля. Вот одна цитата:

На вопрос о том, как соединялись [у Бабеля] странная близорукость и удивительная пронизательность, опьянение и трезвость, скептицизм и вера в одном сознании, честнее будет ответить: *не знаю*.

Послереволюционные поколения *отцов* и *детей* сегодня — непонятнее марсиан. Утрачен воздух той эпохи.

Похожее можно, я думаю, в определённой мере отнести к Мандельштаму времени «Стихов о неизвестном солдате», да и всех этих лет; и вот я пытаюсь кое-что понять. Должен сознаться: я нахожу в объяснениях Гаспарова некоторый резон. Нечто, я бы сказал, человеческое.

Ваш спор с ним, если пытаться его подытожить, сводится к следующему. Вы находите в стихах Мандельштама предвидение трагического финала — готовность погибнуть в когтях режима, о котором поэт не питает ни малейших иллюзий, который видит ясно, как никто. Гаспарову же кажется, что, напротив, Мандельштам выражает готовность принять советский строй, влиться в общую жизнь.

Попробуем представить себе эту чисто жизненную ситуацию: поэта пощадил. После самоубийственных стихов о кремлёвском горце

этот горец ограничился сравнительно безобидным наказанием. Может, он и вправду совсем не таков, каким его рисуют недоброжелатели? С другой стороны, что происходит вокруг? Всеобщий подъём, энтузиазм, строится новая жизнь, преобразается Москва. Радостный коллективизм. Веяние новой эры. Довольно кукситься. Хочется, как Пастернаку, как многим другим, влиться, слиться, жить единой народной жизнью. Недостойно остаться отщепенцем (да и в высшей степени рисованно).

Множество стихотворений свидетельствует о таком настроении: принять новый порядок вещей как данность, как высшую историческую необходимость, по-гегелевски, — и даже стихи 1937 года о Сталине («Когда б я уголь взял для похвалы...») написаны, в отличие от соответствующих вынужденных виршей Анны Ахматовой, я уверен, с большой долей искренности, с желанием итти навстречу, с благожелательностью, осиленной ценой огромного душевного напряжения. Можно найти для того, что происходило с Мандельштамом, с многими, и другое название, не отменяющее, но дополняющее сказанное выше: *сублимация страха*.

Осмелюсь, рискуя вызвать Вашу улыбку, сослаться на собственное воспоминание. Конечно, и время другое, и масштаб другой. Но всё же. Когда весной 1955 года я вернулся из лагеря, настроение было довольно спутанное. С одной стороны, страх, почти уверенность, что всё это ненадолго и в скорости посадят снова. Чувствуешь себя всё время настороже. Мне посчастливилось поступить в медицинский институт в Калинин, будущих первокурсников отправили в колхоз, и однажды — помню это как сейчас — вдали на дороге показалась фигура милиционера. Я был уверен — за мной. В октябре начались занятия, я не мог найти себе жильё и ночевал в гостинице, в номере было четыре человека. Я старался уходить пораньше и приходил поздно, чтобы не попадаться никому на глаза. Однажды, когда я брал внизу ключ, регистраторша сказала: вас вызывают в милицию. Я понял — всё конечно. Меня, с моим замаскированным под паспорт волчьим билетом, вышибают из города. Но, к счастью, оказалось, что один из моих соседей, уезжая, увёл простыню, я должен был дать свидетельские показания. Я жил с двумя другими студентами у хозяйки, доброй женщины, надо было сдать паспорта на прописку. На другой день она вернулась, моих товарищей прописали, «а вам, — сказала она с извиняющимся видом, — велели придти». Любая девчонка в паспортном столе, увидев условную пометку в графе «На основании каких документов выдан паспорт», знала, кто я такой. Как-то раз, поздно вечером, на крыльце громко постучались, я понял, что пришли меня арестовать. Оказалось, это была телеграмма из Москвы о смерти тётки, и, стыдно сказать, я почувствовал несказанное облегчение. Но это с одной стороны.

А с другой — у меня было огромное желание «вписаться». Жить общей жизнью со всеми. В конце концов, меня пощадили, я вышел из лагеря «условно-досрочно», не досидев своих восьми лет, не отправился в ссылку. Надо быть за это благодарным. Я не думал о своём ещё недавнем отношении к советскому строю, который считал фашистским; я старался всё это забыть, как инвалид не хочет вспоминать о трамвае, перерезавшем ему ноги; да я и впрямь был паспортным и в некотором роде духовным инвалидом. Я был счастлив, что поступил в институт, усердно учился и ни о чём больше не хотел знать.

Для чего я всё это говорю? Когда Гаспаров возражает против «сложившегося мифа о Мандельштаме — борце против Сталина и его режима», он протестует против благонамеренных упрощений. Если угодно — против бестактной героизации. Конечно, О.М. никаким борцом не был — как не был им, например, Шостакович, который, однако, в своей музыке, как никто, сумел передать, выразить страшное время, в котором нас угораздило жить. Мне легко представить себе, как боялся ареста Шостакович, каким кошмаром стояла Чердынь перед Мандельштамом. Было бы нелепо называть героем исторического Иисуса, объяттого страхом, если верить евангелистам, в ночь накануне казни. Но и Шостакович, и Мандельштам были художники — и Вы совершенно правы, когда говорите о том, что редко кому ещё удалось «самой тканью, самой стихией стиха выразить то, что случилось с человечеством в XX веке». Эта концовка кажется мне самым точным и самым важным в отрывке, который Вы мне прислали.

На этот раз Ваш компьютер разгулялся: разные шрифты, вдруг жирный, разные кегли, весь текст повторяется сызнова. Я давно уже подозревал и даже не раз убеждался, что эти устройства обладают свободой воли, точнее, свободой самовольничать.

Подводя некоторый итог нашему спору, я нахожу, что он был, по крайней мере для Вашего слуги, бесполезен: прояснились точки зрения, я сам для себя кое-что уяснил, да и от Вас узнал много нового. У нас с Вами, Бен, естественно, много общего, и в частности, как мне кажется, нас объединяет досада стариков, что их не очень-то жаждут выслушать. Опыт прошлого, каннибальский режим, в котором и с которым пришлось нам прожить чуть ли не всю жизнь, долг, налагаемый памятью, бремя памяти — всё это уже не интересует окружающих. Подозреваю, что досадой вызвано и Ваше неприятие тактики и этики учёного, в данном случае литературоведа, сознательно отграничивающего свою задачу от того, что он полагает внеположным науке. Вы не можете примириться с тем, что, изучая текст, в том числе литературный текст, литературовед не только хочет, но и обязан отложить в сторону эстетический критерий и воздержаться от вкусовых оценок, — хотя бы это

были и суждения развитого, рафинированного вкуса, — предоставляя это критику и эссеисту. В написанной когда-то для Литературной энциклопедии статье «Филология» покойный Аверинцев напоминал о том, что исходным материалом и объектом анализа для филолога является текст. От этого очевидного положения, собственно, и отталкивается современное структуральное литературоведение. У Р.Якобсона есть очень интересная статья, анализирующая стихи Гёльдерлина, сочиненные душевнобольным поэтом. Но для учёного не лишены интереса даже и вирши какого-нибудь Кобзева, и творения блюдолиза Лебедева-Кумача, которого мой отец называл «дежурным поэтом». Мне кажется, я говорю очевидные вещи.

В этом смысле я обронил словечко «досада». Досада на то, что, игнорируя неприглядный политический фон и собственно поэтическое (эстетическое) убожество подобных изделий, эти люди словно бы уравнивают в правах Божий дар с яичницей. Мне всегда казалось большим упущением, что в компендиумах истории литературы отсутствуют главы о тривиальной словесности. Карамзин — пожалуйста, а вот нет чтобы заняться серьёзным разбором и обзором творческого пути автора «Ивана Выжигина». Правда, в последние десятилетия такие проделы вроде бы восполняются.

Отсюда, конечно же, не следует, что учёному, как и всякому культурному читателю, чуждо сознание пропасти, отделяющей Карамзина от Фаддея Булгарина и Мандельштама от Кобзева. Или что он не ведаёт разницы между сопротивлением и пресмыкательством. Или что ему чужды гнев и горечь, что он забыл, чем была советская власть и тайная полиция. В наших письмах уже не раз мелькали сравнения с ботаникой и т.п. Решусь сослаться на более близкую мне область. Я давно, как Вы знаете, оставил медицину. Но я хорошо помню очень многих моих больных и в студенческие времена, когда работал городским участковым врачом, получая заплату фельдшера, и в деревне, и потом в Москве. Помню этот нескончаемый конвейер несчастных, брошенных, одиноких, страдающих, погибающих, ожидающих сочувствия, хватающихся за последние крохи надежды и слишком часто безнадёжных, помню это чувство человека, который входит в дома с заднего крыльца, с чёрного хода, видит жизнь такой, какова она на самом деле и какой чаще всего бывает скрыта от посторонних, человека, для которого мир — это один большой госпиталь. Всё это и сейчас стоит перед глазами. Но я помню и то, что понял ещё студентом, простую истину: если врач будет страдать и умирать с каждым пациентом, он не сможет работать. Заостряя (может быть, непозволительно) эту мысль, можно сказать, что врач не может быть лишён известной чёрствости: таково условие его профессии.

Всё это я говорю, как Вы, очевидно, поняли, к тому, что речь у нас идёт не только и не столько об отдельных, подчас действительно смехотворных крайностях, которые Вы с таким блеском разоблачаете, сколько о самой науке, которую Вы в принципе не приемлете. О её методах, давно вошедших в исследовательский обиход. Примером может быть пресловутая интертекстуальность. (Вы не замечаете, что сами пользуетесь элементами этого достаточно рутинного метода, когда, скажем, привлекаете для анализа «Оды» текстуальные параллели в «Изображении Фелицы» Державина). Я тут как-то ссылаясь на старую статью Ольги Вайнштейн; она пишет о «подсоединённости» друг к другу европейских авторов, текстуальной переключке, которую поясняет следующий пассаж Деррида.

«Разворачивается фантазмагорическая картина телефонной связи через века... И Фрейд присоединяется к машине вопросов и ответов «Филеба» и «Пира» [Платона]. Американский телефонист перебивает, вмешивается: Фрейд недостаточно платит, надо ещё бросить мелочь в машину... Демон звонит, Сократ снимает трубку, подождите, говорит Фрейд... Не вешайте трубку, на линии Хайдеггер...»

Как всегда, я обратил внимание на некоторые мелочи в Вашем письме. Одна из них касается «Поэмы без героя». «Поэма, — пишете Вы, — требует обширнейшего комментария и даже “ключа” к шифру. А истинное произведение искусства должно быть самодостаточно. Оно само эпоху, как “Евгений Онегин”».

Мне это непонятно, Бен. Может быть, оттого что я бывший выученик классической филологии, приученный к тому, что три строки древнего автора сопровождается страница комментариев. Может быть, это наследие предков, которые провели свой век, согнувшись над комментариями к Книге и комментариями к комментариям. Думаю, не только. Разумеется, произведение искусства самодостаточно, то есть замкнуто в своём совершенстве. Но мне этого мало. В глубинах прячется то, что ускользает от моего неопытного взора и недостаточного знания. Почему одно должно исключать другое: комментарий — непосредственность восприятия и наслаждение таинственным текстом? (Зашифрованность, мерцающая темнота текста — сама по себе великолепный художественный приём.) Я читаю «Фауста», потом читаю комментарий Эриха Трунца, потом снова текст — и чувствую, как много мне не доставало, может быть, целых измерений, пока я не познакомился с комментарием. То же можно сказать о комментариях Лотмана к изданию «Евгения Онегина». Возвращаясь к Ахматовой, добавлю, что особенная, волшебная и затягивающая атмосфера Тринадцатого года, «тонкие яды», о которых писал Степун, и то, что чей-то голос: «Я к смерти готов» произносит пароль времени, — заметили ли Вы, какими пышными и пахучими соцветьями распускается искусство нака-

нуне гибели целой эпохи в двух обречённых империях — в России и в Австро-Венгрии, где точно так же последние полторы или две декады — время целого созвездия имён, небывалого расцвета культуры и литературы? — возвращаясь к поэме, должен сказать, что комментарий и ключ ничуть не разрушают этот чудный морок.

О рассказе Надежды Мандельштам, как сочинялась ода в честь Сталина и как обычно, не в пример этой оде, у Мандельштама сочинялись стихи.

«Стихи начинаются так: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытается избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто не заглушало ее — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате...

У меня создалось такое ощущение, что стихи существуют до того, как написаны. (О.М. никогда не говорил, что стихи “написаны”. Он сначала “сочинял”, потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова».

Не каждому свидетельству Надежды Мандельштам приходится доверять (Вы это знаете лучше меня), и я не знаю, как отнестись к рассказу о том, как Мандельштам уселся за стол и т.д., что же касается стихотворчества, то о том, как это происходило у Мандельштама, никто не может знать. Объяснение Н.Я. во втором абзаце приведённой цитаты — повторение общих мест, реминисценция молодости, уж слишком её рассказ напоминает модный в те времена платонизм, сдобренный Шопенгауэром.

И напоследок (письмо опять затянулось) ещё одно место в Вашем письме, тоже мимоходом:

«А вот какую интересную мысль высказал недавно только что упоминавшийся мною М. Гаспаров:

Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский Реквием такие же слабые стихи, как “Слава миру”?»?

Я не собираюсь возражать, просто контекст, в который помещена эта цитата, заставляет кое над чем задуматься. Гаспаров намекает, что потрясающий «Реквием» Анны Ахматовой, видите ли, не слишком высококачественные стихи. Возмутительная ересь. Насмешка над трагедией 37 года и насмешка над автором, матерью арестованного сына, женщинами, выстаивающими очереди, чтобы передать передачу уже расстрелянным мужьям и сыновьям, над матерью всего этого изнасилованного народа.

Тут мы касаемся вечно скользкого вопроса. Есть известная максима Андре Жида: «Из прекрасных чувств делается плохая литература». Вероятно, те, — их было немало, — кого возмутили эти слова, решили, что он хочет сказать: а хорошая литература делается из плохих чувств. Между тем речь идёт о писателе, который всю жизнь бился над проблемами морали, наследнике великих моралистов XVII и XVIII веков. Но дело в том, что благонравие не является презумпцией искусства. В случае с Ахматовой дело идёт, конечно, не о «благонравии». Это вопль души, породивший гражданскую, ангажированную — в лучшем смысле слова — поэзию. И тут обнаружилась некоторая ловушка. В неё попадали и мелкие поэты, например, Наум Коржавин.

...С удовольствием прочёл Ваше предисловие и, конечно, поздравляю Вас с выходом книги.

В предисловии говорится о задачах критики, как Вы их понимаете, ссылаясь на Толстого. Эти материи меня занимали чуть ли не с самого нежного возраста, но стать критиком я не сумел и не могу сколько-нибудь компетентно высказаться на эту тему. С тем, что Вы пишете, разумеется, невозможно не согласиться, пожалуй, это самоочевидно. Вопрос, как эта программа реализуется на практике; но, к сожалению, у меня нет книги (хотя некоторые статьи, вероятно, мне известны), в каталоге «Геликон», который мне присылают, её пока нет.

Откровенно говоря, — Вам это, возможно, покажется странным, — мне мешает нормально отнестись и к Толстому в Ваших цитатах, и к Вашим объяснениям не то чтобы их спорность (они бесспорны) и даже не то, что в проекте такой критики мне недостаёт «эстетического» подхода, но какое-то назойливое чувство, которое трудно передать в двух словах. Или получится слишком упрощённо. Чувство, что всё это хорошо и прекрасно, и отвечает нашему воспитанию, нашему культурно-литературному «происхождению», наконец, нашему почтенному, натурально склонному к известной консервативности возрасту, и обещает читателю интересное чтение. Всё хорошо, — да только погода на дворе другая. Время переменялось. Время стало неузнаваемым, и то, о чём идёт речь, на чём настаивает Толстой, кажется недостаточным. Нужны дополнительные точки зрения. Может быть, вообще какое-то другое зрение.

Поэтому, например, — если вернуться к нашим баранам, — было бы непродуктивным спорить, кого Бог снегом занёс и целовала вьюга, Бродского или Коржавина. Эмма пережил Иосифа, оба были современниками. Оба стали эмигрантами и обитали в одной стране; целовала их вьюга или не целовала, но оба оказались на ветру. И нельзя сказать, чтобы Коржавин был менее «актуален»; наоборот. А между тем как далеко отстоит время одного от времени другого. Они просто жили

в разных координатах, чтобы не сказать — в разных мирах. Молодёжь, я думаю, почувствовала это быстрее. Я помню, как мы когда-то в Москве читали с Лорой вслух стихи Бродского, наш сын был ещё ребёнком. И вдруг оказалось, что он слушает эти стихи, что они внятны ему, близки чем-то. У взрослых же они чаще всего вызывали недоумение. Это только пример.

Об известности Эммы я узнал в 63 году, когда приехал из деревни и поступил в аспирантуру. Была устроена вечеринка врачей, людей, далёких от литературы, и вдруг за столом встала одна молодая женщина, хирург, и стала читать стихи Наума Коржавина.

Нехорошо было (я с Вами согласен) говорить о Коржавине: «мелкий поэт». Надо было сказать: второстепенный поэт. (Как Вы помните, покойный С.И. Липкин назвал Маяковского крупнейшим из второстепенных поэтов). Противопоставить Коржавина, которого целовала вьюга, Бродскому, которого она «точно не целовала»? Я не знаю, что на это ответить — разве только пожать плечами. В одном письме Гриша Померанц, я помню, поставил Зинаиду Миркину выше Бродского. Вы процитировали дедушку Крылова. Тут была бы уместна ещё одна цитата: «А жаль, что не знаком ты с нашим петухом...» Может быть, следовало бы просто подумать о том, что Бродский был единственным из русских поэтов первого ряда, кто не был лириком. Этим, например, как мне кажется, объяснялась его нелюбовь к Блоку. Но оставим эту тему: Бродский Вас не интересуется.

Два слова об «ангажированности» (ангажированная литература, термин Сартра). Для Вас это слово, видимо, безнадежно скомпрометировано. Между тем установившееся определение литературы «ангажированная» — отнюдь не однозначно pejоративное. Один из возможных синонимов, приближающий его к русской традиции, — гражданская или гражданственная. Вовсе не обязательно плохая. Стихи могут быть порождены болью, глубоким страданием, возмущением (эпиграф к «Ямбам» Блока из Ювенала: *Facit indignatio versum*, «негодование рождает стих»; «Ямбы» Огюста Барбье), это не мешает им быть гражданскими, жгуче-актуальными, даже политическими. Другое дело, что подчас такие стихи недолговечны. «Реквием» Ахматовой избежал этой участи. Мы и сейчас читаем его с волнением. Но стихи всё же не дотягивают до высшей планки, которую установила она сама.

Так как речь шла о литературной критике, я вспомнил сейчас об одной статейке, которую написал когда-то, она тоже о критике, хотя и написана не критиком. Возможно, она покажется слишком категоричной. Во всяком случае, отношение к ней в свою очередь должно быть критическим.

Моему сыну понадобилась заверенная копия метрического свидетельства, которое он потерял. (Копию надо посылать в Тверь, бывший Калинин, где родился Илья, предстоит жуткая морока.) По этому случаю мы явились в мюнхенское российское консульство. Я давно уже там не был. Чёрные стёкла, за которыми сидели чиновники (тебя видят, ты никого не видишь, что, впрочем логично: ты — враг), теперь заменены обыкновенными. В остальном ничего не изменилось; комната битком набита людьми. Смирные деревенские бабушки в платках, очевидно, родственницы приехавших на работу в Германии, мордатые мужики, подбострастные, приниженные просители и просительницы: кто протискивается с бумагой к окошку, кто трудится за тесным столом, заполняет чудовищную анкету, ещё кто-то (сам видел двух таких человек) стоит за получением справки о том, что *он жив*. Соответственно и «персонал»: каков поп, таков и приход. Островок отчества. И сколько таких людей. А мы тут с Вами ведём высокий разговор о поэзии.

Это чувство не новое. Чувство безнадежной несовместимости. Университет и классическое отделение, Герцен и Огарёв — а в пятнадцати минутах ходьбы цитадель с железными воротами, глухими дворами, подвалами, боксами-отстойниками, переполненными камерами, прогулочными дворами на крышах и кабинетами, где сидели в своих мундирах люди, которые вчера слезли с деревьев. В лагере девять десятых обитателей едва умели расписаться, немногим образованней было и начальство. Много лет спустя я жил в Чертанове, сидел в уютной комнате за письменным столом и сочинял что-то высокоумное, а на дворе, превращённом в пустырь, перед бакалейным магазином, среди старых ящичков и лохмотьев обёрточной бумаги лежал вконец упившийся безногий инвалид на тележке — колёсиками кверху. Как это всё может сочетаться? Странная культура, похожая на кирпичи, по которым пробираются через разливы жидких экскрементов.

Наша дискуссия... считайте её обменом мнений. Обменяться мнениями и воззрениями всегда полезно. Конечно, когда заходит речь о стихах, договориться особенно трудно. Тем более что силы неравны: я знаю русскую поэзию много хуже, чем Вы. Важней всего впечатления ранней юности. Огромным событием был для меня Блок. Необыкновенно любим был Некрасов, «Коробейники», которых я и сейчас не могу читать без волнения.. Особое значение имели некоторые иноязычные поэты. Ахматова пришла значительно позже; ещё позже — Манделштам, Ходасевич. К Маяковскому, если не считать вступления к поэме «Во весь голос» и ещё двух-трёх вещей, почему-то с самой ранней юности я оставался глух. Может быть, именно оттого, что он был так громогласен — обладал, как Вы пишете, исключительно мощным голосом.

Насчёт ангажированности можно было бы поговорить. Не знаю, интересно ли это. Наш спор — в значительной степени о словах. Думаю, что Ваше толкование Сартра не совсем корректно, в этом толковании выражение *littérature engagée*, действительно, приобретает советский вкус и запах. Между тем, как Вы помните, оно не было подхвачено советским литературоведением, Сартр не был (в отличие от позднего Арагона) причислен к социалистическим реалистам, да и вообще был всем чем угодно, но не советским человеком.

Вы подчеркнули важность поэтической точности. Я не согласен с тем, что в «Поэме без героя» Ахматова ей изменила. Если при первом чтении многое в поэме кажется зашифрованным, загадочным, непонятным, то в дальнейшем становится ясно, что ни одна строчка и ни одно слово не употреблены без абсолютной необходимости и бьют прямо в цель.

Когда-то Брандеса поразила пропасть между тонким культурным слоем и огромной народной толщей в России, пропасть, каких он не видел в других европейских странах. Это стало чуть ли не общим местом в рассуждениях о нашей стране. Цитата из книги Левидова, блестящего и, к сожалению, забытого человека, не имеет отношения к тому, что я писал: я не пытаюсь дискредитировать культуру, не призываю её отменить или упростить. Речь идёт не об эпатазирующем философствовании о судьбах музейной или немuseumной культуры, но всего лишь о жизни, личном опыте, о конкретном переживании, повторяющемся на каждом повороте, о чувстве, от которого невозможно отделаться, — и только. И уж, конечно, от всяких соображений о долге перед «народом», комплексах кающегося интеллигента и т.п. я далёк — причём тут я?

Мы с Вами бродим по давно протоптанным и уже зарастающим травой дорожкам. Наш спор о Сартре — по меньшей мере тридцатилетней давности. Сейчас, кстати, отмечается двойная годовщина: 100 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти Сартра. Несколько новых материалов появилось в «НЛО», в том числе интересная статья Фр. Нудельмана «Сартр — автор своего времени?», которую я рискнул бы Вам рекомендовать (не для поучения, конечно), но не уверен, что Вы найдёте для неё время.

Довольно странно, что Вы ссылаетесь, чтобы объяснить образ мыслей Сартра, на Нину Берберову, человека, очень далёкого от Сартра и Симоны де Бовуар, — причём не на лучшее произведение Берберовой, — тогда как существуют тексты и самих Сартра и Бовуар, и подробные, отнюдь не апологетические биографии этих людей, и вообще огромная литература, имеющая непосредственное отношение к делу. Вы цитируете Берберову и добавляете: «Как говорится, комментарии излишни». Странное замечание; но, в конце концов, оно характеризует

Ваше отношение и к Сартру, и к его то и дело менявшимся политическим взглядам, и к его произведениям, и к месту, которой он занял в европейской культуре; отношение это очень простое: всё ясно, и... комментарии не нужны. Незачем разбираться, и незачем интересоваться.

Вы знаете, что эта ясность меня всегда смущала. В конце концов, мы взрослые люди и даже уже старые хрычи. Я полагаю, что «комментарии» не только не лишни, но даже необходимы, — как и необходима, прошу прощения, несколько большая осведомлённость.

Когда-то знакомство с французским экзистенциализмом произвело на меня большое впечатление: я увидел в нём подтверждение тогдашних моих мыслей и тогдашнего настроения, иллюстрацию моего собственного, сугубо личного опыта. Правда, гораздо важнее был для меня в этом отношении Камю, чем Сартр, Симона, Мерло-Понти (которого я вовсе не знал) и другие. Всё это ушло в прошлое. Поверьте, в биографии Сартра Вы нашли бы гораздо больше и подробностей и цитат, которые ещё больше укрепили бы Ваше презрение к его реверансам в сторону коммунизма, Советского Союза и т.д. Но Вы нашли бы там и свидетельства постоянного критицизма по отношению к только что заявленным позициям, и нечто даже вполне противоположное. В статье об Эренбурге и Роже Вайяне, которая оказалась в журнале рядом с рецензией на Вашу книгу, я немного писал о моём отношении к французским коммунистам, есть там два слова и о квазисупружеской паре Сартр-Бовуар. Не хочу повторяться. Добавлю только, что симпатии к советскому режиму — ничтожная часть того, что сделал и написал Сартр и что сделало его — никуда от этого не денешься — одной из ключевых фигур европейской мысли. Сама по себе личность Сартра была такова, что его не отшвырнёшь как старую калошу.

Всякий раз, когда я бываю в Париже, я прохожу по «перекрёстку наук и искусств» возле церкви Сен-Жермен-де-Пре, перекрёстку, который с недавних пор называется площадью Жан-Поль Сартра и Симоны де Бовуар, захожу в кафе экзистенциалистов, без особых эмоций, просто так, разглядываю в одном известном мне художественном магазине альбомы фотографий того времени, всех этих людей, опять же просто так, ради интереса к эпохе и людям.

Вообще (это не касается моих прогулок человека абсолютно постороннего) я мог бы кое-что рассказать о моих встречах с людьми более или менее просоветского образа мыслей, вообще с так называемыми левыми, здесь в Германии. Но это довольно скучно. Одно могу добавить: жизнь за границей дала мне возможно ближе взглянуть на вещи, немного лучше понять (отнюдь не извинить) и эти шатания, и эту слепоту, как и вообще некоторые основы политического образа мыслей. Мне кажется, я научился постепенно смотреть на многое двумя глазами...

Дорогой Бен, я оказался в довольно нелепом положении защитника «растленной парочки», как Вы лихо обозвали Сартра и Бовуар, — тут опять же ничего не остаётся, как только развести руками, — в глупой роли защитника, между тем как ни тот, ни другая никогда не были моими любимыми писателями, ни тот, ни другая в защите никак не нуждаются, а главное, время ругательств, как и время восторга, давно миновало. Пришло время, хоть и с опозданием, поразмыслить, осознать, хладнокровно разобраться, что, собственно, означало и означает сегодня для нас, для нашей эпохи явление этих умов и то, что они оставили. Но ведь Вас это не интересует, Вам достаточно пересказанной по памяти спустя полвека весьма пристрастной мемуаристкой фразы Симоны де Бовуар, и — «комментарии излишни». Для Вас всё решено тридцать лет назад, и баста.

Вы не можете им простить симпатий к Советскому Союзу (впрочем, крайне нестойких и во всяком случае свободных от какой-либо корысти, то и дело опровергаемых заявлениями противоположного характера, то и дело опровергаемых самими публицистами, ведь оба, особенно Сартр, обладали необычайной склонностью критически относиться к самим себе, — завидное свойство, вот бы нам с Вами) и словно забываете о том, что высказывания о Советском Союзе, критические или одобрительные, в общем-то занимают в их наследии совершенно ничтожное место. Россия не только не была для них пупом земли, средоточием мировой истории и так далее, но ощущалась далеко на периферии как страна без серьёзной философии, без заслуживающей внимания современной литературы, страна, значение которой было в том, что она предприняла отважный социальный эксперимент, написала на своих знамёнах внушающие надежду лозунги, противостояла Америке «в качестве ведущей силы мировой политики» (слова самого Сартра) и, самое главное, одержала победу над нацистской Германией.

Вы читали Сартра — кое-что, как Вы пишете. Я могу представить себе, что именно. Но ведь этого совершенно недостаточно — или, вернее, достаточно для того, чтобы получить желаемое представление о философе, прозаике, драматурге, эссеисте и публицисте. Представление, разумеется, превратное. В Советском Союзе не публиковались романы «Тошнота» и «Дороги свободы», пьесы «Мухи» и «За закрытой дверью» (другой перевод — «Взаперти»), оба главных философских труда «Бытие и ничто» и «Критика диалектического разума», в СССР осталась вовсе неизвестной огромная неоконченная книга о Флобере, подверглись тотальному запрету множество других произведений, куда более важных, чем, допустим, пьеса «Некрасов», которую я однажды видел в театре на Бронной. Когда весной 1980 г. Сартр скончался, его провожала огромная толпа, несколько десятков тысяч человек, — как Вы думаете, почему?

Два слова об ангажированности: как я уже говорил, она не совпадает ни с тем, что в СССР именовалось партийностью, к чему мы привыкли, ни тем более с какой бы то ни было продажностью, к чему мы тоже привыкли. Но она означает у Сартра право интеллигента, например писателя, критически контролировать любую деятельность людей, «вмешиваться во все, что тебя не касается». Писатель не может оставаться в стороне от событий и бед своего века. После войны в побеждённой и обескураженной Франции, как в Германии после Первой мировой войны, интеллигенцией завладело настроение (столь близкое мне самому, хоть я и принадлежу к следующему поколению) тотального отчаяния; Сартр сумел противостоять ему. Сартр попытался «извлечь идею человека из-под развалин разрушенной человечности», человека, который в одиночестве, без помощи обанкротившейся религии, вопреки всему, отстаивает свою свободу и своё достоинство. Так родился атеистический экзистенциализм. Далее, Сартр всегда выступал в защиту униженных, будь то негры, евреи или вообще кто угодно. Кстати, он не щадил и коммунистов, окончательно порвал со всяческими иллюзиями после вторжения в Венгрию, довольно быстро разглядел, что представляет собой режим Фиделя Кастро, и т.д.; всё это Вам известно, и всё это я описываю весьма бегло и поверхностно. Тут было наломано немало дров. Далеко не всё я разделяю, да и время очень уж изменилось. Но назвать Сартра «растленным» — это поистине надо уметь.

Конечно, Бен, годы и обстоятельства сделали то, что нам подчас становится трудно понимать друг друга. Но мы стараемся, не правда ли? Одна из причин непонимания (я, как Вы заметили, сторонник «мультикаузальности» — назовём это так; клубок причин вместо одной главной) — та, что Вы, как сидели в своём кресле, так и сидите, я же оказался сидящим на двух стульях. Положение, опасное тем, что можно запросто провалиться *между* стульями.

Всё-таки я не настолько забывчив, чтобы уравнивать судьбу разрушенных воздушными налётами немецких городов с судьбой русских церквей, взорванных после революции. И о том, кто развязал войну, я тоже не забыл — о, нет. «Притча» о Солоухине была рассказана по другому поводу. Образованный человек, именитый писатель не имел представления о том, что произошло во всемирно известном городе, куда он приехал. Это показалось мне симптоматичным. Я говорил о полном отсутствии интереса к людям в других странах и о шовинизме страдания.

Разумеется, я не стал ему возражать, вообще спорить, — зачем? Да он и не захотел бы со мной разговаривать. Оба — Солоухин и Белов — приехали по приглашению Баварской академии изящных искусств, было это, как я уже писал, вскоре после начала перестройки. В честь гостей был устроен большой приём в Академии. Кроме переводчика, из

присутствующих только два человека говорили по-русски: Юра Шлиппе (Вы, кажется, с ним знакомы) и я. Гости вначале, как мне показалось, чувствовали себя стеснённо; видимо, они плохо понимали, где они оказались. Может быть, думали, что Академия — это государственное учреждение. Юра шепнул мне, чтобы я поговорил с ними. Я не послушался, так как был плохого мнения о Солоухине, и разговаривал только с Беловым. Он был похож на дьячка. Солоухин тем временем весьма ободрился, сидел на почётном месте, за большим круглым столом, и читал вслух своё стихотворение «Орёл», как обычно, сильно напирая на «о»: «Я — Орёл, я смОтрю на вас с высОты!»

Гисторические воспоминания, так казать...

О Фейхтвангере: как Вы знаете, книжка «Москва, 1937. Отчёт о поездке для моих друзей» была переведена и выпущена в свет чрезвычайно оперативно — через несколько недель после того, как она вышла, если не ошибаюсь, в немецком антифашистском издательстве Querido в Амстердаме. Вскоре после этого она была изъята. Но я её читал, как ни удивительно, во время войны, когда мы жили в больничном посёлке возле села Красный Бор на Каме. Там не было железной дороги, добираться можно было только по воде, зимой — на лошадях. При этом в селе была замечательная, собранная какими-то энтузиастами библиотека с прекрасным подбором русских классиков, переводных книг, а также со всякой всячиной, не исключая произведений врагов народа. Приходя туда довольно часто, я не видел ни одного читателя. Там я взял книгу Фейхтвангера. Хотя Вы и склонны извинять Фейхтвангера, в отличие от Вольфа Мейнерта, Сартра и других, читать её очень стыдно. И, что ещё печальней, Фейхтвангер до конца жизни не дистанцировался от того, что там написано.

Дорогой Бен, нас завалило снегом. За 23 с половиной года, что мы живём в Баварии, не было такой обильной снегами зимы. Зрелище изумительной красоты, но трудно не только проехать, но даже пройти, пригородное сообщение прервано, не взлетают самолёты, в городе не ходят трамваи, шажком передвигаются автобусы. Одним словом, как в приключениях барона Мюнхгаузена, только это не Россия, а Южная Германия.

С интересом и удовольствием, как всегда, прочёл я Ваше предисловие (Вы и меня там почтили) и, кстати, чтобы не забыть, нашёл там среди прочего важную для меня мысль о том, что «история и современность — это, в сущности, одно и то же: они не существуют раздельно. История — это не только то, что мы изучаем в школе, она имеет самое прямое отношение к современности, к сегодняшней, повседневной нашей жизни. А жизнь — та, что вокруг, в которой и которой мы живем, — это тоже история».

Не будучи ни в какой мере историком, я все последние годы должен был размышлять об истории, однажды даже написал довольно сумбурную статью под названием «Долой историю».

Лион Фейхтвангер значил для меня, когда я был подростком, очень много. После войны его медленно, но верно оттесняли другие имена, другие книги, — Вы об этом пишете, — и это происходило не только у нас. В тридцатых годах он был чуть ли не самым читаемым немецким писателем (после Эмиля Людвига). В 40-х и 50-х явились другие кумиры. А у нас он стал получать плохие отметки. Например, я помню статью, кажется, в «Новом мире», где его внушительно лягнули за роман «Оружие для Америки» (позже он вышел под другим названием), так как книгу приняли, по ошибке, а может, и намеренно, за хвалебную песнь Соединённым Штатам. И, наконец, Фейхтвангер был торжественно разоблачён как еврейский националист.

Как-то раз, года через три после нашего приезда в Германию, я решил перечитать, на сей раз по-немецки, «Изгнание», некогда читанное с упоением; мне казалось теперь, что я повторил судьбу Зеппа Траутвейна и других. Прочёл две-три страницы, и оказалось, что с Фейхтвангером что-то случилось: мне стало скучно. Проза выглядела какой-то неглубокой, слишком прямолинейной, почти фельетонной. Проза писателя, всецело принадлежавшего своему времени.

Вы интересно написали об историческом романе. Мне кажется, лучший у Фейхтвангера — «Безобразная герцогиня». Недавно был поставлен весьма любопытный фильм о послевоенном процессе над Файтом Гарланом, известном кинорежиссёре, который при нацизме сделал фильм по роману «Еврей Зюсс». (Другой фильм, тоже недавний, — двухсерийный «Успех», несмотря на усилия замечательных актёров, оказался очень бледным.) Вы называете «Лже-Нерона» самым что ни есть настоящим историческим романом. Тут, вероятно, следовало бы задуматься, что это такое — настоящий исторический роман. Когда-то я читал небольшую книжку Фейхтвангера «Дом Дездемоны», этюд об историческом романе, каким он должен или может быть. Кажется, книга не переводилась. Там говорится, что исторический роман есть не что иное, как переодетая современность.

Ещё я вспоминаю, как однажды в университете доцент А.Г. Бокщанин, историк, обрушился на Фейхтвангера за то, что он воспел Иосифа Флавия — изменника родины. Мне тогда почудилось в этой филиппике что-то антисемитское.

Как Вы знаете, Фейхтвангер, вопреки своим симпатиям, не эмигрировал в СССР. Это симптоматично, не правда ли? И нетрудно понять, почему. Никто из крупных немецких писателей не искал политическое убежище в Советском Союзе, Брехт прибыл в Москву и, не задержи-

ваясь, проследовал далее через всю страну в Америку, где, правда, у него были неприятности. Что касается Фейхтвангера, то он был один из очень немногих, кто не бедствовал в изгнании. В Санари-сюр-Мер была сразу куплена вилла, в Калифорнии — дом.

Между прочим, я однажды читал, как он работал в Пасифик Пелисейдс. (Они все там жили возле Лос-Анджелеса, писатели и композиторы, неподалёку друг от друга.) Задумав новый роман, он сперва диктовал машинистке всё, что приходило в голову: общий замысел, силуэты героев, сюжетные линии, соображения о стиле. Далее — диктовка начерно, правка; каждая очередная редакция перепечатывалась на бумаге другого цвета. После этого писатель брался за перо. В кабинете стояло несколько столов, за одним можно было писать стоя, за другим сидя, третий был приспособлен для писания лёжа. Всё оборудование литературной мастерской, пишущие машинки, картон, бумага — отменного качества. Домашняя библиотека — 25 тысяч томов.

Вы правы, Бен, говоря, что написанное мною о Сталине — теперь уже банальность. Но статья была написана довольно давно. Кроме того, такие тексты пишутся в большой мере для самого себя — отвести душу, что ли. Кажется, я всё ещё не вполне отстал от старой привычки писать для себя. То же можно сказать о главной теме статьи «Долой историю». Она порождена особым чувством, о котором я скажу немного, — но оно, я думаю, присуще не только мне. Конечно, я не могу всерьёз отрицать историографию как науку, вернее, как систему знания, — это было бы смешно. Речь идёт об отношении к истории, а ещё лучше сказать, об историческом сознании, величайшем, может быть, достижении европейского человечества в XIX веке. О попытках отыскать в смене исторических событий разумный смысл, о том, что можно было бы назвать историоидеей. Мы и сейчас находимся во власти исторического сознания. А между тем оно провалилось, весь этот образ мыслей дискредитирован вместе с его частными приложениями — всеобъемлющими историософскими концепциями. Так же как дискредитирована религия, как вызывает неприязненное отношение к себе политика. От этого чувства — а это именно чувство в первую очередь — я не могу отделаться. Можно говорить о смысле жизни. О смысле истории говорить невозможно.

Что остаётся? Ответ известен: литература.

Два слова о выступлении Сталина на трибуне Мавзолея. Я когда-то узнал о том, что на самом деле вождь сидел в радиостудии, из одного документального фильма (как и о том, что инсценировкой были кинокадры Халдея с водружением знамени на одной из двух скульптурных групп рейхстага). Но Вы правы: участники (или кто там) рассказывали, что Сталина попросили повторить съёмку, так как на Красной площади будто бы не получилось. Верить этому или не верить — не знаю.

Я когда-то видел замечательную берлинскую выставку «Изображения лгут» («Bilder lügen»), это были всевозможные известные и неизвестные фальсифицированные фотографии и некоторые другие материалы, а рядом подлинники — из Советского Союза, нацистской Германии, фашистской Италии, было кое-что и американское. Там же демонстрировалась техника фальсификации.

У меня неприятности: после того, как я сверзился на подснежном льду, всё ещё хромаю. Но зима, по некоторым сведениям, кончается, снег подтаял. Мы собираемся (это уже давнишний план) ещё раз ненадолго съездить в Венецию, на сей раз вместе с одной московской приятельницей. Город, который настолько окутан туманом литературных и музыкальных ассоциаций, что настоящую царицу вод и не разглядишь; Вы, вероятно, видели старый фильм Висконти «Смерть в Венеции» по новелле Томаса Манна, с музыкой Малера, — вот достаточно характерный пример. Но я не могу сказать, что скучаю по Венеции. А вот по Парижу скучаю. Может быть, больше уже не удастся туда наведываться.

Новостей особенных нет, хотя радио и телевидение (газет я практически не читаю) не скупятся на расписывание и раскрашивание всех горестей мира. Помните ли Вы прелестный очерк Чапека «Как делается газета»? Там говорится, если я правильно помню, что не бывает такого дня, когда бы редактор сообщил: за истекшие сутки ничего нового не произошло.

Обнимаю Вас, Бен, выздоравливайте. Не верьте Чапеку.

Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007)

Часть вторая

Дорогой Бен, из Вашего рассказа можно сделать вывод, что водка оказывает благоприятное действие при зуде, — это некое новое слово в медицине. Но шутки в сторону. Я Вам очень сочувствую. Авось как-нибудь пройдёт, не мытьём, так катаньем.

Вы заключили своё письмо глубокомысленным афоризмом насчёт того, что полного счастья в этой жизни нет. Удивительно свежая мысль.

Живу я в общем-то без перемен. Новая, теперь уже четвёртая эмиграция за последние годы развила довольно активную деятельность. Среди прочего в Мюнхене существует подобие русского литературного кружка, где я раз в три-четыре недели вещаю на разные темы, преимущественно о прозе, например: «Оправдание литературы», «Автобиографизм», «Рассказ», «Эротика», «Время», «Судьба» — и всё в таком роде; это продолжается уже целый год. Сегодня вечером —

«Стиль и слог». Что можно сказать о стиле? Что стиль — это обуздание хаоса? Способ справиться с бременем существования, с кровавым абсурдом истории?

Мы вернулись из волшебного города, называемого Веной, провели там четыре дня. Я бывал там не раз, но всё «по делам», а сейчас, наконец, разглядел и проникся. Кстати, разыскали мы и гостиницу, где когда-то, в первые дни, квартировали; она существует до сих пор. Эти дни, как и то, что предшествовало бегству из СССР, я помню очень хорошо.

Сообщите, как подвигается Маяковский; мне интересно всё, что Вы делаете. Я писал однажды о том, что разброс мнений о Маяковском, спор о его величии или малости, который всё ещё не утих, — лучшее свидетельство того, что, вопреки всему, он не умер. И, кстати, отнюдь не забыт ни во Франции, ни в Германии. Правда (это относится ко многим), иногда начинает казаться, что читать о Маяковском интересней, чем читать самого поэта. А ведь он написал: «Я — поэт. Тем и интересен».

Мои собственные литературные дела идут ни шатко ни валко. Я всё пытаюсь вытащить из трясины свой роман, как выволакивают завязший воз (чем я занимался одно время в былые дни), иногда пишу разную мелочь. Между прочим, мне тут как-то прислали номера теперешней «Химии и жизни», где я когда-то ведал литературой, я разбежался и послал им один старый рассказ, пародию на детектив с некоторым вывертом. И пожалел. Редактор подверг мой текст ненужной правке, мне пришлось объясняться, и всё такое; короче, потерял время.

Интервью с нашим пророком прочёл, что сказать по этому поводу, не знаю. Всё это мне глубоко чуждо. Похоже, что вопросы интервьюера (кто он, кстати?) составлены «под отвечающего», то есть сознательно с целью дать ему высказаться в нужном направлении, примерно так, как устраивались ответы товарища Сталина на какие-то якобы независимые вопросы. И вопрошающий, и отвечающий играют в одни ворота.

Вступление написано плохо. Что касается собственно вопросов и ответов, то многое, конечно, — особенно глядя отсюда, — может вызвать только недоумение. Оказывается, для демократических реформ в России выбран «крайне неудачный момент, а именно тогда, когда взятая за образец западная демократия оказалась в глубочайшем институциональном и содержательном кризисе». Любопытно было бы узнать, откуда интервьюер это взял. Вообще всякий раз, когда заходит речь о «Западе», собеседники попадают пальцем в небо; но это обычная история. Для Солженицына же многопартийная система вообще неприемлема. Его по-прежнему увлекает идея местного самоуправления со ступеньками, ведущими к «верховному земскому собору».

От всего разговора идёт душный запах застарелого провинциализма. О том, что национализм есть нечто постыдное, наш пророк как будто даже не догадывается.

Да, Бен, можно было бы сказать, что с нашим ребе творится что-то неладное, если бы это началось недавно; но его мировоззрение сложилось много лет тому назад, первые проблески можно заметить уже в ранних публикациях. Цельность характера — одна из его черт, и это сказывается, между прочим, в единстве идеологии и «эстетики». Язык и стиль художественных произведений надиво гармонирует с проповедью.

Вы говорите о том, что настроения этого рода популярны в России, но лишь у тёмных обывателей. Вам, конечно, виднее. Но многочисленные статьи, интервью и прочее, что появляется чуть ли не каждый день в российских media (сужу по тому, что читаю в интернете), в том числе не только в самых оголтелых журналах и газетёнках, заставляют предполагать, что это не совсем так. Это впечатление убийственным образом подкрепляется массовыми опросами Института Левады, социологическими исследованиями Б. Дубина, Л. Гудкова и других. Можно указать и причины, по которым национализм, расовую и этническую нетерпимость, подозрительность, ненависть к Америке и вообще к западному миру, смехотворную, хотя и объяснимую, ностальгию по советским временам, почитание Сталина и так далее — исповедуют далеко не одни только тёмные обыватели.

Что касается самых пахучих печатных органов, то расскажу Вам маленький случай. Время от времени я захожу в Stabi — Баварскую государственную библиотеку. Там, в газетно-журнальном зале, весьма богато, среди прочего выставляются поступления из России. Каждый раз я видел там газету «Православная Русь», издаваемую «по благословению» архиепископа такого-то. Собственно, не она одна такая. Как-то раз, шутки ради, подхожу к справочному столу, где сидят библиотекари, и спрашиваю, знакомы ли они с этой газетой. Нет, говорят, мы русского языка не знаем. Показываю им: а вот здесь в рамке цитаты из «Майн кампф». И ещё кое-что. А между прочим, если бы об этом узнала баварская полиция... Ах, ах! мы непременно доложим. С тех пор газетки на выставке больше нет. Могу сказать, что я её здесь погубил.

Года два назад одно немецкое издательство просило меня написать рецензию на книгу, выпущенную на двух языках; она показалась мне не то чтобы очень интересной, но симптоматичной. Посылаю Вам для развлечения эту рецензию (это по поводу настроений у бывшей либеральной интеллигенции) и заодно ещё одну, о покойном Г. Свиридове, который либералом не был.

Дорогой Бен, я только что прочёл эту замечательную беседу и на минуту представил себе, о чём я говорил бы, если бы там сидел. Вероятно, я ничего не мог бы сказать. Два оппонента: Нарочницкая и Вы. Вас отчасти поддержал Подрабинек. Ведущая старается соблюсти нейтральность, но, похоже, склоняется на сторону Нарочницкой. Об этом говорит и название радиопередачи. Ведь оно как будто допускает возможность того, что абсурдный тезис «шестидесятники развалили СССР» справедлив. Бывает, что вопросы произвольно выдают того, кто спрашивает.

Это похоже на историю с добыванием останков Николая II и его семьи: православной церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, как будто даже в голову не пришло, что сам вопрос постыден.

Конечно, мы здесь знаем, что представляет собой российская Государственная Дума. О ней стараются говорить поменьше не только потому, что она, по-видимому, не играет роли в реальной политике страны, но и потому, что эта Дума — худшая реклама для России. И всё же меня ошарашили эти откровения председательницы комитета по международным делам. Я не представлял себе такой каши в голове этой дамы, такого тупоумия, такой ослеплённости откуда-то надёрганными фантомными идеями, такого незнания действительности и, наконец, самого вульгарного невежества. Вот так комитет. Поэтому я и говорю, что не смог бы вообще участвовать в дискуссии.

Конечно, я совершенно согласен со всем тем, что Вы пытались втолковать этой даме, а заодно и радиослушателям, значительная часть которых, как я подозреваю, солидарна с ней. С этого мы, собственно и начали, когда зашла речь о нашем пророке. В сущности, ничего нового; лишнее подтверждение той сумятицы, которая царит в головах и сердцах. И, однако, всякий раз, когда я это читаю, мне становится тошно. Казалось бы, что мне Гекуба... Но ведь мы заканчиваем нашу жизнь, и за спиной завершившийся век. Нужно подвести итог. Не прогнозировать, не тешить себя надеждами: все прогнозы рушатся, основания для надежд нет. Это было для меня ясно по меньшей мере тридцать лет назад. Но надо попробовать сызнова обозреть, осознать и прошедшую жизнь, и минувший век, каким-то образом связать их. В чём это осознание, каков этот итог?

Видите, Бен, что значит жить за тысячу вёрст друг от друга, в разных мирах. Мы говорим на одном языке, но вкладываем в слова неодинаковый смысл. Если спросить жителя тропических островов, что такое дерево, он ответит: ну, например, пальма. А гипербореец скажет: ель. С моей точки зрения, Ваш разговор по радио был именно

обменом мнений: Вам пришлось волей-неволей выслушать заместительницу по международным делам, а она, в свою очередь, должна была выслушивать Вас. Высказываясь, она самоутверждалась, старалась (разумеется, крайне примитивно) найти убедительные, как ей казалось, формулировки. Другое дело, что Вы не собирались её переубеждать. Но, согласившись участвовать в дискуссии, Вы должны были следовать правилам: слушать, отвечать. Это и есть обмен мнениями, каковы бы они ни были.

Вы говорите, что у этой тётки нет собственных взглядов, а есть ампула, её высказывания — всего лишь «боевая окраска». Простите, но в мире политики это обычное дело. Личные, приватные воззрения никого не интересуют. Политический деятель любой масти, если он ещё не вышел в отставку, всегда выражает мнение своей партии. Если известно, что Нарочницкая — член партии «Родина», то заранее ясно, что она будет петь. Есть ли у неё какая-нибудь собственная, независимая точка зрения или вовсе нет никакой, не имеет значения.

А в общем-то, хрен с ней.

Меня немного позабавила Ваша фраза «не интересоваться политикой — тоже политика»; мы её часто слышали в Советском Союзе, и замечательную эту мысль я вставил в мою статейку о Вайяне и Эренбурге. Разумеется, прав был ещё один классик, сказавший, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

(Между прочим, читая когда-то статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», — Вы её помните, — я не мог отделаться от подозрения, что всегдашнее ритуальное цитирование этой статьи в учёных трудах и школьных учебниках основано на недоразумении. Статья двусмысленная, и похоже, что литература, о которой там говорится, это именно литература партии, то есть брошюры, доклады, «платформы» и т.п., а вовсе не художественная литература в обычном смысле.)

На самом деле, конечно, фразу насчёт общества можно принять лишь при условии, что мы откажемся от столь характерного для Лукича аподиктического авторитарного тона. В известной мере можно быть свободным и от общества. Постараюсь сказать кратко. Я бывший политический заключённый, но отвращение к политике у меня не уменьшилось после того, как я уехал из России. Это отвращение питается глубоким недоверием к политическому мышлению. Оно, это мышление, всегда основано на бинарных оппозициях: чёрное или белое, правда или ложь, союзник или противник, мы и они и так далее. Это мышление идеологическое, воспитанное идеологией, ищущее оправдания в идеологии. Это мышление опирается на безусловную веру в истину, единственную и последнюю. Политик не может не быть категоричным в своих программах и выступлениях, он убеждён, что владеет такой истиной.

Это, как мне кажется, мышление, глубоко враждебное мышлению писателя, натуре художника вообще, и если оно поработает писателя, завладевает его сознанием, результат получается в конечном счёте самый плачевный. О чём я, кстати, и писал в вышеупомянутой статье.

Дорогой Бен,

как я уже писал Вам, Лора получила приглашение в полусанаторную онкологическую клинику в городке Аулендорф (в Верхней Швабии), куда мы и отправляемся послезавтра. Это примерно два часа езды на машине. Лечение и пребывание финансирует контора, которая платит мне пенсию (весьма скудную), но за моё собственное пребывание надо расплачиваться самим. Мы должны будем там пробыть три недели.

В остальном особых новостей нет. Среди книг, которыми я запасся, — воспоминания Симонова «Глазами человека моего поколения», собственно, давно мне известные (и Вам, конечно; с предисловием Лазаря), но как-то захотелось взглянуть на них снова, тем более что я немало занимался этими временами последнее время.

Мы возвратились в Мюнхен. Область распространения швабского диалекта некогда была поделена между двумя королевствами, Баварским и Вюртембергским, мы находились в курортном городке Аулендорф, это теперешняя земля Баден-Вюртемберг. Красивые места, леса, поля, холмы, графский дворец, много санаториев, огромный парк с двухсотлетними буками и липами, грандиозный бассейн, частью под куполом, со всякими чудесами. Когда кончился трёхнедельный срок, отправились на несколько дней к друзьям в Альгой на юге Баварии, возле Боденского озера. В Мюнхене жара и футбольная истерия: мировой чемпионат. Иностранные известия, как всегда, удручающие. Такие дела.

Из русских книг читал среди прочего мемуары Симонова, весьма интересное произведение, не утратившее пахучести до сих пор. Но если заголовок подразумевает представительство поколения, так сказать, его голос, то, я думаю, это не соответствует действительности: в своём поколении Симонов был крупным осетром, то есть исключением. Любопытно, что, отмежевавшись (вроде бы) в конце концов от Сталина и сталинизма, он остался сталинистом. Может быть, эта верность отвечала его кодексу чести, особенно военной. А может быть, это (грубо говоря) демонстрация глупости. (Дитрих Бонгёффер говорил, что в иных случаях глупость — это преступление.) Любопытен рассказ о заседаниях комитета по присуждению сталинских премий по литературе. Даже много лет спустя автору воспоминаний как будто даже не приходит в голову гротескность всей ситуации. Сюда же и пресловутая борьба за мир — автор, как и Эренбург в «Людах, годах...», вспоминает о ней без тени улыбки.

Определённый интерес сохранило, как мне кажется, предисловие Шинделя. Как Вы знаете, мы учились на одном курсе. Лазарь был старше меня совсем ненамного. Но он был фронтовик и партийный активист, я же был зелёным юнцом. Между нами как раз и пролегла граница поколений. Чувствуете ли Вы её?

Один старичок-историк, проживающий в Аахене, переслал мне по поручению Эммы Манделя открытое письмо римскому папе, написанное Манделем (естественно, по-русски) по поводу визита Арафата в Рим. Эмма упрекал папу в том, что он потакает терроризму, и заодно обвинял «Франкфуртер Альгемайне» и другие газеты: по его мнению, это нацистские органы. Во «Франкфуртер», которую он сравнивал с «Фёлькишер беобахтер», я должен был поместить его послание главе римской церкви.

Если Вам интересно — я сейчас нашёл в интернете ответ, который мне пришлось написать:

«Дорогой такой-то, мне придётся Вас разочаровать. Я понимаю чувства Эммы Коржавина, отчасти разделяю их. И, конечно, отнюдь не сочувствую террористам. Но выполнить Ваше поручение не могу. Невозможно предлагать немецким газетам письмо человека, который уподобляет эти газеты нацистским. Согласитесь, что это не просто преувеличение, каких в письме очень много, но злая и глупая ложь. Наш друг Коржавин никогда не читал ни «Фёлькишер беобахтер», ни «Франкфуртер Альгемайне» и судит о них понаслышке.

В его письме гораздо больше эмоций, чем здравых мыслей, и это, бесспорно, вредит автору в глазах читателей и редакторов. Коржавин в Германии совершенно неизвестен. И, хотя никому не возбраняется обращаться к римскому папе и вообще к кому бы то ни было, газеты не станут печатать открытое письмо человека, о котором никто не знает, кто он такой и чем он занимается».

Это был пример того, о чём Вы пишете, — катастрофического отрыва от действительности. Но я не думаю, что поглупение, почти клиническое, как и переоценка самого себя, наступили недавно. Это старая история.

Что касается Лазаря Шинделя, то он, насколько я могу судить, и переменялся (о чём Вы пишете), и остался прежним. Прежним — это прежде всего честным и порядочным человеком. Но, разумеется, человеком своего поколения. Я никогда с ним близко не общался и сужу, может быть, опрометчиво; сужу по тому, что читал, отчасти и по той прискорбной истории с публикацией моего очерка о Юнгере. Я понимаю, что всем нам непросто вытравить из себя рудименты советского прошлого. Но Лазарю — труднее, чем нам с Вами. Как он, кстати, поживает?

Дорогой Бен, слава Богу, у Вас всё в порядке — более или менее, добавьте Вы; то же могу сказать и о себе. Время от времени мы ездим по утрам купаться на соседнее озеро, днём я по большей части сижу дома, через десять дней к нам нагрянут внуки; вот, собственно, и все новости.

Мобильник, сотовый телефон и проч. — эти слова у нас здесь не употребляются. Общепринятое название — «хэнди» (handy). Разные новые усовершенствования — хэнди-компьютер с интернетом, хэнди с телевизорами и пр. (вспомните перочинные ножи с вилками, ложками, ножницами и так далее, вплоть до складных лопат, грабель и плугов), — надо думать, появились и в России. Разумеется, без всего этого можно прекрасно обойтись, но коварство техники состоит в том, что, едва только Вы соблазнитесь и приобретёте что-нибудь такое, как окажется, что жить без этого прибора уже нельзя. Если бы здоровый человек походил неделю-другую на костылях, выяснилось бы, что передвигаться без костылей невозможно. Я, впрочем, обхожусь без хэнди.

Вы говорите, что живёте в XXI веке. Эх куда Вас занесло. О себе я буду вынужден сказать, что живу, как и прежде, в двадцатом веке, если не в девятнадцатом. Я живу в воспоминаниях — это, конечно, обыкновенный симптом старости, её проклятье и её благословение. Главным образом из этого мешка воспоминаний я добываю материал для своих писаний. Меня утешает то, что литература чаще всего и питается прошлым; примеры общеизвестны. Больше того, литература, заслуживающая этого имени, живёт в прошлом и в будущем, — но не в настоящем. Литература, которая обретается в настоящем, недолговечна; это естественно. Надо уметь игнорировать сегодняшний день. Есть такое изречение Петера Вейса, грамматически довольно хитрое; буквальный перевод: «Помни о том, что сегодня завтра станет вчера». Мы с Вами когда-то толковали на эти темы.

Вы пишете о богатых виллах, магазинах, которые ломятся от товаров, о рекламных щитах вдоль дорог (у нас их, правда, нет: реклама на дорогах запрещена). Вы говорите о торжествующем капитализме. Хотя последний раз я был в нашем отечестве, вероятно, не меньше трёх лет назад, я эти вещи имел удовольствие видеть. Страна меняется очень быстро. Всё же осмелюсь заметить, что это не совсем тот или даже совсем не тот капитализм, который существует в государствах — их немного, — которые вырвались вперёд и ушли так далеко, что не может быть и речи о том, чтобы их догнать. Да и как могло быть иначе. Я не утверждаю, что западный или японский посткапитализм лучше или хуже прежнего, давно минувшего капитализма. Это другой вопрос. Но Россия пока что приблизилась к экономике, более всего напоминающей экономику стран бывшего Третьего мира (не знаю, какой уж он теперь по счёту).

С чего бы это я стал сердиться на Вас, Бен, разве то, что Вы перечтите мне, а я Вам, не есть нечто естественное? Было бы скучно, если бы нам приходилось друг другу поддакивать и только. Причин для расхождений, вероятно, много, но достаточно уже и той, что мы живём в разных странах, я бы даже сказал — в разных мирах. Последствия не только психологические, это уж само собой, но и чисто семантические: подчас мы вкладываем в одни и те же слова родного языка разный смысл. Вам кажется, что я Вас не понял: Вы писали мне о самочувствии обывателя (рядового потребителя товаров), а я начал толковать об экономике. Это показательный пример. Ведь в открытом обществе, в отличие от закрытого или, как сейчас в России, полузакрытого общества, перемены на «макро»-уровне мгновенно отражаются на бюджете рядового человека, выстраивается цепочка: общеэкономическая ситуация западного мира конъюнктура в стране в городе в социальном слое, к которому я принадлежу, наконец, мой собственный карман. Ну, а что касается разницы нынешнего положения в России с тем, чему мы с Вами были свидетелями чуть ли не всю нашу жизнь, то, поверьте, я могу её оценить.

Разумеется, я помню, что Вы не раз писали (и говорили) о работе над книгой о Маяковском. Но говорили и о мемуарах. Что касается «лучшего, талантливейшего», то когда-то Вы весьма резко критиковали книжку покойного Юры Карабчиевского. (Её ругали многие.) Означает ли это, что Ваш нынешний труд будет носить скорее апологетический характер? Вы сказали, что в литературном смысле, в Ваших нынешних занятиях, Вы живёте даже не просто в минувшем столетии, но конкретно в двадцатых годах Двадцатого века. У меня, прошу прощения, всегда было чувство, что и Маяковский весь или почти весь остался там, в 20-х годах. Причём не только в нашем отечестве, но и — по-моему, это очень важно — в Европе того времени. При том что он так плохо её знал.

Дорогой Бен. Возможно, я в самом деле отвечаю Вам невпопад, но это не значит, что я Вас не слышу, не понимаю, — напротив, я всегда читаю Ваши письма с большим вниманием. Просто я подумал, что сопоставить экономическое положение двух разных обществ, может быть, ненамного менее интересно, чем сравнивать нынешнее положение в России с тем, что было в советские времена. Уж эти-то времена, уверяю Вас, я не забыл.

Теперь о Маяковском.

Моё знакомство с его поэзией началось, я думаю, с эпизода, который случился, когда мне было лет девять или десять. Каким-то образом я попал в число детей, которые выступали по радио, а один раз мне пришлось даже выступить по телевидению. Тогдашнее всесоюзное те-

левидение носило, как Вы помните, экспериментальный характер, тем не менее уже устраивались передачи. Я запомнил известного в то время диктора Герцога, у него были покрашены губы. Он вёл передачу. Выступал хор под управлением Кувькина. После этого шёл мой номер. Я стоял под ярким освещением перед каким-то устройством, похожим на систему тёмных зеркал, смотрел прямо перед собой и держал листки с текстом, но так, чтобы их не было видно на экране, читал наизусть и ронял листы на пол. Это было стихотворение «У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда, чем заниматься?»

Вы пишете, что официальный Маяковский заслонил от меня Маяковского настоящего. Я так не думаю. Я даже предполагаю, что водораздел между «официальным» и «настоящим» не так уж велик; но об этом немного позже. Я не проходил Маяковского в школе (не учился в 10 классе), а что касается дальнейшего, то официальные оценки и мерки довольно скоро перестали для меня служить ориентиром. Конечно, знаменитая фраза «был и остаётся лучшим, талантливейшим», Яхонтов с его чтением «Стихов о советском паспорте» и т.д. чрезвычайно повредили Маяковскому; как и для многих, они повредили поэту и в моих глазах. Но в моём случае определённую роль сыграло то, что в ранней юности, в решающую пору очень интенсивного, напряжённо эмоционального восприятия поэзии, Маяковского со мной, если можно так выразиться, не было, я оказался в ином окружении. Огромную роль играли Пушкин, Лермонтов, Некрасов, а уж о Блоке я и сейчас (пользуясь его собственными словами) не могу говорить без волнения. Немного позже пришли немецкие поэты, первым — Гейне. Маяковский как-то не вписывался в эту компанию. Не то чтобы я его не читал. Читал, конечно, — и не только «официального». Вообще — Вы это, вероятно, знаете по себе — в эти годы глотаешь всё, в том числе и то, чего потом не стал бы читать даже за приличное вознаграждение. Верно и то, что больше всего, больше сталинской директивы и житийных биографий Маяковского он повредил себе сам.

Невозможно было не задуматься (я говорю о себе), почему, собственно, поэт такого бесспорно крупного масштаба оказался оттеснённым. Дореволюционного Маяковского привычно зачисляли в футуристы, но ясно, что с большим правом его следовало бы назвать поэтом-экспрессионистом: он влился в это могучее общеевропейское течение, даже шёл впереди него. Он во многом был и зачинателем сюрреализма. Уже одно это обеспечило ему курульное кресло на Олимпе. Но я люблю экспрессионизм в живописи и, к несчастью, с трудом переношу его в поэзии. Громогласная риторика, надрывные крики, какая-то вселенская истерика и довольно безвкусный гиперболизм меня отвращают. Это — так, личный вкус. Но есть и другое, то, что мешало Маяковскому и до, и после революции: по контрасту с мощным темперамен-

том — невысокая культура. И даже стихи, которые мне очень нравятся, которые и Вы цитируете, — то и дело, в одной, в двух строчках, нет-нет да и оказываются подпорченными из-за провалов вкуса.

Мы с Вами вспоминали фразу покойного Липкина насчёт крупнейшего из второстепенных поэтов. Слово «второстепенный» звучит обидно, замените его выражением «поэт второго ряда». И тогда окажется, что С.И. был прав. Слишком многое не позволило Маяковскому стать небожителем. Мы можем назвать гением Артюра Рембо, Тютчева, Блока, Пауля Целана. Маяковскому приличествует другой титул. Тоже достаточно почётный.

Иногда (в Ваших устах тоже) получается так, что все эти официально превознесённые стихотворения поэта, заявившего (может быть, не без некоторой нарочитости, не без вызова), что он сознательно поставил своё перо в услужение и т.д., что всё это — нечто наносное, отчасти вынужденное, пожалуй, даже побочное и во всяком случае не столь существенное, а важно-де совсем другое. Допустим, «Облако в штанах» или «Про это». «И мне бы... Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». (Поразительные, необыкновенно сильные стихи! Может быть, «Во весь голос» — лучшее, что он создал.) Стоит, однако, задуматься, что это была — или была бы — за песнь.

Всплыло имя покойного Юрия Карабчиевского. Вы сочли его мелким человеком. Это несправедливо. Мелким человеком он не был. Когда-то он прислал нам на хранение две повести: «Жизнь Александра Зильбера» и «Незабвенный Мишуня». Это была, насколько я помню, вполне приличная, добротная, как тогда говорили, реалистически жизнеподобная проза в духе «Нового мира», хотя, конечно, никакой «Новый мир» её бы не напечатал. Гораздо важнее оказалась «Тоска по Армении», и в особенности впечатляла в то время его исповедальная публицистика. И она, и трагическая судьба самого автора как-то очень выпукло обозначили это короткое время. Но мы с Вами говорим о «Воскресении Маяковского», возможно, главной его книге. Как бы ни относиться к ней, она была событием. Отмахнуться от неё, отшвырнуть её прочь не так-то просто. Того, о чём Вы говорите, — что расчёт с Маяковским был в большой мере расчётом автора книги с самим собой, со своей юностью, что Маяковский для него (в отличие, например, от таких, как я) очень много значил, — не скрывал и сам автор. Но можно вспомнить и некоторые другие мотивы и соображения в этой книге. Карабчиевский был не первым, кто указал на Николая Фёдорова как на духовного отца Маяковского. Карабчиевский, однако, сделал это внятно и убедительно, указал на сердцевину фёдоровского проекта. Фёдоров был фашистом.

Пусть не удивляет такое словоупотребление. Имеется в виду нечто более общее, нежели конкретный государственный строй. (Вспомните,

что Ролан Барт называл язык — фашистом. Вот одна цитата: «Язык... не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто»).

Фашизм в том значении, которым я хотел бы здесь воспользоваться, — это некоторый социально-психологический (и, конечно, политический) комплекс; он включает в себя подавление личной самостоятельности, недопустимость какого бы то ни было своемыслия, безусловный примат коллектива перед отдельным человеком, культ мобилизованной молодости, силы, здоровья, единодушие, исповедание единой идеи, энтузиазм, маршеобразную устремлённость к великой утопической цели. Вы могли бы дополнить и усовершенствовать этот перечень.

Именно этим духом проникнуто в большей или меньшей степени преобладающее большинство творений Маяковского революционной и послереволюционной поры, и я не думаю, что можно остановиться на простой формуле: жертва соблазна или принуждения. Соблазн стать певцом тоталитаризма был, разумеется, велик. Но наш усопший вождь и учитель проявил незаурядный нюх, выбрав из всех известных и вполне советских поэтов — Маяковского как лучшего и талантливейшего. Маяковский был не просто принужден, обманут, одурачен, соблазнён, — он *был таким*. Он не лицемерил и не приспособлялся. Он был абсолютно искренен, был самим собой, когда говорил: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». (Здорово сказано, не правда ли?) Мы имеем дело с сердцевинкой, с сутью его творчества. Бесспорно, это было его трагедией. Но, конечно, трагедией иного рода, нежели трагедия Мандельштама, драма Ахматовой, и Пастернака, и кого там ещё. О поэте судят по тому, что от него осталось. Маяковский не умер. Он остался — как самый, может быть, сильный в русской традиции поэт фашистского толка.

Дорогой Бен. Гёте был тоже коротконог, об этом упоминают при случае, и никто не обижается. Я посчитал: в небольшом Вашем письмеце слово «мелкий» повторено шесть раз. Жаль, конечно, что Ваш приговор книге покойного Карабчиевского свёлся к тому, что называется *argumentum ad hominem*.

Жаль, потому что в ней содержатся некоторые принципиальные вещи, важные мысли, теперь уже, может быть, и не столь неожиданные, но заслуживающие более серьёзной и уважительной полемики. Не думаю, что автором руководил азарт Герострата, это было бы слишком простым решением. Не говоря о том, что ведь уже тогда престиж Маяковского в среде интеллигенции был изрядно подорван. Короче говоря, Вы не заметили из-за деревьев леса.

Вы считаете нашу дискуссию бессмысленной. Разумеется, о вкусах не спорят; наши вкусы и предпочтения во многом не совпадают. Но, может быть, в Вашей будущей книге Вам будет трудно обойти вопросы, которые выходят за пределы пререканий о том, что нравится и что не нравится.

Я нахожу в том, что до сих пор читал о Маяковском (и не только о нём) у советских и послесоветских авторов, в том числе и совершенно независимых людей, своего рода изоляционизм. Речь идёт о мнимой автаркии русской литературы. Получается, что она, словно остров Лапуты, висит в пустоте. В самом деле, и в предвоенные, и в послевоенные времена были предприняты невероятные усилия, чтобы отрезать её от континента современной европейской литературы. Уж нам-то с Вами напоминать об этом не приходится.

Маяковский не застал эту пору цветущего сталинизма, но что касается его собственного расцвета — 20-е и канун 30-х, — то мало кого можно назвать из советских поэтов, кто с таким же громохочущим пафосом, с такой же поэтической убедительностью, с таким же чутьём, политическим нюхом, слепым каким-то зрением сумел бы воспеть эту эпоху после Мировой войны (на которой, правда, он не был, в отличие от своих современников), воспеть, восславить, выразить — как хотите — время крушения буржуазной демократии, обвала европейских ценностей, дискредитации европейского гуманизма и либерализма.

Триумф военизированного коллективизма, шеренги, отбивающие шаг, — р-разворачивайтесь в марше! — скрип ремней и сапог, лапидарные лозунги, необычайные надежды, неслыханная популярность крайних партий и человекоядных режимов, правых и левых, эпоха, окрашенная в два цвета — чёрный и красный. Как много от этого времени у Маяковского и как много у времени от Маяковского, как много общего у него с французами, с немцами, с диагнозом времени, который был поставлен человеком и писателем, казалось бы, за тысячу вёрст далёким от нашего поэта, — Эрнстом Юнгером в трактате «Рабочий», в книге «Тотальная мобилизация». Как много общего у Маяковского с сюрреалистской, позднее коммунистической молодёжью, с Бретоном, с Элюаром, с Арагоном, посетившим съезд в Харькове, — при том что и они умели писать пронзительные стихи о любви. И сколько ещё можно назвать имён, отнюдь не мелких, не второстепенных, близких ему по духу, по мироощущению. Как много в нём фашизма. Я хочу сказать, что без учёта этой общеевропейской ситуации, вознёсшей Маяковского, сознавал он это или нет, анализ его творчества будет неполон, горизонт сужен, он останется рассечённым на «официального» и «подлинного», да и самая личность поэта останется недопонятой.

Жарища, дорогой Бен. Мы ездили навестить наших внуков в детском отеле в горах, но и там, высоко в Альпах, такой же убийственный зной.

Наша дискуссия не была неплодотворной. Каждый утвердился в своём мнении. Это уже кое-что. Отвечаю Вам кратко.

Маяковский «по крупности и яркости несоизмерим ни с Арагоном, ни в Элюаром». Откуда Вам это известно? Для французского читателя, во всяком случае, значение и ценность этих двух поэтов несопоставимо со значением Маяковского, которого там знают ещё меньше, чем в России знают Элюара и Арагона. При всём том, что Арагон написал кучу мусора (как, впрочем, и Маяковский), при том, что Арагон раскачивался, как на качелях, между разными литературными и политическими верованиями, подчас вёл себя отвратительно (не говоря уже о Триолешке, как называла Эльзу Ахматова), — война и оккупация сделали его большим национальным поэтом.

Маяковский «расквитался... со своей оболыщённостью ложными и лживыми идеями». Так ли это? По-видимому, Вы склонны расценивать его самоубийство как однозначный акт протеста. Дело обстоит, однако, как во многих подобных случаях, сложнее. Тут и «любовная лодка», и редко принимаемый во внимание медицинский аспект.

Я готов «простить» Сартра. Вовсе нет; да и слово «простить» здесь совсем не подходит. Возможно, Вам попадалась на глаза моя статейка об Эрэнбурге и Роже Вайяне. Там сказано кое-что о моём отношении и к Сартру, и к Арагону.

Я польщён (совершенно серьёзно) тем, что Вы упомянули обо мне в новой книге. Но Вы не точны. Разумеется, и я читал в детстве множество книг советских писателей, книг самых разных, и плохих, и очень хороших, у которых общим было то, что они вышли в свет *после* 1930 года. Я и сейчас их помню. Но в статье «Левиафан» говорится о книгах и авторах, прошедших мимо меня, когда я был уже старше. И то, что автор этой статьи не удосужился прочесть «Волоколамское шоссе», даже не слышал об этой книге, отнюдь не ставится ему в заслугу.

«Нынче, — говорите Вы в связи с той же статьёй, — вооружённая охрана снята, и автор легко позволяет себе...» и т.д. Осмелюсь возразить: статью «Левиафан» я позволил себе написать ещё в Москве. Другое дело, что опубликовать её можно было только за границей (в журнале «Синтаксис»).

И, наконец, ни о каком подсознательном выборе 1930 года в качестве важного рубежа (а не, скажем, 34-й) не может быть речи. Это Ваш домысел. Тысяча девятьсот тридцатый год — год смерти Маяковского — был выбран совершенно сознательно.

Ещё одно, хотя тут уже начинается сфера вкусов. Очень может быть, что я знаю Маяковского плохо. Тем не менее Вы ошибаетесь, по-

лагая, что я выбрал для своего злополучного сборника сюрреалистическое стихотворение «А вы могли бы?» потому, что не знаю других его вещей, тех, которые считаются, а может быть, и являются более важными, более представительными, центральными в корпусе его творений. Дело в том, что антология «Абсолютное стихотворение» составлена — и Вы могли это заметить при более внимательном чтении — не так, как обычно составляются поэтические антологии. Мне не хотелось повторять сделанное много раз. В частности, Вы могли заметить, что я не включил очень много имён, которые обычно фигурируют в таких подборках. В немецкой части отсутствует Шиллер, нет ни Эйхендорфа, ни Стефана Георге, ни Тракля, вообще нет очень многих знаменитостей. Зато есть, например, граф Платен, который сегодня и его соотечественникам весьма мало известен. То же можно сказать о французской части: отсутствуют Гюго, Нерваль, Леконт де Лиль, Лотреамон, Малларме, Верхарн, да мало ли ещё кто; от богатейшего XX века остался лишь Аполлинер, да ещё вышеупомянутые Элюар и Арагон. Об английской части и говорить нечего, нет, например, Байрона. А что сказать о древнегреческой лирике? Одна единственная Сапфо приютилась в моей антологии. Наконец, что касается русской поэзии, то я вполне отдаю себе отчёт, что и состав имён, и особенно выбор стихотворений легко могут быть оспорены.

Но я выбирал только те стихи, которые важны лично для меня, которые сыграли особенную роль в моей жизни. Конечно, таких стихотворений немало. Я хотел быть, однако, по возможности кратким, положил себе предел — не более 50 вещей, и притом по одному стихотворению каждого автора. Прекрасно понимаю, что у Гейне, например, можно найти вещи позначительней, нежели известное Вам стихотворение, у Некрасова — кое-что посильнее «Зелёного шума», у Блока — нечто более весомое, чем то, что оказалось в моём сборнике. То же относится к Маяковскому: стихотворение важно для меня и вообще кажется мне прекрасным. В ответ на ехидное сравнение с «Воспоминаниями о Царском селе» могу лишь пожать плечами.

Нет, почему я должен был обидеться, — это действительно так: моё знакомство с поэзией и биографией Маяковского не идёт ни в какое сравнение с Вашим знанием. Просто я был читателем, и даже довольно усердным, разных документов, воспоминаний и т.п., а также его собственных стихов, пьес, выступлений, писем — что там ещё.

Раннее стихотворение «А вы?», о котором идёт речь, произвело на меня когда-то большое впечатление, засело в памяти, хоть я и не сразу понял, о чём конкретно идёт речь. Например, что «жестяная рыба» — это вывеска рыбной лавки.

Что касается моей Антологии, тоже не буду спорить: Вы правы, можно найти известное противоречие между тем, что говорится об «абсолютном стихотворении» в предисловии, и моими сопроводительными замечаниями, самым фактом, что комментируются (любительски, разумеется) стихи, по определению будто бы вовсе не требующие комментария. Я это понимал, но меня это как-то не смущало, ведь всё в этой книжке достаточно субъективно.

Кстати, её весьма порицали некоторые из тех немногих, кто имел терпение её читать или просматривать. Анна Кузнецова поместила в «Знамени» презрительный отзыв (правда, я не совсем понял, что она хочет сказать). Вот он, если Вам интересно:

«Абсолютное стихотворение: Маленькая антология европейской поэзии. Составление, комментарии: Борис Хазанов. — М.: Время (Триумфы), 2005.

Абсолютное стихотворение, как и все абсолютное, стремится к избавлению от случайности в виде человеческой составляющей. Европейская поэзия, частью которой составитель почел и русскую, взяв от Пушкина и Державина по стихотворению, наиболее очищенному от индивидуальных поэтик, выглядела бы в заявленной концепции единым корпусом рифмованных сентенций абсолютного Автора... если бы не эпоха модернизма. Книжка получилась противоречивой в самом задании, не вписанной в собственную концепцию, милой, авторской, слишком человеческой в своей претензии. Еще одной неразрешимостью здесь стала проблема перевода: антология эта, по-видимому, предназначена полиглотам, владеющим древними и европейскими языками. Широкому же читателю в качестве переводов поэзии предлагаются прозаические подстрочники».

Дорогой Бен, Вы когда-то писали о покойной Лидии Чуковской, «суровой даме», которая, по Вашим словам, «озвучила» приказ главнокомандующего — Александра Солженицына. Русский писатель ни при каких обстоятельствах не имеет права покинуть родину. Можно было бы добавить, что она «озвучила» и важнейший тезис официального вероучения. А ведь это была интеллигентная, более или менее образованная и отважная женщина.

Я всю жизнь, ещё до университета, страдал от изоляции. «Муза дальних странствий» — это выражение я, как ни удивительно, впервые услышал из уст профессора Николая Николаевича Плотникова, моего учителя и шефа во времена, когда я был медицинским аспирантом, и одного из лучших людей, какие мне встретились в жизни. Все чувствовали — и чем ближе к краху советской власти, тем сильнее — гнёт и духоту этой изоляции. С каким энтузиазмом, с какими

надеждами была встречена перестройка (термин, коварство которого прояснилось не сразу). Теперь наступил новый откат. Вы всё это пережили, осведомлены лучше меня.

Но я подумал об этом — может быть, слишком скоропалительно, — прочитав в Вашем письме фразу: «Для меня не имеет никакого значения, знают французы (или англичане, или немцы, или американцы) Маяковского». Потому что *для меня* это имеет значение. И моя антология была скромной — вероятно, не удавшейся — попыткой взломать изоляцию. Меня всегда интересовало, что думают о «нас», как воспринимают русскую литературу образованные иностранцы, в первую очередь, конечно, немцы, но не только.

Будем считать, что дискуссия о Маяковском закончена, хочу только напоследок заметить, что мнение Ахматовой или Пастернака, разумеется, надо принять во внимание. Но соглашаться с ними не обязательно. Вы помните, вероятно, как отзывалась Ахматова о Чехове. Вы привели восторженный отзыв Пастернака о Маяковском, но не забыли упомянуть и другое, тоже широко известное высказывание о том, что послереволюционный Маяковский — «никакой». Перечёркнута вся вторая половина творчества, не менее важная, чем первая. Даже Липкин не отважился бы так рубануть саблей.

То, что кажется Вам очевидным, может быть и не вполне очевидным. То же относится и ко мне. Вряд ли мне удалось бы Вас убедить, даже если бы я привёл не столь убогие, какими они показались Вам, аргументы. Ясно, что мы смотрим на вещи по-разному. Например, я не могу сопоставлять Булгакова и Платонова: кто значительней. (Вы упомянули о них.) Платонов, если помните, был очень рано оценён Хемингуэем, западным интеллигентом. Мне лично ближе Булгаков. Если говорить о нашем времени — замечательный роман Леонида Цыпкина был замечен и высоко оценён не в России. Это была Сузи Зонтаг.

Но строить шкалу для прозаиков ещё труднее, чем для поэтов.

На улице погромыхивает, предсказаны ещё грозы, но облегчение, если и наступит, то ненадолго. Сегодня вечером снова, теперь уже из Берлина, прибывают наши внуки, так что пользуюсь свободным днём. Гости улетают в Чикаго первого числа.

Я бы хотел задать вопрос (несколько отклоняясь от темы). «Западный интеллигент» — кто это такой? Запад весьма неоднороден. Он огромен и пёстр. То же относится к интеллигенции. Достаточно поговорить с двумя-тремя людьми, прочесть две-три статьи, чтобы в который раз убедиться в этом.

Я не могу сказать, что знаю западную интеллигенцию. Я знаю моих друзей, моих близких или случайных знакомых, ветеранов войны и людей помоложе, немцев или немцев, читал некоторое количество

авторов, участвовал в дискуссиях. Сколько разных точек зрения, разных суждений, ориентаций. Какие это вообще разные люди. И, между прочим, далеко не все — такие уж дураки, неучи и тупицы.

Я прицепился к этому выражению, случайно сорвавшемуся у Вас с языка, потому что существует привычка говорить о западноевропейской и американской интеллектуальной элите en bloc, чохом. Года два назад Ваш слуга рецензировал книгу, выпущенную одним немецким издательством, под названием «Россия на переломе» — беседы с тридцатью известными деятелями современной российской гуманитарной культуры. Эти люди побывали, и не раз, за границей. Но говорили они о заграничье так, как если бы Франция отличалась от Германии, а Германия от Италии не больше, чем Калужская область — от Орловской и Тульской.

Вы помянули Евтушенко. Он давным-давно не кумир и не знаменитость. Молодое поколение о нём вообще не знает. Звезда Солженицына весьма потускнела, особенно в Германии, где национализм не в чести. Сказать, что два этих имени «для западного интеллигента» — более громкие, чем имя Бабеля, я бы не решился. Бабель хорошо известен и весьма почитаем. Что касается Зоценко, то Вы правы: его знают только филологи-слависты. Хотя он, как и все мало-мальски заметные русские и советские писатели, отлично переведён. Но ведь и Зоценко (которого я сумел оценить благодаря Вам) сейчас в России несколько отошёл в тень. Может быть, Вы удивитесь, но Лесков в Германии — один из охотно читаемых, любимых писателей. Ещё один пример: здешнее исполнение пьес Горького, которые вообще ставятся часто, заставило меня переменить моё прежнее, скептическое отношение к его драматургии.

Юнгер зачитывался Розановым, Кафка — «Записками революционера» князя Кропоткина. Пауль Целан изумительно перевёл Цветаеву и Мандельштама. Хармс и Олейников ставятся на бесчисленных сценах. Чоран постоянно читает Гоголя. (У него, кстати, есть интересное эссе «Россия и вирус свободы», не знаю, переводился ли этот текст.)

В классической книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис» — вероятно, она Вам знакома — есть любопытная страница о русской культуре и литературе XIX века, которую он ставит, естественно, очень высоко. Я опять отвлёкся, на раз уж зашёл об этом разговор... Вот цитата:

«По причинам практического и морального свойства совершенно невозможно было избежать контакта с современной европейской культурой, однако все те эпохи, которые постепенно привели Западную Европу к культуре современности, были далеко ещё не пережиты Россией.

Контакт принял характер драматически-бурного и запутанного спора [...] Сам выбор идей и систем для рассмотрения носит несколь-

ко случайный и произвольный характер; выжимают самый результат, и его не поверяют путём сравнения с другими системами и идеями, как явление более или менее значительное среди многих и многогранных созданий человеческого духа, а воспринимают сразу же как нечто абсолютное — как истину или ложь [...]; небывалые теоретические системы доказательств противного импровизируются на ходу; о явлениях весьма сложных, исторически обусловленных и с трудом поддающихся синтетическому обобщению — о “западной культуре”, либерализме, социализме, католической церкви — судят иногда слёту, в нескольких словах, исходя из заранее определённой и часто весьма ложной точки зрения».

Дела давно минувших дней, да и лекции, из которых составила́сь книга, были прочитаны во время войны, в эмиграции. И всё же мне кажется, что мысли эти не вполне утратили актуальность. Хотя, конечно, можно и возражать.

Вы спросите: при чём тут...? Ни при чём.

О Марселе Райх-Раницком я писал несколько раз, однажды познакомился с ним. Это знакомство не имело продолжения. Если не ошибаюсь, я был первым, кто говорил о нём по русскому радио, это было давно. Посылаю Вам, если интересно, рецензию на одну его книжку.

Не обижайтесь на меня, Вы знаете, как я к Вам отношусь.

То, что мы всё время возвращаемся к Маяковскому, в моих глазах прежде всего — свидетельство того, что он жив, жив, — о сколь немногих из его некогда прославленных современников можно сказать то же самое!

Вы прислали прелестную страничку об Эткинде. Я знал Ефима Григорьевича Эткинда — не так близко, как Вы, — познакомился с ним только в эмиграции, был однажды у него в Париже, довольно часто встречался с ним. Эткинд был человек блестящий и поверхностный.

Я попробовал представить себе, что я ответил бы Вам, окажись я на месте Е.Г. В средневековых диспутах учёные схоласты швыряли один дугому в лицо цитаты из святых отцов, подчас противоречащие друг другу. Вы процитировали блестящие строчки Маяковского, воздержавшись (это было бы затруднительно в разговоре) от цитирования стихотворений. И правильно сделали: прочитанное целиком, стихотворение часто снижает впечатление от отдельных строчек. Временами стихотворения Маяковского как будто даже разваливаются на строчки. Далее я предложил бы всё же задуматься над тезисом Эткинда (весьма расхожим) о том, что «система» или техника Маяковского сослужила ему плохую службу в послереволюционные времена. Я бы сказал, что не вполне с этим согласен, и тем не менее. Была создана изумительная,

неслыханно новая и новаторская стиховая техника. Это была техника самовитого слова в особом смысле — когда от слова идут к смыслу, а не наоборот. После революции она была использована для освоения совершенно новой, как тогда казалось, действительности, и смотрите-ка, стала, как и прежде, давать блестящие результаты.

Но вскоре выставились коварные свойства этой «системы». Даже самые проходные, незначительные и пустяковые стихшата демонстрируют виртуозное владение словом, сыплются неожиданные рифмы, ритм чуть ли не завораживает. Но слова уже не работают, как прежде. За всем этим переливчатым звоном стоит удивительно бедный смысл. То, о чём вам хотят сказать, тривиально. И эта внутренняя тривиальность ширится, завоёвывает новые поэтические территории, захватывает по-настоящему важные, серьёзные стихи. Боюсь, что и часть, по крайней мере, вещей, из которых Вы выбрали наугад — их в самом деле очень много — замечательные строки, поражена тем же недугом. Удивительно здорово сказано, пластика, образность, смелость, самоуверенность, звучание, мощь — и банальность внутреннего содержания.

Тут дело вкуса. Я нуждаюсь в «метанаррации». Может быть, Вы помните, что это словечко употребил Жан Льютар, пророк и теоретик европейского постмодернизма, ныне уже покойный. Он полагал метанаррацию достоянием прошлого, от которого постмодернизм решительно отказался. Речь шла о прозе. Я решаюсь — с оговорками и со значительным усечением термина — приспособить его в данном случае к стихам. Без метанаррации, без какой-то неясно-глубокой общей идеи, без философского задания и фона, отнюдь не артикулированного впрямую, скорее мерцающего, сообщающего всему особую многозначность, — мне скучно.

Я нахожу такую смысловую глубину — если опять-таки говорить о поэтах — у Мандельштама, у Ахматовой, у Ходасевича, поэта, удивительно близкого нашему времени, в иных случаях даже более близкого, чем Ахматова.

Мой дорогой Бен, нет, конечно, я вовремя получил Ваше письмо, просто замешкался, да и жара меня совершенно изнурила. Теперь, слава Богу, сошла. Но Верховный распорядитель впал в противоположную крайность, может быть, вспомнил о Ное: идут почти непрерывные дожди, кое-кого в Баварии даже маленько затопило. Известия, которые мы слушаем утром по радио, вечером по телевидению (газет я не читаю), удручающие. Оказалось, что справиться с Хисболлой не так просто, раздавить её, очевидно, не удастся.

Книга о Маяковском, пишете Вы, сдана в издательство. Какого она объёма? Мне бы хотелось, когда она выйдет, заказать её в Берлине или в здешнем русском книжном магазине. Сообщите, пожалуйста, выход-

ные данные. Что касается проекта соединить радиопередачи в одну общую книгу — я помню из них многое, и прелестные куплеты о дедуктивном методе, и прозу. Кроме того, у меня есть Ваша книжка, выпущенная, кажется, ещё Детгизом, с превосходными иллюстрациями.

Слово «стиховой» я, кажется, вычитал когда-то у Тынянова. Однажды, это было в Пятигорске, я встретил одного иудея из провинции по фамилии Тынянов и только тогда узнал, что это, оказывается, еврейская фамилия.

Знакомы ли Вы с мемуарами Нели Воронель (о них было несколько насмешливых рецензий)? В прошлом году в Париже я созвонился с Марьей Синявской и поехал к ней в гости в Fontenay-aux-Roses. Сидели и пили жёлтое сицилианское вино. Она спросила, читал ли я воспоминания Нели. Я сказал, что я такую литературу не читаю. «Нет, Вы должны прочесть!» Поднялась наверх, принесла и буквально всучила мне это сочинение.

На днях была возобновлена телевизионная передача «Литературный квартет» с известным Вам Марселем Райхом-Раницким, удивительно напоминающая нашу с Вами контроверзу о Маяковском, только здесь спорили о Брехте (по случаю 50-летия со дня его смерти). Р.-Р. доказывал, что политика, марксизм, пролетарская революция и т.д. были для Брехта чем-то внешним и случайным, он был человеком театра в первую очередь и поехал из Америки в ГДР только потому, что соблазнился возможностью иметь собственную сцену; известный поэт напирал на то, что Брехт был поэтом *par excellence*, ещё один участник дискуссии напоминал о симпатиях к коммунизму и любви к Сталину, по его мнению, вовсе не случайных.

Насчёт славного Эдички Лимонова я вспоминаю такой случай. Однажды покойный Хорст Бинек, бывший воркутинский заключённый, весьма известный в Германии писатель, который ведал литературной частью в Баварской академии и с которым я однажды дискутировал в газете *Süddeutsche Zeitung*, пригласил меня отобедать с ним. Разговор зашёл о Лимонове, который тогда, что называется, гремел, и я как-то поморщился. Бинек сказал: вот вы все, русские, не можете смириться с тем, что он пишет свободно о сексе. (Это была ошибка: тогдашние критики-эмигранты, Вайль-Генис и другие, не только всерьёз отнесли к Лимонову, но даже провозгласили его крупнейшим современным русским писателем.) Я ответил, что дело не в нашем воображаемом ханжестве, а в том, что такие романы, как «Это я, Эдичка», по моему, можно печь как оладьи, посулите мне приличный гонорар, и я состряпаю Вам на пари такой же шедевр.

Между прочим, я однажды познакомился с Лимоновым, и было это в доме Марьи и Андрея. М.В. издавала его.

О новой русской литературе в Израиле (которую теперь представляют совсем другие люди, нежели Неля со своими романами и Саша, по-прежнему регулярно печатающий публицистические статьи) я сужу — конечно, весьма поверхностно — по интернету. Я бы выделил поэтов Наума Басовского и Добровича, эссеиста Бормашенко, из прозаиков, может быть, Дениса Соболева. Дина Рубина, кажется, очень мало времени проводит в Израиле. Провинциальность многих российских израильтян — Вы, конечно, правы. Впрочем, и в самой России её хватает.

Что касается пишущих на иврите, то там есть несколько замечательных писателей, давно уже перешагнувших региональные рубежи. Например, Абрахам Иегошуа, да, пожалуй, и Амос Оз. С недавних пор стал очень известен Меир Шалев (его переводит Рафа Нудельман).

Конечно, Бен, я целиком разделяю то, о чём Вы пишете: любая национальная замкнутость всегда вырождается в провинциальность. Если не хуже. Между национализмом и шовинизмом нет чёткой границы, а от шовинизма полтора шага до фашизма. Как Вы, вероятно, помните, роман Альбера Камю «Чума» заканчивался словами о том, что бактерия чумы не умирает. Чума дремлет, пока не наступит час, когда она снова вышлет своих крыс умирать в счастливый город (пересказываю по памяти). Это о фашизме. Но я отвлекся. К тому же речь у нас шла не о еврейских посиделках в Москве, а об израильской русской литературе. А за Израиль я тоже болею.

Ваш отзыв о Брехте основан, мне кажется, на недоразумении. Я не знаком с переводами стихотворений Брехта на русский язык. Подозреваю, что и с Брехтом произошло то, что бывало с очень многими иностранцами, которых переводили в СССР. Выпячивалось то, что должно было понравиться начальству.

На самом деле — позвольте мне Вас поправить — Брехт был замечательным поэтом, и при этом, как Гейне, и лирическим, и «гражданским», и сатирическим, и ироническим, и трагическим. Никак не циником. Когда я упоминал в связи с ним о Маяковском, я не имел в виду поэтическую зависимость одного от другого, — у Брехта с Маяковским мало общего, — а лишь то, что дискуссия о Брехте в «Литературном квартете», упреки и оправдания, доводы и опровержения напомнили мне наш с Вами спор о Маяковском. Гейне — вот от кого тянется нить к поэзии Брехта.

Мне было бы не с руки спорить со стариком Райх-Раницким, но я не стал бы настаивать на его утверждении, будто величайшим немецким поэтом XX века был именно Брехт. Кандидатов на это кресло было по меньшей мере ещё три: Рильке, Бенн и, конечно, Целан. Но что поэтическое место Брехта — в первом ряду, бесспорно. О Брехте-

драматурге этого сказать, к сожалению, нельзя: «эпический театр» (самоназвание, которое у меня всегда вызывало некоторое недоумение), как мне кажется, уходит в прошлое.

Ну вот; а теперь придётся спуститься с верхотуры в подвал: Эдуард Лимонов. Представьте себе, я не раз и от разных людей слышал, что Лимонов — талант. Некоторые уточняют: говно, но талантлив. Другие поправляют: да, талантлив, и ещё как. Но — говно. А Наталья Иванова, я помню, выразилась так: Л. плохой писатель, но талантливый. И ещё одно мнение. Володя Войнович как-то сказал: растленный писатель. Это, по-моему, самое точное определение.

Вероятно, он литературно небездарен. Но людей более или менее одарённых много. Рискну утверждать, что для того, чтобы стать серьёзным писателем, таланта мало. Или — талант включает талант и ещё кое-что. Этого «кое-что» у Лимонова нет. Есть нечто противоположное. В данном случае я имею в виду не только нравственную говённость. Произведения Лимонова прежде всего говорят о внелитературных амбициях. Эта состарившаяся кокотка всё ещё хочет нравиться, всё ещё жаждет, чтобы о ней говорили, и не устаёт вертеться перед зеркалом.

Aere perennius

Приключилась на твёрдую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим, чтобы считать до ста.
И вокруг твёрдой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря: «Ржавей живей»
и «Даёшь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дырн или кровли жечь —
не рукой под чёрную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней».

Монумент, воздвигнутый поэтом, именуется «твёрдой вещью». Скала-памятник в самом деле долговечней бронзы: это порода, отложившаяся в доисторические времена. Псы будущего, «лишние дни», готовые изгрызть её в песок, ничего не смогут с ней поделаться. Мощь поэзии, которой приходилось работать со свинцом и кровельным железом, вечность поэзии — надёжней «вечной жизни с кадиллом в ней».

Дорогой Бен! Я, как видите, для удобства сделал эту выписку из моей книжки. Попробую снова прокомментировать Стихи загадочны. Исчерпать их смысл невозможно, существует лишь поле толкований. С удовольствием выслушаю Вашу версию.

Заглавие отсылает к Горацию (*Eregi monumentum aere perennius*, я воздвиг памятник долговечней меди [или бронзы; слово употреблялось в обоих значениях]). Твёрдая вещь — это памятник: поэзия. На неё разинуло пасть время. Покушение будущего, причём крупного: дело идёт о столетиях. Это недоброе будущее, эти лишние, то есть остаточные, дни рычат: ржавей, коли ты из металла, рассыпья песком, если ты из кости или известняка. На что «вещь», не тратя лишних слов, отвечает: подите прочь, корёжить металл — это вам не лезть под юбку к смерти. Мой памятник, негнибаемый, как гвоздь, как кость каменной твёрдости, сделан в самом деле из вечного камня, мезозойской породы, его вам не изгрызть. Он долговечней бронзы — материала статуй, и отбрасывает в веках свою тень, борозду своего бессмертия, более надёжного, чем обещанная попами вечная жизнь. Приблизительно так.

Ваше толкование, может быть, и не лишено остроумия, но кажется мне — Вы, вероятно, этого ожидали? — неудовлетворительным. Проще сказать, неприемлемым.

Фаллические аналогии à la Фрейд с некоторых пор вошли в моду. К этому отчасти подал повод и сам Бродский. В другом стихотворении он говорит о минарете; Юз когда-то называл памятник Циолковскому возле метро ВДНХ «мечтой импотента».

К стихам, о которых идёт речь, подобное толкование не подходит. Прежде всего оно игнорирует замысел, идею стихотворения, отчётливо выраженную в заголовке. Заголовок этот — продолжение эпитафии к пушкинскому «Памятнику», оборванного на середине строки.

Речь идёт о памятнике и о традиции памятников в русской поэзии. Не зря выбран размер оды Горация (о котором Бродский говорит в «Письме к Горацию»), выдержано точное соответствие числа строк ($4 \times 4 = 16$).

Ваша интерпретация разрушает логику стихотворения, очень чёткую, которая воплощена в образной системе с центральным мотивом камня, не подвластного времени. Непонятной, не относящейся к делу, если следовать Вашему объяснению, остаётся концовка.

Я уж не говорю о том, что, если бы речь шла о пенисе, поэт, каким мы его знаем, выразился бы определённой. Фаллос, даже в значении символа поэтической трудоспособности, был бы назван своим именем, без экивоков.

Стихотворение кажется Вам «не из лучших». Лично мне оно нравится.

Ну вот, Бен, кое на чём мы с Вами всё же сошлись. Хотя «твёрдая вещь» Бродского в моём понимании памятник, а для Вас — детородный член, понимаемый, так сказать, полемически (против «фаллистов»), всё остальное, кажется, не вызывает обоюдных возражений.

Кстати, то, что Вы называете «фаллическим литературоведением», — отнюдь не порождение или ответвление постструктурализма. Уподобление разных предметов пенису вошло в моду со времён Фрейда. Для постструктуралистов это позавчерашний день. Когда мадам Шоша (в «Волшебной горе») в карнавальную ночь дарит Гансу Касторпу карандаш, а потом просит его назад, комментаторы уверенно говорят о фаллическом символе. На это, вероятно, намекал и сам Манн. Всё это — задолго до структурализма и постструктурализма.

Я занимался последнее время небольшим романом, с грехом пополам закончил — само собой, предварительно. Собираюсь взять его с собой, посмотреть там всё заново, что с ним делать дальше, неизвестно. В Париже остановлюсь, как обычно, в маленькой гостинице на Монмартре, где меня знают. Особых дел нет, повидаюсь с моей французской переводчицей Еленой Бальзамо, может быть, с Рене Герра, может быть, загляну в издательство. Всё опять-таки не ради «дел», а просто так. Главное — подышать снова воздухом этого города.

Спасибо Вам за добрый отзыв о моей статейке «Париж и все на свете».

Собственно, без чёрных французов сейчас так же трудно представить себе Париж, как Германию без турок, и никого это особенно не беспокоит. Другое дело мусульмане Магриба и Передней Азии. Как-то раз я решил поглядеть на арабский квартал в Париже, куда, как мне говорили, лучше не заглядывать. Всё же я пошёл, пешком (это недалеко от Монмартра и бульвара Клиши), ничего особенного не увидел, кроме тесноты, — квартал населён очень густо, — живописных женщин с детскими, пузатых мужиков на углах улиц, которые стоят просто так, ничего не делая, в белых бурнусах и белых вязаных шапочках наподобие еврейской кипы. Арабские вывески, грязноватые магазины; совершенно обособленный мир. Но недавние бесчинства подростков и молодых парней, детей и внуков выходцев из бывшей французской Северной Африки и мусульманского Востока заставили, наконец, с большим опозданием насторожиться. С великими трудами их удалось утихомирить. Однако я не живу в стране и плохо разбираюсь во всём этом нагромождении ошибок и всей путанице (которую и правительству не удаётся распутать). Очевидно, во всяком случае, что в своей политике на Ближнем Востоке Франция испытывает большую зависимость от наличия в стране очень большого исламского населения.

В одну из моих поездок я купил «Дневник „Фальшивомонетчиков“» Андре Жида, книжку, о которой знал, но которую прочёл теперь с опозданием. Мало того, что в самом романе писатель Эдуард ведёт дневник, обсуждает роман «Фальшивомонетчики», который он сочиняет. Теперь уже и создатель писателя Эдуарда и всех действующих лиц в свою очередь философствует о собственной работе. Двойная, а то и тройная рефлексия. Это я по поводу своих рассуждений о романе. Книжке Жида уже добрых восемьдесят лет. Размышления о повествовательной прозе давно стали интегральной частью самой прозы. Но приходится то и дело к ним возвращаться.

Вы упомянули Мопассана (которого я и сейчас люблю и ставлю очень высоко). Вы пишете: после сказанного Мопассаном всё что можно сказать о романе кажется повторением уже сказанного. О, нет. С тех пор классической — назовём её флоберовской — поэтике романа были нанесены такие чувствительные удары, и притом не раз, от которых она едва ли оправилась. Тоже уже давнишняя история. И наша с Вами старая тема споров.

Между прочим, я однажды послал в «Знамя» рецензию (когда ещё писал рецензии) на одну только что вышедшую тогда французскую книжку о Мопассане, а незадолго до этого разыскал на кладбище Монпарнас его могилу. Рецензия была зарублена, как и некоторые другие, причём Анна Кузнецова сообщила мне — как нечто само собой разумеющееся, новое разве только для таких старых пердунов, как я, — что Мопассан плохой писатель.

Теперь насчёт «Красного колеса», — видите, наш пророк нас прямо-таки не оставляет. Конечно, и антихужественность замысла, и несоответствие грандиозного замысла возможностям автора — всё то, чем Вы пишете, — очевидны. Мне не хотелось повторяться. Мне было важно подчеркнуть другое. Станным образом (а может, и не так уж странно), ни в одной из известных мне статей и книг о Солженицыне, и апологетических, и критических, я не находил сколько-нибудь серьёзного анализа его художественной системы. Исключение, может быть, составила давнишняя статья Льва Лосева, где он умудрился сравнить «Колёсо» с русской летописью. Некоторые прежние поклонники Солжа (например, Жорж Нива) в конце концов, сквозь зубы, признали, что «Красное колесо» — неудача. Но если кто-то и говорил об этом, то дело обыкновенно сводилось к идеологии. И в самом деле, о чём говорить, идеология пожрала художника, и не только в «Колёсах». Мне хотелось напомнить, что в ещё большей степени дело в эстетике. В изжившей себя эстетике. В этом смысле случай Солженицына-прозаика — мертворождённость его эпопеи, как Вы правильно сказали, — очень показателен, независимо от размеров писательского дарования.

По-видимому, я забыл (или почему-то не читал) статью Мопассана, на которую Вы ссылаетесь. В предисловии к «Пьеру и Жану» тоже есть нечто о романе, но это другой текст. Впрочем, он не раз говорил, что после всего созданного в прозе пытаться снова что-то сочинять бессмысленно. Это чувство не могло не возникнуть у наследника литературы, достигшей расцвета, когда другие европейские литературы ещё только становились на ноги.

Так или иначе, Вы более или менее правы, говоря о том, что к тому времени — я имею в виду конец 80-х годов XIX в. — флюберовской поэтики романа для Мопассана почти уже не существовало. Оба последних законченных романа, «Наше сердце» и «Сильна, как смерть», — свидетельство того, что писатель отошёл от заветов великого учителя и приблизился к модной светской психологической манере в духе Поля Бурже. Думаю, никто не станет спорить, что эти романы значительно уступают прежним вещам Мопассана.

Если же говорить о парадигме реалистически-объективной прозы в более общем смысле, как её, эту парадигму, сформулировал Флобер, как она была воплощена у Толстого и у самого Флобера, то Мопассан всё же не порвал с ней окончательно. Ещё раньше мину огромной силы подвёл под неё Достоевский (в «Бесах»), полный разрыв наступил уже в следующем веке.

Контрпримеры с «Тихим Доном» и даже с романами Булгакова не очень удачны, так как ни Пруст, ни Джойс к этому времени ещё не вошли, так сказать, в общее употребление. А главное — я ведь не утверждаю, что всё созданное по канонам доброго старого реализма после того, как была взорвана поэтика традиционной повествовательной прозы, оказалось заведомо нежизнеспособным. «Красное Колесо» Солженицына продемонстрировало умирание жанра народно-исторической эпопеи à la Толстой с особой, можно сказать, ослепительной наглядностью оттого, что автору не хватало художественного дарования. (Кстати, речь ведь шла только о жанре. В своей стилистике Солженицын следует «орнаментальной прозе» 20-х гг., отнюдь не Толстому.) А, допустим, Шолохову — или кто там мог соучаствовать в создании «Тихого Дона» — хватило таланта, чтобы работать в традиционной манере. Правда, не стоило бы забывать, что «Тихий Дон» создавался свыше 80 лет тому назад.

Я не иконоборец. Я просто хочу сказать, что делать вид, будто ни Джойса, ни Пруста, ни Андрея Белого с его романами «Петербург» и «Серебряный голубь», ни Андре Жиды с его «Фальшивомонетчиками», ни Деблина с романом «Александрплац», ни Германа Броха, ни Вирджинии Вульф, ни Кафки, ни Платонова, ни Фолкнера, ни Борхеса — и так далее, и так далее, — что ничего этого не существовало или что после Льва Толстого ничего нового и существенно важного в пони-

мании и построении повествовательной прозы не произошло, — невозможно. Как невозможно не учитывать в той или иной мере перемены, происшедшие в литературе за последние сто лет.

Дорогой Бен, мне кажется, Вы стучитесь в открытые двери. Всё что Вы пишете о многочисленных кризисах романа на протяжении столетий справедливо. И, конечно, французская и русская реалистическая проза XIX века на этом фоне — лишь краткий эпизод. Но речь ведь не об этом. Речь идёт о том, что сегодня нас всё ещё касается непосредственно. О попытках нащупать новую парадигму, преодолеть старую. Общий смысл Ваших замечаний сводится к тому, что-де во всех современных или относительно недавних рассуждениях и размышлениях о романе ничего нового нет. Это неверно.

Боюсь, что мы говорим на разных языках. Представление о романе «как истории счастливой или несчастной любви», которое Вы называете обывательским, одинаково приложимо и к роману о Тристане и Изольде, и к литературе XVIII и XIX столетий, и к модернистскому роману, и к сегодняшней прозе. И к великим вещам, и к рыночной пошлятине. Разве в этом дело? Когда мы (не я один) говорим о кризисе и ломке парадигмы позапрошлого, 19-го, века, — а ведь только об этом мы и ведём наш разговор, — речь идёт не о содержании как таковом. Поколеблены принципы повествования, поколеблено отношение к действительности и самое понятие действительности, поколеблено представление о времени, о связи прошлого и настоящего, изменилось видение мира, возникло новое общество, исчез буржуазный читатель (читательница), в литературу вторглась новая философия, новая психология. Две чудовищных войны пронесли над человечеством. И так далее. Как нам со всем этим справиться?

Я думаю, что этот вопрос не может не занимать каждого, кто пробует свои силы в литературе. Из чего, конечно, совсем не следует, что каждый пишущий должен с презрением захлопнуть Толстого и поставить на полку, на самое видное место портрет Кафки.

О том, что вопрос о смене парадигмы всё ещё не устарел, по крайней мере в России, свидетельствует такой пример. Я с большим интересом читал «Рабочие тетради» Твардовского. В одном месте он пишет, что прочёл роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Его отзыв: высокоинтеллектуальный, изысканный, учёный роман, продукт кабинетного творчества, далёкий от жизни.

Это говорится о книге, чья актуальность, жгучесть, жизненная и историческая пронизательность и сегодня так же велики, как 50 лет тому назад. И говорит это высококультурный, отнюдь не рядовой читатель.

Вы скажете, что роман Т. Манна не мог не оставить его равнодушным уже потому, что это книга не о простых людях и не о России. Но я думаю, что дело не только в этом. Литературная философия и эстетика Твардовского (как и почти всего этого поколения) может быть без особого труда реконструирована на материале прозы «Нового мира», — Вы могли бы это сделать гораздо лучше, чем я. Предполагается, что существует некая единообразно читаемая версия действительности; художник должен её раскрыть. Литература должна изображать эту самую, реальную действительность, раскрывать правду жизни. Как? Средствами поэтики классиков русской литературы, в первую очередь Толстого, но также, к примеру, и Глеба Успенского.

Два мелких замечания, попутно. К Белому Вы несправедливы; впрочем, Ваша давняя нелюбовь к нему мне известна. «Жизнь Клима Самгина», по Вашему мнению, не отвечает нормам «флоберовского» романа. Между тем зависимость «Клима Самгина» от «Воспитания чувств» настолько очевидна, что можно удивляться, почему никто (насколько мне известно) не написал об этом.

Дорогой Бен, вероятно, в Вашей библиотеке, где так много замечательных раритетов, есть сборничек «Как мы пишем», выпущенный в начале 30-х годов под редакцией, если не ошибаюсь, Вл. Лидина. Там есть интересный ответ Белого, особенно заключительные фразы. Удивительно, не правда ли, увидеть в шеренге «мастеров современной прозы» рядом с бодро шагающим пролетарским писателем Юрием Либединским, для которого культура началась позавчера, — московского мистика, символиста, антропософа, etc. Андрея Белого. Так стояли в те времена бок о бок на коммунальной кухне бывшая дворянка и дочь пастуха.

Но ирония истории (литературной истории) проявилась в том, что Либединский, а также Фадеев и *tutti quanti*, которым предстояло блестяще воплотить в своей прозе канон социалистического реализма, были в гораздо большей степени наследниками — выродившимися наследниками, если угодно, — классического русского реализма XIX века, чем авангардист Белый.

Конечно, несравненно меньше потребителей литературы увлекаются Белым, чем прелестной книгой Гашека. Правда, я не думаю, чтобы Белого вовсе не читали сегодня. Сам я, кстати, не без труда одолел «Петербург», по-настоящему наслаждался только «Серебряным голубем». Но даже если бы оказалось, что проза Белого интересует сегодня только литературоведов и писателей, — ну и что? Чем они хуже всяких других читателей? Много ли людей прочли Джойса, Пруста, Музиля, Вирджинию Вульф? Но в пределах темы, которую мы пытались обсудить, именно эти имена релевантны.

Вот я и вернулся. Давно не писал Вам и соскучился по Вашим письмам.

Жил, как всегда, на Монмартре, в маленькой гостинице под громкой вывеской «Отель искусств», недалеко от бульвара Клиши и Мулен-Руж, которая давно превратилась в аттракцион для состоятельных туристов. Обыкновенно после завтрака садился за свой laptop, обедать ходил тоже в знакомое место, возле Центра Помпиду, потом шатался по городу, ходил по музеям. Но теперь я уже не могу бродить много часов подряд: ноги подводят. Сентябрь в Париже — летний месяц, а в этом году было особенно жарко.

Виделся с одной дамой из издательства Viviane Namu, был в Шартре в гостях у Елены Бальзамо, посетил Рене Герра — вероятно, Вы его знаете — и совершил с ним путешествие в замок Рамбуйе.

Занимался я своим романом, думал, что подчищу и с Божьей помощью закончу, но не тут-то было. Сочинение называется «Вчерашняя вечность» и украшено шикарным эпиграфом из знаменитой XI главы Исповеди бл. Августина; эпиграф этот в русском переводе звучит так:

«...Настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью».

Действие начинается в 30-х годах и продолжается до конца столетия, но о действии говорить трудно, так как роман состоит из фрагментов. Вероятно, Вы заметили, что фрагмент, который в соответствии с этимологией представляет собой обломок чего-то, в последнее время удостоился большого внимания; это как бы особый жанр, точнее, псевдожанр. Появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Мне, конечно, на это наплевать, но всё же я придумал, в своё оправдание, некую теорию, согласно которой (Вы с ней уже знакомы) связанное и последовательное повествование есть достояние прошлого, достижение и достояние классического романа, современный же писатель, дитя хаотического времени, не может писать иначе как фрагментарно.

...Два слова о Ваших замечаниях по поводу романа «Вчерашняя вечность». (Вы знаете, как важно для меня Ваше мнение.) Послесловие было написано по просьбе редактора. Я согласен с Вами, что оно ничего не прибавляет, если не портит. Д. Г. Лоуренс сказал: «Верьте художнику, а не его рассказу».

Насчет того, что жизнь за полвека после окончания войны и в особенности два десятилетия жизни за границей научили автора смотреть на войну «двумя глазами», — то ведь так оно и есть. Речь идёт обо мне, я, действительно, почувствовал, что моё зрение за эти годы усложнилось. Не говоря о том, что прежде я в своей литературе почти

не касался войны. Последние годы, да и прежде, я много читал об этой войне, видел множество документальных фильмов разных стран. Я бродил по городам, возрождённым из руин, побывал и в городах, которые не восстановлены, например, в Цербсте, откуда когда-то приехала в Петербург будущая матушка-государыня. В разное время здесь, в Германии, мне приходилось встречаться с участниками и современниками войны, с бывшими военнопленными, среди всех этих людей были и мои друзья. Я снова, как когда-то, погрузился в историю и действительность нацизма, но теперь к моим услугам была более обширная литература. Речь отнюдь не шла о каких-либо попытках оправдать агрессию, вот уж нет, вообще не о том, чтобы приукрасить так или иначе это кровавое прошлое. Но я узнал много нового. Это не могло пройти бесследно. Повторяю, речь только обо мне. Ведь я войну не видел. Мне пришлось многое навёрстывать.

Вы говорите: «Наша так называемая победа». Нет, не так называемая: это была в самом деле победа. Это была грандиозная победа. Но видеть её двумя глазами научились в России — вопреки Вашему утверждению — далеко не все. И это очень понятно. Я не говорю о пропаганде или её результатах (весьма успешных). Я имею в виду ту особую и, в общем-то, естественную заикленность на своей стране, на её свершениях и особенно на её бедах. Почитайте только что вышедший сборник социологических работ Льва Гудкова. Вы найдёте там результаты массовых опросов населения — представительную статистику ответов на анкеты: оценка войны, участие разных народов, роль СССР и союзников и многое другое. Как бы ни относиться к этим ответам, они, конечно же, свидетельство кривого, одноглазого зрения.

Но в моём романе речь идёт, собственно, только об одном эпизоде и об одном единственном фронтовике. Я упомянул в этом злополучном послесловии книгу Гюнтера Грасса, писателя, которого я, к сожалению, недолюбиваю. Книга вышла уже после того, как я закончил свою работу. Я купил её, а во Франкфурте, на книжной ярмарке, спросил главного редактора «Иностранной литературы» (тут же оказался и переводчик), почему название романа Грасса в журнале переведено неверно. Но дело не в этом. Роман — о потоплении корабля «Вильгельм Густлофф». Наш общий друг и, в отличие от нас, участник войны Лазарь Шиндель поместил (кажется, в «Знамени», но точно не помню) рецензию на русский перевод этого романа; прочтите её, если она Вам не подалась. Это яркий пример зрения одним глазом.

Как я рад, дорогой Бен, получить, наконец, от Вас письмо. Вам можно позавидовать: я никогда не был на Кипре (Вы не пишете, на какой половине Вы находились: греческой или турецкой) и давно уже не валялся на морских пляжах. Бывали мы когда-то с Лорой — если

говорить об Архипелаге — на Крите, на Родосе, ездили на Патмос в гости к автору Апокалипсиса, но это были давнишние времена. Зато в юности я жил в Древней Греции.

Новости у нас, к сожалению, неблестящие: у Лоры найдены множественные мелкие метастазы в лёгких, на следующей неделе придётся начинать новый курс изнурительной химиотерапии.

Многие из Ваших пушкинских статей я помню. И, конечно, готов подписаться обеими руками под Вашей мыслью о том, что не мы судим о Пушкине, но Пушкин судит нас. Сам я, правда, специально о Пушкине вроде бы не писал, если не считать крохотной заметки в «Антологии», но она не в счёт. Вспоминать же о том, когда начался для меня Пушкин, так же интересно и даже умирительно, как вспоминать о детстве вообще.

Между прочим, я и сейчас то и дело читаю Лоре по вечерам Пушкина, и прозу, и стихи, а не далее как позавчера мы прочли «Моцарта и Сальери».

Когда-то, тоже очень давно, я выступал на кафедре Жоржа Нива в Женеве перед студентами и тамошним Русским кружком, тема была — пушкинская речь Достоевского. Пушкину был бы 81 год, если бы он дожил (почему бы и нет, при его хорошем здоровье и выгодном телосложении) до юбилейных торжеств. Сидел бы, неузнанный, как старец Фёдор Кузьмич, где-нибудь в уголке, в зале Общества любителей российской словесности. И вот вслед за Тургеневым, Аксаковым, Катковым и епископом Амвросием поднялся Фёдор Михайлович Достоевский. Что сказал бы Пушкин, выслушав его диатрибу? Чего доброго, решил бы, что речь идёт вовсе не о нём.

Считается, что от Пушкина пошла вся новая русская словесность, что она преформирована в нём, как дуб в жёлуде. И в самом деле, Пушкин — это целая литература со всеми её жанрами, направлениями, стилями, сменой эпох, осознанием себя в семье европейских литератур, — всё в одном лице: свёрхписатель. Но, создав целую литературу, Пушкин её и завершил. Пушкин противостоит nasledовавшей ему русской литературе. Уже Гоголь решительно порвал с Пушкиным. Тургенев выглядит немножко эпигоном. Что касается Достоевского, то при всех клятвах верности он отменил Пушкина. Сбросил пушкинскую золотую латынь с корабля тогдашней современности, заменил её избыточно-многословной, хаотически-недисциплинированной, задыхающейся прозой. С Достоевским пришёл в русскую литературу совершенно новый тип гения.

Русских классиков — и прозаиков, и особенно поэтов — можно разделить условно на «французов» и «немцев». Пушкин, конечно, француз. Экономность, сжатость, суховатость, ирония, прозрачность — одним словом, знаменитая французская *clarté*: ясность. Двухтомный

тоскливые, кровью написанные стихи, полные отчаянья и веры. Можно было верить в великую миссию поэта-пророка (латинское слово *vates*, напомним Вам, означает и поэт, и пророк).

Теперь это — далёкое, почти легендарное прошлое.

То, о чём я говорю, достаточно тривиально. После смерти Пушкина роль и значение литературы в русском образованном обществе — то есть для незначительного меньшинства населения — непрерывно возрастали. Эта роль оставалась чрезвычайно важной и перед революцией, и после неё, хотя бы и под другими лозунгами, в лучах совсем других планет.

Странно, но мы как будто забываем о важнейшей заслуге советского режима (если это считать заслугой, а не проклятьем). А именно: режим подготовил создание массового общества. Он похвалялся тем, что создал нового человека. Верно: он породил массового человека. Массовое коммерциализованное общество — нечто в самом деле новое и небывалое. Это общество, где женщина среднего достатка может одеться, как некогда одевались монархини. Теперь так одеваются «все». Общество, где по утрам, в гигантских городах, лавина людей спешит на работу, и все читают в метро одну и ту же бульварную газету, а вечером усаживаются перед экраном и смотрят одно и то же. Общество цивилизованного плебса, где телевидение, ориентированное на массовый вкус, в свою очередь воспитывает этот вкус. Ну, и так далее, — всё это Вы знаете. Где тут место литературе? Пророку, которого, пояись он, никто бы не услышал?

Вероятно, Вы помните, дорогой Бен, — Мериме считал, что Пушкина можно переводить только на латынь, и сам перевёл «Анчар».

Но я не стал бы ссылаться на Мериме, как на типичный пример западных переводов, разжижающих строгую прозу Пушкина, — переводов толковательных, попутно поясняющих русские реалии, с которыми не знаком иностранный читатель. Мериме — история полуторастолетней давности. Так теперь Пушкина, как и других русских писателей, никто давно уже не переводит.

Однажды я увидел у друзей на полке «Пиковую Даму» на немецком языке и прочёл её. У меня есть немецкий Чехов (которого я не раз видел и на сцене). В Париже, в большом книжном магазине на бульваре Сен-Мишель, куда я заглядываю каждый раз, мне однажды попалась на глаза повесть Толстого «Дьявол» (которую я очень люблю), это была книжка с двойным текстом, французским и русским, так что легко было сравнивать. Уверяю Вас, всё это — совсем не такого рода переводы, как цитируемый Вами перевод Мериме.

О фразе Блока... Конечно, это говорит поэт. Но я с ним согласен. Художественная литература — это эмоциональная память человечест-

ва? Вполне возможно. Однако это не *цель* поэзии, литературы, искусства вообще. Поэт не задаётся целью пополнить память человечества. Поэт (и писатель) воспринимает искусство, как верующий воспринимает Бога. Искусство, по крайней мере для такого поэта, как Блок, — это платоновская идея. Именно это я имел в виду в конце моей статейки.

Кажется, я видел поэта Андрея (?) Дементьева, почти полвека назад. В областной библиотеке города Калинин — кстати, очень хорошей, — где я часто бывал и, как многие студенты, занимался там, была устроена встреча с местными стихотворцами. Выступил профессор литературы педагогического института, после чего поэты читали стихи, среди них некто Дементьев в амплуа комсомольского романтика. (Были и другие: колхозные, древнерусские, лирические). Несколько позже в газете «Калининская правда» была напечатана, на целую полосу, поэма Дементьева под названием «Крылья почина».

Починами, если Вы помните, назывались производственные кампании, изобретаемые журналистами. Дела давно минувших дней...

Я, конечно, хорошо помню это место в статье Ходасевича. Мне даже всегда казалось, что Ходасевич — редкий в России XX века пример поэта, умеющего хорошо писать прозой. У других, даже великих, это чаще всего не получалось. Пастернак, по крайней мере в 20-х и 30-х годах, писал вычурно (о чём позже говорил сам). Например, «Детство Люверс» — вещь выдающаяся и совершенно невыносимая. Проза Иосифа Бродского страдает манерностью. Цветаева просто писала плохую прозу. Даже в благородной прозе Ахматовой нет-нет да и промелькнёт дамская кокетливость.

Так вот, возвращаясь к статье «Кровавая пища»... Что говорить — русская литература вошла в нашу плоть и кровь. Мы и мыслим, часто не сознавая этого, нормами и категориями этой литературы — русским девятнадцатым веком. Но когда, потрянув головой, озираешься вокруг, когда бросаешь взгляд на большие часы, где длинная стрелка показывает десятилетия, а короткая — столетия, то начинаешь понимать, — по крайней мере, таково моё давнишнее ощущение, — что с этим наследством, с этими идеалами и понятиями, как с царскими кредитками, больше нечего делать. Нет, ни Толстой, ни Достоевский отнюдь не «устарели», о Чехове и говорить нечего. Разве что чуточку Тургенев; разве что, самую малость, Лесков; разве что Писемский. Но верить, во что они верили, думать, как они думали, больше невозможно, служить народу, стране или кому там ещё, даже если бы горячо хотелось послужить, невозможно — по причине того, что нет больше такой страны и нет больше народа.

Тут мы упираемся в ту самую проблему, которая некогда была предметом нашего с Вами спора. Проблему не новую, но она относится к числу тех, которые каждый очередной литератор вынужден так или иначе решать заново и для себя.

Это проблема времени и традиции, которую нужно либо отвергнуть, либо (как Гроссман) следовать ей верой и правдой, не страшась упреков в отсталости. Либо, наконец, уподобиться кондитеру, который ведь не только сыплет сахар в тесто для пирожных, но и соль. Другими словами, преодолевать давление традиции внутри самой этой традиции.

Ясно, по крайней мере, что писать, как писали Толстой и Достоевский, невозможно, и не просто потому, что не хватит силёнок, но оттого, что — нельзя. Красный свет светофора. В сущности, я ломлюсь в открытые двери. Поезд великой русской литературы ушёл, а мы остались на платформе. Тут и эстетика, и поэтика, и мировоззрение, и общество, сгнувшее навсегда.

Подростком я с восторгом, с упоением читал Чернышевского, и Добролюбова, и Писарева, даже какого-нибудь Антоновича («Асмодей нашего времени»). Как-то раз, это было во время войны, в селе Красный Бор на Каме, в воскресенье, я забрался в школьную библиотеку, дверь была не заперта. Лежал там на столе и читал «Реалистов». Их и надо читать в этом возрасте. Всё это ушло, но перед Белинским я преклоняюсь и теперь. Говорю это к тому, что мне пришлось выдержать войну и с Белинским. (Вы помните, что Блок писал о «белом герале»).

Однажды я случайно увидел в журнале «Континент» краткую, но очень выразительную аннотацию или, скорее, рецензию моей повести «Третье время», напечатанной в «Дружбе народов». Отрицательные рецензии запоминаются, было это три года назад, сейчас попытаюсь найти её в интернете.

«Б. Х. описывает пробуждение эротических влечений у подростка. Дело происходит во время войны в поселке, где практически нет мужчин, зато молодых, исполненных томления женщин более чем достаточно. Подросток романтически влюбляется в одну, но первый сексуальный опыт переживает, разумеется, с другой — после чего пытается совершить самоубийство. Текст донельзя литературный, вычурный и переусложненный отвлеченными умствованиями, якобы принадлежащими тому же герою, в гораздо более зрелом возрасте пытающемуся осмыслить эпизод своего грехопадения».

Умствования оказались ненужными, скучными, малопонятными — я усмотрел в этом некий симптом. Мы привыкли к этому окрику: «Показывай, а не рассказывай!». И уж во всяком случае воздержись от комментариев, это не по твоей части. Белинский учил (не первым, конечно), что искусство есть мышление образами, а философия — понятиями.

Столетие спустя эта антитеза потеряла смысл. Литература XX века невозможна без философии. Произошло взаимопроникновение

художественной литературы и эссеистики; по-видимому, это оказалось неизбежным следствием того особого усложнения художественного мышления, о котором я говорил выше. При этом внутренний комментарий, эссеизм внутри романа оказывается особым художественным приёмом. В России, однако, всегда относились ко всякому философствованию с подозрением. Занудство; далеко от жизни; рассуждать — не дело художника, и т.д. И тезис Белинского, как я не раз замечал, жив до сих пор.

Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007)

Часть третья

Меня так и подмывает придраться, дорогой Бен, к Вашей фразе о том, что прозу Цветаевой «надо судить по законам поэзии». Как «Книгу Легран», добавляете Вы, или «Путешествие по Гарцу». В том-то и дело, что Цветаева, отчасти сознательно, смешала то, что, как вода и масло, не смешивается, старалась писать поэтическую прозу. Из этого обычно получаются сапоги всмятку. Ведь проза живёт совершенно другими законами. Гейне же с его прозой (ибо и «Гарц», и «Книга Легран», и многое другое — это блестящая проза, отнюдь не «поэтическая») выдерживает любые испытания.

Но лучше мы вернёмся к основной теме: по-видимому, я плохо, слишком торопливо сформулировал то, что хотел сказать, и Вы меня не вполне поняли. Вероятно, поэтому Вы вспомнили славную «теорию отражения». Причём тут, скажите на милость, эта теория, причём тут Лукич?

Когда я говорил о том, что реалистическое повествование (здесь предпочитают говорить: миметическое, термин, восходящий к Аристотелю) скомпрометировано, я не хотел сказать, что оно чем-то проштрафилось, но имел в виду некоторую устаревшую, на мой взгляд, литературную конвенцию. Эта конвенция, чаще всего не декларируемая (одно из исключений — Флобер, вот почему так важны, мне кажется, его письма — настоящее евангелие литературы), обыкновенно принимаемая как нечто само собой разумеющееся, предполагает такой взгляд художника на действительность, который возвышает его над всеми своими персонажами: всеведение. Существует вера в действительность, какова она на самом деле. В этом «на самом деле», заметьте, вся суть. Это — незыблемая, непререкаемая, при всей своей сложности однозначная, точнее, однозначно читаемая действительность, какой её изображает и на которую открывает нам глаза художник-реалист. Его проза — блестящий результат «художественного исследования» действительности. Анна

Каренина не знает о существовании Толстого, но Толстой знает о ней всё, и нет оснований сомневаться в его компетентности — он видит всё и читает во всех сердцах.

Это та действительность, о которой говорит апостол Павел: мы наблюдаем её как бы сквозь тусклое стекло, а приобщившись к Богу — видим лицом к лицу. Всевидящему, но невидимому Богу Флобер (в знаменитом письме к м-ль Леруа де Шантпи от 18 марта 1857 г.) уподобляет писателя в его произведении.

Сегодняшний романист, будь он даже наделён гением Толстого, или Стендаля, или Флобера, так о себе сказать бы не мог. Это конвенция литературного реализма позапрошлого века. Нравится нам это или нет, но она ушла в прошлое. Понимание этого — далеко не новость. Буря первых десятилетий двадцатого века оставила после себя обломки. Но до сих пор нелегко примириться с тем, что случилось что-то непоправимое: наши привычные представления о художественности перестали работать. Пошатнулась вся эстетика, унаследованная от прошлого, вынесенная из нашего духовного отечества — классической литературы XIX века, как выносят мебель из горящего дома.

Вас смутило словечко «скомпрометированный». Но ведь никто не собирается опровергать Толстого. Так же как никто не дерзает перецементировать Толстого, который, как и Пушкин, как Данте, вечен, «доколь в подлунном мире...». Караван, однако, шагает дальше — своим путём. Может быть, классики содрогаются, поглядывая на него со своих небес. Но если бы это было не так, если бы литература пребывала в счастливом и успокоительном сознании, что «всё это уже было» и ничего нового не произошло, — не появилась бы новая эстетика, не было бы великих писателей следующего века — Пруста, Джойса, Кафки, Фолкнера, Андре Жида, Музиля, Томаса Манна, Борхеса; к ним, очевидно, следует причислить прозу Платонова и Андрея Белого.

Вы говорите о «нормальном читателе». Новая (теперь, конечно, уже совсем не новая) литература по-своему расправилась и с читателем. Она заявила о своей суверенности и потребовала от него весьма значительного встречного усилия. Я не знаю, кто это такой — нормальный читатель, совершенно так же, как я не знаю, что надо называть нормальной литературой. Видимо, это и есть тот самый читатель, о котором Вы говорите: «Хоть ты её сахаром облепи...»

Наконец, — если, как говорит Козьма Прутков, «смотреть в корень», — всколыхнулась и философия действительности, как её понимает художник. Вы совершенно правы, Бен, говоря, что писатель создаёт, так было всегда, свою действительность. Но классика (в узком смысле — буржуазный роман XIX столетия) притязала на безусловное и убеждающее жизнеподобие картины, которую она предлагала. Это вытекало из той концепции действительности, о которой я говорил

выше. Для писателей следующего века литературная действительность есть в большой мере преодоление эмпирической действительности. Картина мира есть то, что реконструируется — но и конструируется — нашим сознанием; для прозаика одинаково бытийственны и воспоминания, и сны; время повествования субъективно, это время нашего сознания; писатель имеет дело не с реальностью в старом смысле слова, но в лучшем случае с её версиями.

Это — приобретение XX века, за эстетикой стоит теперь другая онтология. Поэтому мир и человек в мире литературы, как в новой живописи (сколько тут удивительных параллелей!), для обыденного сознания и «нормального» зрения выглядят искажёнными. Мир Франца Кафки чудовищен. Мир Борхеса фантазмагоричен. Мир Джойса карикатурен. Мир Томаса Манна (в «Докторе Фаустусе», например) зыбок и постоянно двоится. Но вот что удивительно: эти книги, каждая на свой лад, убийственно правдивы.

Заметьте, я вовсе не посягаю (как Вам показалось) на самый принцип повествовательности. Рассказывание историй — древнейшая функция литературы, и хотя время от времени становится модным её отрицать, из этих попыток ничего не выходит. Ссылаются на то, что новых сюжетов не бывает. (Забыв, что об этом говорил ещё Гёте). Между тем бессюжетная проза растекается, как манная каша. И не зря покойный Лотман говорил, что сюжет — «революционизирующий элемент» прозы.

Видите, я снова накопал целый трактат. Хватит ли у Вас терпения всё это читать? Ещё немного об эссеизме. Или, вернее, о месте автора в его прозе.

Один пример. Некоторые читатели считали и считают до сих пор усложнённый повествовательный принцип романа «Фальшивомонетчики» модернистским трюком. Вы всё читали, но, может быть, книга забылась. Напомню Вам. Подростки из хороших семей связались с бандой преступников. Об этом пытается написать роман некий писатель. Все персонажи — плод его фантазии. Он тоже действующее лицо, но в то же время и реально существующий автор, он ведёт дневник, куда заносит свои соображения о романе. Он терпит неудачу, роман не вытанцовывается, тем не менее роман — перед нами. В свою очередь, персонажи обсуждают замысел романиста. И, наконец, существует «Дневник “Фальшивомонетчиков”», выпущенный Андре Жидом после того, как книга вышла в свет.

Литературный фокус, погоня за новизной ради новизны? Нет, конечно. Это построение вызвано необходимостью. Романист почувствовал, что только так, пользуясь системой зеркал, он может совладать с созданной им литературной действительностью. Только так она станет для него действительной.

Дело в том, что, усомнившись в действительности, писатель не может не усомниться в своих попытках уловить, поймать в сети действительность; это заставляет его задуматься над собственным произведением, над принципами повествования, над памятью, над временем персонажей и временем автора и мало ли ещё над чем. Назовём эту рефлексию эссеистическим элементом прозы. Вы ошибаетесь, говоря, что это «не Бог весть какая новость»: Толстой-де тоже этим занимался в «Войне и мире». Нет, Бен. Обширные отступления, целый трактат о философии истории в конце последнего тома — вовсе не эссеистика, а именно трактат, изложение взглядов автора на историю. Автору было угодно присовокупить это сочинение к своему роману, — ради Бога. Но он не сделал его интегральной частью своего художественного, романного мира. Толстой вообще никогда не занимался эссеистикой. Можно добавить, что эссе не является традиционным жанром русской литературы, в отличие от французской, английской, немецкой (может быть, в меньшей степени). Крупнейшим русским эссеистом был, вероятно, Герцен, но и ему не удалось усвоить русской литературе этот жанр.

Может быть, Вы заметили, что сейчас, когда западное словечко «эссе» сделалось модным в России, им обозначают всё что угодно, но не эссе.

Однако я несколько отвлѣкся, мы говорим не о самостоятельном жанре (главная особенность которого — саморефлексия, готовность усомниться в собственной точке зрения, ироническая дистанция и противостояние авторитарному слову — равно как и рафинированная культура), а об «эссеизме», о внедрении эссеистических приёмов в ткань романа, где разного рода умствования в свою очередь становятся художественным приёмом. Ведь у писателя, как у того царя, наказанного за жадность, всё, чего он касался, превращалось в золото, так что он умер от голода, — у писателя всё становится литературой.

Как описания природы были обязательной частью романистики XIX века, так в XX веке внутренняя рефлексия становится характерной чертой романа. Назвать это новостью? Ничто в литературе не обходится без предварений и предшественников. И всё-таки то, о чём я говорю, было знаком перемен, элементом новой литературной парадигмы.

Уфф! Мне кажется, я сказал очень мало. А между тем пошла уже третья страница.

Вы ссылаетесь на Свифта, Стерна и так далее — почему бы ни вспомнить «Золотого осла» или «Декамерон»? Всё это не на тему. То ли я снова выразился недостаточно определённо, то ли Вы невнимательно прочли моё письмо. Речь шла о парадигме XIX века, об этой и только об этой эпохе, о позитивистской философии действительности, которая возобладала в этом веке, — короче говоря, речь шла о буржу-

азном реалистическом романе, лучшие и самые характерные образцы которого были созданы в эту эпоху во Франции и России. И, который, бесспорно, ушёл в прошлое.

Конечно, многое подготовлено восемнадцатым веком, но обратите внимание на водораздел между романом, условно говоря, аристократическим и буржуазным романом. Констан — современник (правда, младший) Бальзака, но как велика разница. Внешность героев в «Адольфе» не описана. Быта нет: что едят, где живут, как одеваются, как путешествуют — все опущено. Не видно ни слуг, ни посторонних лиц, ни народа, существует постоянная декорация, единственный фон — дворянское общество, везде более или менее одинаковое, поэтому оно тоже не описывается. Пять действующих лиц, из них трое остаются на заднем плане. Подробно анализируются чувства главного героя. Всё повествование освещено холодным, безжалостным сиянием — это свет ума. Жизнь абсурдна и в то же время чрезвычайно логична. Поэтому она умопостижима. Никаких тайн не существует для романиста. Все поступки действующих лиц безупречно мотивированы. Над всем господствует социальный рок — правила поведения, диктуемые обществом, и таким же строгим правилам следуют стиль и построение романа. Литературный этикет идеально соответствует сословному этикету, благородство стиля разоблачает задрапированное приличиями неблагородство героя. Роман состоит из десяти коротких глав.

Это, конечно, — как и проза Пушкина, — все еще дальше эхо классической латинской прозы, а в ближайшей ретроспективе наследство века Просвещения; аристократическая проза: ясная, сдержанная, суховато-элегантная; но уже через каких-нибудь 13–15 лет проза начинает разбухать, заявляет о себе буржуазный интерес к вещам, к быту, появляются многостраничные, грузные, как их автор, романы Бальзака с подробнейшими описаниями улиц, комнат, одежды. Тот самый, ограниченный временем и типом общества реализм, который я имел в виду. Многое унаследовано от XVIII века. И всё же это совсем другое.

Что Вам сказать. Ваша мысль, говорите Вы, предельно проста: «Я против всяческих теорий». Если это так, то говорить не о чем. Может быть (хотя вряд ли), Вы подумали, будто я представляю себе дело так, что писатель, особенно если не достаёт таланта, сочиняет для себя теорию писания, а потом пишет, следуя этой теории. Так не бывает.

Как-то раз, помню, я разговорился с покойным Володей Корниловым, он говорил о Моцарте. Для него это был — очевидно, не без влияния маленькой трагедии Пушкина — образец бездумного гения. (В действительности, как Вы знаете, и письма Моцарта, и его рукописи опровергают этот миф). Писателю тоже противопоставлены всевозможные умствования. Это говорилось, конечно же, *pro domo sua*, но здесь сказались, по-моему, и традиционная русская точка зрения, привычное не-

доверие ко всякой рефлексии, отталкивание от философии и философствования. Мне же очень трудно представить себе современного взрослого, культурного и образованного писателя, который не задумывался бы над принципами своего и чужого творчества. Писателя, который не отдавал бы себе отчёта в том, что он ходит не по целине, а по толстому слою культурного гумуса, что за ним длинная череда предшественников. От того, что, как Вы говорите, придёт следующее поколение, явится новый гений, который опрокинет прежние теории, ничего не меняясь: он создаст для себя новую теорию.

Мне непонятно это противопоставление: талант — и теория. Мне кажется, что рефлексия о собственном творчестве отнюдь не противоречит таланту. Напротив, она, как я пытался объяснить, становится необходимостью. Не говоря уже о том, что самые представления о талантливости со временем меняются. Это, впрочем, особая тема.

Меня заинтересовали Ваши замечания о героях «Чайки». Ведь Ваше разъяснение совсем не бесспорно, прелесть пьесы в том, что и мучки Треплева, и путь Заречной в искусстве можно понимать по-разному. Это же относится к паре Аркадина — Тригорин. Кстати, я однажды написал шуточный текст на эту тему (он был напечатан в Канаде). Посылаю Вам — и на сей раз закругляюсь.

Ваше письмо не опоздало: я три дня отсутствовал, ездил в Чехию на конференцию ПЕН. Давно уже не был на этих сборищах. Это так называемый ПЕН-клуб писателей в изгнании, филиал Интернационального ПЕН. Повидал некоторых друзей, а так — ничего особенного, можно было не тащиться в городок почти на самой польской границе. Но как-то неудобно манкировать, в своё время они отвалили мне несколько премий.

Перечитываю Ваше письмо. «Чайка» для меня совершенно особенная пьеса, самая любимая. Впрочем, во всех странах она не уходит из репертуара, видел я её и здесь, причём мне кажется, что на немецкой сцене (я имею в виду в данном случае театр Münchener Kammerspiele, известный во всём немецкоязычном регионе), она получилась удачней, чем то, что я когда-то видел в Художественном театре в Москве. Вообще же я всегда думал, что эту пьесу поставить на сцене невозможно, настолько это тонкая, филигранная, сложная, глубокая и многозначная вещь.

Отсюда проистекают эти неисчерпаемые возможности толкования. Кто такой Тригорин? В перечне действующих лиц о нём сказано: беллетрист. Уже эта ремаркастораживает. В дальнейшем становятся очевидны, по крайней мере, две вещи. Тригорин — серьёзный, талантливый, много работающий и по-настоящему преданный литературе писатель, это первое; и второе: Тригорин — этаблированный, то есть

добившийся известности и прочного положения, преуспевающий автор. Рискованно добавить: это писатель, работающий «в русле». Не зря он говорит о себе: умру, люди скажут — хороший был писатель, но не Тургенев. Другими словами, это эпигон. Между тем на дворе 90-е годы, время, когда молодое по отношению к Тригорину, Аркадиной и другим поколение чувствует, что это русло обмелело. Дует новый ветер, на встречу идёт новая литературная эпоха, «декадентство», «символизм». Словом, «нужны новые формы». Какие именно, ещё неизвестно, но что-то совершенно другое. Всё это носится в воздухе и дурманит голову молодым. Взрослые люди смеются над этими фокусами. На самом деле происходит то, что так часто случается в искусстве: бунт должен завершиться становлением новой литературной парадигмы.

У Кости Треплева есть немало оснований присоединиться к этому бунту. Во-первых, он молод: мамаша и её любовник для него уже почти старики. (Я отлично помню, как я считал сорокалетних безнадёжными стариками.) Во-вторых, он не просто — как Вам кажется — тщеславен, жаждет престижа и т.п.; нет, он одержим истинным желанием работать в искусстве. В новом искусстве, которому не дают хода старые задницы, рутинёры. В-третьих, он ущемлён социально (очень важный момент, хоть и звучит под сурдину): вокруг дворяне, а он по паспорту, как и его отец, нижегородский мещанин. Не забудем, что мы живём в сословном обществе. Граница между привилегированными и непривилегированными сословиями проходит как раз по Косте. Он беден, чтобы не сказать — нищ, живёт на иждивении дяди, у которого имение и генеральский чин, отчасти на иждивении матери. Ему не везёт в любви, Нина увлечена столичным гостем Тригориним. И так далее.

И, наконец, главный вопрос: действительно ли он призван сделать что-то серьёзное в литературе. Вы решаете этот вопрос однозначно: Треплев бездарен. Доказательство — его нелепая пьеса. Мне же кажется, что этот вопрос у Чехова остаётся открытым. Костина пьеса — проба начинающего; вспомните, какие беспомощные вещи писали в этом возрасте Гоголь или Некрасов, да и мало ли кто ещё. Дорн, самый умный человек в пьесе Чехова, говорит о пьесе Треплева: в ней что-то есть. Это «что-то» в дальнейшем до некоторой степени реализуется, прозу Треплева начинают печатать в журналах, Тригорин говорит, что им интересуются; по-видимому, перед Костей три возможности: либо он в самом деле пробьёт собственный, новаторский путь в литературе, либо поедет по накатанному пути, станет в конце концов эпигоном эпигонов (таких, как сам Тригорин), — либо, наконец, из него ничего не выйдет, и Вы окажетесь правы. Но Треплев убил себя — оснований не меньше, чем было оснований для юношеского бунта, — и вопрос, как я сказал, остался открытым. В этом отсутствии ответа, по-моему, проявляет себя тайная, но очень последовательная и очень жизненная логика гениальной «Чайки».

Конечно, дорогой Бен, Вы можете сказать, что я попросту защищаю свои позиции, пытаясь выдать собственную манеру, частные вкусы чуть ли не за магистральный путь современной прозы. Если бы я был московским критиком (мы говорим, разумеется, не о присутствующих) и взял на себя неблагодарную задачу обозреть творчество беллетриста БХ, я написал бы, что, начав с более или менее приемлемой реалистической прозы, этот писатель в дальнейшем пал жертвой западной моды, усвоил себе чуждую отечественной традиции манеру философствовать, изменил нерушимому завету «показывай, а не рассказывай, не дело художника рассуждать», что и предопределило его крах.

Но дело в том, что я почувствовал, что писать так, как писали наши классики, как писали, подражая им, прозаики в Советском Союзе, даже лучшие из них, — больше невозможно. Думаю, что это чувство испытывал не я один.

Василий Гроссман почувствовал, что он не может обойтись без «рассуждений». Но он был убеждённым традиционалистом, учеником Толстого, одним из тех, для которых (если говорить о поэтике) двадцатого века не существовало, и его философско-публицистические отступления в замечательном романе «Жизнь и судьба» остаются именно отступлениями: рассказ о героях — это одно, а рассуждения «от автора» — совсем другое. Он и в этом был верным последователем Толстого.

Однажды покойный Илья Константиновский, наш незабвенный «Ег sagt», приехав в Мюнхен, подарил мне свою книгу «Как свеча от свечи...» Не желая оскорбить его память, должен сказать, что эта книга — свидетельство (правда, небеллетристическое) рабства у великого писателя: Толстой даёт ему ответы на все вопросы — литературные, политические, эстетические; XX века для него точно так же не существует.

Мы говорили об эссеизме в художественной прозе, об эссеистических вкраплениях в ткань прозы, но дело идёт о чём-то более общем. Я уже пробовал собраться с мыслями, так что, может быть, повторяюсь. Дело идёт, если угодно, о самосознании автора в своём собственном произведении. Это самосознание, над которым прежде особенно не ломали голову, пошатнулось. Больше невозможно играть роль безраздельного распорядителя в романном мире, совершенно так же, как невозможно чувствовать себя субъектом истории, а не её жертвой, в большом мире, в омерзительном веке. Литература настоена на сомнениях. Кто ты такой, спрашивает себя писатель, чтобы иметь право водить за нос читателя, внушать ему, что твои писания — это и есть то, что Стендаль когда-то называл «зеркалом на большой дороге»?

Дело не в философствовании самом по себе. Дело в эссеистической дистанции. Начиная с Монтеня, эссе («опыт») сделалось — или сделался — прибежищем релятивизма. Эссеист всегда готов подвергнуть радикальному сомнению свою точку зрения и, больше того, по-

шатнуть самое представление об истине. Важно, однако, что мы находимся не в окружающем мире, а в романном, — внутри романного мира. Особое и даже коварное свойство литературы — то, что она всё превращает в строительный материал для самой себя. Писатель похож на того царя, наказанного за жадность, у которого всё, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. Рефлексия, то есть введение дополнительного измерения, становится художественным приёмом — хотел этого или не хотел автор.

Только в этом смысле я пользовался в наших словопрениях словечком «эссеистический». С некоторых пор почувствовалось, что мы перешагнули через какой-то важный порог; больше не удовлетворяет наивный взгляд на мир. Глаз прозаика стал, как глаз стрекозы, фасеточным. Роман становится романом версий и романом о романе.

Назвать ли это общеобязательным правилом для всех пишущих? Нет, конечно. Тот же Гроссман с презрением отнёсся бы к моим вещаниям. Сказал бы: нам не до литературных игр... что-нибудь в этом роде. Ведь в его системе взглядов, в его поэтике то, о чём я тут разлагольствовал, — если он вообще когда-нибудь, что маловероятно, над этим задумывался, — всего лишь игра. Я упомянул как-то Андре Жида; сейчас перечитал главу о нём во втором томе мемуаров Эренбурга (подаренных Вами). Об этой главе, замечательной, увы, своей полуправдой, которая хуже лжи, я, как Вы помните, однажды уже писал. Там упомянуты вскользь «Фальшивомонетки»: Эренбург брезгливо называет их романом о романисте. Для него (если он искренен) это признак искусственности, недостатка художественного дарования.

Ещё два слова. В «Бесах» Достоевского нет никакого «эссеизма», но там есть нечто такое, что делает этот роман поистине революционным. Скажем так — антифлюберовским. Не правда ли, забавный парадокс: писатель с устойчивой репутацией реакционера, монархиста и клерикала в своей эстетике оказывается ниспровергателем основ. А ведь дело происходит ещё только в 70-х годах. Чтобы не растекаться далее по древу, я решаюсь присовокупить к этой диатрибе одну статейку, которую я однажды написал (она была напечатана в журнале «Зарубежные записки»).

Когда-то давно, сто лет назад, среди наших учителей на классическом отделении был доцент Александр Николаевич Попов, прелестный старик (тогда все преподаватели казались стариками), строгий и немного вздорный; он был вторым человеком после Радцига, а позже — меня уже не было в университете — занял его кафедру. Любимым русским поэтом А.Н. был граф Алексей Константинович Толстой, и свой учебник греческой грамматики Попов унаследовал параллельными цитатами из его стихотворений. Тот самый Алексей

Толстой, о котором так презрительно отзывался Чехов («как надел оперную одежду, так и не снимал её до самой смерти»). Это я по поводу Вашего «острова Птоломеев».

Можно добавить, что в разные времена жизни кумирами и образцами для подражания становятся разные поэты. Но в наших письмах я по возможности избегал говорить о поэзии, так как, по моему глубоко-му убеждению, «Восток есть Восток, и Запад есть Запад», между поэзией и прозой лежит водораздел, и попытки его игнорировать, мешать Божий дар с яичницей почти всегда оканчиваются неудачей. Вообще же, как мне кажется, поэты держатся своей обособленности ещё ревнивей, чем прозаики. Существует (например, у Бродского) поэтический шовинизм.

При всём том, если вернуться к «эгоцентризму», — и Вам это лучше знать, чем мне, — задним числом обнаруживаются связи, не только вертикальные, но и горизонтальные. Очевидно, это и позволяет говорить о смене эпох, о новой парадигме, о новой эстетике, обо всём том, что роднит современников, хотя бы они и не любили друг друга. И сейчас, на большом расстоянии, мы вправе говорить, к примеру, о натиске модерна на рубеже двух веков, девятнадцатого и двадцатого, поверх всего того, что развело великих зачинателей по своим углам.

Если бы меня спросили, кого я больше всего люблю из русских прозаиков, я бы мог, конечно, ответить, но это были бы классики, — а вот что касается современников... Я высоко ценю Трифонова, но его уже нет в живых. Горенштейн умер. Леонид Цыпкин, автор маленького романа «Лето в Бадене», тоже умер. Можно было бы выделить и нескольких ныне работающих писателей, но назвать их по-настоящему любимыми, необходимыми, я не могу. Ничего не поделаешь — старость.

Дорогой Бен, Вы задали мне странный вопрос. Как же так, спрашиваете Вы, вот я высоко ставлю Юрия Трифонова, а между тем «в нём нет и тени того модернизма, о котором...» и т.д. Слово модернизм при этом ставится в кавычки, чтобы подчеркнуть, что это нечто несерьёзное: настоящие писатели, как Трифонов, этими фокусами не занимаются. Собственно говоря, наш спор следовало бы начать с уточнения, что, собственно, мы оба понимаем под модернизмом. Определяйте значения слов, говорил Паскаль, и половина споров станет излишней.

И всё же я думаю, что мы имеем в виду, каковы бы ни были наши симпатии или антипатии, примерно одно и то же. Ведь речь идёт об общеупотребительном термине. Вдобавок — что немаловажно для нашей контрверзы — речь идёт о минувших временах. Мы не живём в эпоху модернизма, он остался далеко позади. Уже поэтому было бы странно радоваться тому, что Трифонов — не модернист, упрекать его или ставить это ему в заслугу.

Но дело в том, что, в отличие от очень многих современных русских и почти всех советских писателей (после 1930 г.), Трифонов не прошёл мимо того, что произошло в литературе в эпоху модернизма. Возьмите (в качестве антитезы; только один пример) Георгия Владимова: это был очень добросовестный, преданный литературе и отнюдь не бесталанный, признанный и осыпанный заслуженными похвалами прозаик, которой остался полностью в XIX веке. Он прекрасно чувствовал, что вторая Мировая война — важнейшее событие века, но не хотел и не мог понять, что писать о войне, как писал Толстой, больше невозможно.

Я не литературовед, но мне кажется, что достаточно вспомнить или перечислить поздние и лучшие вещи Трифонова, чтобы убедиться, что это совсем другой случай: не Владимир. Тут перед нами современный писатель, усвоивший достижения модернизма, но уже не модернист. До сих пор никто как следует не проанализировал эволюцию Трифонова от советского писателя к писателю по-настоящему современному, «модерному», если хотите (не путать с модернистом). Мне, как и Вам, вероятно, приходилось читать работы о Трифонове, и отечественные, и западные: говорилось о скрытом диссидентстве или, напротив, о приспособлении к цензуре, об отношении к советской идеологии, о правдивости или об искажениях правды и т.п. Но ведь гораздо важнее было бы проследить, каким образом изменилась и усложнилась его эстетика (или поэтика), преобразилось его видение мира, как и почему автор «Студентов» превратился в создателя таких вещей, как «Время и место» или предшествующие, особенно последние, московские повести.

Меня заинтересовали Ваши замечания о покойном Андрее Синявском. Я знал его, однажды прожил несколько дней в их доме, в парижском пригороде; не так давно посетил после многих лет Марию Васильевну, некогда бывшую первой дамой эмиграции; были и другие обстоятельства, так или иначе связывавшие нас (хоть и не близко). Я всегда считал Синявского высокоталантливым писателем, но ценил его как эссеиста, а не как беллетриста. Он называл свою художественную манеру фантастическим реализмом, но как раз фантазии, ему, на мой взгляд, не доставало. Думаю, что теперь читать его романы и повести невозможно. Вообще же он производил на меня впечатление человека с глубокой червоточиной; ему следовало бы жить в 1913 году.

Вы называете его творчество (как и творчество совсем другого писателя — Владимова) неорганичным. Я как-то плохо понимаю, что такое органичное творчество. Вытекающее из неодолимой внутренней потребности писать, сказать нечто никем доселе не сказанное? Не «головное», не сконструированное по известным образцам? Не литературу-

ра, порождённая литературой, но литература о «жизни»? Все эти определения неудовлетворительны. Ещё меньше, чем к русским писателям, они подходят к западным. Был ли Пруст органичным писателем? Или Андре Жид? Борхес?

В конце письма Вы спрашиваете, куда нам отнести «Крошку Цахе-са» или «Нос»; смысл Вашего вопроса, как я понимаю, — не подрывают ли такие примеры всю концепцию литературного модернизма.

Можно было бы, вероятно, упомянуть и «Петера Шлемиля», и «Шагреневую кожу», и «Доктора Джекилла и мистера Хайда», и «Орля», и «Жестокие сказки» Вилье де Лиль Адана, и мало ли ещё кого. По этому поводу позвольте мне сделать отступление. Я когда-то, как Вы, может быть, помните, занимался биографией Ньютона. У него были предтечи. И Кеплер, и Галилей, и Гюйгенс, и Рэн, и некоторые другие весьма близко подошли к открытию закона всемирного тяготения, Гук предсказал это открытие. Но их заслуги понаты и оценены *потому*, что явился Ньютон. Благодаря ему стало ясно, что все они двигались в одном направлении. Собственно, они и стали предшественниками Ньютона, потому что существовал Ньютон.

Новатор отбрасывает снопы света назад.

Что диковинная повесть Гоголя — нечто большее, чем сатира, и даже вовсе не сатира, стало ясно в XX веке. Оказалось, что «Нос» — дальнейшее предвестие абсурдистской литературы, а ещё больше — Кафки.

Кстати, роман «Процесс», в свою очередь, многим казался (в СССР это стало даже общепотребительной точкой зрения) разоблачением австрийской бюрократии, буржуазного суда и т.п. Между тем это отнюдь не разоблачительное, не социально-критическое и не сатирическое произведение.

Но мы, если вернуться к нашим баранам, всё-таки как-то разобрались с модернизмом. Я подозреваю, что в России этому термину среди прочего повредил недавно ещё бывший модным термин «постмодернизм». Стараниями журналистов, критиков и полукритиков постмодернизм вообще лишился сколько-нибудь уловимых очертаний. Но это особая тема.

Мне принесли последний роман славного В. Сорокина «День опричника». В состоянии ли Вы читать этого писателя?

Чтение книги, очень удачно названной «Маяковский. Самоубийство» подвигается медленно, отчасти потому, что я наслаждаюсь книгой, смакую, так сказать, отчасти же из-за того, что к нам нагрянули внуки, а тут ещё медицинские дела и пр. Во всяком случае, до главы о диком мясе я не успел добраться; сейчас, нарушив последовательность, прочёл её.

Ваша теория о «мясе» и соединительной ткани (собственно говоря, в гистологии это — ткань, не наделённая специальными функциями, диким же мясом на хирургическом жаргоне обыкновенно называют избыточное разрастание как раз этой самой, ещё юной, соединительной ткани при рубцевании ран; но для наших рассуждений это не так важно — понятно, что Вы хотите сказать), так вот, теория эта, сформулированная *ad hoc*, более всего и подходит к Маяковскому, поэту строчек, подчас поразительных по силе звучания, новизне и богатству образа, но не поэту стихотворений. В других же случаях, и особенно что касается прозы, она вызывает у меня сомнение.

Вы ссылаетесь на два примера «почти сплошного» дикого мяса: «Четвёртая проза» Мандельштама и Достоевский. На мой взгляд, «Четвёртая проза» — в высшей степени литературная, чрезвычайно мастеровитая, то есть мастерски сделанная, весьма тщательно продуманная вещь, отнюдь не спонтанная, что не мешает ей оставаться чрезвычайно эмоциональной. Её импрессионизм, её нарочитая капризность, внешняя бессюжетность, — правильней было бы сказать: ломаный сюжет, — результат весьма точного художественного расчёта, сознательного умысла и той самой «техники», к которой Вы вслед за Толстым относитесь с недоверием. Повторяю: это не делает сей маленький шедевр искусственным, надуманным, вымученным, — напротив. Кажется, что эта проза излилась из души единой струёй; так оно и есть; только прежде чем стать прозой, она упала на мельничное колесо творчества и мастерства.

Достоевский. По Вашему мнению, он вовсе не выработал себе никакой техники, «всецело полагался на старый способ... великих дилетантов — работать “одним нутром”». Простите, я в это не верю.

Когда-то очень давно я читал старую книжку Цвейга, мало что помню, но запомнил одно место, где говорится: впечатление, будто романы Достоевского — это необработанная, хаотически-небрежная проза, обманчиво: попробуйте вы пропустить две-три страницы, и дальнейшее станет непонятным, повествование развалится. В самом деле, «Бесы», как и другие романы, держатся на железном каркасе искусно построенного, тщательно продуманного и выверенного сюжета. Это продукт долгих размышлений. Не мне Вам рассказывать, как выглядят подготовительные материалы и черновики «Бесов».

Стало почти общим местом уличать Достоевского в том, что он «плохо писал». В дневниках Сомерсета Моэма (их когда-то печатал в «Воплях» Лазарь Шиндель) есть целое рассуждение о том, что проза Достоевского крайне несовершенна, но гению было не до ювелирной работы; и всё-таки, добавляет Моэм, лучше работать над стилем, чем так писать. А между тем автор «Преступления», «Бесов» и «Карамазо-

вых» — изумительный стилист, и этот его неподражаемый слог и стиль, как и его сюжеты, — результат оригинальной, выработанной им техники. Возьмите, как наугад выбранный пример, первое знакомство Алёши Карамазова с Грушенькой, первое явление Грушеньки и разговор с Катериной Ивановной — как это написано! Как сделано!

Вспомните рукописи Пушкина, рукописи Моцарта. А ведь кажется, что то, что получилось, было написано в мгновение ока, непосредственно из «нутра» — на бумагу.

Мы возвращаемся к теме художественной рефлексии, на сей раз — в самом процессе творчества и даже у его истоков. Вы склонны разводить спонтанность и обдуманность, интуицию и расчёт, «нутро» и технику. Дескать, сначала первое, а уже потом второе; если же всё начинается с сознательного расчёта, то получаются сапоги всмятку, искусственная литература, человек из колбы. На самом деле нутряной писатель — в лучшем случае романтический миф.

Предел писания нутром — автоматическое письмо сюрреалистов, будто бы открывающее ворота бессознательному. Это особая тема, и мимо этого опыта невозможно пройти. Скажу только, что, когда я работал в деревне и пытался что-то сочинять, я однажды, ничего не зная о Бретоне, изобрел этот велосипед и в первую же свободную минуту начал мараить бумагу, не заботясь о построении фразы, вообще о делении текста на фразы, и даже о грамматике, стараясь только поспевать за течением мыслей. Но слово «текст» буквально означает нечто сотканное. Получилась ерунда.

Я надеюсь, что Вы не поняли меня так, будто я вовсе отрицаю интуицию, внезапное озарение и всё такое. Вероятно, каждый писатель, а уж прозаик тем более, скажет Вам, что первым толчком для него было случайное впечатление, внезапная мысль, что-то прочитанное, увиденное, подслушанное. Но как только начинается собственно творчество, включается сложный механизм, идёт процесс, в котором вдохновение и мысль, спонтанность и контроль настолько тесно сплетены, что противопоставить их друг другу невозможно, более того, они в определённом смысле одно и то же. Опять-таки я помню — если позволено снова говорить о себе, — как в Москве, когда я искал дополнительный заработок, потому что зарплата врача была весьма скудной, я однажды шёл в какой-то институт (совершенно бесполезно) и вдруг мне представилась такая сцена: маленький мальчик — случайный свидетель любовного акта родителей. Вероятно, я находился в это время под впечатлением от одного только что прочитанного романа Франсуа Мориака, который навёл меня на весьма тривиальную мысль, что жизнь семьи, вообще интимная жизнь человека, есть королевский домен литературы; так или иначе, из этой сцены вышел потом маленький роман о ребён-

ке — «Я Воскресение и Жизнь»; давно было дело. Я мог бы привести множество таких примеров: тут и сны, и музыка, и неожиданное воспоминание, и всяческий сор, если повторить Ахматову.

Может быть, стоит добавить, что мне часто приходит в голову вопрос о «ювелирной работе», точнее, о том, насколько оправдана такая работа (почему я и вспомнил о дневнике Мозма). Я об этом писал, в частности, в одном рассказике под названием «Пока с безмолвной девой». (Название это, как Вы догадываетесь, цитата из оды Горация к Мельпомене. Я был очень польщён, увидев в книге о Маяковском, что Вы воспользовались моим прозаическим переводом, а не каким-нибудь другим, стихотворным). Мои изделия в России не особо распространяются, так что, может быть, Вы этот рассказ не читали; посылаю Вам.

Крепко жму Вашу руку, дорогой Бен. Утомляемость, о которой Вы вскользь и так неохотно упомянули, недомогания, да и общая усталость от жизни, — неизбежный спутник нашего с Вами возраста, десерт после пира, а может быть, и оборотная сторона «мудрости»; держитесь.

С наступившим Новым годом Вас, дорогой Бен! Вот я и собрался Вам написать. Погода испортилась, солнце исчезло. В горах, на юге нашего королевства идёт снег. Бавария-4 передаёт разучивание с дирижёром латышом Янсонсом, ныне мировой знаменитостью, адажиетто из Пятой симфонии Малера. Томительная, зачаровывающая музыка, которую невозможно теперь отделить от фильма Висконти. В какой-то мере и от самой новеллы Томаса Манна.

Когда-то Вы мягко укоряли меня, что я подделываюсь под немца, в отличие от патриота России Эмы Мандела, который с гордостью говорил: я живу не в Америке, а в эмиграции. Подделаться невозможно, даже если бы я этого хотел, но власть великой культуры — эта зараза, ускользнуть от которой трудно даже тем, кто этой культурой вовсе не интересуется; я же пригубил от этого напитка ещё в ранней юности. Но — если «можно убедиться, что земля поката: сядь на собственные ягодицы и катись», если, следовательно, ягодиц две, а не одна, почему нельзя сидеть на двух стульях?

Вы прислали мне книгу «на суд и расправу». Лихо сказано, а главное, обязывающе. Но какой там может быть суд. Я прочёл быстрее, чем обычно читаю. Я думаю, что перечислить достоинства этой книги нетрудно. Прежде всего, она захватывает. Персонажи — это живые люди, и самым убедительным получился портрет центрального героя. При этом Вы, словно по его примеру становясь на горло собственной песне, не пытаетесь скрыть от читателя тёмных сторон этого портрета. Введено в рассмотрение — скажем так, привлечено к судоговорению — множество самых разных фигур. Это эпоха в лицах. Замечательно работает Ваш излюбленный и любимый мною приём — хоровод цитат, разноголосица

струнных, деревянных, духовых и ударных инструментов, которые вступают, то повторяя, то перебивая друг друга, друг другу перечая, и, однако, создают впечатление единого оркестра. И, наконец, не последняя и немалая заслуга — привлечь внимание, заставить пристальней взглянуться в фигуру поэта, который на наших глазах становится малочитаемым.

За этим, очевидно, должна следовать критика, но мы уже с Вами много толковали о Маяковском. Вы говорите о том, как много он значил для Вас в юности. В этом всё дело. Это очень важно. Это, может быть, делает всякое обсуждение излишним. Ведь для меня Маяковский, как Вы знаете, значил гораздо меньше. В разное время жизни я возвращался к Маяковскому и всякий раз думал: в чём дело?

Итак, если всё же позволено будет возражать, то вот один пункт. Ваш ответ на центральный вопрос, действительно ли канонизация «лучшего, талантливейшего» так повредила Маяковскому, точнее, были ли этот поцелуй Иуды незаслуженным, — Ваш ответ кажется мне недостаточным. Смирять себя, «наступив на горло собственной песне», разрываться между лирикой и гражданственностью, чистой поэзией и поэзией ангажированной, политической, пожертвовать первой ради второй — мотив достаточно традиционный, восходящий к Гейне. Вы заостряете это противоречие, говорите о двух Маяковских, подлинном и насильственном; это меня не убеждает. Маяковский — один. Он всегда верен себе.

Агитационные стихи — от плакатов до поэм — сохранили, если говорить вежливо, историческое значение; попросту говоря, их невозможно читать всерьёз. И не потому, что их насильственно внедряли, как картофель при Екатерине. Ведь уже народилось поколение, для которого советского литературоведения не существует. Тем не менее и для молодёжи эти вирши в лучшем случае — медь звенящая и кимвал бряцающий. Но несчастье (если это несчастье) в том, что и в самых нежных, самых проникновенных своих, охотно цитируемых Вами вещах поэт остаётся тем же поэтом — автором «Мистерии-буфф», «150 000 000», поэм о Ленине и «Хорошо!», рассказа литейщика Ивана Козырева, разговора с товарищем Лениным, стихов о советском паспорте, стихов о загранице, стихов для детей и так далее. И наоборот: почти в каждом из этих барабанных произведений можно найти сильные, свежие, увлекающие строчки; прочитав их однажды в юности, помнишь всю жизнь: «Сто пятьдесят миллионов — этой поэмы имя. / Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание. / Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими...» Это поэт строчек.

Словом, идиотическое вероучение не было чем-то чужеродным, насильственно навязанным, внешним по отношению к «подлинному» Маяковскому. Он и в самых своих восторженных, самых верноподданных, самых зловещих вещах был вполне подлинным.

Та же поэтика, те же, всегда узнаваемые интонации, угловатые ритмы, обязательные неологизмы, небывалые, брызжущие, поражающие своей изобретательностью, а порой и удручающе искусственные, притянутые за уши рифмы, — а ведь поэтика, если верить Ходасевичу, — самое верное, адекватнейшее выражение души поэта.

Что же касается «идеологии», тут недаром приходится это слово ставить в кавычках: и в «Про это», и в других, самых лучших послереволюционных вещах идеология и поэзия у Маяковского — почти синонимы; отделить одно от другого невозможно. Мне кажется, это весьма важный пункт.

Конечно, в Вашей книге есть и другое, с чем я не согласен или согласен лишь наполовину. Я недостаточно подготовлен для основательного разбора. Но вот, к примеру, вопрос, рассмотренный Вами подробно и всесторонне: причины и подоплёка самоубийства. Мы об этом уже говорили немного. Патография Маяковского не написана, а она могла бы добавить к вашему рассказу ещё одно — недостающее — измерение. Вы постарались релятивировать «показание» Брички, говоря о том, что обстоятельства, заставившие поэта наложить на себя руки, может быть, и можно — каждое в отдельности — считать поводами, но не случайно именно они оказались роковыми, а не какими-нибудь другие; и, значит, их можно смело возвести в ранг причин. Я против этого не спорю, но меня смущает очевидное желание отодвинуть в тень нечто не менее важное — эндогенную основу. А ведь она вполне очевидна. Разумеется, психопатология убившего себя поэта не снимает вины со всевозможных аграновых и халатовых. И разочарование в революции и советском режиме тоже нешуточная вещь. Как и неутолённая любовь. Но я хотел бы только сказать, что внутренняя, обусловленная психической конституцией и годами носимая в себе тяга к смерти сама ищет поводы — и рано или поздно находит. Знаменитые строчки «А сердце рвётся к выстрелу, а горло бредит бритвою» настолько искусны, что могут показаться искусственными. На самом деле они глубоко выстраданы. Маяковский был одним из тех людей, — хорошо известный синдром! — которые всю жизнь борются с искушением покончить с собой. Пока, наконец, очередная депрессия не ставит точку.

Можно было бы кое-что сказать и касательно Вашего вывода о том, что перерождение революции, истинный облик социализма и сознание конца эпохи — вот главная, коренная причина. Документальное подтверждение этого вывода очень шатко. Апокрифического рассказа Юрия Анненкова, фразы, кем-то переданной: «сейчас нехорошо», — недостаточно. Ни в стихотворениях, ни в выступлениях последних лет ничем таким и не пахнет. Неубедительна Ваша ссылка на строчку из финала поэмы «Хорошо!»: «Пойду направо...» Очень может быть, что борьба с левой оппозицией и т.п. тут совершенно ни при чём. Может

быть, поэт вспомнил обычную уличную вывеску: «Держись правой стороны». Может быть, соблазнился каламбуром: «жезлом правит... пойду направо».

Тут у нас всплыло, как же иначе, имя Лили Брик. Должен сознаться, что вся эта компания — и карикатурный Ося, и «лефы», и сановные гости этого гротескного пролетарского салона, и, конечно, сама королева бала, похожая на Мессалину, — равно как и пошловатый стиль самовыражения в разговорах, в письмах, в идиотических вещаниях о литературе, равно как и готовность травить всякого, в ком можно подозревать классового врага, — всегда вызывали у меня глубокое отвращение. Всё что напоминало им высокую литературу XX века с её «утончённой сложностью», «искусством сопряжения» (слова Б.В. Дубина в недавней речи памяти Александра Гольдштейна), подлежало вытеснению. Вы процитировали высказывание о Мандельштаме: «мраморная муха». Недурно сказано, и сказано оттого, что Мандельштам был римлянин, а они — варвары, остготы.

Это варварство даёт, как мне кажется, основание сделать общий вывод. Это я уже, так сказать, от себя.

Было бы по меньшей мере глупостью пытаться сбросить с парохода Маяковского. Маяковский не только не умер, он, насколько мы можем заглянуть вперёд, бессмертен. Если я решаюсь повторить фразу Липкина о «крупнейшем из второстепенных поэтов», то потому, что нахожу в ней не столько хулу, сколько похвалу. Не будучи поэтом первого ряда (там, где Пушкин, где Лермонтов, где Тютчев, где Блок, Мандельштам, Ахматова и кто там ещё), он занимает почётное место во втором ряду, а это, согласитесь, очень, очень много. Это особенно много для поэта, не обладавшего глубокой культурой (условие столь же необходимое, как и поэтический дар). Это сказало и на той черте его поэзии, которая не может не броситься в глаза (которую отметил и Пастернак): необычайный, почти экзотический, порой грубо-плакатный, ярчайший и поразительно талантливый поэтический наряд — и бедное содержание. Бьющая через край эмоциональность, сердце, готовое вместить в себя весь мир, — и плоскость, тривиальность мысли. Маяковский был варваром — с изумительной, как у ребёнка, языковой одарённостью, с неуклюжими ухватками подростка, порой нарочитыми, с этим вечным желанием кого-то эпатировать, лихо сплёвывать, с зычным голосом, могучим темпераментом. Он не был поэтом эпохи, он был поэтом времени, которое оказалось очень коротким, более того, он был поработён своим временем — поработён настолько, что не сумел (да и не хотел) над ним подняться. Но его чрезвычайно важное значение, между прочим, состоит, как я думаю, и в том, что он был самым, может быть, талантливым в XX веке трубадуром фашизма. В известной мере это было запрограммировано в футуризме (не зря Маринетти стал

личным другом дуче). Надеюсь, Вы понимаете, что я употребляю слово «фашизм» не в узко политическом смысле (впрочем, и в этом смысле он по праву может быть — тут надо отдать справедливость Карабчиевскому — охарактеризован как певец тоталитарного режима, хотя бы и почувявший, что с этим режимом что-то не всё в порядке).

Пора кончать, я вторгся в необозримую тему.

Надеюсь, Вы оклемались и от болезни, и от именинных торжеств. Между прочим, мы вчера тоже обмывали мой день рождения (я моложе Вас почти ровно на год) — всё-таки в ресторане (китайском), недалеко от дома. Но компания была значительно малочисленной и скромной.

Наш спор о Маяковском — и о поэзии вообще — был отнюдь не бесплоден, по крайней мере, для меня. Кое-что прояснил, заставил ещё раз обдумать свою точку зрения. И книга, вопреки Вашему предположению, дала мне совсем немало.

Мои сведения об О.М. Брикe, конечно, весьма скудны. Тем не менее мне известно, что он был учёным с именем, был одним из основателей ОПОЯЗа. О том, что он автор серьёзных исследований, в том числе упомянутой Вами работы о ритмико-синтаксических фигурах, что он был образованным человеком, владел солидной библиотекой и т.д., я тоже знал. Но когда я вспоминаю некоторые подробности его биографии, его роль пролетарско-литературного гуру в окружении Маяковского, да и всю эту компанию, «Ося» и другие кажутся мне, уж не посетуйте, в самом деле карикатурными фигурами.

В университете в моё время существовала — в клубе, который теперь захвачен церковью, — поэтическая студия, ею руководил «буйтур» Луговской, а потом Семён Кирсанов. Это был тоже забавный человек. Стихов его я в то время совершенно не читал. Вы, конечно, могли бы рассказать о нём больше, чем я.

После драки кулаками не машут, поэтому я скажу только ещё два слова. Маяковский, как мне кажется, был последним крупным русским писателем (или одним из предпоследних — были ещё Горький, Пастернак), который сохранил, при всёй драматичности своей судьбы, исторический оптимизм. Другими словами, одним их тех, кто всё ещё ощущал себя субъектом истории. Эта тема меня давно занимает, я коснулся её мимоходом в той статейке о Париже, которую я Вам как-то посылал, но Вы, кажется, не обратили внимания на этот пассаж.

Вчера я послал Вам короткую записку — в основном окне, надеюсь, в удобочитаемом виде. Через две недели с небольшим мы с Лорой собираемся, вместе с немецкой роднёй — родителями Сузанны, полететь на Мальорку, на целых три недели. Но до этого я надеюсь получить о Вас письмо, а может, и несколько. Здоровы ли Вы?

Что с того, что мы с Вами сходимся далеко не во всё, — зато эти разговоры заставляют обдумывать заново вещи или «вопросы», которые, опять же для меня, хоть и далеко не бесспорны, но, скажем так, занимательны. И, конечно, важны для моей собственной работы, как бы её ни оценивать.

Тут как-то случайно я услышал по телевидению разговор культурной комментаторши с одним литератором, председателем немецкого союза писателей: был задан вопрос, почему писатели чураются злободневных общественных тем, почему нет романов о крупных финансовых скандалах вроде шумной истории с «Сименсом», о чём изо дня в день толчёт воду в ступе домашний экран, радио, печать, какой, дескать, шикарный сюжет. Писатель сохранил серьёзность (я бы на его месте просто расхохотался) и отвечал как мог. Но если в самом деле отнестись всерьёз к вопросам такого рода, то следовало бы, я думаю, сказать два слова о том, что отличает литературу от журнализма, даже не просто отличает, но кладёт между ними водораздел, его же не преjdeши. Речь идёт о дистанции, а ещё шире, об отношении к «действительности». Это тоже было одной из наших тем, — хоть я и не уверен, что она представляется Вам столь уж важной.

Вероятно, у Вас есть известная и очень не новая, выходявшая порусски в 70-х годах книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе». Русских писателей он, как следует из подзаголовка, не касается (ссылаясь на то, что он не читает по-русски), но всё же несколько страниц, сжатых и точных, некий сторонний обобщающий взгляд, посвящены русской литературе XIX века. Я сейчас вспомнил, что, кажется, уже цитировал их, так что волей-неволей повторяюсь, но ничего не поделаешь.

Ауэрбах говорит, среди прочего, об особой черте классиков русской прозы, как он их воспринимает: они «словно смогли сохранить непосредственность восприятия, которую редко встретишь в условиях западной цивилизации в XIX в.». И я помню, что я когда-то, очень давно, обратил внимание на это замечание.

Возможно, речь идёт об очень устойчивой традиции, сохраняющей свои опоры до нынешнего времени; и этим объясняется скептически-подозрительное отношение к попыткам подорвать легитимность прямого, открытого взгляда на жизнь. Всякая рефлексия о границах литературного освоения действительности и далее о том, что, собственно, надо считать «действительным», что такое «жизнь как она есть», встречает отпор; дистанцирование будто бы омертвляет литературу; философия языка, письма, текста, авторства, литературы — для самой литературы бесплодна, ни к чему не ведёт, лучший пример — французские философы середины и конца минувшего века, — и так далее, и так далее. Всего этого прямо или косвенно касались и мы с Вами.

Со всем, что Вы пишете, дорогой Бен, я, собственно, согласен или почти согласен; ограничусь несколькими попутными замечаниями.

Конечно, исторические романы Мережковского не идут ни в какое сравнение с «Петром» Ал. Толстого, да и сравнивать-то невозможно: два разных подхода к истории, весьма мало совместимая идеология и совершенно несопоставимый уровень художественного дарования и мастерства. Даже в такой откровенно конъюнктурной вещи, как драматическая диалогия об Иване Грозном («Орёл и орлица» и «Трудные годы»), если я правильно воспроизвожу второе название), больше жизни и пластики, чем, допустим, в романе Мережковского «Пётр и Алексей»).

Я вообще-то любил и люблю Алексея Толстого. «Детство Никиты», некоторые другие повести и рассказы и особенно «Золотой ключик» — это жемчужины русской прозы.

О поэзии Михаила Голодного имею представление лишь по текстам некоторых песен. «Матрос-партизан Железняк» — достаточно убогие стишата, но их спасает задумчивая, щемяще-грустная мелодия (кажется, Шехтера). «Хуже» ли Ходасевич Маяковского или наоборот — по-моему, некорректный вопрос, на него невозможно ответить. При нынешней раскладке у Ходасевича, похоже, больше шансов, чем у «лучшего, талантливейшего».

С.И. Липкина как оригинального поэта я, по-видимому, ценю выше, чем Вы.

Главное в Вашем письме — фраза о том, что мой главный приоритет — культура, а Ваш — талант. При этом Вы оговариваетесь, что и для меня художественный дар имеет некоторое значение. Я бы выразился иначе. Правда, я чаще имел в виду прозу: стихи — это, скажем так, другая литературная национальность.

Для меня культура и дар — две стороны одного и того же. Мы знаем немало писателей, у которых недюжинный литературный талант соединялся с формально недостаточным образованием. Но образование, учёность, начитанность, имея некоторое отношение к гуманитарной культуре, всё же не являются её синонимами. Мандельштам, как вы знаете, провалился на экзаменах, вообще учился кое-как; тем не менее это был человек богатой, рафинированной культуры. Пруст посещал гимназию с длинными перерывами, в университете вовсе не учился, Томас Манн не окончил даже и гимназию, — и так далее. Культура писателя обнимает для меня понятия или качества, которые можно с таким же правом считать компонентами таланта: развитое чувство языка и стиля, музыкальность как особое качество прозы, чувство своего времени, эпохи и умение провозгласить этому времени, духовный аристократизм и многое другое, для чего я не могу найти сейчас подходящих определений.

К этому нужно прибавить, что мы живём в александрийское время. Другими словами, мы потомки и наследники, по душе нам это или нет, очень старой, зрелой, чрезвычайно структурированной и утончённой культуры. Мы ходим не по земле, а по толстому гумусу этой культуры. Всякие попытки вернуться к подростковой наивности, ни о чём не подозревающей непосредственности, «исконности» и «народности» могут быть только стилизацией либо чем-то не дотягивающем до необходимого уровня — достоянием тривиальной словесности.

Дорогой Бен,

видите, как велико искушение расставлять поэтов по рангам и обоямам; с прозаиками это так просто не получается. С Вашей Rangordnung (слово, которое как-то трудно перевести: упорядочение по чинам, что ли) я в общем согласен. Сомнения начинаются при переходе к третьему, четвёртому и т.д. рядам, тем более, что число награждённых, как это бывает при распределении орденов, возрастает по мере снижения орденового класса.

Почему я вернулся к «подростковой наивности» — просто к слову пришлось; просто потому, что отсылки к «нутру», уверения в том, что «истинный талант» не нуждается в культуре, отталкивание от всяческой «философии» и пр. — то, что я то и дело слышу из уст соотечественников, — представляются мне чем-то архаическим. Слабые отзвуки этого мне чудятся и в Ваших аргументах.

Кстати об Алексее Толстом. Вы, вероятно, помните ныне забытого Пьера Бенуа, автора когда-то гремевшего романа «Атлантида». (Если не ошибаюсь, мне его давала читать из своей французской библиотеки Ирина Ильинична Эренбург). Как похожи на него «Гиперболоид» и особенно «Аэлита». Оба романа Ал. Толстого — замечательный пример высокоталантливой тривиальной литературы. Не говоря уже о таких, куда менее совершенных поделках, как, например, «Чёрное золото» («Эмигранты»).

Через два дня мы отправляемся в путь, рассчитываем вернуться через три недели. К этому времени вы накопите, как я надеюсь, новые, совершенно убийственные доводы.

На Мальорке было очень хорошо. А в Мюнхене дождь вперемежку с солнцем и довольно прохладно. Среди книг (немецких), которые я брал с собой, была и одна русская — «Квадрига», о ней мы уже упоминали. Я читал её прежде, а теперь с большим удовольствием читал вслух отдельные главы Лоре. Если Вы помните, там, кроме частных, всегда интересных оценок, попадаются высказывания общего характера о литературе. По ним можно реконструировать литературную фило-

софию Семёна Израилевича Липкина. Она мне кажется довольно типичной для его времени. Во всяком случае, одно из таких суждений напомнило мне разговор с С.И. в тот единственный раз, когда я его видел в Переделкине, куда приехал, если Вы помните, по Вашему наущению и при Вашем содействии. Вы тогда тоже были там. Я виделся с Ларой Беспаловой, Володей Корниловым, с моим однокашником по университетскому курсу Осей Вайнбергом. Случайно столкнулся и с Юрием Шульцем, который имел отношение к моему лубянскому делу. Словом, поездка, полная впечатлений.

С.И. Липкин, похожий в своём байковом лыжном костюме на большого медвежонка, гулял вместе с Инной Лиснянской. Он, между прочим, сказал (это же повторяется в книге), что бессмертными всегда оказываются только те писатели, которым удалось создать новый человеческий тип: Дон-Кихот у Сервантеса, Гамлет у Шекспира и так далее. Из воспоминаний о Гроссмане видно, что Липкин особо ценил «Жизнь и судьбу» за то, что там изображён никем ещё не описанный, новый тип — Гетманов. Я слушал — а теперь читал, — стараясь удержаться от искушения возразить; а что Вы, кстати, сами думаете об этом? Заодно и обо всей «Квадриге». Не собираетесь ли Вы участвовать в сборнике воспоминаний о Липкине, который сейчас готовится в Москве (о нём мне говорил Павел Нерлер)?

Бабушка Сузанны, нашей снохи, была в детстве удочерена еврейской семьёй Wertheim, богатыми и просвещёнными предпринимателями, владельцами большого, некогда знаменитого магазина в Лейпциге. Совсем недавно, после длительного и, наконец, выигранного судебного процесса, наши кумовья, родители Сузанны Инга и Вольфганг Виккели, получили наследство Вертгеймов, весьма значительную сумму. Они пригласили нас, меня и Лору, на остров Мальорку на три недели, оплатили наш полёт и номер в хорошей четырёхзвёздочной гостинице, в курортном городке San Picafort на берегу моря. (Мы тоже однажды, довольно давно, ездили с Лорой на Мальорку и останавливались там же.) Никаких путёвок не нужно, надо только заказать (по телефону) отель и рейс. Вас встретят в аэропорту и привезут на место, для чего нужно пересечь весь остров. В это время года, до начала главного сезона, при заказе гостиницы на три недели, одна неделя предоставляется бесплатно.

Так что наши собственные затраты оказались очень небольшими. Да мы бы и не могли сами потянуть такой отпуск. Лора теперь не работает, я тоже давно уже почти ничего не зарабатываю, ездить с выступлениями приходится всё реже, моя немецкая пенсия смехотворна, гонораров, хоть я скребу пером и стучу на компьютере с утра до вечера и даже время от времени печатаюсь, — теперь главным образом в Рос-

сии, — я практически не получаю. (Мне выплачивает небольшое вспомоществование Президентский совет в Берлине, больничная касса берёт на себя половину непрерывно растущих взносов.)

Остров Мальорка (или Майорка), как Вам, вероятно, известно, — самый крупный из трёх Балеарских островов. Он представляет собой, по крайней мере что касается многочисленных курортов, спортивных баз и отчасти самой столицы, города Palma de Mallorca, где находится крупный современный аэропорт, род германской экономической колонии: немецкие вывески магазинов и ресторанов, немецкие врачи и адвокаты, филиалы немецких банков, везде слышна немецкая речь, население, прежде всего торговцы, персонал отелей и магазинов, служащие учреждений и прочие, говорят по-немецки. Экономика процветает благодаря туристам. Собственный язык островитян — майоркинский диалект испанского языка, нечто среднее между кастильским, каталонским и французским. Балеары — часть Испанского королевства, поэтому на мачтах, вместе с полосатым каталонским флагом и флагом Объединённых наций плещется флаг Испании с гербом и короной. Король Хуан Карлос де Бурбон-и-Бурбон проводит на Майорке несколько месяцев в году, о чём я, старый монархист, не могу не упомянуть.

Купаться в море было ещё рано, зато гулять по солнечному пляжу босиком, слушать шум прибоя, созерцать живописные берега бухты с двух сторон горизонта, стоять вечерами над зыблущейся мерцающей гладью, размышляя о суетности мира и тщете бытия, можно сколько душе угодно. Вдобавок морской бассейн с сауной, душами и прочим. Превосходное обслуживание и чрезвычайно богатый, явно избыточный стол за завтраком и ужином. В России это называется шведский стол, система, как Вы знаете, давно принятая во всех странах, но ни в Европе, ни в Америке никто её так не называет. Собственно, много столов, витрин, блюд со всевозможной снедью, подносов с печеньями и пирожными, графинов с соками, тут же расторопные тётки и ребята в красных майоркинских беретах жарят и пекут мяса, рыбы, яичницы и блины. Одним словом, хрен знает что, и, странно сказать, ко всему этому изобилию, к этим ставшим рутиной пирам Лукулла, непристойным, мягко говоря, посреди необозримого нищенствующего мира, все и даже мы, ничего не забывшие, давно уже привыкли. Обед, как обычно, за свой счёт, если хватит пороку после чудовищного завтрака. Ужинать, правда, я лично не могу, просто составлял компанию Лоре и родичам.

Средиземноморская весна на наших глазах превратилась в лето. Уже начали отцветать розовые миндальные деревья. Расцвёл дрок. Покачиваются под ветром огромные, как у Лермонтова, пальмы. Была взята на прокат машину, и мы имели возможность познакомиться с островом, похожим на рай. Поднимались высоко в горы, видели много чудес. Вот Вам краткий отчёт; кажется, я ответил на Ваши вопросы.

Но мы должны вернуться к темам, куда более насущным. Вы обещали написать о «Квадриге».

Дорогой Бен, я, как всегда, с Вами согласен и не согласен. Конечно, замечание Георгия Шенгели насчёт того, что «шагают и правой, и левой», может вызвать лишь улыбку. Липкин одобряет его, не замечая, что это очевидная глупость. Но к некоторым другим наблюдениям самого Липкина всё же стоит прислушаться. Какое нагромождение нелепиц в пресловутых стихах о паспорте! Что означает (в другом стихотворении) намерение чистить себя под Лениным? Вы и сами, я уверен, наберёте сколько угодно таких примеров. Поэтическая неточность роняет поэта — вот что хочет сказать Липкин. И бедность мысли, о которой он говорит, — от неё ведь тоже никуда не денешься. Да и не нужно было никакого богатства, никакой утончённости. Вместе с тем огромную роль Маяковского в истории русского стиха (повторяю Ваши слова), никто, я думаю, не станет оспаривать.

Попутно — одна мелочь: загляните ещё раз на стр. 346. То, что Вы приписываете Липкину, включая неверное цитирование Маяковского, которое Вы называете «вариантом Липкина», — это опять-таки не Липкин, это Шенгели.

«Левый марш» всегда казался мне музейным стихотворением. С другой стороны, забыть его невозможно. Чего стоят хотя бы эти строки, каких, действительно, ещё не знала русская литература:

Р-развор-рачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе!
Тише, ораторы!
Ваше
Слово, товарищ маузер.

Разумеется, поэта можно понять: время и всё такое. И государственный переворот не делается в белых перчатках. «Но зачем ты был первым учеником?» Вот и получилось, что ты остался в своём времени и продолжаешь свою жизнь в руководствах по истории литературы, в воспоминаниях современников. Да ещё в словопрениях убелённых сединами старцев вроде нас с Вами. Но не в своих стихах.

А вот, например, в иных вещах Багрицкого, поэта, занимающего в общепринятых иерархиях место много ниже Маяковского, революция не умерла.

Почему бы Вам в самом деле не написать статью о «Левом марше». Он стоит этого.

Вспоминаю такой случай: лет десять тому назад журнал «Искусство кино» устроил в одной московской гостинице конференцию на тему

«Искусство в поисках новой идеологии». Звучало это довольно странно, хотелось спросить: на х... попу гармонь? Выступали разные люди, было много курьёзного. На короткое время приехали Андрей Синявский и Марья. Синявский прочёл доклад о Маяковском. И вот он стал читать «Левый марш» — совершенно серьёзно, с увлечением, с пафосом. Я знал Андрея, его вкусы, и всё пытался представить себе, как этот бородатый, низкорослый, с расходящимся страбизмом, сугубо кабинетный и малообщительный человек вышагивает с «революционными матросами»: левой, левой...

Довольно о Маяковском, наши позиции прояснились. Вернёмся к автору замечательной «Квадриги».

Книга, бесспорно, очень интересная, прекрасно написанная — почему я и взял её с собой на Майорку, чтобы перечитывать и читать Лоре. Эта наша старая традиция читать вслух, как ни странно, сохранилась до сих пор.

Флобер говорил: читайте вслух вашу прозу. Если при чтении фразы у вас перехватывает дыхание, значит, фраза плоха. Интересно, что сказал бы он о фразе Пруста. Кажется, я писал Вам, что время от времени, уже довольно давно, я вещаю в небольшом литературном кружке. На этот раз собрался говорить о музыке прозы. Мой тезис: художественная проза ближе к музыкальной композиции, чем стих.

Так вот, о С.И. Липкине... Он кажется мне одним из самых замечательных людей своего поколения.

Вы спрашиваете, что меня «зацепило» в книге. Да, собственно, ничего. Липкин, похоже, не очень был склонен теоретизировать, да и книга его не об этом. Вдобавок он пишет главным образом о поэтах и поэзии, а мне хотелось бы говорить о прозе. Сам я не могу решить, к какому, собственно, поколению я принадлежу, у меня нет чувства «моего» литературного поколения. Зато я довольно отчётливо различаю водораздел, который нас разъединяет. И, может быть, больше того: разделяет целая эпоха. Я говорю о литературе. Эта эпоха называется модернизмом. Разумеется, я не могу себя представить равноправным партнёром в воображаемом диалоге с Семёном Израилевичем, я очень мало знал его, привык смотреть на него снизу вверх. И всё же, если бы такой диалог состоялся, то выяснилось бы (для меня), что мой старший собеседник остался в домодернистском космосе. Я же ощущаю себя живущим *после* модернизма. Повторяю, это отнюдь не значит, что моё литературное мировоззрение более «передовое». Просто оно другое и, боюсь, мало совместимое с взглядами и вкусами С.И.

Я упоминал об убеждении Липкина (повторённом в книге), будто залогом бессмертия прозы является созданный — или открытый — писателем новый «тип». Это лишь частный случай возможных расхождений, но весьма показательный. Для меня понятие типа осталось в XIX

веке. Послеклассическая литература отказалась, сознательно или бессознательно, от вылепливания литературных типов и характеров, как это делали великие писатели прошлого. Это не означает, что она ушла от «жизни» в некие туманно-метафизические дебри. Напротив, она сохранила древний импульс искусства — схватить реальность. Но понятие реальности подверглось существенной ревизии. Эти потрясения, как мне кажется, остались за горизонтом С.И., как и его ближайшего друга Василия Гроссмана.

В романе Фейхтвангера «Успех», который мы читали в юности, был такой инженер Каспар Прёкль, если Вы помните, автор бунтарских песен, которые он исполняет на гитаре, — и собирается ехать в СССР. Прототип этого Прёкля — молодой Берт Брехт.

С Брехтом у нас получилось недоразумение. Мы уже как-то говорили о нём, о его поэзии. Я и имел в виду его стихи. Брехт, без сомнения, один из крупнейших, хоть и сравнительно мало известных в России, немецких поэтов XX века. Что же касается драматургии, его «эпический театр», как мне кажется, уходит или уже ушёл в прошлое. Когда-то я читал и кое-что видел на сцене с увлечением. А тут как-то смотрел «Карьеру Артуро Уи» по телевидению из Гамбурга, кажется, и самым позорным образом заскучал. Ещё как-то держится «Трёхгрошовая опера», в значительной мере благодаря музыке Курта Вейля.

Наша дискуссия о Маяковском исчерпала себя. Каждый, как и бывает чаще всего в таких спорах, остался при своих козырях, если угодно, прояснил и укрепил собственную точку зрения; тоже неплохо.

Напишите мне, чем Вы сейчас заняты. Где бываете? Мне прислали двухтомный труд С.Чупринина, путеводитель по современной русской литературе. Оба тома касаются той части русской литературы, которая находится в России. Говорят, что готовится третий том, о Зарубежье. Знакомы ли вы с этим сочинением? Что скажете?

Несколько времени тому назад прогремел (восторженные рецензии, «роман века») гигантский опус художника М. Кантора «Урок рисования». Я имел возможность познакомиться с представительными отрывками и, хотя привык ценить писавших о нём критиков невысоко, был в полном недоумении: вещь — ниже минимального литетурного уровня. И неужели рецензенты и этиблированные критики в самом деле смогли одолеть эти 1400 страниц хаотической болтовни?

Завтра я должен буду поехать на два дня в Дуйсбург, по-немецки «Дюсбург». Праздник еврейской книги; могу ли я считать себя еврейским писателем? Решил ответить Вам сразу. Я уже не раз писал о том, что отнюдь не намерен перечёркивать Маяковского; никогда такая мысль мне не приходила в голову. Я только против неумеренного за-

хваливания этого, бесспорно, крупного поэта. О писателе судят по его высшим достижениям. «Стихи о Советском паспорте», я убеждён, — не лучшее из его творений. Можно много говорить о восприятии Маяковского, о чуткости или глухоте, о понимании существа поэзии вообще. Это захватывающе интересная тема. Но невозможно — по крайней мере, для меня — отделаться от чувства, что «Паспорт» — на свой лад весьма искусно сработанные и вместе с тем примитивные стихи. Это относится и к их образности, и к тесно привязанному к ней содержанию. Ссылки на плакатную эстетику их не спасают. Рядом с современными автору великими поэтами, и русскими, и европейскими, эти стихи чрезвычайно проигрывают. Боюсь сказать — это вирши для бедных.

С Сергеем Чуприниным я однажды познакомился, точнее, был ему представлен, когда однажды посетил в редакции «Знамени» работавшего там А. Агеева, для которого я писал рецензии на новые иностранные книги о немецких и французских писателях. Агеев пожелал отвести меня к главному редактору. Перед дверью сидела очередь, но мы миновали её. Чупринин восседал за большим полированным столом в импозантном кабинете и имел вид высокого начальства. (На самом деле — милый, добрый и гуманный человек.)

Книга, о которой идёт речь, показалась мне любопытной, заслуживающей внимания и уважения. Правда, я достаточно далёк от того и от тех, о чём и о ком он пишет. Тем не менее мне интересно было её читать и перелистывать. Это серьёзный труд. Там встречаются мелкие огрехи, перевёрнутые иностранные имена и т.п., но не в них дело. Сделана попытка обозреть сегодняшнюю литературу метрополии, и уже за это спасибо. Каждый лексикограф, когда он занимается современностью, неизбежно подвергает себя риску. Однажды, я помню, мы с Вами поспорили, в состоянии ли современники адекватно оценивать писателей своего времени. Чтобы не возвращаться к этому, приведу цитату из одного моего рассказика, в котором действие происходит в начале I века, — слова Мецената:

«Я прекрасно понимаю, что и медная статуя в атриуме не залог бессмертия. Скорее наоборот: ведь никто, ни учёные знатоки, ни простодушные почитатели не в состоянии предугадать, какое место на Олимпе будет отведено поэту, живущему здесь и сейчас. Найдётся ли там вообще уголок для него? При жизни превознесённый до небес, он будет забыт на другой день после смерти. А истинный избранник, никем не замеченный, займёт место рядом с небожителями.

Потомки спросят с недоумением о тех, чьи имена сегодня у всех на устах: а кто это такие? И будут благоговейно повторять и передадут следующим поколениям имя того, кто сегодня никому не известен.

Не то чтобы люди были слепы, и не в том дело, что меняются вкусы... Не слепота, но обыкновенный обман зрения виной тому, что со-

временники венчают славой посредственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое просто не умещается в поле зрения. И, однако, я вынужден возразить самому себе. Тот, чей дар был мною угадан прежде, чем услышали о нём, не обманул моих ожиданий...»

Чупринин включил в свой перечень писателей, «чьё присутствие, — как он пишет, — в современной литературе и на книжном рынке несомненно». При этом в ряду несомненных оказались авторы, вегетирующие вовсе за забором литературы, — какой-то Шиш Брянский, Баян Ширянов, славный Эдичка и т.п. Более существенный недостаток этого словника, мне кажется, тот, что отсутствует сколько-нибудь внятная оценка творчества соответствующего автора. Она заменена хвалебно-риторическими и абсолютно невразумительными цитатами из рецензий и критических статей. О чём пишет этот писатель, какие темы его занимают, эстетическая система и так далее, — что он вообще собой представляет, — неизвестно. Зато подробно перечислены награды, премии, почётные должности и чины — то, что никого не интересует.

Любопытен подбор терминов, подлежащих разъяснению. Собственно писательскому труду, стилистике, поэтике, эстетике, уделено минимальное внимание. Зато мы много узнаём по части организации литературы. Получается картина литературно-гусовочного «дела» или, лучше сказать, базара — а не литературы

Так или иначе, я не согласен с Вами, что этот путеводитель «не имеет никакого смысла».

И на Рейне, и у нас уже настала, более или менее окончательно, весна. Впрочем, здесь, в отличие от Москвы нашего детства, не существует сколько-нибудь ощутимой границы между временами года, нет и того особенного зудящего чувства, когда вдруг видишь снег за окном или когда за одну ночь наступает весна, словно вдруг загремела садовая музыка.

В дороге я читал книгу Дмитрия Быкова о Пастернаке и снова пытался уяснить себе моё отношение к поэту и автору «Доктора Живаго». Странным образом я всегда почему-то недолюбливал Пастернака как человека (никогда его не видел и не слышал). Что касается романа, о котором шли разговоры ещё когда я учился в университете и который я иногда перечитываю кусками, то я и сейчас не могу понять, где кончаются его достоинства и начинаются недостатки. В нём есть нечто чарующее — и вместе с тем раздражающее. Если эта книга занимает или занимала какое-то место в Вашей жизни, мне бы хотелось услышать Ваше суждение о ней.

Хрестоматийные примеры с клетчатými панталонами и вышиванием Пенелопы — не на тему. Разговор о поэтической точности — отнюдь не требование верности тем или иным подробностям классиче-

ского текста, мотивы которого обыгрывает поэт. Нет, речь идёт о внутренней логике поэтического образа или поэтической картины. Образ может быть необычайно смелым, картина — безумной, но в её безумии есть, как сказал по другому поводу старик Полоний, система. Внешне алогичный, образ внутри себя должен быть последовательным. И напрасно Вы считаете это критерием не поэзии, а прозы.

Стихи о советском паспорте начинаются с конкретной сцены. Некоторые подробности очень точны. «Чиновник учтивый движется». Не идёт, а движется — медленно продвигается, останавливаясь перед каждым купе. Вам задаётся определённая оптика: никаких аллегорий, ничего не описывается обобщённо, всё точно и конкретно. Оттого и недоумеваешь, где же это всё-таки происходит: в поезде или на пароходе? Обобщение — в конце: политическое, лозунговое; вот в чём смысл реакции, которую вызвал у врагов паспорт гражданина СССР.

Статью «С кем протекли его боренья?» я когда-то читал. Прекрасный случай перечитать её. Конечно, сейчас она звучит для меня уже не так, как прежде. История взаимоотношений поэта и вождя обсосана неоднократно. Для меня сейчас более интересно то, что относится непосредственно к «Доктору Живаго».

Ваш отзыв о романе категоричен и звучит как приговор, не подлежащий обжалованию. Я понимаю, что читателю, с юных лет покорённому прозой Пастернака 10-х и 20-х годов, прыжок от избыточной, цветистой и замысловатой — я чуть было не сказал: вычурной — манеры к скупой, сдержанной прозе сам по себе может казаться изменой писателя самому себе. Но, очевидно, речь идёт не только о стиле. Речь о том, что назойливо лезет в глаза, — о противоестественном, как может показаться, внедрении в художественную ткань христианской историософии стареющего автора. В статье говорится о навязанной себе, искусственной миссии пророка и об измене искусству. Параллель с «Выбранными местами» Гоголя и пр.

Однажды я вычитал в одном письме Пастернака (Спендеру, 1959 г.) поразившее меня место. Он говорит о «Докторе Живаго»:

«В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самой себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий».

Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после беснования всесильной тайной полиции, всевластия ублюдочных вождей, после двух мировых войн, разрушений, гибели многих миллионов людей.

В начале романа то, что я назвал его историософией, вложено в уста дяди Николая Николаевича, но потом, и чем ближе к концу, тем

отчётливой, становится понятно, что это — исповедание веры самого автора и центральная идея книги. Конечно, это вредит искусству — какой тут может быть разговор. Но без этой проповеди не было бы и романа. Искусство может мстить за себя двояко: либо оно уходит, то есть мстит своим исчезновением, либо преодолагает проповедь, каким-то образом переваривает её.

Сама по себе эта философия истории применительно к Пастернаку с его вселенским оптимизмом и — вместе с тем — каким-то дачным благодушием никем, настолько мне известно, серьёзно не разобрана; а жаль. Как никак это интегральная часть романа. Многих она восхищает. Для меня она неприемлема.

Вообще же моё отношение к «Доктору Живаго» остаётся двойственным. Его замысел удивителен. Вы пишете о новаторстве «Детства Люверс» и «Охранной грамоты». Но и роман по-другому, при внешней традиционности, при кажущемся следовании образцам XIX века, во многих отношениях новаторский — по крайней мере, для советской литературы. В том, что он оказался так злобно оплёван, и не одним только начальством, был известный резон — не только политический и, в сущности, малообоснованный, но и потому, что в нём на самом деле почуяли другую литературу. Каким образом можно говорить о намерениях автора эстетически соревноваться с Фединым и т.п., я не понимаю. Вы ссылаетесь (в статье) на слова, сказанные или будто бы сказанные Ал. Гладкову: «Я много бы дал за то, чтобы быть автором “Разгрома” или “Цементы”...» Но разве *так* можно или нужно их толковать?

Только что получил Ваше письмо. Оно основано на недоразумении. Вы оборвали цитату из моего письма, изменив её смысл. В предыдущем письме Вы сослались на неточные реминисценции «Одиссеи» и Диккенса у Мандельштама. Вот что Вы писали:

«...таких примеров — тьма! Едва ли не самый яркий — прелестное стихотворение Мандельштама “Домби и сын”. «Банкрот болтается в петле... И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь...» Ничего похожего в этом романе Диккенса (да и в других его романах) нет и в помине. Но мир диккенсовских романов воссоздан поэтом с потрясающей пластичностью и, я бы сказал, точностью. Только точность эта не прозаическая, а поэтическая. То же относится и к Пенелопе, которая у Мандельштама не ткёт свою пряжу, а вышивает».

На это я Вам ответил: «Разговор о поэтической точности — отнюдь не требование верности тем или иным подробностям классического текста, мотивы которого обыгрывает поэт».

Что касается стихотворения Маяковского, то оно рисует не отвлечённую, не символическую или аллегорическую картину, но вполне конкретную реалистическую ситуацию — паспортный контроль. В пре-

делах этого поэтического задания неточности, небрежности, отступления от поэтической правды не могут не броситься в глаза. Ибо они-то как раз и противоречат логике того пространства (говоря Вашими словами), которое создал автор».

На последний вопрос в Вашем письме, дорогой Бен, «стал ли он (роман Пастернака) и станет ли живым романом для читателя», я ответить не могу потому хотя бы, что мнения читателей различны, часто противоположны. Разброс оценок продолжается до сих пор. Упоминаю об этом не оттого, что эти отрицательные или положительные, пренебрежительные или восторженные отзывы повлияли на меня, — мы ведь с Вами уже вышли из возраста, когда что ему книжка последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет, — а оттого, что суд времени, приговор потомства и т.п. далеко ещё не произнесены.

То, что я ещё могу сказать по этому поводу, возможно, покажется Вам странным. Я спрашиваю себя, кто такой этот обобщённый читатель, от чьего имени Вы говорите. Кто он такой, этот многоголовый читатель, апеллировать к которому хотелось бы каждому пишущему? Подзреваю, что его попросту не существует, если, конечно, не иметь в виду тех обыкновенных людей, охотно потребляющих низкосортную литературу и воспитанных на ней, притом отнюдь не тёмных невежд, словом, тех читателей, которых, очевидно, — в качестве критиков ли, поклонников ли, — ни Вы, ни я себе не желаем. Да они и не читают книг наподобие «Доктора Живаго». Или, может быть, надо говорить об изолированном, всё равно — искущённом или неискущённом, но уединённом читателе, который сидит в своём углу, сам по себе, и о котором мы ничего не знаем, хоть он и является естественным порождением атомизированного общества.

Живой роман для читателя, сказали Вы. Я не говорю о литературе «для немногих», ведь всякая литература, заслуживающая этого названия, — для немногих. Когда-то считалось, что читателей Шекспира прибавляется с каждым новым родившимся на земле. Так хотелось говорить и о Толстом. Уже тогда, впрочем, в ответ можно было пожать плечами. Но дело не в этом, в конце концов, эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение, а о массовом обществе второй половины минувшего века, в которое стремительно въезжает Россия, и говорить нечего.

Пластичность. Мы приблизительно знаем, что это такое, когда речь идёт о классиках русской или французской прозы. Но уже классики XX века, авторы бесспорных шедевров, оказываются в этом смысле камнем преткновения, будь то Пруст, или «Волшебная гора» (которой в СССР противопоставляли «Санаторий Арктур», тоже ведь не лишённый пластичности в описаниях действующих лиц), или «Доктор Фаустус», или романы Вирджинии Вульф.

В том-то и дело, что Пастернак не ориентировался ни на Пруста, ни на Кафку (которого он, я думаю, не читал), с одной стороны, ни на Федина (которого наверняка не читал, хоть и дружили), ставшего после экспериментов 20-х годов образцовым эпигоном Толстого, — с другой. Ни даже на самого Льва Толстого.

Можно предположить, что он всю жизнь оставался под обаянием прозы Рильке («Мальте Лауридс Бригге»).

Вы скажете, что «Доктор Живаго» не чужд приёмам традиционно реалистического романа и, следовательно, к нему приложимы критерии этой прозы.

Это верно, очень даже не чужд, — с той, однако, оговоркой, что это всё-таки не совсем «тот» реализм, и я полагаю, что именно это обстоятельство, измена (правда, очень осторожная) школе классиков, стала причиной упреков, в том числе и Ваших. Пастернак, как мне кажется, искал синтеза, не хотел быть ни шокирующим модернистом, ни благо нравным эпигоном, ни тем более социалистическим реалистом, не хотел возвращаться и к «орнаментальной прозе» — Вы помните, что он писал о ней. Насколько это удалось, другой вопрос. «Но поражения от победы ты сам не должен отличать».

Я уже говорил Вам, что отнюдь не являюсь безусловным поклонником «Доктора Живаго». Но я думаю, что продуктивная критика должна была бы принять во внимание для разбора и оценки те критерии, которыми руководствовался сам автор. Другими словами, попытаться понять, какова была задача, которую ставил перед собой писатель, и насколько он с ней совладал. С таким подходом литературная критика, насколько мне известно, не справилась, часто даже не отдавая себе в этом отчёта.

Оттого и могло казаться, что христианская историософия, вообще новое христианство Пастернака, пропитавшее весь роман, чтобы в конце концов вылиться в стихотворениях Юрия Живаго, — что этот довесок, восхитивший одних, раздражавший других, игнорируемый третьими, тут, по Вашим словам, «ни при чём». На самом деле это вовсе не довесок. Вся эта философия — мировоззрение автора — очень даже при чём. У меня историософия Пастернака вызывает активный протест. Но она настолько спаяна с поэтикой романа, с его композицией и сюжетом, что игнорировать её невозможно.

Ваши замечания насчёт «мастеров современной литературы», собственно, не могут быть оспорены. Конечно, мне известно и то, что Вы пишете о Б. Лавренёве («Сорок первый»), и то, что, кроме «Двух капитанов» Каверина, публикуются другие его произведения; выпущенный относительно недавно том Замятина стоит у меня на полке; читал я когда-то и книгу Федина «Горький среди нас». Про-

сто мне казалось, что существование тех писателей, о которых я написал, что они либо забыты, либо стали малочитаемыми, — это архивное существование.

Алексея Ник. Толстого я, вероятно, так же люблю, как и Вы. Это нечастый, особенно в советской и послесоветской русской литературе, пример писателя, чтение которого, даже если речь идёт не о самых удачных вещах, доставляет эстетическое наслаждение. И так было с самого детства. Малым классиком я назвал его, вероятно, потому, что для классической литературы допустима своя градация. Существуют классики помельче. «Третий Толстой» — поразительно талантливый писатель, но это не великий писатель. Для первого ряда ему не хватает глубины.

Максим Горький... Сказав, что он остался тем, чем был, я имел в виду, что, в отличие от большинства участников сборника «Как мы пишем», его место в русской литературе по истечении последних 70 лет не пошатнулось. Я ставлю Горького как писателя высоко. Кстати, меня удивляло, что «Жизнь Клима Самгина», о которой так часто упоминали и писали в советские времена, не была, насколько мне известно, подвергнута серьёзному литературно-эстетическому анализу. А ведь это совершенно особый роман, отнюдь не соцреалистический, в большой мере экспериментальный, и роман, написанный, как мне кажется, под обаянием Флобера («Воспитание чувств»).

Когда-то мне казалась малозначительной драматургия Горького. Здесь я увидел несколько пьес (в том числе Вассу Железнову» с гениальной Терез Гизе), которые убедили меня в обратном.

То, что замечаешь, читая сборник, неудивительно. Если представить себе, что какой-нибудь престижный литературный журнал в Западной Европе, в 1930 году, разослал бы видным литераторам анкету с единственным вопросом: «Кто, по-Вашему, из известных современных писателей переживёт наши дни, выдвинется на первое место к концу века?» — среди кандидатов не оказалось бы ни Кафки, ни Джойса, ни Музиля, ни Фолкнера, ни Платонова.

Мы оказались в плену слов, дорогой Бен, следовало бы уточнить, что, собственно, мы подразумеваем под словом «классик». Может быть, тот, у которого всё, включая слабое, случайное или второстепенное, является «классикой», бессмертно, включено в классическое наследие? Если это так, то и «Тарас Бульба», и «Выбранные места...» будут классикой. Ясно, впрочем, одно: живых классиков не бывает, если кого так называют, то лишь из вежливости; не надо торопиться, подождём лет сорок; как известно, прижизненная слава — опасная вещь; чтобы оказаться современным, надо быть несвоевременным; чтобы прочно стать признанным, надо умереть; «уйти из жизни, — говорил Музиль, — что-

бы остаться живым, — любопытный онтологический трюк»; прерогатива присвоения высшего титула и расстановки шахматных фигур по местам — принадлежит ещё не родившимся поколениям.

И, разумеется, не обходится дело без несправедливости — правда, до поры до времени. К числу неправедно обойдённых (хоть и не окончательно забытых) я бы отнёс, например, Ивана Катаева. Что касается Шкловского, то он был упомянут в моей статье потому, что фигурирует рядом с другими в сборнике «Как мы пишем». Я не имел в виду его беллетристику. Кстати, он остаётся — разумеется, не у массового читателя — весьма почитаемой фигурой и здесь, в Западной Европе и в Америке, главным образом благодаря тому, что был связан с ОПОЯ-Зом.

Мне почудилось в Вашем последнем послании некоторое раздражение. Вы говорите, что спор наш не стоит выеденного яйца. Я так не думаю. Мне кажется естественным, если мы часто, как встречные поезда, проезжаем мимо друг друга. Ведь мы обмениваемся мнениями, которые не могут не расходиться. Мы люди несхожих вкусов, не вполне совпадающих ориентаций, а теперь уже и разной судьбы.

Конечно, при оценке того или иного литературного явления приходится — мне, по крайней мере, — исходить из разных критериев, ведь ни один из них, будь то личные вкусы, пресловутая «читаемость» или гамбургский счёт, не может считаться достаточным. Больше того, то и дело противоречишь самому себе. А кроме того, — так как мы оба литераторы, — невольно впадаешь в то, что называется *pro domo sua*, другими словами, защищаешь и даже незаметно для себя возводишь в абсолют собственную литературную позицию и собственную «практику», как бы ни была она скромна.

Вы можете мне поверить: если я мимоходом упомянул о том, что Виктор Шкловский остаётся весьма чтимой фигурой за границей, то это вовсе не означает, что я хочу прибавить ему веса в пику сказанному Вам. Ведь это просто попутное замечание. Конечно, небезынтересно и, пожалуй, небесполезно знать, за что ценят или почему не ценят такого русского писателя за пределами России, как вообще смотрят на нас из-за бугра. Мне, во всяком случае, было интересно выслушивать разные мнения на этот счёт, когда я приехал в Германию. И я всегда выражал моим здешним соотечественникам, когда слышал от них одну и ту же фразу: «Они нас не понимают». Нет, понимают — но по-другому, подобно тому, как мы «их» понимаем по-другому, иначе, чем «они», расставляем акценты.

Должен сказать, что я-то как раз гораздо хуже, чем Вы, знаю творчество Шкловского, да и меньше ценю его. Он казался мне всегда салонным литературоведом. Блеск и оригинальность его ума, особенно в

ранних произведениях (таких, например, как статья о Розанове, ослепительны. Но его литературная манера, заимствованная, как считается, у Власа Дорошевича, выдаёт, по-моему, особенность его дробного мышления, похожего на мелькание карманного фонарика: он мыслит афоризмами, его настоящий жанр — салонное mot. Такими были Ла-рошфуко, Шамфор, Лихтенберг.

Я тут вспомнил один разговор с покойной Ириной Ильиничной Эренбург, когда я упомянул о Жюльене Грине, а она возразила, сказав, что он забыт, как и многие. Между тем он не только не забыт, но постоянно переиздаётся, выходят и романы, и тома его огромного дневника (о котором мне однажды пришлось писать).

В ваших пояснениях мне почувствовался упрёк, который лучше всего выражает фраза (её любила Ахматова): *Вас здесь не стояло*. Укор бывшему эмигранту — и, конечно, справедливый. Эрих Носсак, ныне в самом деле почти забытый в Германии, говорил об эмигрантах: разбитые чашки. А Манесу Шперберу, который сам был беглецом и прожил долгие годы в Париже, принадлежит такое высказывание: «Эмигрант теряет всё. Кроме акцента».

Ранние вещи Каверина издавались, уже довольно давно, в Израиле, у меня есть кое-что. Небольшая книжка размышлений и воспоминаний о Серапионовых братьях, на мой взгляд, довольно пресная, когда-то попалась мне; вероятно, она вошла в «Эпилог», который я не читал. Но серия «Мой XX век», теперь вроде бы приостановленная «Вагриусом», мне, конечно, известна, у меня имеются некоторые из этих книг. Мемуары Рязанова и Данелия показались мне бледными, как и Моруа, почему-то включённый в эту коллекцию, а вот книга В.Катаняна-младшего, по-моему, очень интересная.

Мемуары Эренбурга, которые когда-то Вы мне привезли, я, представьте себе, по-прежнему то и дело листаю, читаю кусочками. Это какой-то странный интерес, иногда мне кажется, что я скорее не люблю, чем люблю книгу «Люди, годы, жизнь». Она вызывает у меня раздражение, не всегда несправедливое. Но о ней я уже писал. Пожалуй, я перечитал бы «Белый уголь...», «Визу времени», ещё кое-что, но, к сожалению, книг этих здесь вроде бы нет. А вот «Хулио Хуренито» перечитывать почему-то совсем не хочется.

Когда-то я читал Каверина. Но из всего живы в памяти только «Два капитана». Кстати, его брат, Лев Зильбер, был мне хорошо известен (не персонально, конечно), я даже писал о его споре об инфекциях с другим великим патологом, И.В. Давыдовским.

Кажется, я говорил Вам как-то, что выписал однажды сборник «Серапионовы братья», недавно изданный (образцы их творчества, а также статьи о них, документы и пр.). Оказалось, что читать о них мно-

го интересней, чем читать их самих, за исключением, может быть, Льва Лунца. Когда-то у меня был автограф Лунца, подаренный мне; он пропал. Это тоже — в числе многого, что теряет эмигрант.

Вы правы, изречение «Вас здесь не стояло» может быть произнесено с разной интонацией, означать разное и многое. Вероятно, Вы помните, как в начале всех событий, в 89, в 90 году, Володя Войнович отбивался от упрёков некоторых тогдашних писателей в Москве. Любопытно, что смысл и даже конкретные формулы этой контроверзы («бросили Родину в тяжёлое для неё время», «прохлаждались там, а мы тут вместе с нашим народом...», тут же, конечно, и Ахматова: «И не под защитой чуждых крыл...») почти буквально совпадали с послевоенной полемикой Томаса Манна и Франка Тиса (Thieß), ныне прочно забытого романиста, который с гордостью, но без достаточных оснований называл себя внутренним эмигрантом и даже, кажется, первым пустил это словечко в оборот. Всё покрылось золой.

Напишите мне о чём-нибудь. Послезавтра утром мне придётся уехать на четыре дня в Дрезден, на очередное ПЕН-сборище, куда я вовсе не поехал бы из-за лориной болезни, если бы месяца два назад тщеславно не согласился читать какой-нибудь из своих шедевров, а теперь отказываться неудобно.

Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007)

Часть четвертая

Моя литературная работа подвигается очень вяло, временами, особенно вечерами, мне кажется, что я выдохся. Как и прежде, я просматриваю в интернете российские литературные журналы. Мода на постмодернизм, вернее, на то, что называли в России постмодернизмом, по-видимому, окончательно прошла, но и сегодняшняя литература, насколько можно отсюда о ней судить, на меня по большей части наводит скуку. Русская проза, или, если можно так выразиться, русское литературное сознание, не успело по-настоящему вжиться в эпоху общеевропейского модерна, и, может быть, эта эпоха для нас — всё ещё впереди.

Я вернулся из Дрездена. Первый раз я был там вскоре после того, как открылась граница. Собственно говоря, под Восточной Германией, Ostdeutschland, прежде подразумевались земли к востоку от Эльбы, аннексированные после войны отчасти Советским Союзом, главным же образом Польшей (взамен отнятых в 1939 г. польских восточных областей): Пруссия, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, Силезия, Познань. Территория ГДР именовалась — Средней Германией, Mitteldeutschland. Теперь она стала восточной. Государство ещё существ-

вовало, но границы, как уже сказано, уже не было. Правда, вышки, ряды колючей проволоки, ограда вдоль железной дороги, заставы, запретные полосы и прочее — всё это ещё сохранялось и производило жуткое впечатление. Ещё существовала берлинская стена. Ещё красовались вывески магазинов, представлявшие собой буквальный перевод с русско-советского: «Продукты», «Товары первой необходимости» (какой торговец согласится признать, что его товар — не первой необходимости?), и бросалось глаза множество советских солдат, например, в Веймаре. Ещё в каждом городе, большом или маленьком, главные улицы были улица Отто Гротевоя, улица Маркса и Энгельса. Я ехал в машине с близкими друзьями — супругами Графенхорст, у которых были друзья или знакомые в ГДР, это облегчало передвижение по стране и ночёвки в разных местах. За несколько недель мы пересекли страну с запада на восток и с севера на юг. Поездка была незабываемой. Немного позже я писал об этом для нашего бывшего журнала, хочу Вам даже послать одну статейку, хоть и не знаю, интересно ли это сейчас. Старая песня, давнишние дела.

Посетили тогда и саксонскую столицу. Цвингер выглядел непритязательно, но всё же огромная корона на парадных воротах (Kronentor) блестела золотом и можно было увидеть всё главное в Дрезденской галерее — конечно, и Мадонну Рафаэля. Уцелел знаменитый Fürstenzug, длинная стена, выложенная драгоценной цветной керамикой, с кавалькадой членов династии Веттинов, к которой принадлежал и Август Сильный. Вы эту стену, вероятно, видели. Королевский дворец лежал в развалинах, груда руин, огороженных забором, находилась на месте, где когда-то высилась Фрауэнкирхе, город выглядел грязным, запущенным, как все города Восточной Германии. Но зато правительству Хонекера удалось восстановить Semper-Oper, пёстрый, причудливый, с множеством лестниц, своеобразно-красивый оперный театр, названный так в честь архитектора. В этом театре я побывал, когда ещё раз, в 90-х годах, приезжал в Дрезден на конференцию ПЕН, слушал там одну оперу Генделя. На этот раз останавливались в гостинице, которую я запомнил: она называлась «Новалис».

...Необыкновенно красивый, утопающий в пышной зелени, поистине волшебный город башен, церквей, дворцов, музеев, набережных и мостов через широкую Эльбу. Вы знаете, что незадолго до окончания войны Дрезден был уничтожен двумя ковровыми бомбардировками. В сущности, погиб. Никто не мог даже помыслить о том, что когда-нибудь столица Августа Сильного возродится. И всё же это произошло. Восстановлено всё что можно было восстановить, последнее событие общеевропейского значения — вновь воздвигнута огромная, изумительная Фрауэнкирхе.

Просматривая предыдущие письма, я заметил, что Вы ничего не сказали в ответ на мои попытки прояснить отношение к роману Пастернака. Вероятно, поставив крест на «Докторе Живаго», Вы решили больше к нему не возвращаться.

На последний вопрос в Вашем письме, «стал ли он (роман Пастернака) и станет ли живым романом для читателя», я ответить не могу, потому хотя бы, что мнения читателей, в том числе тех, кто первыми познакомился с романом (эти мнения, в частности, приведены в известной Вам биографии Пастернака, написанной сыном), различны, часто противоположны. Разброс оценок продолжается до сих пор.

То, что я ещё могу сказать по этому поводу, возможно, покажется Вам странным. Я спрашиваю себя, кто такой этот обобщённый читатель, от чьего имени Вы говорите. Кто он такой, этот многоголовый читатель, апеллировать к которому хотелось бы каждому пишущему? Подозреваю, что его попросту не существует, если, конечно, не иметь в виду тех обыкновенных людей, охотно потребляющих низкосортную литературу и воспитанных на ней, притом отнюдь не тёмных невежд, словом, тех читателей, которых, очевидно, — в качестве критиков ли, поклонников ли, — ни Вы, ни я себе не желаем. Да они и не читают книг наподобие «Доктора Живаго». Или, может быть, надо говорить об изолированном, всё равно — искущённом или неискущённом, но уединённом читателе, который сидит в своём углу, сам по себе, и о котором мы ничего не знаем, хоть он и является естественным порождением атомизированного общества. Тут разговор уже, конечно, не только о «Докторе Живаго» и его авторе, после смерти которого столь многое переменялось.

Живой роман для читателя, сказали Вы. Я не говорю о литературе «для немногих», ведь всякая литература, заслуживающая этого названия, — для немногих. Когда-то считалось, что читателей Шекспира прибавляется с каждым новым родившимся на земле. Так хотелось говорить и о Толстом. Уже тогда, впрочем, в ответ можно было пожать плечами. Но дело не в этом, в конце концов, эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение, а о массовом обществе второй половины минувшего века, в которое стремительно въезжает Россия, и говорить нечего.

Пластичность. Мы приблизительно знаем, что это такое, когда речь идёт о классиках русской или французской прозы XIX столетия или даже о книгах, Вами упомянутых, о «Первых радостях», о «Детстве Никиты». Но уже классики следующего века, авторы бесспорных шедевров, оказываются в этом смысле камнем преткновения, будь то Пруст, или «Волшебная гора» (которой в СССР противопос-

тавляли «Санаторий Арктур», тоже ведь не лишённый пластичности в описаниях действующих лиц), или «Доктор Фаустус», или романы Вирджинии Вульф.

В том-то и дело, что Пастернак не ориентировался ни на Пруста, ни на Кафку (которого он, я думаю, не читал), с одной стороны, ни на Федина (которого наверняка не читал, хоть и дружили), ставшего после экспериментов 20-х годов образцовым эпигоном Толстого, — с другой. Ни даже на самого Льва Толстого.

Можно предположить, что он всю жизнь оставался под обаянием прозы Рильке («Мальте Лауридс Бригге»).

Вы скажете, что «Доктор Живаго» не чужд приёмам традиционно реалистического романа и, следовательно, к нему приложимы критерии этой прозы.

Это верно, очень даже не чужд, — с той, однако, оговоркой, что это всё-таки не совсем «тот» реализм, и я полагаю, что именно это обстоятельство, измена — правда, очень осторожная — школе классиков, стала причиной упреков, в том числе и Ваших. Пастернак, как мне кажется, искал синтеза, не хотел быть ни шокирующим модернистом, ни благонравным эпигоном, ни тем более социалистическим реалистом, не хотел возвращаться и к «орнаментальной прозе» — Вы помните, что он писал о ней. Насколько это удалось — другой вопрос. «Но поражение от победы ты сам не должен отличать».

Я уже говорил Вам, что отнюдь не являюсь безусловным поклонником «Доктора Живаго». Но я думаю, что продуктивная критика должна была бы принять во внимание для разбора и оценки те критерии, которыми руководствовался сам автор. Другими словами, попытаться понять, какова была задача, которую ставил перед собой писатель, и насколько он с ней совладал. С таким подходом литературная критика, насколько мне известно, не справилась, часто даже не отдавая себе в этом отчёта.

Оттого и могло казаться, что христианская историософия, вообще новое христианство Пастернака, пропитавшее весь роман, чтобы в конце концов вылиться в стихотворениях Юрия Живаго, — что этот довесок, восхитивший одних, раздражавший других, либо вовсе игнорируемый третьими, тут вовсе, по Вашим словам, «ни при чём». На самом деле это вовсе не довесок. Вся эта философия — мировоззрение автора — очень даже при чём. У меня историософия Пастернака вызывает активный протест. Но она настолько спаяна с поэтикой романа, с его композицией и сюжетом, что игнорировать её невозможно.

Ваш приговор, как всегда, однозначен, категоричен, чётко, решителен. Я к такой решительности способен далеко не всегда. Вероятно, Вы заметили, что тут сказывается не столько разница мировоззрений

или, точнее, взглядов на литературу, сколько разница в манере мыслить. Наше обсуждение «Доктора Живаго» — только пример. Может быть, оттого, что я занимаюсь художественной или квазихудожественной словесностью, я склоняюсь к фасеточному зрению. Меня смущают безапелляционные суждения. Я люблю сослагательное наклонение. Для меня почти нет окончательных ответов. Прямой взгляд на вещи мне часто даже претит.

Это нельзя считать особым достоинством, совершенно так же, как не следует считать пороком. Это просто стиль — в широком смысле слова. Слишком часто меня тянет взглянуть на вещи с разных сторон. Эти попытки каким-то образом совместить малосовместимое или вовсе не совместимое можно — разумеется, с большой долей условности — сравнить с тем, что в физике микромира называется соотношением неопределённости Гейзенберга или, иначе, принципом дополнительности Бора. Опять-таки я отнюдь не считаю это своим преимуществом.

Возможно, поэтому (если вернуться к одной из наших тем) меня привлекает неоднозначность или даже множественность внутренней точки зрения в художественной прозе. Деструкция флюберовского Бога, дискредитация всезнающего Автора. Но к роману Пастернака это уже не имеет прямого отношения.

Вы правы по меньшей мере в одном: я действительно не доверяю восприятию — восприятию как таковому, не осложнённому рефлексией, и пытаюсь, так сказать, поверять гармонию алгеброй. Не думаю, правда, что это прямой результат воспитания в школе естественных наук; скорее результат занятий литературой; так или иначе, критический анализ, чей первичный импульс и последний аргумент — впечатление и восприятие, внушает мне недоверие. Если угодно, подогревает мой еврейский скепсис.

Можно присоединиться к известному Вам Ролану Барту, когда он говорит, что литературный критик отличается от обычного читателя — потребителя литературы тем, что он не только читает, но и сам пишет; я отнёс бы эти слова ещё охотнее к сочинителю. Литература приучает к двойному, тройному зрению. Я всё время думаю о том, что действительность — это действительность и ещё что-то; что, вопреки первому постулату формальной логики, A не равно A ; что фраза Д.Г. Лоуренса «не верьте художнику, верьте его рассказу» должна быть перечёркнута: не верьте его рассказу, потому что рассказ не верит рассказчику. Мне совсем нетрудно предположить, что и мои сочинения могут восприниматься (а восприятие художественной литературы тоже ведь результат определённого воспитания) как нехудожественные, скучные, заумные, безжизненные и так далее.

По поводу Вашего предисловия к книге «Сталин и писатели».

Голо Манн, нелюбимый сын Т. Манна, ставший, как он, Голо, сам говорил, историографом, а не писателем потому, что уже есть Томас, и Генрих, и Клаус, и Эрика, и даже Моника, — Голо Манн в блестяще написанной «Немецкой истории XIX и XX вв.» не печатал имя Hitler полностью, а пользовался инициалом «Н.». Так и мне, да и не мне одному, не хочется повторять имя нашего вождя и учителя. Оно царапает головные связки и дурно влияет на пищеварение. Между тем С., привыкший не спать по ночам, продолжает, словно вампир, посмертное ночное существование, и даже с некоторым успехом. Память о нём не умирает.

Вообще-то мне казалось, что темы «С. и музы», «С. и литература», «С. и писатели» (любопытно, что тема «Гитлер и писатели» не существует) изрядно поистрепались. Взгляды С. на литературу более или менее известны. Что касается писателей, которые с разной степенью близости вступали в контакт с вождём и которых Ус почтил персональным вниманием, то мы давно уже привыкли к тому, что восхищение может быть обратной стороной панического иррационального страха. Не мне Вам рассказывать о феномене обаяния власти. Существует мазохизм порабощения. Всевластие, которое, к величайшему позору нашего времени, стало достоянием людей невысокой культуры, умственно ограниченных, малообразованных, низких и бессовестных, — всевластие бросает мистический отсвет на всё, что говорит властитель. Ведь не была же простым лицемерием речь Бабеля (кажется, это был он), восторгавшегося тем, «как куёт свои фразы С.». Не были чистым притворством влюбленные взгляды всех этих участников съездов и встреч. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преобразуется в глубину мысли. Можно ли к этому прибавить что-то новое? Но я надеюсь и почти уверен, что у Вас есть в запасе и новые мысли, и, возможно, малоизвестные или вовсе неизвестные факты.

В интернете появился юбилейный номер «Воплей», и я сразу же прочёл Ваши воспоминания об А.Г. Дементьеве «Чем-то я ему приглянулся». Имя для меня вполне новое. Не знал я, конечно, и о том, что, например, m-me Книпович, некогда одна из последних поклонниц Блока, — вероятно, Вы помните в её воспоминаниях, как Александра Андреевна открывает дверь, и: «Саша, Женя, входите!», рассказано, конечно, с умыслом, — не знал, что эта самая Книпович, ставшая довольно мерзкой тёткой, дослужилась до литературного генерала.

Статья, написанная легко и почти весело, довольно ярко рисует омерзительную атмосферу подневольной литературы и литературной жизни. Иногда мне кажется, что этот отравленный воздух не вполне рассеялся до сих пор. Вместе с тем мне почудилась в Вашей статье ностальгическая нота.

Я обратил внимание на то место, где говорится о сюжете.

«Формула Доби́на “Сюжет — концепция действительности” (...) меня не устраивала тем, что словно бы предполагала, что писатель, садясь за стол, имеет уже некую готовую концепцию действительности. И подбирает, подыскивает, выстраивает сюжет, который с наибольшей точностью эту концепцию выразил бы. Моя же главная, задушевная мысль состояла в том, что писатель, принимаясь за работу, еще и сам не знает, какова она будет, эта самая его концепция действительности. Что концепция эта постепенно открывается ему по мере того, как рождается, выстраивается, вырисовывается, возникает из тумана, становится все более рельефно видимым поначалу неясно различаемый им “сквозь магический кристалл” сюжет его будущего произведения...»

Мне показалось, что Вы и сейчас как будто готовы отстаивать это романтическое представление о сюжетосложении. Ведь оно, это представление, отвечает, не правда ли, Вашим взглядам на художественное творчество вообще.

Пожалуй, и в самом деле можно — теоретически, по крайней мере — представить автора, который затевает некое сочинение, повествовательную прозу, не зная, куда кривая вывезет, полагаясь единственно на вдохновение, наитие, на то, что придёт в голову и понемногу выстроится; главное — начать, сдвинуться с места. Почему бы и нет? Но я боюсь, что это будет упрощением достаточно сложного процесса. Тем более не могу объявить это гарантом художественности, неизменным правилом или даже законом творчества.

Вконец процитированная фраза Пушкина о замужестве Татьяны пострадала от слишком усердного, буквального, очищенного от всякого юмора толкования. То, что «удрала» Татьяна (или к чему ее принудили), не могло быть неожиданностью для создателя первого русского реалистического романа о современном ему обществе. Нужно принять во внимание и литературную традицию, которая навязывает писателю сюжетные схемы. (Гёте говорит о том, что изобретать новые сюжеты бесполезно.) Сюжет «Евгения Онегина» следует хорошо известной формуле: *А* любит *Б*, но *Б* не любит *А*; когда же *Б* влюбляется в *А*, то *А* отказывает *Б* во взаимности.

Подготовительные материалы к величайшему, может быть, роману девятнадцатого века — «Бесам» (в XIII томе Полного собр. соч.) очень наглядно демонстрируют обдумывание сюжета, притом не в общей форме, а до мельчайших подробностей, — обдумывание и выстраивание, которое происходит до того, как начинается писание в собственном смысле. Итог — чрезвычайно искусно сложенный, сложный и увлекательный роман, в котором все узлы развязаны и все концы сходятся с концами.

Вы видите, как в этих записях формируется концепция романной действительности, зыбкой, опасной, ненадёжной. Как складывается и революционная, антифлюберовская, условно говоря, поэтика романа.

В хрестоматийных воспоминаниях Горького о Толстом, если помните, приводятся слова Толстого о Диккенсе: сентиментальный писатель, и такой, и сякой, «но зато он умел построить роман, как никто». Или ещё пример предварительной работы над сюжетом: «Дневник „Фальшивомонетчиков“» Андре Жида (не знаю, правда, переводилась ли эта книжечка на русский язык).

А что сказать о детективном романе? Жанр, конечно, как говорил Зоценко, неуважаемый. Но ведь им не гнушались и первоклассные мастера.

Я, конечно (как уже сказано) спору с тем Б. Сарновым, о котором рассказано в Вашей статье, предполагая, что и нынешний Сарнов разделяет в общем и целом свои тогдашние взгляды на сюжетосложение. Кроме того, Вы отгалкиваетесь от формулы Добина, говорите о «концепции действительности» в романе, и, если я правильно понял Вашу мысль, сюжет строится соответственно тому, как постепенно, по мере втягивания в работу, в сознании писателя вырисовывается представление об облике и характере этой действительности. Это и будет его концепция. Никаких презумпций, ничего заведомо принимаемого, предумышленного быть не должно, как не должно быть предварительного жёсткого плана, всё это умерщвляет художественность.

Так вот, если Вы действительно так думаете, — то нет, конечно. Я не в силах представить себе современного романиста таким, каким он Вам грезился или грезится до сих пор: писателя, чьё воображение — *tabula rasa*, писателя, не чувствующего у себя под ногами толстый гумус культуры, не обременённого традицией, с которой, оставаясь внутри неё, он вынужден постоянно воевать, писателя, для которого действительность есть нечто внешнее, куда он вторгается, как дровосек вгрызается в лес, и который берётся за сочинение романа, не ведая, чего он хочет, что он собирается сказать, не отдавая себе отчёта в том, какая мысль о жизни его ведёт в этот лес, имя которому — его собственная душа.

Можно назвать, кроме Федина, немало достаточно серьёзных и более значительных романистов, которые прежде, чем взяться за дело, составляли подробные планы, вычерчивали планы городов, рисовали генеалогические деревья и выписывали биографии героев; ну и что? Я не считаю такой метод работы ни порочным, ни обязательным. Нечего и говорить о том, что в ходе работы любые предварительные наброски и любые проекты могут меняться и даже вовсе отвергаться. Но я не верю в невинность писателя.

Должно быть, вы ещё на даче, дорогой Бен, в таком случае письмо подождёт. В этом году из-за жары и частых гроз, а может быть, напугавшись разговоров о климатической катастрофе, буйство зелени необыкновенное даже для наших мест. Липа перед домом вся усыпана соцветиями, птицы не умолкают даже днём.

Книгу Быкова о Пастернаке я прочёл, говорят, в ней есть фактические неточности, но мне она в некоторых отношениях весьма понравилась. Другие произведения необычайно работоспособного автора читать как-то не захотелось. Из русских книг, более или менее современных и, увы, малочисленных, какие я прочитал в последние месяцы, я бы выделил замечательный роман Леонида Цыпкина; я говорю: «более или менее современных», потому что автора давно нет в живых. А судьба книги, как Вам, вероятно, известно, примечательна. Не случись Сузн Зонтаг увидеть её на книжном развале, в английском переводе, в России она осталась бы вовсе незамеченной. Да и теперь этаблированные критики, насколько мне известно, не почтили вниманием роман.

Меня позабавила Ваша фраза о том, что я подвожу под свои литературные ощущения теоретическую базу. Вы правы. Когда-то, ещё подростком в эвакуации я странным образом приохотился к чтению критических статей и, не говоря уже о Белинском, Добролюбове, Писареве или каком-нибудь Антоновиче, усердно читал предисловия советских литературоведов, комментарии и т.п. Может быть, отсюда происходит отчасти моя приверженность к литературной рефлексии. Я и сейчас читаю или просматриваю в русском интернете статьи литературных критиков, хотя по большей части они кажутся мне мелкотравчатыми. Это особая тема, и так же, как мне хотелось бы услышать от Вас более подробный отзыв о современной беллетристике, меня интересует, что Вы скажете о критике.

Что же касается «теоретической базы», то Вы, конечно помните наш прошлогодний спор о структурном литературоведении. Вы подчёркивали, что желание «разъять музыку, как труп» несовместимо с подлинным, то есть непосредственным, в большей мере чувственным, чем рациональным, восприятием и постижением искусства, в нашем случае — поэзии или вообще литературы. Я же, если не ошибаюсь, пытался возразить, что одно не исключает другое и формальный анализ не мешает эстетическому чувству и эстетическому восприятию. Так врач-гинеколог отнюдь не лишается способности восхищаться красотой женщины, просто по условиям своей работы он выносит это чувство за скобки.

Вы скажете, что я или такие, как я, априори ставят определённые условия литературе, например, дистанцирование автора от его предмета или неоднозначность прозы, или ещё что-нибудь такое, и если условия не выполняются (как у большей части современных

русских писателей), значит, литература плоха. Может быть. В любом случае мне хочется понять, почему такой-то знаменитый критик «в своих статьях бессмыслицы оратор», а расхваленный рецензентами романист NN — барахло.

Собственно, я не оспариваю в принципе того, о чём Вы пишете, хотя, быть может, у Вас всё получается слишком схематично. Один читает новую книгу непредвзято, читает, потому что книга пришлась по душе. А затем задумывается над прочитанным, анализирует произведение, стараясь понять, чем именно оно ему понравилось. Другой (это я) берётся за книгу с готовыми представлениями о том, какой должна быть современная литература. Если вещь не отвечает этим априорным критериям, она отвергается.

Я подозреваю, что мы имеем дело с некоторым взаимопереплетением. То есть что симпатии к прозе (если говорить о прозе), с одной стороны, подготовлены нашим литературным воспитанием, а с другой, усвоенные вкусы и выработанные опытом чтения критерии подвергаются испытанию всякий раз, когда мы имеем дело с неизвестным автором. С одной стороны, мы слишком давно утратили литературную девственность, чтобы приблизиться к новому автору без всяких вкусовых предпочтений, без определённых требований, априорных мерил и представлений. С другой стороны, мы всё-таки сохраняем открытость новому. Нас, хоть и нечасто, поджидает неожиданное, заставляющее перетряхнуть нашу частную, самодельную теорию литературы. Я уж не говорю об особом случае, когда читателем оказывается человек, который сам пишет, — критик или писатель. Ни о какой девственности тут не может быть и речи.

Но я хотел в особенности подчеркнуть первое. Я ведь тоже, читая какого-нибудь нового для меня современного прозаика, пытаюсь отдать себе отчёт, почему он мне скучен. Это и есть та попытка анализа, о которой Вы пишете. И оказывается, — как же иначе, — что я в самом деле подхожу к прозе с известными ожиданиями. Эти ожидания могут оправдаться или не оправдаться. Скучным кажется банальное, безвкусное, плохо написанное, примитивное, малосодержательное и т.п., — тут Вы никак не обойдётесь без рефлексии, она уже началась. Итак, можете ли Вы сказать о себе, что Вы вполне свободны от ожиданий? Что Ваше впечатление «по душе — не по душе» не предуготовано Вашим опытом чтения? Не детерминировано (говоря Вашими словами) в той или иной мере Вашими общими представлениями, Вашей, если хотите, домашней теорией о том, какой должна быть или не должна быть проза?.

Дорогой Бен, — это не совсем абберация. Думаю, что Вы имели в виду речь, прочитанную в Библиотеке Конгресса в конце мая 1945 года,

которая была опубликована под названием Deutschland und die Deutschen, «Германия и немцы», один из самых известных текстов Томаса Манна. Она существует в хорошем русском переводе покойного Е.Г. Эткинда, в последнем, 10-м томе Собрания сочинений 1961 г.

Речь эта, далеко не однозначная, как и всё у Т. Манна, даже и в чисто политическом смысле, многократно комментировалась, толковалась и так, и сяк. Её бы хорошо перечитать на фоне тогдашних дневниковых записей, но обширный дневник Томаса Манна на русский язык, кажется, ещё не переведён. Зато есть другой текст, с которым я бы рекомендовал познакомиться параллельно, — наделавшая много шума в немецкой эмиграции статья-этиюд 1938 года «Брат Гитлер» (Bruder Hitler). Когда-то мы опубликовали её в нашем бывшем журнале «Страна и мир». Много позже он был переведён и напечатан «впервые на русском языке» в России под остроумным, но не вполне удачным, на мой взгляд, названием «Братец Гитлер». Не буду сейчас пересказывать эту статью; достаньте и прочтите.

Ещё одно, имеющее отношение к «менталитету» немцев. (Вы употребили это модное словечко: менталитет.) Может быть, Вы помните, что на процессе над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге, в 1945 году, произошла забавная накладка. Судья Джексон в своей обвинительной речи процитировал высказывание Гёте о немцах и немецком национальном характере. На самом деле это была цитата из романа «Лотта в Веймаре», из той главы, где воспроизводится ход мыслей Гёте — разумеется, придуманный. Томас Манн, узнав об этом, благодушно рассмеялся, сказав, что он весьма польщён и что всё-таки отсылка к Гёте в некотором смысле правильна, великий старец вполне мог так говорить.

Можно ли узнать, для какой цели Вам понадобилась речь Томаса Манна?

Я писал Вам, что увидел в «Воплях» Вашу статью о Николае Глазкове. Когда-то Вы привезли мне сборник воспоминаний о Глазкове, довольно толстую книгу. Там есть и Ваша статья «Вечный раб своей свободы». Я понимаю, что это поэт-миф, колоритная и, очевидно, немаловажная для своего времени фигура. Но у меня остается некоторое недоумение — возможно, оттого, что я принадлежу, условно говоря, к другому литературному поколению. В самом ли деле можно считать Глазкова крупным поэтом?

...Начинаешь с частных, но довольно быстро переходишь к общему и фундаментальному.

Начну, впрочем, с Эренбурга. Хотя я не читал книгу «Лик войны», я помню другие вещи. Вспоминаю читанную в юности «Визу времени» или, допустим, роман «Падение Парижа», где есть эпизод, когда про-

фессор Дюма, любимец автора, принимает у себя коллегу — молодого учёного из нацистской Германии. Этот учёный производит самое отвратительное впечатление. Он не столько нацист, сколько немец.

Вы говорите о том, что у Эренбурга было «своё отношение к немцам». Мне кажется, оно было достаточно тривиальным, расхожим, широко распространённым. Человек, душа которого в большой мере принадлежала Франции, уже по этой причине, почти автоматически, взирал на Германию недружелюбно. (И наоборот: до недавнего времени Франция считалась по другую сторону Рейна «наследственным врагом», Erbfeind.) Прибавьте к этому Гитлера и Голокауст. И, наконец, война, которую Эренбург видел вблизи. Вражда к немцам, как Вы правильно заметили, не укладывалась в политические формулы: она переходила во вражду и ненависть ко всему немецкому. Попросту говоря — превращалась в расизм наоборот. В этом Эренбург был не одинок. Когда-то мы опубликовали в нашем журнале «Страна и мир» — как некий любопытный раритет — одну из военных статей Эренбурга, написанных уже в то время, когда бои шли на территории Восточной Пруссии, — специально о немцах, о том, каковы они «у себя дома». К сожалению, я не помню название статьи. Даже автору, я думаю, было бы неловко её перечитывать. Да и в мемуарах (созданных совсем в другие времена) страницы второго тома, где он рассказывает о городках, только что занятых нашими войсками, производят тяжёлое впечатление. Как и многое другое, они не только не свободны от того, о чём я только что сказал, — они не свободны от лжи.

Но статья Г. Александрова — из другой оперы. Государственный писатель получил окрик свыше за то, что вовремя не учул перемену политических ориентиров и планы вождя на ближайшее будущее.

Теперь другая тема — о нашем пророке. Мне не надо повторять, что отношение моё к нему как к писателю немногим отличается от Вашего. Когда-то Вы поместили в «Огоньке» рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Не знаю, что сказали бы Чуковский и другие о «Красном колесе», но уж этот-то рассказ был ими встречен с восторгом. А между тем это — сусальная проза на уровне шолоховской «Судьбы человека».

Как ни странно, в многочисленных статьях и всевозможных высказываниях о Солженицыне, и хвалебных, и критических, я не нашёл сколько-нибудь серьёзного анализа его художественной системы, если хотите — его поэтики. Мне не хотелось повторять то, что уже сказано много раз. Тогда не стоило бы и затевать разговор о нём. Но мне хотелось разобраться в том, что интересовало меня у других писателей — в том числе и у автора «Улисса». Для себя я называл это литературной философией. Это то, что, как мне кажется, вовсе не интересует литературных критиков в России. Таких проблем для них не существует. Я не

говору о Вас. И всё же я думаю, что Вы не совсем меня поняли. Дело не в том, что восприятие действительности у Солженицына никак не релятивизировано, хотя и это — черта эпигонства, эпигонской зависимости от прозаиков XIX века. Дело не только в этом. А в том, что это тривиальный подход. Искусство не взирает на вещи сквозь оконное стекло. Банальность точки зрения, — повторю то, о чём я писал, — вот черта этой прозы. Черта, которую не могут замаскировать ни модерный коллаж газетных вырезок, напоминающий ныне почти уже забытого Дос Пассоса, ни гротескный слог, — и на которую стоило бы указать, если мы всерьёз хотим разобраться в причинах провала «Красного колеса».

Конечно, можно привести множество более конкретных причин. В сущности, все они — как Вы правильно сказали — главные. Но о них говорилось не раз. Среди того, на что, по-моему, меньше обратили внимания, надо назвать неумение проникнуть в мир женщины, создать убедительный женский образ. А это пробный камень писателя.

Вы помянули любимую Вами, толстовскую энергию заблуждения. Эта энергия, это убеждение, что ты открываешь читателю нечто доселе неизвестное, что, быть может, ты сумеешь потрясти сердца, изменить жизнь людей, что без твоей прозы никак не обойтись, — более или менее свойственно многим, и крупным, и малым писателям, хотя бы они и хранили его про себя. И если уверенность в своей высокой миссии была в большой, даже чрезмерной степени свойственна Солженицыну (он-то о ней отнюдь не молчал), то я в конце концов не вижу в этом плохого. Ничего предосудительного нет в том, что писатель полагает себя единственным хранителем единой высшей истины. Хуже, когда истина оборачивается унылой, навязшей в зубах тривиальностью.

И, наконец, третье. Вам мешает «красота» моих высказываний о стиле, о литературе как игре и т.д. набросанный Вами портрет годился бы для эстета образца 1913 года. Для меня это невозможно, даже если бы я и хотел изображать что-нибудь этакое. Эстетизм в тогдашнем понимании вообще невозможен, давно уже невозможен, слишком многое изменилось в мире. Но о том, что искусство — игра, высокая игра, говорил ещё Томас Манн. Имеется в виду не игра в скат. Имеется в виду игровая, конвенциональная природа искусства. Что же касается моих неосторожных сентенций насчёт того, что-де чтение хороших стилистов освежает душу, или что стиль — это мораль художника, что башня словной кости в наше время — единственное (подумать только!) прибежище человечности, то я могу привести другое изречение, принадлежащее нашему другу Иосифу Бродскому: «Эстетика — это этика». Уверяю Вас, моё отношение к литературному ремеслу не менее серьёзно — хоть и другом роде, — чем Ваше.

Вы повторили dictum Ходасевича: русская литература стоит на крови и пророчестве. Стоило бы рассмотреть эту фразу — эту програм-

му — с разных сторон. Что она, наша литература, стоит на крови, на «гибели всерьёз», равно справедливо и для русского Девятнадцатого века, и для только что сгнившего Двадцатого. О чём говорить! А вот пророческая миссия... Тут дело довольно скользкое.

Можно, конечно, заметить, что ни пророческие грёзы Гоголя, ни мечтания Достоевского не сбылись — куда уж там. Пророческий пафос русской классической литературе, близкий мне, поверьте, не меньше, чем Вам, — провалился. Но Ходасевич (в статье «Кровавая пища») говорит о другом, он сравнивает русского писателя с пророком, побиваемым камнями, и говорит о «кровоавой связи между пророком и народом», о том, что «избиение пророка становится жертвенным актом заклания». Ах, Бен! XIX век был назван золотым веком русской литературы по аналогии с Золотым веком римской литературы, с золотой латынью, *augea latinitas*. Средневековый писатель или поэт, посреди рукописных фолиантов и пергаментов спасённой арабами и католическими монахами античной философии, поэзии и литературы, мог считать, что он по-прежнему живёт в Римской империи, ведь государство, где он обретается, носит лишь слегка изменённое название: Священная Римская империя германской нации. Но он хорошо понимал, что и золотой век Августа, и серебряный век Флавиев — далеко позади. Мы живём в эпоху, во многом похожую на Средние века. Во всяком случае, что касается словесности, век Пушкина и Толстого ушёл от нас почти так же далеко. И нам приходится гадать, что, собственно, означали для читателей «Мёртвых душ», «Рыцаря на час», «Записок охотника», «Войны и мира», «Преступления и наказания», «Дневника писателя», прибавьте сюда и автора «Что делать?», и мало ли ещё кого, — что означали для них слова «народ», «литература», «читающая публика», «долг писателя перед народом». А вы всё ещё пытаетесь вкладывать в них испарившийся смысл.

Хотя мы с вами живём или жили в стране, сохранившей, как Священная Римская империя, старое название, говорим и пишем на языке, который, хоть и с немалым трудом, с грехом пополам, но всё же мог бы быть понятен русскому человеку 1850 года, — подобно тому как римлянину I века оказался бы не вполне чужд литературный латинский язык Высокого средневековья (о вульгарной латыни не говорю), — мы живём в совершенно другом обществе. Не мне Вам рассказывать, каковы роль и судьба литературы в этом обществе, как далеко они сместились даже по сравнению с 20-ми годами XX века. А Вы толкуете о пророчестве... Кто стал бы слушать писателя-пророка, даже если бы он появился. Кого могла бы заинтересовать его трагическая участь? Вы помните слова Достоевского: приди сегодня Христос в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Тут он поистине как к воду смотрел. А скорее всего пришьельца вообще никто бы не заметил. «Девки» (если ещё кто остался) смотрели бы по телевизору футбол.

Ещё два слова по поводу «стиля». Речь вовсе не о каких-то там изысках и красотах. Но когда я читаю многих современных русских прозаиков, не исключая именитых, меня удручает их язык. Захлестнувшая литературу вычурность, манерность, дурновкусие. Изнурительное многословие, лишние слова чуть ли не в каждой фразе. Каждый третий абзац можно без ущерба для дела вычеркнуть. Безвкусное смешивание разных слоёв языка, злоупотребление вульгаризмами, разговорной речью, когда говорок воспринимается не как искомая «правда жизни», а наоборот как набившая оскомину рутинка и литературщина. И ведь это касается не только прозы в собственном смысле. Полистайте-ка известных публицистов, эссеистов, литературных критиков: они как будто забыли о том, что первым правилом литературного ремесла является точное, выверенное словоупотребление. Забыли, что такое литературный стиль.

Я снова накатал длиннущее письмо. Будьте снисходительны.

Можно представить себе, что к концу войны в партийной верхушке (не в военной) накапливалось раздражение против Эренбурга, и Вы, вероятно, располагаете другими документальными свидетельствами этой глухо нарастающей вражды, кроме доноса Абакумова. Но думать, что «именно этот донос скорее всего натолкнул Сталина на мысль ударить по Эренбургу», — наивно. Раздел Германии на оккупационные зоны был решён в Ялте, и предстояло конкретно решить, как мы воспользуемся новой ситуацией, как распорядимся огромным куском Германии, который достанется нам и подвластной нам Польше. В Москве сидит на чемоданах будущее восточногерманское правительство. Советская зона станет советской. А Эренбург, что бы он там ни говорил в Военной академии имени Фрунзе перед собранием в 150 человек, в статьях своих, которые читает вся армия, весь народ, которые переводятся и комментируются за границей, не говоря уже о том, как громкогласно использует их геббельсовская пропаганда, — Эренбург попрежнему долбит в духе симоновского «Убей немца». Вот они и кричат там, в Берлине: видите, к чему призывает главный кремлёвский журналист, чего хотят кровожадные коммунисты и жидаы, они хотят уничтожить Германию, убить всех нас до одного. Нам ничего не остаётся, как сражаться до последней капли крови, пока, наконец, эти новые гунны не столкнутся с американцами, и наше немецкое отечество будет спасено. — С другой стороны, в Москве хорошо знали, что творится за занятых немецких территориях, как ведёт себя наша армия, знали, что население этих областей массами, повально бежит на Запад. Нет уж, пора унять Эренбурга. Пусть это будет общим сигналом. Всё это было хорошо в своё время, а теперь погода изменилась, теперь мы станем хозяевами в Германии. Гитлеры приходят и уходят и т.д.

Дорогой Бен, мы вторглись в область нелитературную, и я буду краток. Мы, конечно, не умнее наших отцов, но мы не можем смотреть на события тех лет их глазами. О том, что представлял собой национал-социализм, я, возможно, осведомлён не хуже, может быть, даже лучше, чем Вы. Можно было бы не повторять тысячу раз произнесённые слова о том, что «ответственность немецкого народа за то, во что превратил его Гитлер, вернее, за то, что он в массе своей поддался этому соблазну, — это вопрос не простой». В особенности — не повторять это человеку, который живёт здесь, где этот вопрос без всякой пощады непрерывно обсуждается, разбирается, уточняется вот уже полвека. А Ваша фраза: «У меня нет уверенности в том, что союзники, зверски разбомбив Дрезден, были так уж неправы», меня глубоко огорчила.

Меня ввели в заблуждение Ваши слова: «Этот донос лег на стол Сталина 29 марта. А статья Александрова появилась в “Правде” 14 апреля. *Скорее всего, именно этот донос* и натолкнул Сталина на мысль ударить по Эрэнбургу».

Вождь инспирировал статью Александрова под влиянием доноса на Эрэнбурга. Мысль эта показалась мне неубедительной. Оттого я не удержался, чтобы не напомнить о политических обстоятельствах весны 45 года. Вам они, конечно же, известны. Но будущий читатель, чего доброго, примет Вашу фразу всерьёз.

Я не совсем понял, что означала реплика Бэрбары фон Вульфен (в Вашей передаче): имелось ли в виду вторжение в Восточную Пруссию или что-либо более конкретное. Кроме того, неизвестно, в каком контексте она, эта реплика, была произнесена. Зная Барбару довольно хорошо, зная, как она относилась к Володе Войновичу и особенно к покойной Ире, я не могу представить себе в её устах подобную бестактность. Подозреваю, что не обошлось без чисто языкового недоразумения, ведь Володя очень плохо говорил и по-английски, и по-немецки и ещё хуже понимал чужую речь.

Но независимо от того, что могла иметь в виду Барбара, — эта готовность истолковать услышанное в определённом, то есть непременно в плохом, смысле кажется мне характерной. «Если уж такая неординарная немка не понимала, то что же сказать об остальных». Остальные, разумеется, ещё хуже. Вы помните, как говорил Гейне: «Если кражу совершил христианин, то скажут, украл вор. А если украл еврей, скажут: украл еврей». Для Вас немцы — это компактная однородная масса, главная характеристика которой есть именно та, что они — немцы. Грубо говоря, одним миром мазаны. Для меня же немцы, и те, кого я знаю, и те, о ком могу судить издалека, — это очень разные люди: старые, молодые, честные, подлые, те, кто понял всё, и те, кто не понял ничего, люди разных, подчас несовмес-

тимых политических убеждений, люди, живущие в разных частях большой страны, говорящие на разных, порой очень далёких друг от друга диалектах, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, что ощущается и в культурных предпочтениях, и в манере вести себя, и в быту.

«Немцы (пишете Вы), даже лучшие из них, не понимали, ЧТО они натворили». Откуда это Вам известно? Как обобщение это неправда и может быть опровергнуто множеством фактов.

Вы, мне кажется, разделяете представление о коллективной вине. Между тем концепция коллективной вины (Kollektivschuld) по крайней мере в Западной Европе давно отвергнута. В чисто юридическом толковании она несовместима с законом. В более общем, человеческом смысле она безнравственна. Вина и ответственность за преступление, как и наказание, могут быть только индивидуальными. Преступников может быть очень много, но вина каждого и мера вины должны быть доказаны для каждого. Можно жить в преступном государстве (в одном из них мы жили). Но это не значит, что уже по этой причине все граждане нацистского рейха были виновны в преступлениях рейха.

Сказать, что все виноваты, — почти то же самое, что сказать: никто не виноват. Это значит оправдать преступников, стереть разницу между убийцами и теми, кто не только не убивал или не приказывал убить, но и вообще ни в чём не провинился. Смешать в одну кучу тех, кто отплясывал с дьяволом (выражение Томаса Манна), и тех, кто сопротивлялся. А ведь этих последних было тоже немало.

Личная ответственность за своё поведение при таком подходе отменяется. Подход этот так же безнравствен, как безнравствен на свой лад был призыв нашего пророка всем скопом каяться в грехах и преступлениях советской власти.

Если вернуться к Вульфенам — Левину и Барбаре, урождённой Подевилльс, — то да, это консервативная семья, где ненавидели «левых». Но ненавидели и Гитлера. Между прочим, «тётя Меди» — баронесса фон Подевилльс, которую Вы ещё застали в живых, — была в годы войны личной секретаршей генерала Штюльпнагеля, а о Штюльпнагеле Вы, наверное, знаете.

Вы заняты интересной работой. Есть ли уже готовые главы?

Я снова стал думать об Илье Эренбурге. Рискну высказать предположение, что два события были главными, решающими в его жизни: кроме Отечественной войны — жизнь во Франции. Его стиль носит сильный отпечаток французской прозы. В его романах французы ярче и убедительней русских персонажей. Париж в его космосе — центральная звезда, отнюдь не Москва и не Ленинград. Мне кажется, что внутреннюю жизнь России он знал плохо.

Я задержался с ответом, дорогой Бен, неделя была тяжёлой, мы каждый день путешествовали к врачу в связи с новым, на этот раз очень трудно переносимым курсом химиотерапии. А вечером я практически уже не в состоянии что-либо писать.

За «рацею» извините. Я настолько привык читать и слышать из России нелепые, далёкие от действительности суждения о Германии, немцах, вообще о «Западе», — подчас принадлежащие даже вовсе не глупым людям, — что дую на воду, обжёгшись на молоке. Угощаю Вас нотациями, в коих Вы вовсе не нуждаетесь. То, что наши мнения и воззрения по разным литературным вопросам часто расходятся, не мешает мне восхищаться Вашими работами, а теперь особенно — Вашей производительностью: три тома «С. и писатели», ого! Кстати, видели ли Вы рецензию, очень дружественную, на «Случай Эренбурга» в последнем номере журнала «Сибирские огни» (и довольно необычную для этого журнала)? К сожалению, я так и не читал «Случай Эренбурга».

Однажды, это было в эвакуации во время войны, мне было лет 14, я получил письмо от моего двоюродного дяди — степень родства мне трудно определить — с предложением, как он писал, «затянуть литературную переписку». И дальше следовал вопрос: «Как ты относишься к писателю Илье Эренбургу?». На что я со стыдом был вынужден ответить, что писателя этого не читал. Таково было моё первое конкретное знакомство с И.Э. Переписка, однако, затеялась, я получал толстые треугольные письма со штампом «Просмотрено военной цензурой», мой дядя был поклонником не только Эренбурга, но прежде всего французских поэтов, сам переводил Леконт де Лиля, Верхарна и многих других, прислал мне однажды, среди прочего, целое исследование о Верхарне; вообще эти письма имели для меня очень большое значение. Когда в 1949 году я был арестован, переписку изъяли при домашнем обыске, и она пропала, о чём я и сегодня не перестаю жалеть.

В Вашем предисловии в самом деле проглядывает «концепция», эта концепция мне близка. Более того, я готов распространить её за пределы нашего отечества и советского времени. Правда, при этом она потеряла бы специфическую остроту и жгучую актуальность, связанную с положением писателя в тоталитарном государстве. Не вообще, не где-нибудь, а именно в таком государстве навязанного единодушия и насильственного единомыслия. Получается несколько другая тема.

Может быть, Вы помните, как однажды мы с Вами спорили по близкому поводу, я утверждал, что современники писателя или поэта чаще всего не в состоянии оценить его по достоинству, нужно, чтобы писатель умер, чтобы народилось новое поколение. Я хорошо понимаю,

что и здесь бывают исключения, но для меня это были именно исключения. Собственно, я и сейчас так думаю. Вообще я убеждён, что никто так плохо не разбирается в своём времени, как тот, кто в нём живёт.

Вы вспоминаете реплику Грюнделя по поводу нюрнбергских процессов: «Впервые победители устроили суд над побеждёнными». Что тут странного? Победители (союзники), действительно, привлекли к суду побеждённых — нацистских главарей. Станным выглядит возражение Володи. Он явно истолковал слова немецкого собеседника превратно. Разумеется, побеждённых судили не за то, что они проиграли войну. Их судили за их преступления, к числу которых относилось и развязывание войны. Не знаю, читал ли Володя материалы процесса. Ведь трибунал именно так и формулировал свою задачу: не за поражение, а за злодеяния. Не расправа, а приговор на основе закона. Но граф Грюндель был прав: суд не имел прецедентов. Вообще говоря, это общее место. Юстиция оказалась в сложном положении. Впервые в истории правосудие столкнулась с массовыми организованными преступлениями, с преступными государственными организациями, в конечном счёте — с преступным государством.

Удивляться (по крайней мере, сейчас) приходится другому. Главным обвинителем с советской стороны был Руденко. Специальную комиссию Политбюро, которая решала в Москве, как советской делегации надлежит вести себя в Нюрнберге, возглавлял Вышинский. В комиссию входили, среди прочих, три заместителя Берии: Абакумов, Кобулов и Меркулов. Всё это были люди, которым полагалось бы самим сидеть на скамье подсудимых.

Видите, мы снова упёрлись в Германию и немцев. Вот уже четверть века я живу здесь. Эта страна, где (как и вообще за границей) я прежде никогда не бывал, всё же, как Вы знаете, не была мне вполне чуждой. Я и сейчас не могу сказать, что знаю её хорошо. Но я, по крайней мере, всегда старался освободиться от эмигрантских предрассудков и предубеждений по отношению к немцам. А главное, мне хотелось понять людей, представить себя на их месте.

Это я к тому, о чём рассказывала Дорис Шенк. Я помню, как Володя (который, кстати, вместе с Ирой очень много сделал для нас, когда мы приехали, потеряв в буквальном смысле всё) недоумевал и возмущался, узнав от новых знакомых, что день 8 мая 1945 г. для них не был праздником. Но попробуйте всё-таки вникнуть.

С некоторых пор я, как ни странно, заболел войной, хотя видел её почти только на экране. Это было связано и с моими литературными занятиями. Меня в особенности интересовали первые месяцы войны и её последние дни. Я пытался взглянуть на войну двумя глазами и, так

сказать, с обеих сторон бинокля. Итак, напомню Вам — хотя Вы, конечно, это знаете — масштабы возмездия, постигшего нацистский рейх. Все сколько-нибудь крупные города лежат в развалинах. Погибла четверть всех мужчин и почти десятая часть всего народонаселения. Разруха и голод таковы, что набрести на всё ещё не съеденный полуразложившийся труп лошади — редкая удача, великое счастье. Остаток страны наводнён калеками со всех трёх фронтов и особенно беженцами из восточных областей. Успешно наступающая Красная Армия — отнюдь не армия-освободительница. Её вдохновляет одно чувство — месть. Эта месть не знает разницы между правыми и виноватыми, старыми и молодыми, мужчинами и женщинами, вражескими солдатами и просто населением. Об этом в Германии много десятилетий после войны не полагалось говорить и писать. Вступая в какой-нибудь городок, воины советской армии насиловали подряд всех женщин, от девочек до старух. О фантастических грабежах нечего и говорить. Надеюсь, Вы не поймёте меня так, что я хочу выгородить тех, кто творил зло на оккупированных территориях в СССР. Не об этом речь, да и странно было бы оправдывать одно злодеяние другим. Не станем же мы говорить: так им и надо. Так и надо — кому?

Гитлер ушёл от расплаты. Население гибнущего Берлина, услышав, что «фюрер, сражаясь до последнего дыхания, пал на поле боя», отнеслось к этому известию равнодушно. Людям было уже не до фюрера. Пропаганда могла убедить подростков с противотанковыми ружьями, да ещё остатки фронтовых СС. Терять нечего, нас всех всё равно убьют — разве только это могло подействовать. Война кончилась, выжившие были рады, что больше не стреляют орудия, не сыплются бомбы. Это было не просто военное поражение. Это был апокалиптический разгром, который невозможно сравнивать даже с итогами Тридцатилетней войны. Это были разбитые, разгромленные, опустошённые души. Ощущать этот день как праздничный никто не был в состоянии, даже борцы сопротивления, если кто-то ещё оставался в живых. Я думаю, по-человечески это можно понять.

Между прочим, и в западных странах-победительницах, во Франции, в Англии, день окончания войны не является официальным праздником победы. Это день памяти жертв.

Видите, я опять наворотил две страницы. Но ведь об этом можно говорить без конца.

Дорогой Бен, я иногда вещаю в маленьком литературном кружке, и теперь мне, возможно, придётся говорить об отношении писателя к литературной критике. Вы бы могли справиться с темой лучше, чем я.

Но на безрыбье и рак рыба. Я тоже думал (и даже писал когда-то) о том, что отличает настоящего критика. То, о чём Вы пишете, — что критик должен угадывать в современной ему литературе то, что не исчезнет, — это, конечно, самое лучшее определение. Но и великие критики ошибались. А главное, литературная критика молчаливо исходила из презумпции, что место и роль литературы в обществе, какой они её, эту роль, застали, останется такой же в обозримом будущем. Ни Белинский, ни даже Шкловский, Тынянов и так далее не могли представить себе, как изменится общество и куда отодвинется литература.

Насчёт Грюнделя и т.п. — что ж, если он в самом деле видел в нюрнбергских процессах и прежде всего в процессе над главными военными преступниками только неправый суд, месть побеждённым, тем хуже для Грюнделя. Надо сказать, что подобные голоса раздавались после войны, главным образом из правого лагеря. У меня есть целая книга таких выступлений. О неонацистах нечего и говорить. Может быть, юридически не всё было безупречно, чему не приходится удивляться, принимая во внимание беспрецедентность. Не знаю, приходилось ли Вам читать первое советское издание протоколов Нюрнбергского суда, там были речи защитников и последние слова обвиняемых. Всё это исчезло во втором издании — как и все документы о преследованиях и истреблении евреев. Как бы то ни было, победила точка зрения, которой придерживаемся и мы с Вами. А расстрел Чаушеску я тоже встретил «с жестокой радостью».

Рихард фон Вайцеккер. Вероятно, вы имеете в виду речь по случаю 40-летия окончания войны. Я эту речь перевёл тогда же на русский язык, и она была напечатана в нашем бывшем журнале «Страна и мир». Видимо, об этом не знали, когда много позже речь была опубликована в России «впервые на русском языке». А может быть, не хотели об этом знать. Мне остаётся лишь надеяться, что мой перевод был не хуже. Я многое переводил для журнала, вообще вложил в него много труда. Пример абсолютно бесплодной деятельности. Но ведь и писательство — дело в значительной мере бесплодное, не правда ли?

Идеальных критиков не бывает, но без актуальной критики, согласитесь, нет литературы, а есть разбредаящееся стадо пишущих. Я, очевидно, повторяюсь — писал об этом как-то раз. Литературная критика — это самосознание литературы, вынесенное за пределы её собственного организма. А в эпоху, когда рефлексия о прозе внедряется в ткань самой прозы, когда автокомментарий превращается во внутренний метаязык литературы, критика становится её внешним метаязыком, третьим полушарием её мозга.

И ещё я бы сказал, что литературная критика не просто артикулирует то, что называется литературным процессом, Парадокс в том, что тем самым она его создаёт. Только после того, как его изобрела критика, литературный процесс из умозрительного конструкта становится объективным фактом.

По старой привычке я по-прежнему читаю или просматриваю критические статьи и обзоры в главных русских журналах. Идеальных аналитиков и комментаторов и тут, само собой, искать не приходится. Вдобавок на писателей трудно угодить. Но всё же. Например, Наталья Иванова — генерал литературы, если не ошибаюсь, по новому ранжиру — кажется мне серьёзным, хотя и несколько ограниченным, критиком. Курицын был, по-видимому, талантлив, но спился. Немзер — довольно серый критик. Анненков, по-моему, глуповат и жестоко провинциален. Бавильский — ни то ни сё. Газетные рецензенты — Золотонос, Пирогов, Данилкин — скорее фельетонисты, чем критики. Вообще многим, похоже, неведома разница между Божьим даром и яичницей. Между критикой и эссеистикой, критической статьёй и фельетоном. Настоящий, широко образованный и высокоталантливый литературный критик — Борис Дубин — анализирует ситуацию современной российской литературы лишь в другом своём амплуа: как социолог культуры.

Это — вторая часть Вашего письма (жаль, очень короткого). Конечно, когда Вы ссылаетесь на то, что процент читающих серьёзную литературу всегда был ничтожен, спорить не приходится. Можно было бы начать с античной древности: сколько читателей могло быть в огромном Риме у тех, кому мы обязаны золотой латынью? Правда, в афинском амфитеатре V века сидело практически всё 10-тысячное свободное население города, и эти зрители были способны выслушивать пространные монологи и спор антагонистов в пьесах Эврипида. Но, как Вы заметили, я имел в виду другое.

Дело в том, что сопоставления в таком роде не только с далёким прошлым, но и с XIX, даже с первой половиной XX века (Вы упомянули о тираже первого издания «Чётков»), не работают. Когда-то Адорно заметил, что просвещённая буржуазия, наследник аристократии, сама преемников не оставила. Можно добавить: высококультурная буржуазная читательница, располагавшая средствами и досугом, тоже ушла, не оставив наследников.

Кого же она оставила? Я часто вспоминаю один разговор в Вене со старым другом, теперь уже отставным профессором Куртом Марко. Когда я упомянул о том, что в одном письме Гуго фон Гофманстала, написанном после крушения австро-венгерской монархии, он жалуется на

то, что «мы все осиротели», Курт сказал: знаете, что он имел в виду? Состоятельную еврейскую буржуазию, которая содержала литературу и искусство Вены накануне войны и краха. И в самом деле, эпоха заката, время вокруг 1900 года оказалось, подобно русскому Серебряному веку, временем изумительного творческого взлёта.

Вы понимаете, куда я клоню. Речь идёт об экономике (предмет любимый у литераторов в России, вероятно, следствие насильственного марксистского — или псевдомарксистского — воспитания), и больше того, о новом обществе. Это общество, утвердившееся в Америке, а теперь и в Западной Европе, мало-помалу формирующееся, куда же денешься, и в России, — есть нечто новое в истории; поэтому я и говорю, что сравнивать трудно. Массовое общество где экономика стандартизованного потребления и тотальная коммерциализация царят над всем и всеми. Мы, кажется, об этом уже говорили. Общество огромных перенаселённых мегаполисов, где, вернувшись домой после рабочего дня в свои стандартные жилища, люди включают телевидение и поглощают одно и то же. Для чтения нет ни времени, ни сил. А когда, наконец, появляется досуг — отпуск, выход на пенсию, — то оказывается, что разучились читать, и пробавляются детективными романами.

Разумеется, литература не умирает и в таком обществе. Но она может существовать только на обочине. Всё это не жалобы, а реальность, непогрешимая, как всё действительное — по Гегелю. Правда, в западных странах существуют контрмеханизмы, позволяющие художественно сопротивляться диктату рынка. Разовьются ли они в России?

Сегодня в католических землях Германии нерабочий день: Вознесение Марии. Бавария-4 передаёт песни Мендельсона. Слова Гейне. Оба евреи, в Третьей империи были под запретом. *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis*, гласит латинский стих: времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Вчера исполнилась четверть века с того дня, когда мы покинули неласковое отечество. Правильней было бы говорить не об отъезде, а о паническом бегстве по мановению свыше. До сих пор я с ужасом и отращением вспоминаю эти последние дни.

Перечитываю Ваше письмо. Мы говорили о критике. Удивительным образом — а впрочем, совсем не удивительным — я согласен со всем, что Вы пишете. Мы понимаем, что идеальных критиков — по крайней мере, таких, какие пришлось бы по вкусу критикуемым сочинителям, которые ведь всегда недовольны: и когда о них пишут, и ещё больше, когда о них не пишут, — идеальных критиков не бывает, и в то же время ссылаемся на идеальную литературную критику. Я, во

всяком случае, имел в виду приближение к идеалу, когда толковал о третьем полушарии. Может быть, под влиянием уцелевших остатков волшебного обаяния немецкой идеалистической философии, так увлекавшей меня в юности, я до сих пор воспринимаю и литературу, и литературную критику как некую надвременную сущность, нечто такое, что стояло над нашими предками, стоит над современниками, как небо созвездий. Каждый, кто так или иначе причастен к литературе, видит его над собой.

И всё же, глядя назад, вспоминая то, может быть, немного, что мне известно о великих критиках, тех, кого и впрямь можно назвать великими, я укрепляюсь в этом странном убеждении: они не только улавливали тенденции и распознавали векторы литературы — они их формулировали, и лишь тогда, когда осознавался литературный процесс, возможность становилась реальностью, вероятность — фактом, — процесс начинал объективно существовать. Я думаю, что история русской литературы могла бы подтвердить это на примере Белинского, да в конце концов и на примерах, хоть и не столь убедительных: Добролюбов, Ап. Григорьев или даже Писарев. Вы употребили, помянув Писарева, это словечко «даже». Представьте себе, я до сих пор сохранил к нему чувство, близкое к нежности. Мне было лет 15, однажды я заглянул в воскресенье в школу, — это была средняя школа в селе Красный Бор на Каме, а жили мы в двух километрах от села на территории районной больницы, — заглянул, и оказалось, что комната, где помещалась школьная библиотека, не заперта. Я лежал на столе и с упоением читал статью «Базаров». И уже за ней последовали «Реалисты», «Генрих Гейне», «Разрушение эстетики» и что там ещё. Причём очаровывали опять же не столько идеи, не идеология, а творческий порыв, ветер, который летел с этих страниц, дух молодости, поток великолепного стиля. Я уже не говорю о Белинском, не говорю о Герцене, с которым связана целая эпоха тогдашней жизни; сделав открытие, что «просто так» писать нельзя, а надо непременно быть блестящим и остроумным, я написал контрольную работу по химии, подражая слогу Герцена, чем поверг в недоумение нашу учительницу. Всё это невозможно забыть.

А Чернышевский... Я набрёл на роман «Что делать?» осенью 41 года, вскоре после того, как мы оказались в эвакуации, и читал его с восторгом. Опять же не идеи сами по себе, до которых, похоже, мне не была никакого дела, а загадочная интрига и казавшийся совершенно необычным разговорно-разымыслительный язык, да ещё хитрая болтовня с пронизательным читателем и все эти штучки — все было необыкновенно увлекательно. До сих пор мне неприятно читать в романе Набокова страницы о Чернышевском. Нужно было во что бы то ни стало до-

казать, в pendant и в противовес названию «Дар», что Чернышевский был глубоко бездарен. И всё как будто подтверждено старательно подобранными фактами. Нужно было вставить перо в задницу старым пердунам-либералам, которые привезли с собой в эмиграцию свои заплесневевшие идеалы. А мне в этой книге Набокова чудится что-то недостойное, какая-то подлянка. Надо было всё-таки понять, что расправляться с Чернышевским, с его диссертацией и т.д. — всё равно, что драться с подростком. И, конечно, о том, как была перерублена жизнь Чернышевского, тоже не след забывать

Видите, я опять сильно отвлёкся. Мне хотелось ещё сказать два слова о Вашем впечатлении, будто, говоря о ситуации писательства в сегодняшней России, я разделяю «традиционное для русского литератора представление, что литература должна принадлежать народу». Нет, Бен, от этих иллюзий я излечился давно, очень давно.

«Но я думаю, — пишете Вы, — что там, на обочине, ей и самое место». Я тоже так думаю.

Вы упомянули, в связи с Чернышевским, о Вашей статье в «Воплях» о Набокове; я её, по-видимому, не читал. Пришлите, пожалуйста. Мне, кстати, было бы интересно, каково вообще Ваше отношение к Набокову (чей роман «Приглашение на казнь», в частности, Вы мне когда-то давали). У меня с Набоковым какая-то непрояснённая: вроде бы всё в порядке, замечательный писатель, даже изумительный... и всё-таки то и дело спотыкаешься. В нём есть что-то такое, что я воспринимаю как упрёк лично мне.

Издательство «Слово»? Разумеется, помню. Вдохновлённый этим знакомством, — опять же благодаря Вам, — я несколько времени погодя предложил издательнице ещё один роман. К чести её надо сказать, что она ответила, даже прислала назад рукопись. Написала, что роман не актуален и недостаточно остро сюжетен. Это правда — так оно и было.

Статья о Набокове навела меня на разные мысли, отчасти увела в сторону. Пусть она написана не сегодня — для меня она звучит актуально. Как я понимаю, автор построил её вокруг двух проблем или, скорее, постулатов. Это, во-первых, несостоятельность упрёков, предъявленных Набокову в эмиграции, и упрёков Солженицына, и во-вторых, протест против произвольных интерпретаций, вычитывания из текста аллюзий, которых там нет, и т.п.

«Отношение к художественному тексту как т а й н о п и с и, как к некой шифрограмме, которую исследователю предстоит раскодировать, расшифровать, довольно прочно утвердилось в современном ли-

тературоведении. (Я уже писал однажды о комических попытках подобрать ключи к шифру, с помощью которого Пушкин якобы закодировал самые тайные свои мысли в “Повестях Белкина”, а Булгаков — в Мастере и Маргарите.)

Нелепость такого подхода к художественному тексту заключается не столько даже в комичности самих ключей и отмычек, старательно подбираемых расшифровщиком, сколько в главной предпосылке всей этой трудоемкой и бессмысленной деятельности, словно бы предполагающей, что Пушкин, Булгаков, Набоков и все прочие изготовители такого рода “шифров”, обращались в своих произведениях не к читателю, а именно — и исключительно — к ним, к этим неутомимым и искушенным во всей этой хитромудрой механике расшифровщикам».

Что касается первой половины, то цитаты из статей Адамовича, Осоргина и пр., говорят сами за себя. Они саморазоблачительны. Почти так же звучит и ставшая знаменитой фраза Бабеля («но писать ему не о чем»), похожая, как ни удивительно, на слова Писарева, когда он сравнивает Гейне с живописцем, которому «нечего работать». Все эти цитаты попросту свидетельствуют о новаторстве Набокова, о том, что морализаторству в литературе пришёл конец.

Солженицын довёл такую критику до логического и почти пародийного завершения (это относится и к поразительному по своей глухоте и тупости отзыву об «Архиерее» Чехова), но ведь мы и ожидали от нашего пророка, не правда ли, чего-то такого.

Старинная контроверза русской литературной критики (гражданственность или «искусство для искусства», печной горшок и Аполлон, землетрясение в Лиссабоне и «Шопот, робкое дыханье...», etc.) изжила себя, давно изжила. Спор закончился не победой идейности над эстетизмом или наоборот, он закончился тем, что оба понятия утратили свой прежний смысл и слились во что-то новое. Провозвестниками этого нового в русской литературе были, как я думаю, Чехов и отчасти Набоков, но о Набокове разговор особый, и я к нему вернусь.

Вторая половина Вашей статьи возвращает нас к прежнему нашему спору. Ваши примеры произвольных, подчас фантастических до идиотизма вычитываний и угадываний достаточно убедительны. Всё это, впрочем, пародировалось уже не раз. Но за доводами, с которыми я вполне согласен, мне чудится (тоже «угадывание»?) более общая, любимая Ваша мысль. Это мысль о структурном анализе, которому Вы противопоставляете глубокое вчувствование в художественный мир писателя.

Может быть, я немного отвлекусь. «Интертекст», явное или завуалированное присутствие в тексте следов чужого творчества, элементов

уже существующих текстов, переключка или, лучше сказать, окликание, доносящееся из прошлого, — отнюдь не изобретение структуралистов. И выявление таких элементов, сознательных отсылок или невольных заимствований, «аллюзий», — вовсе не пустое занятие. Это относится и к фольклорным и мифологическим матрицам, к архетипам коллективного бессознательного по Юнгу и мало ли ещё к чему. И мы не вправе это игнорировать, так как все подобные нововведения, давно уже, впрочем, не новые, прибавили, я думаю, нечто важное к пониманию литературы. Больше того, отнюдь не лишили нас способности наслаждаться художественной литературой, но, напротив, усилили, усложнили вкус и слух, сделали более разносторонним чисто эстетическое и эмоциональное восприятие, вовлечение в мир писателя и поэта.

Кажется, мы с Вами вспоминали старую, 60-х годов, статью недавно умершей Сузн Зонтаг «Против интерпретации». Против навязывания Кафке фрейдистских, теологических и иных толкований. Против отыскивания в сценариях Бергмана фаллических символов и т.п. Почти те же мысли можно найти в интересной книге Милана Кундеры «Преданные завещания», первой, написанной им по-французски (теперь она, кажется, существует в русском переводе). Но та же Зонтаг оговаривается:

«Никому из нас не вернуться к тому дотеоретическому простодушию, когда искусство не нуждалось в оправдании, когда у произведения не спрашивали, что оно говорит, ибо знали (или думали, будто знают), что оно делает».

И всё же нас волей-неволей увлекает то, что можно назвать мифологическим мышлением, или погружением в мир зеркал, — как хотите. Прелесть намёков и сопоставлений, однако, состоит, на мой дилетантский взгляд, в их необязательности. В прекрасной повести Абрахама Иегошуа «Затянувшееся молчание поэта» (экранизированной Петером Лилиенталем, который мне и принёс эту повесть) овдовевший отец воспитывает сына, которого все, кроме отца, считают слабоумным. Однажды мальчик узнаёт в школе, что его отец — известный поэт и включён в школьную программу по литературе. Стихов он давно уже не пишет, работает в редакции какой-то мелкой газеты... Сыну хочется, чтобы он вернулся к поэзии. Придя с работы, отец видит приготовленный для работы стол, стопку чистой бумаги, очинённые карандаши... Действие происходит в современном Израиле, повесть написана с присутствием этому писателю трезвым и бесстрастным лаконизмом, реалистически-конкретно, а между тем, читая её, невозможно не вспомнить о том, что ситуация отца и сына — устойчивый мотив иудейской религиозной и мифологической традиции, перекочевавший потом в раннее

христианство. Мифологический подтекст кажется несомненным. Но иной читатель может об этом и не думать. Он может совсем по-другому понять эту вещь и будет по-своему прав.

В одном романе я описывал дом, который сравнивается с нагльфаром, кораблём мертвецов. А переводчица Аннелоре Ничке усмотрела в нём хорошо известную в мифологии разных народов трёхэтажную модель мира.

Вернусь к «структурализму». В кавычках, потому что я не литературовед и употребляю это слово, вероятно, в не вполне точном значении. Речь идёт о чисто формальных принципах сочинения прозы, о том, что имел в виду Толстой, говоривший Горькому о Диккенсе, что это-де сентиментальный писатель, и такой, и сякой, «но зато он умел построить роман, как никто».

Вы согласитесь со мной, что и этот аспект критико-литературного разбора (к нему-то, и Вы это знаете лучше меня, формализм, а следом за ним структурализм как раз и привлекли особое внимание) не может быть игнорирован.

Некогда Шуман, которому посчастливилось найти рукопись Большой до-мажорной симфонии, величайшего, может быть, творения Шуберта, через одиннадцать лет после того, как эта симфония была написана, сравнивал её с романом Жан-Поля «Отрочество». Для того времени, если не ошибаюсь, сравнение непрограммной музыки с повествовательной прозой было неслыханно. Но в сопоставлениях европейского романа с его музыкальными аналогами — симфонией и сонатой — есть определённый резон. Знаю, что Вы не особо жалуете классическую музыку, но тут дело не в любви или нелюбви.

Если помните, Томас Манн говорил о том, что писатели — это люди, из которых не получились живописцы, ваятели или композиторы, и что он — несостоявшийся музыкант. Музыка — образец художественной структуры. Музыка, в особенности так называемая абстрактная, или мировоззренческая, учит видеть сложность жизни, лучше сказать — её запутанную стройность. У прозы те же задачи.

Я это понял на собственном скромном опыте. Мне кажется, некоторые из моих собственных романов можно было бы назвать — как ни претенциозно это звучит — музыкально-философскими сочинениями.

Принцип музыкального построения прозы состоит в том, что её несущими конструкциями служат не столько элементы фабулы, сколько сквозные мотивы, которые вступают в особые, не логические, а скорее ассоциативные отношения друг с другом, видоизменяются и вместе с тем остаются теми же на протяжении всей вещи. В таком романе время течёт по особым правилам: прошлое сменяется будущим, но буду-

щее возвращается вспять; и вместе с тем всё происходит как бы одновременно. Поэтому читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы постоянно отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не сразу обратил внимание, и помогают «узнавать» то, о чём будет сказано дальше. Не знаю, понятно ли я выразился. В художественной прозе можно обнаружить то же чередование частей, как в классической симфонии Гайдна или Моцарта, и то же отступление от канонов этой симфонии, как у романтиков или у Малера, — равно как и другие музыкальные составляющие или приёмы, например, тональности и смену тональностей, точные соответствия музыкальным ритмам и проч., но мне это трудно объяснить. Как бы то ни было, музыка очень помогает мне.

Мне очень понравилось совершенно неожиданное для меня сопоставление романа «Камера обскура» с «Возвращённой молодостью» Зоценко. Но опять же: почти невольно напрашивается индийский мотив зубастого влагилица. И в той, и в другой повести речь идёт о труднообъяснимой, но по-человечески понятной власти ничтожной, пошлой и вульгарной женщины над мужчиной, власти, которая подчиняет свою жертву настолько, что в конце концов лишает её ответственности и морали. Это мифологическая конструкция, её можно проследить и в рассказе о Самсоне и Далиле, и (первый пришедший в голову пример) в романе Моэма «Время страстей человеческих», да мало ли ещё где. А вместе с тем — тряхнёшь головой, и — прозаическая, житейская, даже весьма нередкая ситуация. Искусство повествователя, будь то Набоков или Зоценко, между прочим, и состоит в этой амбивалентности.

Очень убедительна, я бы сказал, математически-красива отсылка, в разговоре о романе «Подвиг», к пронзительному стихотворению «Бывают ночи...» Одно это сопоставление делает беспредметными все объяснения или недоумения критиков. Что побудило Мартына Эдельвейса совершить безумный шаг — попытаться перейти нелегально советскую границу? И ведь нельзя сказать, что это было сделано наобум, под влиянием аффекта. Он тщательно готовился к своему подвигу.

(Кстати ещё одно. Вы называете фамилию Эдельвейс «нелепой, смешной для русского уха». Ничего подобного. Название альпийского цветка давно вошло в наш язык и даже окружено романтическим ореолом. Я был знаком с бывшим солдатом немецкой горнострелковой дивизии Edelweiß. В пьесе Горького «Дачники» есть полусвихнувшаяся поэтесса, которая декламирует стихотворение в прозе об эдельвейсе. И, может быть, у Набокова эта фамилия героя — полурусского, полущвейцарца — неслучайна.)

Между прочим, когда я читал «Подвиг», очень хороший роман, мне как-то даже не приходило в голову задаться вопросом, а зачем это

понадобилось Эдельвейсу. И почему он пренебрёг предложением Дарвина добыть для него английский паспорт, поехать в Россию легально. В том, что по праву названо подвигом, есть что-то обдуманное и вместе с тем безоглядное, как бывает у подростков. Рывок в неизвестность. Перст судьбы. Это решение казалось мне нелогично-логичным, вытекало с какой-то закономерностью из всего романа. Оттого оно и не выглядит художественно неубедительным — совсем напротив. Оно сюжетно неожиданно — и необходимо.

Но есть другой вопрос, общий, тот, о котором я писал Вам прошлый раз. Мне надо как-то разобраться с Набоковым. Можно представить себе сардоническую усмешку на лице великого писателя, если бы он услышал эту фразу.

В Германии, столь нелюбимой Набоковым, вышло лет 15 назад превосходное собрание сочинений в очень хороших переводах. Отдельный том отведён для интервью, которые, как известно, писатель соглашался давать только в письменном виде. Эти интервью, по крайней мере на меня, часто производят неприятное, тяжёлое впечатление. Чувствуется какая-то нарочитость, обидчивая задиристость, словно он хочет кого-то уколоть. Есть в них и уязвлённая гордость, надменность короля в изгнании. Должно быть, общаться с таким господином было так же трудно, как, например, с Музилем. Так мне показалось. Не отразилось ли это на оценках его творчества современниками?

Мимходом обронённая (не с оглядкой ли на политическую конъюнктуру?) фраза Бабеля — глупость, совершенно так же, как не по адресу звучат другие приведённые Вами отзывы вроде бы неглупых людей («пишет ни о чём», «плоская пустота, страшная именно отсутствием глубины»). Нет, Набокову есть о чём писать. Он пишет о жизни, его интересует реальная жизнь во всех её подробностях. Его блеск и отстранённость, изощрённый стиль, как и особое искусство построения рассказа, сюжетные сюрпризы, которыми он ошарашивает читателя, отказ от традиционного психологизма — всё это делает его «нерусским» писателем? Что это значит, как не осознание того, что невозможно без конца повторять классиков XIX века, что русская литература должна двигаться дальше, отказаться от многого и в этом смысле стать «нерусской».

Стиль... Вот цитата из предисловия к «Излучениям» Эрнста Юнгера, я постарался сохранить в переводе присущую ему велеречивость.

«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, равновесие, которое выходит далеко за её словесные пределы.

Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигнуть дворец, судьбе различить тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остаётся высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнее искусства, чем те, с которыми ведут в бой полки...»

Язык, стиль, абсолютное письмо — для Набокова самое главное. С этим надо согласиться. Да, хороший писатель — это именно тот, кто хорошо пишет, плохой — кто плохо пишет. Возможно, Вы прервете меня. Набоков, при всей его любви к поэзии, всё же не кокетничал, сказав, что его язык — замороженная клубника. Почти каждый писатель-эмигрант, и большой, и маленький, живёт в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезённого языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если у него вообще находятся читатели) получают от него пищу, так сказать, из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык — который там не хранится, как у него, в холодильнике — портится, разлагается, вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Сегодня и у меня такое же чувство. Но я подозреваю, что испытывал бы его, даже если бы остался в России.

Так вот. Набоков унаследовал у Бунина особую зоркость или, лучше сказать, его почти звериное зрение. Пластичность языка у Набокова, изумительные, неожиданно-изобретательные сравнения и метафоры, может быть, даже превзошли Бунина. Кроме того, в них часто присутствует — чего нет у Бунина — тонкое остроумие, рафинированный ум. Но вот в чём загвоздка. Она в особой избыточности. Ведь хороший стиль, как я его понимаю, — это равновесие всех элементов повествовательности. В лучших романах, к которым я отношу «Защиту Лужина», может быть, и «Лолиту», и «Подвиг», это достигнуто или почти достигнуто. В других вещах происходит сбой равновесия. Пристальное внимание Набокова ко всем мелочам мира, который окружает его героев, как-то незаметно оборачивается тем, что и сами герои становятся вещами среди других вещей. Не зря он чурается всяческого субъективизма. Например, избегает внутреннего монолога в духе Толстого, не говоря уже о потоке сознания à la Джойс или Вирджиния Вульф. Если речь идёт о мистифицирующем читателя сновидении, то оно предельно объективируется, становится таким же самоценно-предметным и осязаемым, как и явь. Возникает перекосяк. Стиль, внешними проявлениями которого являются новые, никем не использованные сравнения, неслыханные метафоры и пр., начинает как-то выпирать, становится чуть ли не самоцелью.

Когда я учился в медицинском институте в Калининe, то часто сидел в областной библиотеке, это величественное здание, похожее на дворец. Вы поднимались по широкой лестнице на второй этаж, входили в зал выдачи литературы, и первое, что бросалось в глаза, была большая картина какого-то известного художника «Товарищи Сталин, Молотов и Ворошилов в гостях у Горького». Сталин и Молотов сидели за чайным столом, Ворошилов стоял, а Горький, в очках, держал в одной руке рукопись, а другой как бы дирижировал. Он читал поэму «Девушка и смерть».

Может быть, глядя на эту картину, и стоило согласиться с Берберовой, что великий пролетарский писатель в последние годы своей жизни, говоря Вашими словами, выжил из ума. Но её попытки медицински обосновать этот диагноз — чушь. Туберкулёз, как и бронхоэктатическая болезнь (более вероятный диагноз лёгочного заболевания Горького), дело, конечно, нешуточное, но к «перерождению мозга» не приводит. Хорошо известно, что Горький в последние годы, в своей золочёной клетке, и особенно после нелепой гибели Максима, очень сдал, хоть и не был древним стариком. Тем не менее будем считать Ваши слова метафорой. Впрочем, Вы и сами другого мнения.

Что касается Чернышевского и «русских мальчиков»... Пожалуй, я добавил бы, что XIX столетие — век всеобъемлющих эпически-синтетических замыслов. «Человеческая комедия», «Война и Мир», «Ругон-Маккары», Вагнер с «Кольцом Нибелунга»... Проекты Чернышевского — это пародия на всеобъемлющие замыслы.

Вам кажется, что глава о Н.Г. в «Даре» написана с симпатией к Чернышевскому. Не думаю. Но это, во всяком случае, очень личная глава, и каждый, кто захочет сызнова разобраться в характере, судьбе и психологии Набокова, не сможет пройти мимо этой главы. Мне самому было когда-то неприятно её читать, потому что автор нарушил свой собственный эстетический кодекс, съехав в памфлет, а заодно поступился честью дворянина, поколотив лежачего.

В Израиле, где мы побывали два раза, имели возможность поехать и т.д., я виделся с Сашей и Нелей Воронелями, но это было очень давно. Сравнительно недавно встретил Сашу на книжной ярмарке во Франкфурте, в год, когда Россия была на ярмарке титульной страной (в самой России это почему-то называлось — «почётным гостем»). Мы сидели рядом во время какой-то дискуссии, немного поговорили. Недалеке прошла мимо Неля. Больше я их не видел. Возможно, до них каким-то образом дошли мои отзывы о мемуарах Нели и её «остросюжетных», как было написано на обложке журнала «22», романах.

Главное же — мы разошлись слишком далеко. Я регулярно просматриваю Двадцать Два в интернете, Неля там играет первую скрипку. Вы обещали написать, в чём дело: почему между вами не стало даже дипломатических отношений.

Итак, Вы снова за работой. Книга (название которой мне знакомо) наверняка будет очень интересной. Конечно, то, что Вы, скорее в шутку, чем всерьёз, заявляете в предисловии от автора, — что никакой особой концепции у автора нет, — именно так и следует понимать: как шутку или маскировку. И очень хорошо. Что касается меня, то я бы, может быть, осмелился эту концепцию расширить, применив её — разумеется, с оговорками, *mutatis mutandis*, — и к послесоветской ситуации. Нечего и говорить о том, что условия существования литературы в бывшем Советском Союзе неповторимы. Но ведь, положа руку на сердце, — и сейчас, хотя на дворе новое тысячелетие, хотя ничего подобного тому, что было, нет, литература и «литературное дело» в России остаются всё же весьма далеки от того идеала независимости, который нам грезился.

В последнем номере журнала «Неприкосновенный запас» я прочёл примечательную статью Б. Дубина; вот несколько выдержек:

Возможно, это особенность социологической точки зрения, но я предпочитаю исходить из тех социальных форм, которые уже так или иначе сложились и действуют применительно к литературе, вокруг литературы, по поводу литературы и в связи с литературой. Социологически говоря, речь идет об институциональных каналах распространения книг (литература — это институционализированная словесность). Какие из них заметны более всего?

<...>

Сегодня самостоятельности литературы фактически не существует, вместе с тем изменилась и ее социальная принадлежность, ее роль. Получается, что современная литература, если верить таким магазинам, как «Москва», публике, авторам и распространителям, которые за ними стоят, — это то, что, условно говоря, предлагают глянцевого журналы. В магазине «Москва» есть полки, на которых стоит литература, давно входящая в классику XX века (скажем, романы Камю). Но эта классика, как предполагается, неизвестна или незначима, «ничего не говорит» пришедшим в магазин людям, если ее не отрекомендует, например, журнал «Ел»е», то есть не поставит на ней свою метку, которую они сумеют считать и поймут, что за этим стоит.

<...>

Литература сейчас не самостоятельна еще и в том смысле, что словесность стала продолжением известности уже знакомых нам персона-

жей: мы знаем их из массмедиа — это любые типы звезд. Это могут быть раскаявшийся вор или удачливый кинорежиссер, порнозвезда или человек особой судьбы, описавший свой опыт существования в современном мире (Пушкин еще только начинал заговаривать о первых образчиках такого рода словесности вроде мемуаров Видока и прочих, сегодня она окружает каждого). Так или иначе, авторы уже заранее отмечены как «звезды», и словесность является продолжением их репутации, их маски и роли. Становясь популярными, они могут, далее, выступать не только в качестве авторов, но и рекомендателей: «Соловьев или Ксения Собчак рекомендует...» Предполагаю, что литература подобного рода не собирается в книжных шкафах, у нее какая-то иная судьба: ее передают тем, кто помоложе, выбрасывают после прочтения, оставляют в отеле, в котором отдыхают, и так далее.

И наконец, несамостоятельность литературы обусловлена сегодня тем, что она стала своего рода «приставкой» массмедиа, без которых она не могла бы и состояться. Массмедиа, собственно, и структурируют теперь все общее, публичное поле, объединяя включенных в актуальную культуру, словесность и искусство людей, укрепляя их роли и показывая нам их маски. Без указаний массмедиа, без их поддержки сегодня не может состояться не только ни один политик (по крайней мере, в России точно), но и ни один писатель. Разумеется, автор может избрать себе совсем другую, внелитературную судьбу «Все прочее — литература!»): подполье, неизвестность, если ему противно барахтаться во всем этом, он вполне может писать стихи «в стол» или печататься тиражом 150 экземпляров. Но до тех пор, пока его не поместили влиятельные массмедиа, он не «писатель» (Мандельштам в «Четвертой прозе»: «Какой я к черту писатель!»), хотя сам может считать совершенно по-другому.

<...>

Вот рассказ моего друга о том, как к нему в квартиру вдруг попадает такой книжный жучок. Друг — из профессорской семьи, библиотека собиралась еще родителями, что-то уже его дети добавляли, в общем, книги везде — от сортира до всех подоконников, которые в доме есть. Жучок обходит все это, очень быстро и очень точно все отмечая, и в конце концов резюмирует: «Ну, я вижу, книжками вы не интересуетесь». То есть здесь нет того, что он считает книгой, что является ходовым, меновым товаром, того, что может представлять интерес для тех групп, которые важны для самого жучка. А все остальное — это не книжки, а бог знает что. Такая же история с современным литератором. Он может быть замечательным поэтом, известным десяти читателям, о нем могут знать жюри премии Андрея Белого и читатели журнала «Воздух» — и все.

На это можно ответить, что социология социологией, а литературу создают и потребляют отдельные конкретные люди. И что «тебе, мой друг и хрен — малина, а мне...» Но ограничусь цитатами.

Ваша книга, Бен, обещает быть очень интересной. Сколько же там ещё должно быть томов? Кстати, я подумал, что, кроме писателей нечестных, опальных, проштрафившихся, стоило бы, может быть, написать о тех, которые отплясывали, по выражению Томаса Манна, с дьяволом, — кто с расчётом, а кто и по велению сердца. Среди них попадались весьма даровитые люди.

Тут есть известная параллель с писателями, которые стали нацистами, но это особая тема. Далеко не всегда можно провести границу между откровенным приспособленчеством и этим самым велением сердца. Иногда маска прирастала к лицу.

Любопытный случай — о нём, конечно, Вы можете сказать много больше, чем я, — незабываемое «Слово к товарищу Сталину» покойного Исаковского. Можно было бы написать целый трактат об этих виршах. И вроде бы совершенно искренно, и вместе с тем с хитрецей. «Оно пришло, не ожидая зова... Простое слово сердца моего». Дескать, другие изощряются, а я вот по-нашему, по-простому: мы мужички немудрящие. Из души вылилось. Там есть, между прочим, — насколько я помню, — довольно странная строка: «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе». Это можно понять так: мы изверились во всём. Осталась только надежда на Вас.

У меня был в лагере один знакомый, даже приятель, хотя, как почти все, намного старше меня, уроженец Бейрута, по имени Овсепян, он имел несчастье вернуться после войны на землю предков, но пожелал уехать назад, почему и заработал 25 лет за измену родине. Он был малорослый, совершенно беззащитный человек, русского языка вовсе не знал. Общались по-французски. Однажды он рассказал мне, что его отец, богатый человек, при рождении сына отложил на его имя в банк солидную сумму, теперь эти деньги должны были обрасти процентами, и на них можно было бы купить весь Унжлаг. Так вот, этот Овсепян после работы, по ночам в бараке слагал — на «чистом, неиспорченном», как и полагается эмигранту, армянском языке! — поэму в честь Вождя и надеялся, что диктатор освободит его.

Алексея Ник. Толстого, который меня тоже когда-то восхищал (в повести «Петушок» говорится о зеркале в ночном ресторане, что оно «расписано алмазами»), я видел один раз в жизни, буквально в гробу. Это было в феврале последнего года войны. Почему-то его тело было выставлено в ГУМе.

Помните ли Вы, как когда-то, очень давно, в первые годы нашего знакомства, мы толковали об Альбере Камю, вспомнили заключительные фразы романа «Чума» о том, что бактерия чумы бессмертна. Она может долго прятаться, не подавая признаков жизни, но придёт день, и она воспрянет и пошлёт своих крыс умирать на улицы цветущего города.

Я говорю это к тому, что инфекцизм ведёт латентное существование не только в душах людей, но и внутри идеологий, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Таков национализм, и хотя это довольно банальная истина, но в России, по моему впечатлению, она как-то не всем ясна либо сознательно игнорируется. Во всяком случае, — сужу по многочисленным публикациям, — национализма не стыдятся. На самом деле от безвредного бактерионосительства до манифестного заболевания — один шаг. Вы пишете о преклонении (чтобы не сказать — пресмыкательстве) Воронеля перед нашим пророком. О своих симпатиях к Солженицыну Саша заявлял не раз. Одна из причин, возможно, как раз и состоит в том, что два националиста издали угадали друг друга. Смысл проповеди Солженицына может быть сведён к простому лозунгу: жида, убивайте в Израиле. Там ваше место, а не здесь. Это полностью совпадает с тем, о чём Воронель глубокомыслил много лет. И как будто не чуял, чем попахивает всё это философствование.

Довольно странная фраза — о том, что у Володи «не было недостатка в бассейнах». Подразумевался ли собственный, никогда не существовавший володин бассейн? Вскоре после нашего приезда я виделся с Воронелем в Штокдорфе: он каждый год приезжал в Германию. Незадолго до этого он встречал нас вместе с представителем Сохнута на аэродроме в Вене, одновременно и независимо от них приехала нас встретить моя немецкая знакомая Зента Грюнбек. Мы не стали пересаживаться на самолёт Эль Аль, который должен был вылететь в Израиль через час. Воронель был, естественно, недоволен, а позже Вы писали мне, что моё решение поселиться в Федеративной республике было встречено с неодобрением и в Москве. Тем не менее Саша, как уже сказано, заехал несколько позже в Штокдорф, мы гуляли по тихим улицам знакомого Вам посёлка. Это было время, когда Володя с Ирой и Олей ещё жили у Вульфенов во флигеле, куда мы вселились по предложению Барбары и Левина после того, как Войновичи уехали на полгода в Америку. В небольшую усадьбу Вульфенов Саша не заглядывал, но, вероятно, знал, что там имеется маленький бассейн под открытым небом. (Этого бассейна давно уже не существует.) Во время нашей прогулки говорили об Израиле, я имел неосторожность и, пожалуй, бестактность сказать, что мне не импонирует государственный патриотизм, на что Саша возразил: «Я тебя не понимаю».

В конце концов, как я уже Вам писал, мои отношения с Сашей и тем более с Нелей прекратились, хотя ссоры не было. Последняя книга Александра Воронеля, довольно толстый сборник статей, куда вошёл и «Трепет иудейских забот» — без посвящения Любошицу, — у меня есть; он мне неинтересен.

Вы спрашиваете, как дела у нас. Дела неважные. Болезнь Лоры неуклонно прогрессирует. Борьба продолжается, проводится интенсивное лечение, дома стоит кислородный аппарат. Но остановить процесс, по-видимому, уже невозможно. В общем, что говорить...

Письма к О.А. Седаковой¹ 1999–2001

Дорогая Оля, вот я и собрался, наконец, Вам написать. Надеюсь, Вы более или менее благополучны. Чтобы прочесть 60 романов, мне понадобилось бы по меньшей мере несколько лет, даже если бы это были сплошные шедевры (хотя, может, и наоборот: посредственные романы читать легче). Но я вспоминаю правило Группы 47: там читались вслух небольшие отрывки; считалось, что о качестве прозы, как о качестве материи для костюма, можно судить по клочку. Как бы то ни было, избрание в члены жюри престижной премии — честь, которую Вы, об этом и говорить нечего, вполне заслужили.

Что Россия на пороге новой эпохи — мысль интересная, даже увлекательная. Я постоянно слышу два противоположных тезиса: в этой стране никогда ничего не менялось и ничего не изменится; эта страна преобразуется у нас на глазах. И, по правде сказать, не знаю, кому верить. Верить ли своим глазам? Наезжая в Москву (но лишь наезжая!), я убеждался и в том, и в этом. Но Вы говорите о чём-то другом, в самом деле новом. Может быть, это новое — не только в банкротстве криминально-паразитической экономики и т.п.

Я чувствую себя жителем острова, который стремительно опускается на дно. Некогда мы были свидетелями поразительного, трудно-объяснимого процесса возрождения русской интеллигенции после полного, как казалось, истребления. Сложилась культура, представителем которой я имею смелость себя считать. (Разумеется, и Вы к ней принадлежите.) Эта культура крошится, рушится. На смену ей идёт другая — какая, мы не знаем, ясно только, что ей понадобится много лет, чтобы созреть. Пока же она даёт себя знать манерами и языком людей, которых мне приходится время от времени встречать; между прочим, и языком сочинений, которые Вам предстоит прочесть.

Видите, я-таки не удержался от соблазна пофилософствовать на одну из бесконечных российских тем. Насчёт глупости — можно вспомнить изречение какого-то мудрого еврея: «Глупость — это не недостаток ума; это такой ум».

¹ Ольга Александровна Седакова — поэт, эссеист, историк и философ культуры.

Хотя война застала меня ребёнком, я всё же помню, что это такое — вой сирен, и женщины, бегущие к подземельям метро с детьми на руках, и струи прожекторов в небе. Сегодня всё это выглядит куда страшнее; и всё-таки я подозреваю, что продолжать уговаривать белградского князька, вести с ним лишённые смысла переговоры, в то время как на дорогах, в горах, в нищей Македонии, в нищей Черногории скопилось полмиллиона беженцев, несчастных людей, у которых всё отняли, — и хорошо ещё, что не убили, и всё это в центре цивилизованной Европы, и число это с каждым днём растёт, — продолжать этот ужас невозможно. Что ещё оставалось делать, как не остановить его силой оружия. Вы скажете: а что дальше? Дальше то, что худо-бедно удалось осуществить в Боснии; капитуляция, введение миротворческих сил, пусть дорогостоящих, но которые прекратят конфликт, не разбираясь, кто прав, кто виноват, ибо в этой озверевшей стране виноваты все, кроме простых людей: им равно не нужны ни великая Сербия, ни дурацкая независимость, они хотят жить, пахать землю, кормить детей.

Новый мировой порядок, говорите Вы. Может быть, в самом деле всё идёт к тому, что богатые государства во главе с Америкой учредят международные полицейские силы, вооружённые до зубов, летающую армию, которая будет жестоко пресекать всё попытки войны, не обращая внимания на «национальные интересы», «внутренние дела», суверенность и независимость, справедливые или несправедливые — какая разница? — территориальные притязания, обоснованные или необоснованные — кого это интересует? — обиды и так далее. Ибо прав в конце концов Ваш философ: люди верят силе. И, может быть, наше счастье, что мы до этого не доживём. Ах, лучше оставить эту тему.

Один журналист, переехавший в Мюнхен, но оставшийся сотрудником «Нового времени», политического еженедельника, в котором успешно подвизался покойный Кронид Любарский (и в котором мне, в сущности, нечего делать), попросил меня написать небольшой текст для затейной им рубрики «Люди — или человек — XX столетия» или что-то в этом роде, одним словом, «в которых отразился век». Платят гонорар, а мои литературные заработки в Москве, хоть и скудные, весьма пригождаются моему брату. Я написал о Юнгере. Он давно меня занимал, я и раньше писал о нём; мою статью покалечили в «Воплях», потом её тиснул малоизвестный журнал «Рубежи». Знаете ли Вы этого писателя, о котором в Германии до сих пор (он умер в прошлом году ста трёх лет от роду) не стихают споры?

Что Вам ещё сказать хорошего... Милая Оля, в искусстве, очевидно, нужно руководиться словами, которые произносит в последнем акте Нина Заречная: неси свой крест и веруй. Сиди и пиши своё. А в коллективные начинания я не верю.

Анна Великанова когда-то дарила меня прекрасными письмами, писала и статьи. Вернувшись в Россию, похоже, отложила перо. Как она поживает?

Язык почтовых марок мне когда-то объяснял один, теперь уже покойный, приятель-немец. Если марка повернута вправо, это означает симпатию, влево — недовольство или неприязнь. Если марка наклеена вверх ногами, значит, ответа не ждут. У Вас марка была всё же прилеплена косо вправо. Тут есть ещё одно обстоятельство. Всякий раз при встрече с приезжающими из России, даже с друзьями, я испытываю тяжёлое чувство утраты общего языка (они, вероятно, чувствуют то же). С Вами у меня такого чувства нет.

В.Бибихин — это имя мне, конечно, знакомо. Единственное, правда, что я читал, это его предисловие к русскому однотомнику Хайдеггера (он же и переводчик, что само по себе подвиг. Говорил ли я Вам, кстати, что мы с Лорой были однажды в городке Мескирх, на родине Хайдеггера. Видели там и его могилу). Если бы Вы смогли прислать мне какую-нибудь из книг Бибихина, это было бы для меня роскошным подарком.

Об Эрнсте Юнгере когда-то сказал Томас Манн: «Ледяной сластолюбец варварства» (*eisiger Lüstling der Barbarei*). Поразительно метко. Но сказано это было, если не ошибаюсь, в 30-х годах, может быть, даже ещё раньше. С тех пор кое-что изменилось, холодность и гордость остались, зато от культа войны (если можно было это называть культом) ничего не осталось; равно как и от национализма; родилась особая философия, особенное восприятие мира — смесь натурфилософии и какой-то новой пансофии с комбинаторикой, с умением видеть (или изобретать) конструкцию мира, угадывать в аналогиях, повторениях и уподоблениях единый космический ритм, единый замысел; стиль стал ещё совершенней. Этот стиль, как я понимаю, больше всего и раздражает многих, особенно сейчас, когда в Германии, хоть и в меньшей степени, чем в России, где стёб приблизился к нормативной речи, особо ценится и культивируется *verhunzte Sprache*, язык, пахнущий выгребной ямой.

Вы, очевидно, уехали в Берлин. Сколько Вы ещё пробудете в Германии? Есть ли какие-нибудь новости о Вашей (эссеистической) книге?

Моё существование довольно однообразно. Я слушаю музыку. Завтра мы поедem в оперу (не имея билетов). Один роман Франсуазы Саган, несколько пошловатой писательницы, назывался «Aimez-vous Brahms?», любите ли вы Брамса. Любите ли Вы Вагнера?

Пишу Вам с запозданием из-за неисправности компьютера. Если бы здорового человека заставили ходить на костылях, очень скоро оказалось бы, что он уже не умеет двигаться просто так. Вышла из строя машина — и я потерял способность писать.

Я получил сборник «Наше положение» и сообщил Вам об этом по телефону. Ещё раз большое спасибо. Конечно, я прежде всего прочёл Ваши статьи и стихотворения, я всегда читаю всё, что подписано Вашим именем. Кое-что («Путешествие в Тарту...») мне было уже знакомо.

У меня было смелое намерение написать рецензию. В конце концов я отказался от этой мысли. Почему? Книжка очень интересная, украшена именами, мимо которых не пройдёшь. Так как я уже был отчасти подготовлен рецензией Уланова, из которой, собственно, и узнал о книге, то думал сначала, что это что-то наподобие новых «Вех» или «Из глубины», сборник статей о нынешнем положении мыслящей элиты в России, продолжение традиции, что-нибудь такое. Это было необоснованное ожидание, ведь ничего повторить невозможно. Правильней будет сказать, что я ждал от книжки большего.

После двух первых статей идёт большой этюд «Нищета философии» В.В.Бибихина, высоко мною ценимого. Мне показалось, что это в некотором роде программная статья. О ней, конечно, нужно было бы говорить отдельно, я не подготовлен к такому разговору. Статья лукавая, шаткая, как и основной её тезис, какая-то душевно растерянная, очень интересная и, по моему впечатлению, несколько неслаженная композиционно. Может быть, это и есть то, что красноречивей, чем содержание, говорит о нашем положении. Другая статья, «Путешествие в будущее», последняя в книжке, спорная и даже рискованная, статья, которая, отсюда глядя, не может не вызывать известный скепсис, — написана блестяще. Вообще же оказывается, что из 33 опытов, составляющих сборник, двадцать пять (включая поэтические тексты) принадлежат двум авторам — Ольге Седаковой и Владимиру Бибихину. Славные имена, что и говорить. Всё же рецензент отметил бы такую диспропорцию как недостаток книги.

Конечно, я не мог не обратить внимание на две работы Анны Шмаиной-Великановой, особенно на статью о «Докторе Живаго». Когда-то Анюта опубликовала в нашем бывшем журнале «Страна и мир» восторженную статью по случаю появления Живаго в СССР. Я получал от неё из Парижа замечательные письма. Статьи в сборнике «Наше положение» показывают, как мне кажется, что она продвинулась много дальше в определённом направлении. Из всех публикаций в сборнике статья о Пастернаке — самая радикальная.

Удивительно — я говорю это, само собой, не желая обидеть автора, — что она восприняла слова Веденяпина («века и поколения только после Христа вздохнули свободно» и т.д.), по-видимому, буквально, всерьёз, как некое возведение истины. Удивительно, что, оговорившись вначале: «Я отдаю себе отчёт в том, что ни сюжет, ни образы героев, ни даже словесная ткань романа не дают основания для подобного эксперимента», она самозабвенно погружается в этот эксперимент — богословское истолкование «Доктора Живаго»; при этом искусство, эстетика, роман как литературное произведение — всё отодвинуто в сторону, словно нечто малосущественное, не имеющее отношения к делу, как если бы задача комментатора состояла в том, чтобы совлечь с книги её убор и обнажить, так сказать, главное: наготу, — сказать то, что недостаточно ясно сказано в романе. Удивительно, наконец, что Анна, не забывшая упомянуть об Освенциме, Адорно и т.д., как будто забыла о высказываниях Пастернака, в романе и письмах, о еврействе, — тема, не отделимая от христианства. Согласитесь, что не надо быть евреем, чтобы ощутить постыдность — после всего, что случилось, — этих непостижимых высказываний.

Вы помните античный анекдот о путешественнике, который посетил храм Посейдона: все стены храма были увешаны благодарственными приношениями спасшихся во время кораблекрушения. Наглядное доказательство, сказал жрец, всемогущества и благодати нашего бога. «Прекрасно, — возразил гость, — но я не вижу даров от тех, кто не спасся».

Так и мне начинает казаться, что в этом причина некоторого разочарования. В статьях книги о «нашем положении» как-то очень мало говорится об этом положении, о действительности, и очень много — о религии, то есть некотором проекте жизнеустройства. Книга представляет компанию единомышленников и единоверцев, и я боюсь, что это ограничит и без того узкий круг внимательных и заинтересованных читателей.

На прошлой неделе я Вам написал, а теперь, перечитав письмо, перелистав снова книгу «Наше положение», как-то устыдился. Мне кажется, я слишком сурово отозвался о сборнике. Он заслуживает более пристального внимания и лучшего отношения к себе. Кроме того, я забыл поблагодарить Вас за предложение участвовать в следующем сборнике, буде таковой состоится. Конечно, я с удовольствием оказался бы с Вами под одной обложкой, — с Вами, Анютой и Вл.Вен.Бибихиным. Правда, я не знаю, о чём бы я мог написать. Кстати, на-днях я узнал, что в Москве вышла моя книжка, сборник прозы. Называется «Город и сны». Там находится среди прочего мой давнишний маленький роман «Я Воскресение и Жизнь», о котором Вы когда-то тепло отозвались. С удовольствием преподнёс бы Вам экземпляр, но у меня его нет.

Надеюсь, дорогая Оля, что ко дню, когда дойдёт это письмо (если дойдёт), Вы поправитесь после этой жуткой истории с овчарками. Я помню, как на меня однажды напала собака, когда я учился на предпоследнем курсе и работал городским участковым врачом, и ходил по домам, дело было в нынешней Твери; еле отбился. Но зато и Новый год пройдёт, пока доберётся до Вас моё письмо. Всё же поздравляю Вас сердечно с Рождеством и наступающим 2002-м. Цифра-то какая, подумать только.

«Пройти и не оставить следа»? Нет, не думаю, что Вы не оставите следа. А то, что на книгу (двухтомник) не было рецензий, — так ведь это в порядке вещей. Критика, или кто там пишет отзывы, живёт другими интересами и, если можно так выразиться, существует в другом словаре. Правда, я сам тоже иногда пописываю что-то вроде рецензий и посылаю их по старой памяти в журнал «Знамя». Но я пишу только об иностранных, чаще немецких, книжках, вернее, «по поводу». А кстати, где можно заказать Ваш двухтомник?

Живу я в общем без особенных перемен, в городе началась предрождественская суета, а мы ждём в гости наших внуков (старшему пять лет, младшему полгода). То-то будет грому.

Письма к Л.Н. Щиголь¹ 2006–2009

04.02.06

Дорогая Лариса,

включил свою машину с опозданием, поэтому отвечаю не сразу.

Четвёртый номер Зарубежных Записок (я получил целых четыре экземпляра) мне очень нравится, из всех номеров он, вероятно, самый удачный. (Недавно я отослал несколько экземпляров одному старому товарищу в Москву, но до того, как получил № 4.) В числе лучших материалов я бы назвал Игн. Ивановского, Игоря Сухих и, конечно, Маргариту Юрсенар в прекрасном переводе Радашкевича (единственная претензия к переводу — слишком часто мелькающий союз «поскольку» в значении «так как». Сейчас вообще распространилось злоупотребление этим союзом, причём не в его первоначальном значении «насколько», «в той мере, в какой», а именно как замена причинно-следственного союза; в этом качестве он вытесняет целый набор синонимов: так как, потому что, оттого что, затем что, ведь, так что и пр. Ещё одно: почему имя переводчика не вынесено в оглавление?).

К перечню лучших авторов я добавил бы и Марка Харитонова, но тут я, возможно, не вполне беспристрастен. О прозе и поэзии судить не берусь, хотя Дине Рубиной, конечно, надо отдать должное. Володя Шубин, по-моему, сделал большие успехи по сравнению с тем, что я читал и слышал прежде. Нельзя транскрибировать *mein Herr* «майн хэrr», о чём я ему уже говорил: звучит ужасно, к тому же в русском языке давно существует и стала традицией транскрипция «герр». У Маршака: «Письмо для герр Житкова». Ср. другие аналогичные немецкие заимствования: гофмаршал, гауптвахта, Гамбург, Гельдерлин, Гейне. Мой собственный рассказ, когда я увидел его в печати, мне не очень понравился (я не кокетничаю), его бы следовало переписать.

Непонятным образом фамилия Крейянкур или Креянкур (*Craen-cour*) в предисловии переводчика почему-то транскрибируется «Крайенкур», что не соответствует французскому произношению.

¹ Лариса Нисоновна Щиголь — поэт, редактор литературных журналов.

Название американского острова Маунт-Дезерт (Mount Desert), где жила со своей подругой М. Юрсенар, неправомерно транскрибировано на французский лад: «Мон-Дезер». В тексте послесловия пропущены важные для французского правописания апострофы: *L'invention d'une vie*.

Но всё это, конечно, мелочи.

Вы предложили несколько тем для очередного моего вещания. Из них мне больше нравится «кто». Но, кажется, мы однажды уже говорили об автобиографической прозе, границах биографизма в прозе и пр. У меня есть контрпредложение, оно отчасти совпадает с Вашей темой: судьба в литературе. Судьба не как тема в собственном смысле («Фаталист» Лермонтова), а как принцип повествования, претворение или осуществление в творчестве древнейшего представления о роке и предназначении. (На поэзию не посягаю, но, может быть, и в поэзии). Как Вы смотрите на это?

Моя антология «Абсолютное стихотворение» вызвала некоторое количество откликов, по большей части резко отрицательных. Если Вы полагаете, что интересно её «представить», я готов. Надо договориться, когда.

Жму руку, Ваш ГФ.

05.03.2006

Дорогая Лариса,

пропавшая часть письма исчезла и в моём компьютере, присоединяю её по памяти. Конечно, Вы можете показать письмо кому угодно. Возможно, Радашкевич (в самом деле отличный переводчик, настоящая старая школа) кое в чём со мною не согласится.

Необходимость укладываться в прокрустово ложе заданного журнального объёма — о, я с этим знаком. Можно в крайнем случае прибегнуть к известному приёму. Весь журнал набирается одним кеглем, это, вообще говоря, не совсем хорошо. Читателей привлекает разнообразие шрифтов, буквицы, то да сё, такой журнал приятней взять в руки. Почему бы не набирать небеллетристические тексты более мелким кеглем?

Что касается антологии, можно отложить её на другой или внеочередной раз, как Вам угодно. Вообще-то я не знаю, что значит «представить». Ну, вот есть такая книжка, что дальше? Не говоря уже о том, что чукча не поэт. Интереснее обсудить, но где взять такое количество экземпляров, чтобы каждый или каждая могли прочесть. У меня, кажется, только 2 или 3 книжки, обычай посылать сочинителю авторские экземпляры в России вывелся. Короче, для ближайшего вещания я бы выбрал «судьбу».

Вы прислали интересное письмо, Кажется, первый раз я слышу от поэта или писателя, что эмиграция не повредила творчеству. На эту тему мы с Джоном Глэдом упражнялись в красноречии в книге «Допрос с пристрастием».

Привет! Ваш ГФ.

13.03.06

Милая Лариса, тут какая-то загадка: до других корреспондентов письма доходят полностью. Я писал о том, что мне жаль Вашего времени для всей этой денежной канители. Я заеду в банк, возьму выписку из счёта и сразу Вам сообщу. Кстати, не могли бы Вы узнать у Вашего начальства (для проверки), на какой именно счёт и в какой банк был переведён гонорар.

Ещё одна просьба: в пятницу я, возможно, приеду на машине. Сообщите мне Ваш точный адрес. Жму руку, Ваш ГФ.

19.03.06

Проклятье! Снова... Я писал Вам, дорогая Лариса, что у меня есть книжка стихов Андрея Грицмана (не Вы ли мне её передали?) и что, на мой вкус, это очень хороший поэт. «Ноктюрн», вообще говоря, уже публиковался с небольшими изменениями, но Вы сказали, что для Грицмана это не имеет значения, поэтому я не предназначал текст для него: это ведь не рассказ. Правда, и не эссе, а чёрт знает что такое, как говорил Булгаков. Так что не знаю; в конце концов, свет клином не сошёлся на этом псевдоэссе. Попробуйте всё же предложить ему, разумеется, без всякого нажима, а там посмотрим. Ваш Г.

13.07.06

Дорогая Лариса,

видимо, Вы уже в пути. На всякий случай пишу, чтобы поблагодарить Вас. Я очень польщён Вашей похвалой, тем более, что она исходит от поэта. Конечно, эта антология была дилетантским предприятием, я уже не помню, что побудило меня этим заняться. Я стал вспоминать стихотворения, которые так или иначе играли важную роль в моей жизни, но решил, что их не должно быть больше пятидесяти. Сейчас я вижу, что можно было отобрать и другие вещи. Снабдить нерусские тексты прозаическим переводом — за это, пожалуй, меня больше всего порицали. Это ещё довольно мягкое выражение. Недоумение вызвал и заголовок — «Абсолютное стихотворение». Рецензент «Знамени» Анна Кузнецова откликнулась кратко и презрительно. Из её аннотации можно было видеть, как по-разному мы понимаем смысл слов. Это особая и болезненная тема, имеющая отношение к эмиграции.

Что касается покойного Иосифа, то не стану с Вами спорить. Словечко «кокетливый» может в самом деле покоробить. Я немного знал поэта, стихи Бродского покорили меня давно: вероятно, ещё в то время, когда Вы были ребёнком. Тем не менее у меня всегда были некоторые, очень небольшие претензии к его прозе (а также к русским переводам его английских текстов). Мне кажется почти общим правилом, что поэту писать прозу ненамного легче, чем прозаику сочинять стихи. Самое трудное, видимо, — найти нужный тон. Даже в замечательных мемуарных очерках Ахматовой, например, в воспоминаниях о Модильяни и Париже тех времен, нет-нет да и проскользнёт кокетливо-дамская интонация. Проза поэтов — это тоже тема *an sich*.

Ещё раз сердечное спасибо, жму Вашу руку

07.08.06

Дорогая Лариса, с благополучным возвращением! И большое спасибо за интересное письмо. Оно отчасти приподнимает завесу над Вашей поэтической биографией и просто биографией.

У Иосифа Бродского были друзья, они были и моими близкими друзьями. Через них я познакомился с ним (в Америке), а стихи читал, конечно, ещё в России, задолго до отъезда. Я виделся с Бродским у него, причём всего два раза, с перерывом в десять лет, но зато это были длинные, интересные вечера. Поэт философствовал, импровизируя, высекал идеи, как всегда. Был я и на могиле, на острове-погосте Сан-Микеле в венецианской лагуне. Вы там, наверно, тоже были.

Должен сознаться, что при моём давнишнем высоком и безоговорочном почитании Бродского не всё написанное им (или подписанное его именем) мне безусловно нравится. В его беседах с Волковым, например, попадаетея нечто неприемлемое. Бродский временами открывался как люмпен-аристократ. Это была одна из сторон его очень сложной личности. Впрочем, интервью или подобные им тексты — в конце концов, нечто побочное.

Надеюсь увидеть Вас в скором времени.

Гонорар мне переведён.

Крепко жму руку. Ваш ГФ.

24.03.2007

Дорогая Лариса,

хорошо бы, конечно, провести с благодетелями педагогическую беседу, разъяснить этим бедолагам, что из русской журналистики исчезла принципиальная аргументированная полемика — её заменили склоки и тусовки, — что «Зарубежные Записки» предоставляют возможность высказаться оппонентам, не присоединяясь к их точке зрения, но в рамках общего либерального направления, что (в данном

случае) автор — признанный писатель, авторитетная фигура, которую необходимо сохранить для журнала, и т.д., и т.п., — но я понимаю, как это трудно.

Ну худой конец существуют старые приёмы дистанцирования: подстрочное примечание, редакционное послесловие. Дескать, умываю руки, редакция рассчитывает на дискуссию.

Мне только что прислали двухтомный путеводитель по современной литературе Чупринина. Хорошо бы кому-нибудь заказать рецензию.

Жму руку, Ваш ГФ.

01.05.07

Дорогая Лариса,

я надеюсь Вас увидеть 8 мая (тема, предложенная Вами), но решил написать предварительно. Марк Харитонов писал мне как-то, что предлагал Вам для журнала фрагменты нашей с ним переписки и что Вы отнесли к этому предложению положительно. Я тоже не возражал, а сегодня получил от Марка подборку писем (относительно недавних), которые он сам выбрал. Вопрос: интересуется ли Вас в принципе этот материал? Разумеется, не может быть никакой обиды, если окажется, что он Вам почему-либо не подходит. Я мог бы на всякий случай захватить отпечатанный текст с собой 8-го.

Привет! Ваш ГФ.

20.06.2007

Дорогая Лариса, Вы обещали, невзирая на занятость, написать мне что-нибудь. Что-нибудь этакое. О Ваших делах; о московских впечатлениях. Не вызывают ли у Вас эти поездки ностальгию по потерянному раю? Когда-то я даже написал повесть на эту тему, она называлась «Возвращение».

Моё вчерашнее вещание нельзя было назвать удачным. А кто виноват? Опять же наш друг Чупринин. Приятно поносить отсутствующих, не правда ли, особенно — начальство.

Ваш ГФ.

26.06.2007

Спасибо, дорогая Лариса, за большое, искреннее, очень интересное письмо. Я читал его и перечитывал. И, между прочим, вспомнил вечер в Пазинге у Ирины Шлиппе, когда впервые увидел Вас и услышал Ваши стихи. Среди них было стихотворение, которое начиналось так: «Я здесь одна...» Теперь я понимаю, что стихи были порождены настроением, которое, кажется, слава Богу, уже ушло. Моя жизнь в эмиграции сложилась иначе, в той сумятице чувств,

которой сопровождалось изгнание и отъезд, немалую долю составляло и счастье унести ноги, — громко выражаясь, счастье обретения свободы.

С «Бенционовной», как Вы её называете, я никогда не был знаком, статьи, подписанные её именем, очевидным образом написаны были не для таких, как я. Но за то, что она оценила и поддержала Вашу поэзию, честь ей и хвала.

Вы просите просмотреть отрывок из нового Чупринина. Я не могу считать себя достаточно компетентным. Вот некоторые неточности, которые бросились в глаза.

Сведения Батшева о русскоязычном населении Германии приблизительно и требуют проверки.

Журнал «Вече» был по своему направлению и характеру публикаций монархо-фашистским.

В.А. Пирожкова называла себя в годы, когда выходил её журнал «Голос Зарубежья», не профессором, а «доцентом университета» (Universitätsdozentin).

«Еврейский журнал» Шимона Маркиша и Эйтана Финкельштейна: вышло три номера. Издательство «Дом Дубнова» существовало только на бумаге.

Тираж журнала «Страна и мир» в лучшие времена не превышал четырёх тысяч.

Из более или менее заметных русских журналов в Германии пропущены публицистический журнал «Форум» (выходил в Мюнхене, редактор Владимир Малинкович), литературные журналы «Родная речь» (издавалась покойной Ольгой Бешенковской, Штутгарт), «Стрелец» (Мюнхен, Александр Глезер).

Крепко жму Вашу руку, дорогая Лариса.

Ваш ГФ.

29.06.2007

Дорогая Лариса, если бы я относился к Вашей поэзии «в лучшем случае индифферентно», я бы помалкивал и не воздал похвалу Бенционовне за то, что она оценила эту поэзию по достоинству. Стихи мне нравятся, вот всё что я могу сказать, да ещё, пожалуй, добавить: имейте снисхождение к читателю, очевидным образом некомпетентному в поэзии.

Вообще же эти письма — не возражения, а скорее мысли вслух. Вы стараетесь понять, каким образом, отряхнув пыль отечества с подошв, можно было радоваться свободе. Другое время, другое поколение. Я об этом писал, не хочется повторяться. Между прочим, Андрей Грицман поместил два года назад в своём журнале, где в почётном списке стоит

и Ваше имя, мою старинную статью об эмиграции, называется «Ветер изгнания». Ветер может взбудоражить, освежить, обрадовать, может обновить жизнь. Но можно и простудиться.

В той же «Интерпоззии», в последнем номере, есть статья Радашкевича о гибели поэзии, как и всей культуры «Запада»; кое-что может вызвать сочувствие, даже пробудить сострадание к автору, кстати, давно уже не россиянину. Почитайте для интереса. Почему редактор решил напечатать этот беспомощный текст, не постигаю.

Пишите. Ваш ГФ.

2 июля 2007 г.

Дорогая Лариса,

когда-то я собирался написать «Заметки рассерженного редактора». Вспомнил об этом, когда прочёл в Вашем письме, что из-за работы в журналах Вы растеряли половину друзей. В те времена, когда я принимал участие в создании и становлении нашего бывшего журнала «Страна и мир», мы столкнулись с тяжёлым наследием Самиздата. Подпольная публицистика породила целую плеяду (или как там её назвать) авторов, людей отважных и заслуженных, которые, однако, даже не догадывались о том, что над текстом надо работать. Что этому ремеслу надо учиться, что нужно уметь построить статью, избегать общих мест, выверять имена и факты и т.д. Им казалось, что достаточно изложить свои мысли, не помышляя о языке и даже не слишком заботясь о грамотности. И когда их поправляли, они говорили: для того ли мы вырвались на свободу, чтобы столкнуться с новой цензурой! По-своему они были правы. Так что я Вас хорошо понимаю.

Я не знал, что перечень имён на титульном листе — не просто шеренга свадебных генералов, но что Вы по-настоящему работаете в «Интерпоззии». И, конечно, никакого порицания и не думал выносить за статью бедняги Радашкевича или другие какие-нибудь материалы. Сейчас снова включил интернет и совершил героическую попытку прочесть этюд Шамшада Абдулаева, о котором Вы упомянули. То, что Вы назвали мутным потоком сознания, а проще сказать — невыносимое многоглаголение, — это массовая болезнь. Произведение Абдулаева похоже на мокрое бельё, которое забыли отжать.

Свою давнишнюю статью я по рассеянности обозначил «Ветер свободы» (очень плохое название). На самом деле она называлась чуточку лучше: «Ветер изгнания». Тоже дела давно минувших дней.

Жму руку. Ваш ГФ.

28.07.2007

Дорогая Лариса, что за странный вопрос, — ничем Вы передо мной не виноваты.

Посылаю Вам наугад несколько рассказов, они нигде не публиковались. Выберите какой-нибудь, который Вам больше понравится или, вернее, меньше других не понравится. Жму руку. Ваш ГФ

18.08.2007

Дорогая Лариса!

(На всякий случай: название файла означает «Снаружи и дома», тут старинный, излюбленный приём немецкой стилистики — *Stabreim*: оба слова начинаются с одного и того же звука. Встречается и в русской литературе. «Но бури Севера не страшны русской розе». «Снится блаженный брег». Когда-то, очень давно, мне было лет 18, мой дядя подарил мне двуязычный сборник пьес Геро(н)да, малоизвестного античного драматурга, и снабдил книжку следующей дарственной надписью: «Изучая греческий, не забывай и русский — он того стоит!»)

Хочу Вас прежде всего поздравить с уже близким, по-видимому, присвоением Вам звания свекрови. Мы с Лорой давно уже пребываем в этом статусе, но наша невестка не чешка, а немка.

Вы спрашиваете, что у меня. Да ничего хорошего. Состояние Лоры неуклонно ухудшается. Занимаюсь урывками литературой, то до сё, закончил, кстати, свой муторный роман. К этому прилагательному процитируется полнозвучная рифма «мусорный».

Хорошо было встретиться с Лурье. Вы устроили царский ужин.

Хорошо, что редакционный портфель набит битком. (Должно быть, и корзина не пустует.) Хорошо, что есть из чего выбрать. Хорошо, что знаменитые люди достаивают журнал благосклонным вниманием. И, чёрт возьми, хорошо, что есть благодетели, — рука дающего да не оскудеет. А что, собственно, пишет Вам Мелихов? Строчку Пастернака я не знаю или не помню; напомните, пожалуйста.

А теперь жму Вашу руку. Пишите. Ваш ГФ.

22.08.2007

Дорогая Лариса, спасибо за фотографии. Надеюсь, они понравятся и герою вечера.

Пишу по порядку. Роман мой, конечно, для Зарубежных Записок не подходит. Дождёмся времени, когда журнал будет выходить ежемесячно, и сочиним что-нибудь более «сусветное». Впрочем, несколько первых глав, когда ещё книжка не была дописана и облизана, как карамель, поместил «Новый журнал» (просила Марина Адамович). Они дают слабое представление о замысле.

Стихотворение Пастернака широко известно, я почему-то забыл первое четверостишие. Непосредственной связи с нынешней конкретной обстановкой в России я не вижу.

Статьи Мелихова, по крайней мере те, которые я читал, — а он публикуется весьма широко, — смесь блестящих находок с чудачествами и... и, пожалуй, слегка приперченными банальностями. Они литературны и эмоциональны. В любом случае я бы печатал всё, что он присылает. Это талант. (Не знаю, правда, можно ли это отнести к его художественной прозе. Вероятно, плохо её знаю.) Может быть, стоило бы попросить у Мелихова какие-нибудь заметки для себя, дневник, письма, что-нибудь этакое вне жанров. Провести с ним хорошо обдуманную беседу, взять интервью с хитрыми провокативными вопросами.

Но я, конечно, понимаю, что давать советы легче, чем им следовать.

Кстати, вот насчёт интервью: я как-то не обратил внимания на разговор с Л. Гершовичем в последнем номере, прочёл только вчера. И, надо сказать, с удовольствием. Были заданы хорошие вопросы. По поводу некоторых ответов, например, о Т. Манне и Юнгере, можно пожать плечами: что он нашёл у них общего? Кроме того, я думаю, что он ошибается, если считает, что его роман был отвергнут немецкими издателями из-за того, что будто бы наступил кому-то на любимую мозоль. Дело в том, что его немецкие персонажи неправдоподобны. А он сам говорит несколько ниже о том, что превыше всего ценит правдоподобие. Есть странные опечатки. Вальтер Бенъямин — это Benjamin, а не «Бениамин» (тогда уж лучше по-русски: Вениамин). Редактриса (забавное словцо) почему-то с двумя «с». Но это ерунда, а интервью очень удачное.

Жму руку, Ваш Г.

23.08.2007

Разумеется! Ещё бы! Я пылаю от гнева. Как она посмела?!

Ладно. Готов великодушно простить — или как там это у Вас формулируется.

Дорогая Лариса, у меня довольно причудливое имя. Кажется, его придумала моя мама, но спросить невозможно: она умерла, когда мне было 6 лет. Моего деда, по некоторым сведениям, звали Грейнем. Из этого имени слепили для меня имя Героним, то есть Иероним плюс Грейнем. (Причём тут Иероним, отец церкви и переводчик Ветхого и Нового Завета на латынь, не ведаю.) Замечательное имя осталось в паспорте. Никто меня так никогда не звал. Звали и зовут Геня или Гена, откуда естественно вытекает Геннадий. Можете выбрать — Геня, Гена — по вкусу.

Мелихов выглядит на снимках впечатляюще. На кого-то похож — возможно, на самого себя. О том, что так писуч и плодовит, я не подозревал. И совершенно забыл, что интервью с ним уже печаталось в Зарубежных Записках.

Насчёт моего романа, называется он «Вчерашняя вечность». Нет полной уверенности, что его надо считать именно романом. Но если хотите поглядеть, bitte schön. Есть такая электронная библиотека (русская) под названием «Im Werden». В Гугле набрать просто: im werden. Там эта вечность засолена целиком.

Как поживает наш друг Чупринин? Будет ли возможность (не обязательно у меня) ещё разок проплясать на его костях русский народный танец «Эх-ы яблочко, куды котисся», когда выйдет третий том? Ваш Г.

24.08.2007

Дорогая Лариса, дорогая Лёля, я привык к первому имени, буду, с Вашего позволения, звать Вас и так, и так — je nachdem.

Мои дни проходят между домом и больницей. Сегодня, правда, я приглашён на обед к одной нашей знакомой, а уж оттуда отправлюсь к Лоре в Harlaching.

С именем Лёля у меня связано совсем другое воспоминание. После лагеря я умудрился поступить в медицинский институт в тогдашнем Калининe. В итоге разных скитаний нашёл вместе с двумя сокурсниками комнату на улице Александра Невского за Тверцой. Это был такой полудеревенский дом, где жила пожилая вдова по имени тётя Лёля. Я её никогда не забуду. Она была очень хорошая, удивительно добрая и тактичная женщина, совершенно простая. Понадобилось прописаться, и она отправилась с домовою книгой в милицию. Вечером, когда мы пришли из института, тётя Лёля раздала двум моим товарищам паспорта со штампом прописки. А мне, сказала она, велели явиться. Сказала с таким видом, как будто извинялась передо мной. Дело в том, что у меня был волчий билет. Хозяйка, конечно, сразу поняла, что я бывший заключённый с 58-й статьёй. Об этом никто не знал, и она тоже за всё время моей жизни у неё об этом ни словом не обмолвилась. Я отправился в милицию, ожидая самого худшего, но обошлось.

Оглядываться на Британскую энциклопедию, если это не совсем шутка (я говорю о Чупринине), незачем, да и не стоит. В разное время мне приходилось пользоваться ею. Был, между прочим, такой случай. Я в своё время был увлечён Музилем и написал несколько статей о нём. Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол Стэном Мьюзиелом и вождём итальянского народа Бенито Муссолини. Я подсчитал: статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвящённая Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, мировоззрение, семейная жизнь; учтено всё, включая подхваченный в юные годы сифилис. Музилю в энциклопедии досталось 5 строк — одна фраза: имя

автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Место литературы (*M*) в массовом обществе с его кумирами можно, таким образом, описать с помощью уравнения:

$$M = M(1) : M(2),$$

где *M*(1) — Музиль, а *M*(2) — Муссолини.

О писателе по имени Хамид Исмаилов я, к сожалению, ничего не знаю. Познакомьтесь с его романом — может, и мне расскажете. Что касается моего собственного романа или квази-романа, то мой Вам совет, во-первых, — обзаведитесь системой ISDL. Это просто и недорого. Позволяет пользоваться интернетом сколько угодно времени за постоянную умеренную месячную плату. Во-вторых, своё сочинение я могу Вам, если хотите, просто переслать по e-mail, тогда его при желании легко будет скачать. Но не знаю, достанет ли времени и терпения читать 300 с лишним страниц при Вашей занятости. (Вот почему, кстати, должность редактора, литературного критика или члена каких-нибудь жюри требует героизма.) Полистайте; автор будет благодарен и за это.

Всего доброго, дорогая Лёля.

Ваш Г.

28.08.2007

Дорогая Лёля, час тому назад мы вернулись домой — я, мой сын и младший внук, — и я увидел Ваше письмо. Мне незачем говорить о том, как я благодарен Вам за все добрые слова, просто за то, что Вы нашли время прочесть моё не столь уж короткое и малочитабельное произведение. Моё собственное отношение к нему, честное слово, далёко не восторженное, — не считите это за кокетство. А Ваша похвала для меня много значит.

Тут дела вот какие. Конечно, о чём тут говорить, я был бы очень рад увидеть этот роман в «Записках». Когда угодно, и хоть в трёх, хоть в десяти номерах. И я знаю, что в Вашем лице заполучу лучшего редактора, о каком только можно мечтать. Есть, однако, два препятствия. Первое, возможно, не так уж важно: как я Вам писал, первые главы были опубликованы в нью-йоркском «Новом журнале». Правда, после этого я вносил в текст ещё разные изменения.

Второе серьёзней. Дело в том, что внезапно представилась возможность выпустить роман в виде книги в издательстве «Вагриус» (где уже появлялись мои сочинения). Сказать, что там меня особо ценят, не могу. В коммерческом смысле я безнадёжен. Тем не менее они грозятся выпустить книгу чуть ли не к Франкфуртской книжной ярмарке, которая, как Вы знаете, всегда происходит в начале октября.

С другой стороны, между печатанием в метрополии и за границей существует барьер. Им нет дела до нас, а нам — до них. Хотя, конечно, Ваша связь с Россией гораздо тесней и естественней, чем моя. Как бы то

ни было, официально копирайт останется за мной. Тираж книги, если она выйдет, будет, я полагаю, не больше 1000 (как в прежних книжках). Читателей у неё окажется ничтожно мало.

Букер — забавная идея. Лестное предложение. Нечего и говорить о том, что у меня не может быть хотя бы минимальных шансов получить эту премию. Но — как и с печатанием в «Записках», решайте сами, дорогая Лёля.

Крепко жму руку.

Ваш Г.

31.08.2007

Дорогая Лёля, ещё раз: Вы можете распорядиться моим романом как Вам заблагорассудится. Если книгу издадут, а Вы всё-таки пожелаете напечатать роман в Записках, я буду, разумеется, только рад. Если же нет, сочиню, Бог даст, что-нибудь покороче и «ближе к жизни».

Насчёт взаимоотношений Зарубежья и метрополии мне, разумеется, с Вами трудно спорить. Может быть, здесь сказывается (с моей стороны) некая эмигрантская заносчивость. Мы, дескать, сами с усами. Вообще же приходится всегда иметь в виду: там или здесь, всё равно, — нашей с Вами работой мало кто интересуется; тут есть и положительная сторона. Во всяком случае, таково моё ощущение. Но ведь удивительно не это. Удивительно то, что число людей, готовых посвятить себя писательству, этому гробовому делу, не уменьшается — ни там, ни здесь.

Лет двадцать тому назад довольно живо дебатировался вопрос: одна или две литературы? После открытия границ тема как будто утратила актуальность. Но для меня она сохраняет своё значение. Может быть, надо говорить о двуглавом монстре современной литературы русского языка. (Вы пишете о двух рукавах). Разный жизненный опыт, вот в чём дело. И разный культурный климат. Есть какая-то невидимая стеклянная стена, но она, начинаясь сверху, доходит только до пояса. Сквозь неё всё отлично видно, самой стены не видно, но сунешься — и р-раз, носом об стекло. А ниже общее тело, сфера национально-генитальная: млечный язык, наследственность.

Я жму руку друзьям, близким людям. Но — какой там ещё кодекс.

Пишите, Лёля, пожалуйста. О чём угодно. Как идёт работа, остаётся ли время для музыки. Мысли вслух, взгляд и нечто. Ваш Г.

01.09.2007

Конечно, дорогая Лёля, если Вы всё-таки намерены поместить роман в «Записках», и даже чуть ли не с первого номера будущего года, то «Избранника» надо отложить на весьма неопределённое время. Пусть полежит, ничего с ним не сделается. Что касается мечтаний о выдвиг-

жении на премию и т.п., то творение моё, судя по тому, что я читал об этой самой «Большой книге», для премии совершенно не подходит. Имеется в виду эпохальное, эпически-патриотическое, истинно-русское «наподобие Вальтер Скотта» произведение, которое должно вдобавок понравиться высшему начальству. Куда уж там с моей книжкой — тут и соваться нет смысла. Да и «Вагриус» наверняка не присоединится к выдвиганию. У них там свои игры — совершенно так же, как своими играми заняты устроители и судьи премии.

Как я Вам уже писал, в «Вагриусе» не слишком дорожат моим авторством, прежние мои книжки они никогда не рекламировали. Почти наверняка могу сказать, что им не доставит удовольствия узнать о том, что мой роман публикуется в заграничном журнале. Выпуск книги — дело, видимо, решённое, там уже начали что-то делать. Не будем их огорчать, просто поставим их перед совершившимся фактом, благо права сохраняются за автором.

Насчёт сталинского «Дело мира будет...» — Вы правы. Я тоже в те времена без конца слышал и видел это изречение, но, очевидно, подвела память. Так что исправьте. Я сейчас посмотрел это место и чуть подалее. На стр. 105 (разговор с волосатым мужиком) два раза сказано: «продолжал хозяин». Вычеркните это «продолжал хозяин» там, где оно значится второй раз («Тут до тебя тоже один жил»).

Вообще в рукописи найдутся, я полагаю, огрехи разного рода. Всегда готов их исправить.

Интересная выдержка, которую Вы привели. По-видимому, она принадлежит более позднему, постсоветскому времени. Но вся ложь, которая была нагромождена вокруг корейской войны, здесь аккуратно повторена.

Приведу Вам для развлечения тоже один текст. Я когда-то собрал заметки и записи разного времени и по разному поводу, придумал название: «Литературный музей». В этом музее обнаружилось кое-что на означенную тему.

Каждое утро я проезжал мимо большого здания у начала Ленинского проспекта и читал лозунг: «Выше знамя социалистического соревнования за дальнейшее повышение качества».

Я старался понять, что это означает.

Некто держит знамя — полотнище на длинной палке. Это полотнище надо поднять ещё выше. На самом деле, однако, речь не об этом; никакого знамени не существует. Речь идёт о социалистическом соревновании. Но в действительности никакого соревнования нет, просто кто-то где-то работает. Хотя качество этой работы высокое, его надо сделать ещё выше. Но добиться этого тем способом, который рекомендован, то есть поднимая знамя соревнования, невозможно, так как не существует ни знамени, ни соревнования.

Фраза, составленная грамматически правильно, напоминает сложный арифметический пример с дробями и многочленами. Ученик долго решает его — в итоге получается ноль.

Решающим шагом в расшифровке экзотических письменностей была догадка, что мы имеем дело не с орнаментом, а с письмом. Здесь, наоборот, разгадка изречения о знамени: это не письмо, а орнамент. Украшение, узор; нечто практически нечитаемое.

Рядом висел другой лозунг: «Отличному качеству — рабочую гарантию». Эта фраза ещё загадочней. Попробуйте объяснить её ребёнку или перевести на иностранный язык. Ни одно из четырёх слов не имеет реального смысла.

Впрочем, осторожней. Некогда знаменитое высказывание Сталина: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца» — тоже пример словесной конструкции, полностью лишённой содержания. То есть, казалось бы, лишённой; ан нет. Ибо на самом деле перед вами тайнопись, тайный язык, вроде жаргона воров: к нему нужен ключ, каждое слово требует перевода. Кроме того, есть пустые знаки-слова, значение которых — сбить с толку дешифровщика. Фраза Вождя не была бессмыслицей. Она означала: «Надо вооружаться».

В журнале «Мурзилка» существовала Умная Маша. Мама читала книжку, а Умная Маша рисовала картинки. Мама читала: «Солнце село». Умная Маша рисовала кресло и Солнце — круглоголового дедушку, который сидит в кресле. Но солнце — понятие такое же конкретное, как и кресло. Солнце существует на самом деле. Задача политического языка — вытеснить действительность и образовавшуюся пустоту задрапировать словами, лишёнными смысла. Из слов можно соорудить систему, говорит Мефистофель. Словами можно великолепно дискутировать.

Denn eben, wo Begriffe fehlen,
Da stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten.
An Worte läßt sich trefflich glauben...

(Пастернак: Бессодержательную речь /Всегда легко в слова облечь. /Из голых слов, ярься и споря, /Возводят здания теорий. /Словами вера лишь жива. /Как можно отрицать слова?

Холодковский: Прекрасно, но о том не надо так крушиться: /Коль скоро недочёт в понятиях случится, /Их можно словом заменить. /Словами диспуты ведутся, /Из слов системы создаются; /Словам должны вы доверять: /В словах нельзя ни йоты изменять.

(Перевод Пастернака значительно хуже.)

В слова можно верить. Не говоря о том, что словами с успехом можно заштопать прохудившуюся веру.

Во время литературного диспута на тему: «С кем и за что мы будем драться в 1929 году?» Александр Фадеев сказал: «Мы, напостовцы, представляем такой литературный отряд, который хочет быть в современных условиях пролетарскими революционерами». То есть писатели и критики не собираются сидеть в редакции журнала «На посту», а хотят шагать в виде военного формирования — отряда. Этот отряд снова совершит революцию, и не какую-нибудь, а пролетарскую.

Цитата из «Платформы крестьянско-бедняцких писателей»:

«Целый ряд товарищей, проводивших правоулацкую линию, всё ещё не отказались от неё. Комфракция крестьянско-бедняцких писателей опирается на массовое движение сознательных деревенских низов. В условиях, когда к власти пришёл пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством, идеи могут быть только пролетарскими, крестьянско-бедняцкими и батрацкими. Спрашивается: как же можно в условиях господства пролетариата и беднейших слоёв крестьянства мириться с наступлением непролетарской и небедняцкой идеологии? Наш ответ один: смертельный бой!»

Надо представить себе, чем были в действительности крестьяне-бедняки тогдашней России, какова была их житуха. В какой мере их могла интересовать литература. Надо всё это себе представить, чтобы убедиться: перед нами клинический документ. Его составили душевнобольные люди. Но они не были больными. Просто термины и словосочетания, которыми они жонглировали, не имели реального содержания. Это были слова-пустышки, наподобие мнимых величин в математике, над которыми производятся операции по аналогии с действительными величинами.

Фантомные понятия вроде «гегемонии пролетариата», «литературы рабочего класса», постулаты идеологической выдержанности, выпрямления или искривления партийной линии и пр. завладели умами настолько, что взрослые и серьёзные люди готовы были проводить долгие часы в спорах о том, как надлежит манипулировать этими словами.

Этот язык зародился в социал-демократических кружках 90-х годов, в густом папиросном дыму ночных собраний, где лысеющие молодые люди в стоячих воротничках и женщины в пенсне и кринолинах осипшими голосами пререкались о рабочем классе и капитале, вещах, о которых не имели ни малейшего представления.

Видите, как полезно вспоминать о нашем Вожде и учителе.

Думаю, что Бенционовну, будь она хоть трижды реакционная, очень стоит печатать.

Крепко жму руку. Ваш Г.

05.09.2007

Дорогая Лёля, я тут занимался разными делами, среди которых главное — привёз Лору из больницы.

Я уже Вам писал, что не верю ни в какие российские премии. Но если Вы всё-таки хотите «ввязаться» — женщины упрямы, — то ради Бога; по-немецки — *meinetwegen*. Я не возражаю

За наставление, как делать сноски, большое спасибо. Действительно, очень просто и удобно.

Что Вы сейчас делаете? Что нового на Риальто, как говорит Шейлок, — что нового в литературном мире? Что пишут Вам (если не секрет) Ваши авторы?

Несколько времени назад Илья Мильштейн сообщал о готовящемся новом журнале, кажется, «Родник». Теперь звонит: журнал накрлся, не успев увидеть свет.

Пишу Вам на этот раз кратко, но, пожалуйста, не следуйте этому дурному примеру.

Вашу руку! Г.

06.09.2007

Дорогая Лёля, надо покончить с этим недоразумением. Кажется, я никому ещё не внушал почтительного трепета. Никогда не смотрел на Вас сверху вниз, так что и Вам не след смотреть на меня снизу вверх. Мы оба равные и свободные люди, оба занимаемся общим делом, принадлежим к одной секте: ведь литература, не правда ли, — род сектантства.

Лора слаба, вынуждена ложиться то и дело, и я не знаю, сумеет ли она выдержать запланированный новый курс жестокой химиотерапии. Как врач я понимаю (и она понимает, ведь она тоже бывший врач), что перспективы однозначно плохи, и всё же надеюсь на новую, хотя бы и относительную, ремиссию.

Замечательное выражение — «грузить Даню». Как я понимаю, Дания у Вас — исполнительная власть, а Вы — исполнительная и законодательная одновременно. А что касается 36 экземпляров (прописью: тридцать шесть; страшно вымолвить), которые Вы собираетесь разослать почтенным судьям, то тут я уж и не знаю, что сказать, разве что пожать плечами. Вы отважная женщина, Лёля.

Я очень рад за Юру Колкера, моего старого друга, что ему удастся подзаработать. Его многолетний роман с «бибисями», как он выражается, завершился, наконец, несколько лет назад бракоразводным процессом, Юра стал пролетарием, вкалывает на фабрике — Вы это знаете.

Вы упомянули о «Роднике», о том, что слово — заезженное, заму-солненное, и я схватился за голову. Не так давно я соорудил одно внежанровое сочинение, и, представьте себе, оно называется «Родники одиночества».

Любовь к китайской кухне (точнее, к блюдам китайских ресторанов, более или менее приспособленным, как говорят, к европейским желудкам) я разделяю, мы с Лорой всегда были завсегдатаями этих учреждений. А вот там супы, котлеты... блины... волшебные оладьи из сырой картошки... и прочее... — скажу Вам, что умение стряпать — это второе главное качество женщины. Вы спросите, а какое же первое. Могу ответить ссылкой на старый анекдот, может быть, Вам известный. В Москву приехал знаменитый скрипач, допустим, это был Иегуда Менухин. Ему продемонстрировали юного виртуоза, подающего большие надежды. «Ну, что вы скажете, маэстро?» — «Да, прекрасно. Настоящий второй класс». — «Как это, второй! А кто же тогда первый?» — «Ну, — сказал Менухин и развёл руками, — первых много...»

Крепко жму руку. Ваш Г.

08.09.2007

Дорогая Лёля,

Вы вспомнили Илью Сельвинского... Я нашёл его фотографию. В пенсне... Уж не в нём ли он шагал с наганом через Перекопский перешеек? Я мало видел живых знаменитых поэтов. В университетском клубе за поворотом на бывшую улицу Герцена (почему эти дураки отменили Герцена? почему похерили Огарёва, Станкевича?), в том полуподвальном помещении, который сейчас вместе со всем левым крылом захватила церковь, существовала поэтическая студия; сам я стихом уже не сочинял, но ходил туда с закадычным другом, молодым поэтом, это выражение, «молодой поэт», было тогда модным. Студией руководил Луговской, потом его сменил Кирсанов. Всё это люди того же поколения.

Как к ним относиться... Не знаю. Я когда-то немного читал Сельвинского, из «Улялаевщины», ещё кое-что. В том возрасте, когда антенны особенно чутко ловят поэтическую волну, эти стихотворцы прошли мимо меня. Я жил, дышал и насыщался совсем другой поэзией. Из так называемых революционных романтиков для меня реально существует, но зато на очень большой высоте, только один Багрицкий.

Те, кого покойный С.И. Липкин («Квадрига») называет «комсомольскими», — Жаров, Безыменский, — фигуры почти карикатурные, о них и говорить не стоит. Другие, в том числе Сельвинский, вызывают сострадание. Если жизнь и «история» насмеялась над нами, то над нами — вдвойне.

Я тут прочёл в одном журнале статью-эссе Алёши Рыбакова о стихах Пастернака из «Лейтенанта Шмидта»: («Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека...») и должен сказать, что пафос этой статьи мне близок. Когда нам говорят: хорошо вам, вы тогда не жили, вот если бы жили, то поняли бы; не вам судить и осуждать нас, — так вот, когда так говорят, то хочется ответить: «А кому же, чёрт возьми, судить, как не нам? Мы — та самая расплата за прошлое».

Но Вы пишете, что Алёша ополчился теперь и на Блока. Поэма «Двенадцать», то да сё. Я это эссе не читал, но думаю, как и Вы, что «совершенно очевидные» (и предъявленные в который раз) претензии, даже обвинения, — не долетают до Блока, вроде тех пулек из жёваной бумаги, которыми мы стреляли в детстве из трубочки. Нет даже необходимости оправдываться.

Ваше рассуждение об умных и неумных поэтах понятно мне лишь наполювину. Слова царя об «умнейшем человеке в России», разумеется, не зря были сказаны о Пушкине, но это почти то же, что сказать о нём: «талантливейший». Поэт такого масштаба (к каковому я отношу и Блока) не может быть измерен этими мерками.

Ну, что ещё. Я, как видите, всё ещё не отстал от привычки проглядывать журналы. «Крещатик», где я, между прочим, однажды был напечатан, угощает читателей — как назло, в том же номере, где помещены «Семь эссе» Алёши, — размышлениями о немцах и Германии какого-то бедолаги-эмигранта. Посмотрите, потратьте пять минут. Очень характерная статейка. И зачем его понесло в эту ненавистную для него страну?

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Пишите — обо всём и подлиннее. Ваш Г.

11.09.2007

Дорогая Лёля,

«так уж получилось», «так вышло...»

Древние говорили: судьба ведёт того, кто согласен, чтобы его вели, и тащит несогласного (*fata volentem ducunt, nolentem trahunt*). Против этой мудрости вроде бы не попрёшь. И не всегда можно понять, тащут тебя или ты сам тащишься.

Певцы Революции, — слово, которое они писали с большой буквы, — юные еврей-интернационалисты, с густейшей шевелюрой, с деревянной дулей от колена до бедра — кобурой для нагана, не подозревали, что их кто-то тащит, — они шагали, маршировали — итак, начинается песня о ветре! О ветре, одетом в солдатские гетры... — это уже, правда, какой-то Киплинг, ведь красноармейцы были в обмотках. Но — так вышло, такая уж рифма подвернулась. Такое время; и нечего возразить. Хотя мне казалось, что достоинство мужчины —

том, чтобы сопротивляться судьбе, что бы ни подразумевали под этим словом. Так же как достоинство писателя — в том, чтобы противостоять своему времени.

А дальше уже как-то плавно мы съезжаем в 30-е годы, время мертвеет, алое знамя борьбы за освобождение человечества постепенно становится коричневым, и тезис «так вышло» оборачивается чем-то всё более сомнительным. Разумеется, у всякого партийного бонзы, как и у всякого доблестного воина тайной полиции, и уж, само собой, у каждого государственного стихотворца или прозаика были свои жизненные обстоятельства, сделавшие его тем, чем он стал. В конце концов можно было бы математически доказать, что и железный нарком Николай Иванович Ежов, и сам Великий Ус были на свой лад жертвами века. Другое дело, уместна ли здесь математика.

В Мурнау, живописном городке в Верхней Баварии, где жили Кандинский и Габриэле Мюнтер и рядом с ними другая пара — Явленский и Марианне фон Веревкин, находился учебный центр-интернат для иностранной молодёжи, там провёл некоторое время после нашего приезда мой сын. Я приезжал его навестить. И, представьте себе, так получилось, что в этом городке я познакомился с одним старцем и побывал у него в доме. Он был довольно известным писателем для детей и юношества, подарил мне свою книжку. А в начале 30-х годов он был весёлым парнем, гитаристом и в 19 лет сочинил песню «Es zittern die morschen Knochen» («Дрожат старые кости...»), которая стала известной нацистской песней, чуть ли не гимном. Если Вы помните роман Фейхтвангера «Семья Опперман» (Вы упомянули о Фейхтвангере), её там горланят штурмовики.

Автор потом попал на фронт, был в плену, после войны, естественно, неприятности, то да сё.

Мы задаём себе вечный вопрос: кто виноват? Или — кто поддакивал, «отплясывал с дьяволом» (mitgetanzt), по выражению Томаса Манна; Вы, вероятно, читали его знаменитое письмо Вальтеру фон Молю. Ах, всё это жевалось много раз.

Теперь насчёт другого решения — эмиграции.

Нет, Лёля, я далёк от того, чтобы осуждать тех, кого Вы, повторяя кого-то, презрительно назвали колбасными эмигрантами, и сам никогда это дурацкое, оскорбительное речение не употребляю. Какая уж там колбаса. Не настолько же я туп и самоуверен, чтобы не понимать, как тяжёлы, ужасны были обстоятельства, заставившие многих — и заставляющие до сих пор — покинуть Россию, будто бы вступившую на путь демократии. Не успели толком понять, что это такое, неуспела эта пресловутая демократия проклюнуться, как народ стал называть её дерьмократией: язык пробалтывается, язык — это предатель. Я не застал новые времена, Вы правы. Но некоторое представление о них всё же имею.

Как ни удивительно, многое повторяется. И до меня тоже когда-то доносились негодующие упрёки. Как! Еврей — и в *эту* страну?

Что, однако, заставляет если не осуждать эмигрантов, то, по крайней мере, сожалеть о них, так это активное, именно, активное, нежелание хоть как-то понять людей, населяющих страну, куда тебя занесло, в нашем случае — немцев. Отдать себе отчёт, что живёшь здесь во многом за счёт этих людей, благодаря их труду и трудолюбию. Вспомнить и о том, что внуки тех, чья страна стала страной Голокауста, — а ведь с тех пор сменилось уже два поколения, — хоть и не вправе забывать прошлое (они и не забывают), но отвечать за него не могут. «Все они таковы». «Это у них в крови». Не пахнет ли это обыкновенным расизмом, только наоборот? Вообще же мне трудно, по примеру бедняги Гиголашвили, говорить о немцах *en bloc*. Я вижу конкретных — и очень разных — людей.

Это, конечно, непростая тема, долгая песня. Может быть, мы к ней вернёмся. Охотно выслушаю Ваши возражения. И не только «теоретические», но — о жизни.

Жму руку, дорогая Лёля. Ваш Г.

15.09.2007

Дорогая Лёля,

в Мюнхене есть переулок Марьяны Верёвкиной. Она провела в Германии большую часть жизни. Её вещи, как и вещи Явленского (Alexej von Jawlensky, хотя фамилия семинаристская, а не дворянская) и других, — в галерее Ленбаха. Что касается Кандинского, то это гордость Баварии, можно сказать, национальный художник.

Когда я упомянул о том, что эмигранты живут на средства немецких налогоплательщиков, я вовсе не имел в виду — если Вы так подумали — присутствующих. Вы — работаете в хвост и в гриву и заслужили куда большего, чем получили. Я вообще имел в виду нечто другое. Третья волна, к которой я принадлежу, в иных отношениях больше походила на немецкую эмиграцию 30–40-х годов, чем на нашу Первую волну. И та статья Основного закона Федеративной республики, где говорится о предоставлении убежища лицам, преследуемым по политическим, религиозным или национальным причинам, статья, благодаря которой и для нас открылись ворота, была принята в память о тех, в огромном большинстве своём несчастных и неприкаянных, беглецах из нацистского рейха. Я просто думаю о том, что надо быть благодарными стране, которая нас худо-бедно, но приютила.

Эмигранту трудно смириться с общим правилом: экспатриация почти всегда означает социальное понижение. Кроме того, мне пришлось слышать высказывания вроде следующего: они нас сюда зазвали, а сами... А ведь, строго говоря, никто никого не «звал», просто было

решено дать возможность советским евреям эмигрировать, имея в виду политику государственного антисемитизма в СССР. Кроме того, рассчитывали восстановить в Германии состав и статус еврейских общин, какими они были до 1933 года. Последнее оправдалось лишь в небольшой степени. Ладно, Бог с ними.

Вы упомянули о пенсии, которую Украина, «в отличие от России», не выдаёт. Но вот я работал с 16 лет. О лагере и говорить нечего. Трудовая книжка, как и все остальные документы, при отъезде отбиралась. Твоё имя нигде больше не упоминается, если не считать следственного дела, которое хранится в архивах КГБ, где ведёт, так сказать, потустороннее существование, но при случае может и явиться на свет. В остальном все следы твоего пребывания, твоей деятельности на родине, будь то врачевание, литература или что угодно, выскабливались. Тебя не только больше нет, тебя никогда и не было. А так как меня не было, то и никакой пенсии я не получаю.

Письмо затягивается, а у меня грипп. Только бы Лора не заразилась — в предвидении нового курса химиотерапии это было бы совсем некстати. Вчера мне прислали вёрстку моего романа. Вы, я знаю, сейчас заняты, но, может быть, урвёте четверть часика, чтобы написать — о чём угодно —

Вашему Г.

24.09.2007

Дорогая Лёля, продолжаю давно начатое письмо.

О Мадиевском. Покойный Самсон Абрамович не казался мне ненавистником немцев, скорее наоборот; он, например, гордился тем, что прочёл свой доклад по-немецки. Он напоминал человека, который, оказавшись на Луне, честно старался приспособиться к новым условиям — лунному пейзажу, меньшей силы тяжести, близкому горизонту. Человек он был, по-моему, симпатичный и немного трогательный.

Статью-рецензию, которую Вы напечатали в 8-м номере, я помню. Хорошая была статья. Я, конечно, не догадывался о том, что она публиковалась с сокращениями.

К его исследованиям о еврейском капитале, за счёт которого «они» якобы живут до сих пор, следует добавить, что большая, если не подавляющая, масса бывших еврейских предприятий погибла во время войны, следовательно, не могла больше приносить прибыль. Восстановление Германии субсидировалось планом Маршалла, то есть Америкой. Оставшимся в живых евреям, бывшим узникам лагерей, родственникам, каких удалось разыскать, а также государству Израиль были выплачены новым правительством огромные суммы.

Эти дни были для меня хаотичными, я всё ещё не вылез из кашля, это бывает. Вычитывал вёрстку моего порядком мне надоевшего рома-

на. Сегодня выслал «Вагриусу» по обычной почте. Обнаружилось много мелких опечаток, неправильностей и т.п., а также по части стилистики. В четырёх местах я переписал текст, одну главу («Генерал Колесников») написал заново. Всё это мне, конечно, хотелось бы переслать Вам, но с первой частью вроде бы всё в порядке, так что не к спеху. Напишите, как мне быть с остальным текстом, прислать Вам сейчас или позже.

Как Вы там? Жму руку. Ваш Г.

26.09.2007

Дорогая Лёля,

дался нам бедняга Мадиевский. А ведь я его почти не знал. Виделся с ним, кажется, всего один раз. Раза два-три говорил по телефону. Однажды он прислал мне открытое письмо Наума Коржавина к папе римскому с поручением поместить в газете «Франкфуртер Альгемейне». Мне случалось публиковаться в FAZ. Очевидно, оба думали, что я там влиятельное лицо. Это была совершенно нелепая история. В своём письме Эмма (который за последние четверть века непрерывно глупел) прочёл папе мораль за то, что тот недостаточно строг к палестинским террористам, а заодно врезал и газете, которую сравнил с «Фёлькишер Beobachter». Сам Коржавин, разумеется, никогда не читал ни FAZ, ни «боевой листок германской националсоциалистической рабочей партии» (таков был подзаголовок газеты «Фёльк. Beobachter»). Я написал Самсону Абрамовичу ответ. К счастью, он не обиделся. Что сказал по этому поводу Эмма, не знаю.

О том, что такое «основные средства», я более или менее осведомлён, так как мне пришлось в моей жизни изучать производственную бухгалтерию, но, конечно, спорить с Вами не дерзаю. По-видимому, покойный Мадиевский относился к тем людям, для которых между евреями и немцами существует барьер, его же не перескочишь. (Как для Солженицына существуют только «мы» и «они».) Между тем немецкие евреи были в очень большой степени ассимилированы. На языке нацистов «аризировать» какое-нибудь частное предприятие означало отнять его у владельцев-евреев и выгнать специалистов-евреев. На таких предприятиях, однако, работали и занимали руководящие должности не только евреи; новейшая технология, организация производства и пр. совсем не обязательно были достижением и достоянием одних только евреев. Вообще я думаю, что Мадиевский, в чьей квалификации профессионального историка я не сомневаюсь, всё же знал Германию только по книгам, вдобавок лишь по таким, которые были изданы и допущены в СССР. Это неудивительно, ведь мы жили в наглухо закрытой стране. Реальная жизнь за бугром была много сложнее, о многом люди, жившие в Советском Союзе, вовсе ничего не знали, и не мне Вам

рассказывать, сколь мало достоверной была информация, которая поступала или просачивалась. И ещё я хорошо понимаю, что видеть во всех немцах преступников — *хочется*. Если, как Вы пишете, С.А. ненавидел немцев, всех немцев, и старых, и молодых, и живых, и мёртвых, то я представляю себе, как тяжело ему было оказаться на старости лет в этой проклятой стране. Requiescat in pace! Аминь.

Теперь насчёт вёрстки. Все мои поправки, как и переделанные отрывки, отосланы в Москву. С какой скоростью будет дальше двигаться улита, не ведаю. Не говоря уже о том, что почта в Россию идёт куда дольше, чем, например, в Австралию. Как если бы самолёты не летали, а ползли по земле. О Франкфуртской ярмарке, разумеется, не может быть и речи: она начнётся вот-вот. У меня остался экземпляр (распечатка), куда тоже внесена правка, но не вся, а иногда и лишняя. Я могу его ещё раз весь проглядеть и прислать Вам по почте. Вы это имели в виду? Напишите, что мне надо сделать.

Если можно, пришлите мне, дорогая Лёля, Ваши последние стихи — просто так. Крепко жму руку, Ваш Г.

05.10.2007

Дорогая Лёля, отвечаю не сразу, так как путешествую каждый день в больницу, но я всегда жду Ваших писем.

У Томаса Манна есть выразительный абзац о радикулите. Надеюсь, он — то есть радикулит, а не Т. Манн — Вас отпустил. Сам я тоже это испытал.

Если я не написал Вам о присланных стихотворениях, то вовсе не оттого, что «остался недоволен» (как сказано у Чехова), напротив, они мне понравились, одни очень, другие просто понравились, иные понравились с оговорками. Обычное дело, не правда ли. Но суть в том, что я не чувствую себя достаточно компетентным, не хочу ляпнуть какую-нибудь глупость. Поэзия кажется мне весьма далёким от прозы континентом или, если хотите, океаническим архипелагом, где обитает особое племя, где и говорят по-другому, и одеваются не так, как «у нас». Не зря все поползновения разрушить барьер между поэзией и прозой, смешать Божий дар с яичницей, оборачивались позорным крахом. Есть поучительные примеры неудач, например, «поэтическая» проза Цветаевой

Вы упомянули о Ф. Гофмане, имя мне неизвестное. И что он решил стать литературным критиком. Вот ахиллесова пята всех литературных журналов. Я понимаю, что писатели всегда были и всегда будут недовольны критиками: недовольны тем, как о них пишут, и недовольны, если о них не пишут. Но без критики нет литературы. Или, скажем так, нет литературного процесса. Вот бы Вам добыть где-нибудь серьёзного аналитика и обозревателя литературы.

Я как-то раз, уже давно, размечтался о литературной критике и сочинил о ней статью. Если хотите, могу прислать для развлечения.

Прихожу домой, стараюсь что-то делать, но уж слишком устаю. Слушаете ли Вы музыку?

Ваш Г.

10.10.2007

Дорогая Лёля, прошлый раз я писал о том, что невозможно или почти невозможно стереть грань между стихом и прозой. Это как вода и масло. То, что называется поэтической прозой, почти всегда — сапоги всмятку. Другое дело, что некоторым великим поэтам удавалась и столь же великая проза; но во всех литературах они выглядят исключением.

В дневниках Чорана приведено древнее мексиканское изречение: поэзия — это ветер из обители богов.

Я веду прежний образ жизни. Не знаю, сумеет ли Лора выписаться из больницы к концу этой недели. Некоторое улучшение, впрочем, наступило.

Вчера вечером я увидел в интернете новый номер Зарубежных записок, но не осталось времени посмотреть как следует. Глаза слипались, я ведь встаю рано. Как Вы сами оцениваете этот номер?

А всё-таки подумайте о постоянном критике-комментаторе. Эх! вот бы нам... Вы упомянули Немзера; это, кажется, второй по числу звёздочек на погонах и известности критик после Нат. Ивановой. Но он, по-моему, даже в лучшие времена, насколько я могу судить, был довольно бледным и слишком уж провинциальным автором. Нам бы кого-нибудь поинтересней, поглубже, поярче — одним словом, поевропейстей.

Я представляю себе объявление: «Такая-то редакция ищет... Плата за страницу — 0,0 евро. Жильём не обеспечиваем».

Вы просили прислать мою старую статейку. Она была когда-то напечатана, если не ошибаюсь, в «Октябре». Было такое время, когда я крутил любовь с этим почтенным журналом. Возможно, статья Вас разочарует, как разочаровывает всевозможное старьё. Смотрите приложение.

Пришлите, пожалуйста, Лёля, Ваши поправки к первой части романа. Я отошлю их в Москву.

Крепко жму руку. Всегда Ваш Г.

12.10.2007

Дорогая Лёля! Я вставил и отослал Ваши поправки (насчёт «когда» вместо «пока» засомневался: другой оттенок смысла), но «колы-

шутся» не успел; авось там сами исправят. Между прочим, я заметил, что в одном месте вёрстки корректор проставил ненужные кавычки. Глава XLII, стр. 339 моей рукописи, строка 9 сверху.

Какого лешего, думал он, я трачу время с этой сволочью.

Не нужно никаких кавычек и никаких тире.

Ещё одна моя опечатка во французской фразе, стр.332, строка 13 сверху:

Chacun de nous a deux patries (у каждого из нас две родины). Добавить s в слове *patries*, множественное число.

Кстати, известно ли Вам, что в русском языке есть остатки двойственного числа? Оно существовало в греческом, но уже в аттическом (классическом) диалекте почти не употреблялось.

Стихи Дм. Быкова. Какое отношение они имеют к прозе? Их и надо было писать как стихи, строчками, причём короткими (*Ты налетаешь/ Полночью летней./ Ты выметаешь/ Сор многолетний*), тогда их качество оказалось бы больше на виду. Напомнили бы, к примеру, кавказскую эстраду: *Мальчик нагорный! Из Карабаха! Так называют! Люди меня! Ай, яй-яй-яй-яяяй!* И ладошками по обтянутому брючками нижнему профилю, и зеркальными штiblетами на высоких скошенных каблуках: шлёп-шлёп, топ-топ.

Может, это в самом деле пародия? Особенно вторая строфа, где пошла уже какая-то бредятина. И всё же стихи, даже несмотря на концовку, не показались мне вполне шутейными. Я думаю, что это всё — под клоунской маской — всерьёз. Просто я сделался стар для такой поэзии. Бывает музыка для слушания и для слышания. В юности меня могла увлекать эта финифть.

Но Вам виднее.

Номер «33» я как следует ещё не посмотрел. Прочёл только ответ его превосходительства. Поддерживаете ли Вы с ним связь?

15.10.2007

Дорогая Лёля,

выздоровливайте понемногу. Пейте крепкий горячий чай, принимайте аспирин. Лежите в постели. Как назывался эллинский бог — покровитель редакторов и редакций? Уповайте на него.

О Чупринине я ничего плохого сказать не хотел, это ведь просто беззлобная шутка. Конечно, читая его отклик, который развернулся в небольшую исповедь, я чувствую, что это другой мир, другой берег. Ну и что? Кроме того, я понял, что рецензию надо было написать иначе.

А то, что он зовёт Вас в Москву, — прекрасно, конечно, съездить, *videre et videri*, как говорит Овидий, «людей повидать и себя показать», укрепить литературные связи, то да сё, — но не больше.

На меня — я, кажется, уже рассказывал об этом — когда-то произвёл впечатление главный редактор, к которому однажды меня привёл работавший в «Знамени» Александр Агеев. Это было в старом помещении на Никольской. Дом в грязном дворе, какие-то полурабочие, полулюмпены, лестница, коридоры, закутки — всё убогое, запущенное. Зато кабинет главного, с деревянными панелями, кожаными креслами, куда уходишь с головой, и обширным, как аэродром, рабочим столом, — вот это да, — таким мог быть кабинет десятого секретаря обкома или директора мясомолочного комбината. И сам Чупринин, благожелательно-начальственный, вальяжный, баритональный. Теперь я понимаю, что на самом деле он вовсе не таков. Передайте ему привет при случае.

Двойственное число, *dualis*, — это всё обломки давнишнего, университетского. Считалось, что особое, напоминающее родительный падеж, окончание слов мужского и среднего рода, когда речь идёт о двух, а также трёх и четырёх предметах (два, три, четыре брата, два-три зуба, яблока — при множественном числе «братья», «зубы», «яблоки»), — рудимент дуалиса, почему-то распространившегося на три и четыре.

Лора чувствует себя очень плохо, несмотря на то, что показатели крови почти нормализовались. Может быть, выпишется послезавтра. Вчера в Мюнхене был осенний марафон, я добирался до больницы больше двух часов.

Жму руку, Ваш Г.

27.10.2007

Дорогая Лёля, я попытаюсь объяснить — Вам и себе, — отчего меня не удовлетворили рассказы Мелихова.

Вместе с жарой и пылью началась всеобщая расслабуха, а на этот раз не явился и тренер. Поэтому Олег с Сергеем Качурой <...> разминались вдвоём в целом зале. Кача, ставши на мост, качал шею <...>. Олег бы лопнул, не дошёл до пятнадцати <...>. Андрюха так затараторил с продавицей винного отдела, что она...

И так далее.

Об этой прозе можно сказать, что автор хорошо знает обстановку, без усилий может воспроизвести поведение действующих лиц, владеет спортивным жаргоном, умеет смотреть на мир их глазами, имитировать их речь. Всё это прекрасно, и всё можно резюмировать в одной фразе: банальная проза. Тон и манера повествования, которые навязли в зубах.

Вы говорите: «Много прекрасных, даже самых лучших вещей написано именно так». Допустим. Но ведь это как раз и означает, что больше писать так невозможно. Жила выработана — и особенно, когда речь идёт о людях простых, о простецких ребятах, рабочих, сельчанах. Тут писателю, я думаю, надо быть особенно настроже. Хочется для

пущего правдоподобия и полного эффекта присутствия самому заговорить их языком. Между тем вульгарный говорок, жаргон улицы в литературном отношении скомпрометировали себя донельзя. Таково коварство литературы: чем ближе к «жизни», тем сильнее запах литературы.

Но и у «самых лучших», у классиков реализма, дело обстоит не так просто.

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные.

«Скрипка Ротшильда» начинается как будто от имени гробовщика — словно бы воспроизводя его мысли. Но довольно скоро становится ясно, что писатель играет с нами в сложную и тонкую игру: его повествование одновременно и субъективно, и сверхсубъективно. Он внедряется в сознание действующих лиц и вместе с тем взирает на них извне, глазами метанаблюдателя, или, если хотите, очами высшего сознания.

Мне скучно читать прозу, лишённую внутренней дистанции. Она мне кажется слишком узкой, заезженной, порой даже примитивной, — и в конечном счёте неправдивой. Ведь правда и правдоподобие — разные вещи, не так ли, — если не противоположные. Чтобы поймать в свои сети неуловимую реальность, нужно научиться фасеточному, то есть множественному, зрению, которое одновременно было бы и зрением синтетическим; нужна — по крайней мере, в идеале — всеобъемлющая оптика.

Крепко жму руку. Ваш Г.

31.10.2007

Дорогая Лёля, ни о какой обиде не может быть речи, я и сам не всегда могу отвечать сразу. То же касается споров и возражений: какое тут может быть с Вашей стороны нахальство или самонадеянность? Ведь ясно, что Ваш корреспондент вовсе не рассчитывает на поддакивание. Речь идёт об обмене мнениями, об очередной (в который раз) попытке прояснить своё отношение к некоторым литературным явлениям, в данном случае на примере рассказов Мелихова. Я тоже подумал, что рассказы эти написаны давно; возможно, он пишет сейчас по-другому.

Конечно, то, что я говорю, говорится *pro domo sua*. Каждый, кто притязает на право считаться писателем (словечко-то само по себе, согласитесь, порядком скомпрометированное, см. главу XXXVI моего опуса. Кто-то рассказывал, что это был какой-то бродяга, шатался по двору писательского дома на Аэропортовской и кричал: *пи-ссатели*

сранные!), так вот, каждый писатель в конце концов вырабатывает свою систему предпочтений и отталкиваний, хоть и не всегда реализует её на практике. Я защищаю свою «систему».

И всё же можно сослаться на некоторый общий сдвиг, сам по себе давно уже не новый, связанный с той могучей революцией в искусстве, которую называют модернизмом. Дело, повторяю, не новое, принадлежащее истории, но игнорировать её урок невозможно. Речь не о том, чтобы вместо следования Толстому и Флоберу подражать Джойсу, или Кафке, или кому там ещё. Вы совершенно правы, когда говорите о том, что видите то и дело, «как, в надежде *хорошо, современно* выглядеть, изошряются люди, пытаясь использовать *более современные технологии*... и какая из этого ерунда получается при отсутствии главного — дарования (а часто ещё и ума...)». Речь не об этом. А в конечном счёте о том, что пришло новое время, изменилась эпоха, и заставляет протереть глаза. В литературе это, между прочим, — говоря кратко, — означает, что наивно-непосредственному повествованию пришёл конец. Точнее, оно переключалось в тривиальную литературу. Это почти закон: как слуги, убирая со стола после ухода гостей, допивают остатки вина из бокалов, так тривиальная словесность подбирает остатки былых литературных пиров.

Писатель с дарованием не может это не почувствовать. Повторение в искусстве — это ложь, оттого-то и неправдива литература кольпортажа. Вы, кстати, спрашиваете, где, каким образом скомпрометировала себя проза, имитирующая уличный жаргон, уголовную феню, стёб и т.п. Я отвечу: она стала рутинной. Другими словами, сделалась лживой. Вот Вам отличный пример того, как литература, притязаящая на максимальную близость к жизни, к житейской реальности, литература, которая силится разбить стекло, всегда отделяющее искусство от жизни, — превращается в нестерпимую литературщину.

И вот — новелла Мелихова: *В те поры... Верка в сатиновых шароварах бегала с мальчишками; шаровары мягким свисанием и покачиванием округляли, упрятывали её тонконогую вертлявость чертёнка... Шурка толкнул её в бок: гляди, Батрачиха зырит, а Верка отрезала без кутюр: Ну её в ж...*

Разве это не литературщина, скучная до мучительной зевоты, навязшая в зубах. Заметьте, я не ставлю под сомнение талант автора. В других текстах, в публицистике, например, талант этот проявляет себя необычайно ярко; я думаю только, что эти новеллы — промежуточный шаг, невольное следование моде. В любом случае Ваш выбор имеет свой резон.

Мы отвлеклись; что я хотел сказать? Конвенция классической прозы XIX века: кто-то повествует, описывает, разъясняет, выдаёт свой рассказ за жизненную правду, и читатель, в свою очередь, уславливает-

ся принимать этот вымысел за чистую монету, — конвенция эта с некоторых, теперь уже отнюдь не недавних, пор перестала работать, литературная действительность зашаталась, роман перестал быть, по слову Стендаля, «зеркалом, поставленным на большой дороге». Если это и зеркало, то какое-то искривлённое, ибо прямые, как оконное стекло, зеркала сегодня лгут. Старая дева, называемая повествовательной прозой, утратила невинность. Почувствовалась необходимость в какой-то менее однозначной, менее категоричной, зыблущейся истине, появилась потребность в «самодистанцировании», — понимаю, что изъясняюсь неуклюже.

Не подумайте, что я собрался сбрасывать с парохода классиков. Я ведь вообще больше архаист, чем новатор, если воспользоваться терминами Тынянова. И Чупринин, как Вы помните, отнёс меня к консерваторам. Просто — *так писать больше невозможно*.

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Поправляйтесь же, наконец.

03.11.2007

Дорогая Лёля,

я тоже люблю перечитывать или перелистывать старые, давно читанные книги и уж, конечно, далёк от того, чтобы считать классическую литературу XIX века тривиальной на том основании, что в наше время парадигма миметической (реалистической) литературы перекочевала в массовую словесность.

Да что там XIX век. Гораций (был, между прочим, — смешно сказать — со мной в лагере) остаётся для меня живым поэтом.

Но что-то в самом деле произошло с литературой, если зыбкая и ускользающая правда оказывается сегодня более правдивой и пронзительной, чем та, раз навсегда найденная, надёжная правда жизни, которую возвестили классики. Я уже говорил о парадоксе литературы: чем больше она старается подражать жизни, той жизни, какая предстаёт усреднённому сознанию, жизни за оконным стеклом, — тем больше эта литература выглядит — по крайней мере, в наше время — искусственной. И наоборот: как и в новой живописи, действительность, представленная словно бы в нарочито искажённом, на первый взгляд — дико неправдоподобном виде, способна схватить правду жизни, попасть в самую сердцевину реальности, до которой, как мне кажется, в наши дни не в состоянии дотянуться традиционная литература. Кафка с его фантазмагориями оказывается сверхреалистом.

Но тут встаёт вопрос о читателе. Зачем, собственно, нужна литература? Кому она нужна? Вы задаёте этот вопрос. Примите то, что я говорю, с большими оговорками — если вообще это приемлемо. Дело в том,

что я всегда был сторонником старого тезиса: *l'art pour l'art*. Да, вот именно: искусство ради искусства. Плачевные результаты следования этому завету налицо.

В романе «Доктор Фаустус», в одном месте, Леверкюн говорит своему другу, что музыку, собственно говоря, даже и нет необходимости исполнять: однажды созданная и записанная, она, подобно математической структуре, самодостаточна. (Я передаю этот разговор своими словами). Произведение искусства существует — и basta.

Конечно, до такого радикализма мы не дошли. Мы всё-таки (я говорю о воображаемой клике писателей, которые всё ещё пытаются отстаивать свою независимость), стыдясь, тайком, в глубине души надеемся, что кто-то нас прочтёт. Наша гордая суверенность разлезается, как старые портки. Но зато целы кальсоны. Итак, что же делать, если то и дело оказывается, что попытки противопоставить себя литературе, уверенно пользующейся старыми и, как нам кажется, изжившими себя приёмами читабельности, — обрекают нас на *нечитабельность*. Существует литература писателей и литература читателей. В нашем случае это не только одно и то же — куда там: это просто два оскаленных друг против друга, непримиримых стана.

Я тут на днях прочёл небольшую статью Бориса Дубина в последнем номере «Неприкосновенного запаса». Статья называется «О границах в культуре, их блюстителях и нарушителях, изобретателях и картографах». Я нашёл в ней кое-то относящееся к авторам моего пошиба. Вероятно, у Вас нет времени просматривать этот журнал. Поэтому приведу выдержку. Обратите внимание на последний абзац (с цитатой Верлена).

Сегодня самостоятельности литературы фактически не существует, вместе с тем изменилась и ее социальная принадлежность, ее роль. Получается, что современная литература, если верить таким магазинам, как «Москва», публике, авторам и распространителям, которые за ними стоят, — это то, что, условно, предлагают глянцево-журналы. В магазине «Москва» есть полки, на которых стоит литература, давно входящая в классику XX века (скажем, романы Камю). Но эта классика, как предполагается, неизвестна или не значима, «ничего не говорит» пришедшим в магазин людям, если ее не отрекомендует, например, журнал «Elle», то есть не поставит на ней свою метку, которую они сумеют считать и поймут, что за этим стоит.

Литература сейчас не самостоятельна еще и в том смысле, что словесность стала продолжением известности уже знакомых нам персонажей: мы знаем их из массмедиа — это любые типы звезд. Это могут быть раскаявшийся вор или удачливый кинорежиссер, порнозвезда или человек особой судьбы, описавший свой опыт существования в со-

временном мире (Пушкин еще только начинал заговаривать о первых образчиках такого рода словесности вроде мемуаров Видока и прочих, сегодня она окружает каждого). Так или иначе, авторы уже заранее отмечены как «звезды», и словесность является продолжением их репутации, их маски и роли. Становясь популярными, они могут, далее, выступать не только в качестве авторов, но и рекомендателей: «Соловьев или Ксения Собчак рекомендует...» Предполагаю, что литература подобного рода не собирается в книжных шкафах, у нее какая-то иная судьба: ее передают тем, кто помоложе, выбрасывают после прочтения, оставляют в отеле, в котором отдыхают, и так далее.

И наконец, несамостоятельность литературы обусловлена сегодня тем, что она стала своего рода «приставкой» массмедиа, без которых она не могла бы и состояться. Массмедиа, собственно, и структурируют теперь все общее, публичное поле, объединяя включенных в актуальную культуру, словесность и искусство людей, укрепляя их роли и показывая нам их маски. Без указаний массмедиа, без их поддержки сегодня не может состояться не только ни один политик (по крайней мере, в России точно), но и ни один писатель. Разумеется, автор может избрать себе совсем другую, внелитературную судьбу «Все прочее — литература!»): подполье, неизвестность, если ему противно барахтаться во всем этом, он вполне может писать стихи «в стол» или печататься тиражом 150 экземпляров. Но до тех пор, пока его не поместили влиятельные массмедиа, он не «писатель» (Мандельштам в «Четвертой прозе»: «Какой я к черту писатель!»), хотя сам может считать совершенно по-другому.

Иногда кажется, что мы тут, в эмиграции, — счастливы.

Жму руку. Ваш Г.

05.11.2007

Дорогая Лёля, писатели в России не склонны теоретизировать, вообще не любят обсуждать общие проблемы литературы, не любят «философию», полагая — возможно, не без некоторого основания, — что философствование о литературе не только «не наше дело», но заставляет подозревать отсутствие таланта, подобно тому, как богословские умствования изобличают недостаток веры. «Наше дело — писать, а не рассуждать». Может быть, одна из причин, почему в России было так мало настоящих эссеистов, почему и сегодня, когда слово это вдруг стало модным, авторы, называемые эссеистами, — по большей части барахло.

А вот мы с Вами отважно углубились в эти дебри.

Вы упомянули о пинтическом фестивале-форуме под руководством «некой Татьяны Лукиной». Я с ней знаком и был однажды на таком форуме в Гастайге. Выступал Боря Шапиро. Выступала Оля Бе-

шенковская — на мой взгляд, неудачно. Одно время я с ней переписывался. Она была, как мне кажется, даровитым поэтом и никуда не годным публицистом.

Вы сомневаетесь в том, что новая литература способна убеждать своей жизненной правдивостью не меньше, чем реалистическая литература позапрошлого века. Но тут же — Ваше признание в любви к Прусту, а ведь это совсем не Бальзак, не Золя, не Толстой или кто там. Ирония эпопеи Пруста (если хотите, насмешка над читателем) состоит в том, что все десять томов — процесс припоминания, попытка возродить ускользнувшее прошлое, и вот, наконец, когда она увенчалось успехом, когда вновь обретено утраченное время, можно будет приступить к делу — начать писать роман. Какой же это будет роман? Вероятно, что-нибудь наподобие Бальзака.

О Кафке осмелюсь сделать такое замечание. Мучительный писатель, бесспорно. Но, прочитав (перечитав недавно) «Превращение», *Die Verwandlung*, я почувствовал, какая это совершенная, доставляющая эстетическое наслаждение проза.

Ваше письмо вообще очень интересно. Вероятно, мы с Вами как раз и принадлежим к той породе людей, для которых занятие литературой есть занятие литературой и ещё что-то. А именно — род теодицеи. Попытка одолеть хаос и тем его оправдать. Это хаос истории и хаос собственной жизни. Её, эту жизнь, нужно тоже каким-то образом оправдать, — каким же? Сочиняя стихи, кропя романы. Ваш Г.

11.11.2007

Дорогая Лёля,

«...не российский жанр... и во времена русской классической литературы его там ещё не было». Нет, это другая крайность, потому что в России был Герцен. Можно назвать и других: Чаадаева, например; «Зимние заметки...» Достоевского; ещё кое-что, немного, но всё-таки.

Герцен играл в моей жизни огромную роль. Мы жили в эвакуации, в эти годы я сам был писателем, притом весьма плодовитым, хотя по большей части не имел времени заканчивать свои произведения: их теснили новые замыслы и увлечения. Я был постоянным (и, кажется, чуть ли не единственным) посетителем библиотеки в селе Красный Бор на Каме, набрёл там на толстый том избранного. Прочитав (с восторгом) «Письма с Avenue Marigny», первое из «Писем об изучении природы» и другие вещи, я проникся убеждением, что нельзя писать просто так, а надо писать блестяще, и написал в этом духе контрольную работу по химии, мне было 15 лет.

Вы упомянули нынешнего папу римского. Вот ещё эпизод: я переводил кое-что из его скучнейшего, капитального труда о христианской догматике (тогда Рацингер был кардиналом и главой Священной Кон-

грегации по делам доктрины и веры в Ватикане — института, который наследовал Святой Инквизиции). Это было в последние годы жизни в России, я был связан одно время с компанией замечательных людей, интересовавшихся современной западной теологией, и переводил для них и для самиздата книги Ганса Кюнга, который рассорился с Римом, основателя «политической теологии» И.-Б. Меца и других.

Борхес, как Вы, возможно, помните, называл богословие фантастической наукой. Правда, его занимали больше отцы церкви и ересиархи эпохи раннего христианства, — круг интересов, который мне очень понятен, хотя сам я в этих делах полный профан. Мы с Вами толковали об истине в литературе. Меня совершенно не интересует вопрос, насколько истинны или ложны теологические построения (другой пример — астрология), и раз уж я вспомнил Борхеса, то вот цитата из одного интервью: писатель говорит об «уважении к эстетической ценности религиозных или философских идей... того неповторимого и чудесного, что таится в них». Эстетической ценности, а не какой-либо иной.

Я ушёл куда-то в сторону.

А вот теперь о редакторских невзгодах... Мне не раз хотелось (когда мы издавали журнал «Страна и мир») написать «Записки рассерженного редактора». Журнал был нелитературный, но многое в Ваших словах напомнило те славные времена. Журнал платил приличные гонорары, это быстро привлекло к нам полугодных авторов. Но не только. Журнал занимался среди прочего правозащитными делами, свои работы публиковали известные в то время люди, благородные и отважные, которые многим пожертвовали ради своих убеждений, испытали реальные преследования — на фоне всеобщего молчания, трусливого конформизма и лизоблюдства.

Что же произошло, когда воздвиглась трибуна, появился свободный, независимый, либеральный и демократический журнал, противостоящий не только гнусному режиму — это уж само собой, — но и оголтелому национализму, православно-патриотическому мракобесию, всему тому, что тогда задавало тон в эмиграции, а впоследствии должно было расцвести в послесоветской России? Произошло то, что мы столкнулись с тяжёлым наследием самиздата. Мало сказать, что подпольные публицисты и философы не привыкли к тому, чтобы кто-то их редактировал, — многие попросту не понимали, зачем нужно работать над текстом. Достаточно изложить свои мысли, излить свои эмоции. Иные вообще не умели писать как следует. И когда их сочинения приходилось править, они были возмущены. Как, для того ли они вырвались в свободный мир, чтобы здесь их ожидала новая цензура? В СССР редактор был важнейшим звеном в цепи шлюзов и фильтров, через которые проходил и процеживался любой текст, предназначенный для

печати, от романов и стихов до инструкций пожарной охраны и сводок погоды. Редакционная правка в сознании наших авторов ассоциировалась с цензурным контролем.

Слава Богу, мне не приходилось иметь дело с поэтами, вообще с мастерами собственно художественного цеха. Вы скажете: большая разница; верно. Вы упомянули трёх стихотворцев. Касательно покойной Ольги Бешенковской мы, по-видимому, одного мнения. Впрочем, речь шла не о её поэзии. Не знаю, застали ли Вы в живых журнал «Родная речь», который она издавала. Там был опубликован (а также в «Октябре») её очерк не очерк, фельетон не фельетон, словом, довольно обширный мемуар о новой еврейской эмиграции во Франкфурте, где Оля поселилась с большим ребёнком, — грубое и глупое сочинение, написанное сквернейшим языком. Оно вызвало некоторый шум, о котором сейчас вспоминать неинтересно.

Другой поэт — Боря Шапиро. Не буду с Вами спорить, Вам виднее.

И, наконец, Вадим Фадин. Мир тесен. Однажды я был — не то чтобы «вещал», но разговаривал — в гостях у Вадима и Анны на их «салоне» (более или менее регулярные встречи литераторов и гостей), мне у них было хорошо. В те годы я время от времени наезжал в Берлин, жил в Литературном доме на Фазаненштрассе. Кроме того, мы виделись регулярно на конференциях ПЕН-клуба, последний раз, правда, я не мог поехать. Однажды, это было в монастыре Банц под Бамбергом, Фадины показали мне книжку стихов, выпущенную недавно издательством «Алетейя», я читал их вслух. Стихи мне понравились.

Вы прислали прелестный стишок. Особенно это «а трясця їм»! (Поэтический аналог ненаписанных «Записок рассерженного редактора». Почему бы не напечатать?)

К нам приехал (всего на одни сутки) наш сын. Так что пишу Вам с изрядным запозданием. Не следуйте дурному примеру. Жму руку, и всё такое. Ваш Г.

15.11.2007

Дорогая Лёля! У меня дни, полные хлопот, изредка пытаюсь чуть-чуть заняться литературой, но это именно чуть-чуть.

Сейчас поздний вечер. Я встаю рано. Под вечер меня одолевает патологическая сонливость, похожая на сонливость у больных с синдромом Пиквика (есть такой), но затем это проходит. И наступает время «полубессонниц, полудрём», о которых сказано у Пастернака. Замечали ли Вы, что русских поэтов можно классифицировать по месту жительства? Были поэты усадебные, избяные, городские. Пастернак, единственный из великих поэтов, — дачный поэт. Существует дачное чувство природы, дачный взгляд на «народ» («Превозможная обожанье, Я наблюдал, боготворя...»), наконец, существует дачное мировоззрение.

Сергей Соловьёв (вероятно, знакомый Вам) прислал обложку своей новой книги. Мне трудно отнестись всерьёз к его творчеству, но несколько фраз — маленький литературный манифест — как-то задержали моё внимание. Они как будто претендуют на своеобычность, но на самом деле, как мне показалось, довольно типичны для целого поколения полупрозаиков, полупоэтов. (Надо было бы сказать: не прозаиков, но и не поэтов.) На обороте книги написано, вернее, начертано:

Литература не медведь на поводке цыгана
И не способ самовыражения.
Нас сносит речь. Доверяясь её
Потоку, мы течём вспять, в дословесное,
тварное состояние.
Любовь к слову хороша для филологии.
Литература — любовь слова к автору.
Любовь против течения.

Вы скажете — галиматья, но я тут усмотрел, как Полоний в словах Гамлета, некоторую систему. Как Вам нравится это «нас сносит речь»? Или — «литература — любовь слова к автору»? Но если нет охоты комментировать эти выспренности, то и не надо.

Что Вы и как Вы? Писателям полагается задавать дурацкий вопрос: над чем Вы сейчас работаете. Редактора можно спросить: над кем Вы сейчас работаете?

В Вашем письме есть загадочная фраза: «А прозу могу прислать». Какую прозу?

Жму руку и... и снова жму руку. Ваш Г.

20.11.2007

Дорогая Лёля,

жена моя снова с больницы, я вернулся оттуда час тому назад. К несчастью, я подхватил что-то вроде гриппа. Пустяк, разумеется, но надо быть очень осторожным, чтобы не заразить Лору, особенно в виду возможной новой операции.

Интересно, что Вы сочили литературную деятельность Серёжи Соловьёва пагубной, для меня она на грани курьёза. Я тоже познакомился с его творчеством (а затем и с ним самим) благодаря Алику Мильштейну, который, по-видимому, был очарован его кашеобразной полупрозой. Но увлечение, кажется, прошло.

Интересно и то, что Вы упомянули об Иосифе Бродском. Разумеется, расстояние от него до Сергея Соловьёва измеряется световыми годами. Но вот цитата из нобелевской речи.

Конечно же, человеку естественнее рассуждать о себе не как об орудии культуры, но, наоборот, как об ее творце и хранителе. Но <...>

кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голо- сом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существо- вания.

Эти мысли (которые Иосиф развивал не раз) — дальний отклик шиллеровского *die Sprache dichtet*, — попробуйте-ка перевести эту фра- зу, — и мне всегда казалось, что для стихотворца они, эти мысли, про- стительны. Поэт плывёт в волнах языка. Но Бродский и был Поэтом, проза удавалась ему хуже. Для сочинителя прозы я нахожу в словах «диктат языка... не язык является его инструментом, а он — средством языка» ту же пагубу которую Вы справедливо усмотрели в декларациях Соловьёва. Во всяком случае, отношение к языку должно быть, как мне кажется, более сложным

В особенности, когда речь идёт о русском языке. Наш язык (тут я, к несчастью, цитирую самого себя), по типу своему архаический, сохра- нил черты древних языков, но утратил их лаконизм и перевёл потен- циальную энергию в кинетическую. Это язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы ограничиться движением бровей. Наш язык переполнен плеоназмами, он утомляет своим многосло- вием. Наш язык развращает писателя. Пишущие по-русски не замеча- ют, что их изделия похожи на мокрое бельё, которое забыли отжать.

Такой язык нужно взнуздывать, держать его в ежовых рукавицах, чтобы он не вздумал диктовать писателю свою волю. Существует веч- ный соблазн — тут мы с Вами, по-моему, сходимся — воспроизвести ха- ос жизни средствами самого хаоса. Хаотическим языком, на котором, как на санках, сочинитель как раз и съезжает в «дословесное», в глос- солалию, напоминающую речь душевнобольного на той стадии психи- ческого недуга, когда некогда стройный бред распадается.

С прозой Вадима Фадына я знаком, он когда-то прислал мне свой роман.

Крепко жму руку. Ваш Г

22.11.2007

Дорогая Лёля,

я всё ещё сижу дома, но с гриппом дело, кажется, идёт на поправ- ку. Вчера Лора была оперирована, прождала своей очереди (и я про- ждал) целый день до позднего вечера. Я не могу к ней ехать, сижу, жду звонков.

В дарственной надписи на своей последней книге, которую он прислал мне, Сережа Соловьёв сообщает, что едет в Индию надолго, для организации творческого центра. Всё-таки удивительный человек. И, кстати, по личному впечатлению, человек, не лишённый своеобраз- ного шарма.

Между прочим, не смогли бы Вы как-нибудь хитренько, поженски, уговорить спонсоров выпустить сборник «Зарубежные Записки», куда вошли бы наиболее интересные вещи из журнала за истекшие три года. По-моему, это не такая уж плохая идея. Да и для рекламы полезно.

Насчёт Бродского — можно было бы сказать, что в своей поэтической практике он весьма редко следует завету «не мы стихотворцы, а язык». Теорию диктата, которая сама по себе поэтична, надо понимать в более общем, высшем смысле. Соблазн поехать на салазках у поэта, конечно, куда сильнее, но и прозаик — раб языка. Бунтующий раб.

Я пытаюсь, несмотря на всё, что-то делать, сочинять. Как-то недавно я перелистывал-перечитывал мемуары Нины Берберовой и наткнулся на одно место, где она говорит, что трагедия литературной эмиграции (имея в виду Первую волну) была та, что эмиграция не создала своего стиля. Она хотела быть — в лице своих знаменитостей — только продолжением дореволюционной словесности. Исключение — Набоков, пожалуй, и Цветаева. Я бы добавил «Вечер у Клэр», может быть — судорожную прозу Поплавского.

В этом сквозит тоска по антиутопии. *Утопией* было желание писать так, словно ничего не случилось, словно, переселившись в берлинские или парижские квартиры, квартирки, каморки и чердаки, писатели и поэты дописывали недописанное, макая те же перья в те же чернильницы. *Антиутопия* — полная автаркия от прошлого. Тут что-то мне показалось похожее на нынешнюю нашу ситуацию. Хотя нужно сказать, что и люди Третьей волны очень часто отрешивались от недостойного, как им казалось, прозвища «эмигранты», а уж те, кого стали называть Четвёртыми, по большей части, не так ли, вовсе не считают себя эмигрантами.

Жму руку. Ваш Г.

24.11.2007

Дорогая Лёля, ещё раз — с днём рождения!

Возвращаюсь к Вашему письму. Близок ли С. Соловьёв (уже не раз ездивший в предгорья Гималаев) к кругу поклонников Блаватской, не знаю; в его произведениях и выступлениях, во всяком случае в тех, которые мне знакомы, отсылок к теософии как будто не было.

Когда-то в Москве я познакомился с наследницей Николая Рёриха (вероятно, их было не меньше, чем детей у лейтенанта Шмидта), был даже, кажется, в качестве редактора журнала «Химия и Жизнь» у неё на квартире, где находились некоторые полотна славного предка. Слышались замечательные слова: медитация, астральное тело... Ко всему этому я не в состоянии относиться всерьёз. Другое дело — Индия Духа в «Трамвае» Гумилёва.

А ещё много раньше я посещал в университете факультативные занятия по санскриту, которые вёл известный филолог М.Н. Петерсон, сын одного из двух ближайших учеников Николая Фёдорова (о котором в те времена никто из нас, само собой, слыхом не слыхал). Это был язык с чрезвычайно сложной, рафинированной, выделанной, как старинное резное дерево, грамматикой.

Я тоже думал о том, что понимала Берберова под стилем эмиграции. Скорее всего — литературную независимость от только что оставленных письменных столов в Петербурге и России. Что касается эмиграции и отчасти — Вашего поколения уехавших из России, то я, конечно, сужу о нём слишком уж с налёту, ведь я знаком с очень немногими. Кроме того, мне интересней говорить об эмиграции не столько как об общественном явлении (я ведь и сам формально давно е не эмигрант), сколько с точки зрения человеческой и психологической. Да я уже и писал об этом. Для меня эмигрант — это титул. Это клеймо судьбы, которое остаётся на всю жизнь. И мне, как Берберовой, хочется думать, что писатель, носящий этот титул, вправе считать себя — пусть даже в единственном числе — представителем особой, безавшей к чёрту на рога, независимой русской литературы. Право, если бы когда-нибудь, что теперь уже маловероятно, мне пришлось снова приехать в Москву, я был бы не прочь щеголять на улицах, в редакциях и в «гостиных» с большим нагрудным знаком эмиграции на груди в виде звезды Давида, с профилем Овидия в центре и в обрамлении колосьев.

Завтра Миша Блюменкранц устраивает в клубе «Город» вечер альманаха «Вторая навигация». Будете ли Вы там?

Как всегда, Ваш ГФ

26.11.2007

Что бы Вам сказать хорошего, дорогая Лёля? — погода повеселела, даже повеяло верхнебаварской осенней весной, обычное дело для нашего климата: существует, как у порядочных людей, четыре времени года. Но внутри каждого имеются свои три или четыре; матрёшечный какой-то климат, Вы, вероятно, это заметили. Что касается Вашего слуги, то симптомы гриппа прошли, нет больше озноба, нет субфебрилитета, нет головной боли и преувеличенной веры в литературу, всё постепенно, как в шатком вагоне, утрясается на своих местах, вот только некоторая немощь — физическая и, что без труда диагностируется, умственная. Завтра надеюсь поехать, наконец, к Лоре. Сегодня была неприятность: куда-то делась телефонная карточка, которая вставляется в аппарат на больничном прикроватном столике, персоналу отделения заниматься этим некогда, пришлось просить наших кумовьёв приехать в Гарлахинг и уладить. Что они и сделали. Состояние и самочувствие Лоры по-прежнему плохое; да и вообще всё плохо; такие дела.

Любопытное выражение в Вашем письме: «как бы играем в бисер». Я помню, как я первый раз прочёл этот роман, это было очень давно. Читал с восторгом. Между тем книга (и сама центральная метафора) с двойной подкладкой. Речь идёт о культуре, утратившей, как в александрийскую эпоху, творческий импульс и даже запретившей себе творить. Чем заняты касталийцы? В первом русском издании Гессе были предложены два альтернативных перевода для *Glasperlenspiel*: «игра в бисер» и «игра стеклянных бус». Нужно было, конечно и сохранить замечательное звучание и переличатый блеск заголовка. Но буквальный перевод вскрыл бы ещё одну сторону смысла: «игра в стеклянные жемчужины» или даже «игра стеклянных жемчужин», которые блестят не хуже настоящих. Игроки перебирают бусины и выкладывают узоры, но эти символы унаследованной культуры, некогда полной красоты и смысла, — поддельные, этот жемчуг фальшивый.

Выходит, и мы, философствующие о вещах для нас жизненно важных, манипулируем какими-то имитациями?

Сменим пластинку. Вчера мне позвонила баронесса Беата фон Ау, сообщила о том, что её муж умер. Майнрад, полное имя *Meinrad von Ow auf Wachendorf*, был мой старый друг, я знал его (и его дочерей) с самых первых времён нашей жизни в Германии, много раз бывал у него. Согласно некоторым полулегендарным известиям, он был потомком Гартмана фон Ауэ, из трёхзвездия великих миннезингеров на переломе XII и XIII веков. (Одного из них, Вальтера фон дер Фогельвейде, я включил в мою злополучную антологию). Майнрад был старше меня, но с каждым годом эта разница всё больше стиралась. Всё же он был на войне, а я не был. Он был юношей тяжело ранен на Восточном фронте, выжил, но остался хромым. По профессии он был архитектором, при мне уже давно оставил эту работу, занимался немецкой и европейской историей, публиковал статьи и книги. Между прочим, однажды, собрав солидный материал, написал любопытную статью о советских орденах; русского языка он не знал и смеялся, узнав от меня, что малопочётный орден «Знак Почета» в народе именовался «Весёлые ребята». Он был небольшого роста, казался хилым, но был человеком отважным и даже немного авантюрным. Много ездил и сумел, например, совершить невозможное: пробился в Северную Корею, государство, заткнувшее, как Вы знаете, глубоко за пояс наше бывшее сталинское отечество. Умудрился с немалым риском сделать там много снимков, потом устроил у себя дома вечер с уникальными диапозитивами. В другой раз перешёл, хромывая, с каким-то случайным знакомым границу Коста-Рики и Никарагуа, где существовал весьма мрачный режим; в Никарагуа на них напали бандиты, у приятеля отняли фотоаппарат, а Майнрад отбился.

Я мог бы многое о нём рассказать. Он был католиком, как почти вся баварская знать, человеком консервативных убеждений, весьма не

жаловал «левых», равно ненавидел нацизм и коммунизм. Ему нравилось в одной моей книжке выражение «марксизм, теология умершего Бога». Был постоянным автором правоконсервативного журнала «Критикон», с редактором этого журнала я как-то познакомился, и с тех пор безо всяких своих заслуг несколько лет бесплатно получал этот журнал. Когда его однажды увидел у меня Йенс Йессен (который был тогда молодым лектором издательства DVA, а мы были друзьями), то страшно заругался: «Я эту компанию знаю! Я их знаю. Мой дед был повешен!» Имя деда, действительно, фигурирует в числе видных участников заговора 20 июля.

Ну вот, малость развлёк Вас, дорогая Лёля. Жму Вашу честную руку! Ваш Г.

10.12.2007

Дорогая Лёля, наконец-то пришло от Вас письмо, я ждал его каждый день, вернее, каждый вечер, потому что возвращаюсь обычно из больницы во второй половине дня. Особая благодарность за концовку письма, очень меня тронувшую. Я пока справляюсь.

Дела наши неважные, как я Вам уже писал. Сегодня Лору перевели в паллиативное отделение, где проводится только симптоматическое лечение — другие возможности терапии исчерпаны — и хорошо налажен уход. Друзья и прежде всего Густава Эвердинг, вдова известного в Мюнхене музыкального и общественного деятеля, основательница этого отделения, устроили этот перевод.

Ваш отчёт о пире Лукулла (или, может быть, Валтасара?) произвёл на меня немалое впечатление. Да ещё в дополнение к яствам — «вся русская литература». Правда, судя по Вашим замечаниям, там было не до литературы. Не знаю, как бы я сам чувствовал себя, окажись я вместе с Вами среди пирующих. Вероятно, держался бы за Вас, чтобы не потеряться, и чувствовал бы себя не только чужим, но и вовсе не принадлежащим к русской литературе, по крайней мере в таком толковании этого термина. Но за Вас, Лёля, я, действительно, очень рад, и ещё рад и горд за журнал. Итак, мы, оказывается, живём в глуши, в каком-то забугорном Царёвококшайске, а между тем успешно делаем своё дело. А я-то по наивности думал, что, наоборот, Россия — это задворки мира и что бегство в широкий мир как раз и есть выход из тупиковой ситуации. Эмиграция, не правда ли, — лучшее место для занятий литературой. Для сочинителя, во всяком случае. Писатель должен жить в стороне от общества и подальше от своего народа.

Кстати: какое вино Вы пили?

Читая Ваш рассказ о Сане Лурье, я вспомнил Власа Дорошевича. Можно остаться в литературе и культуре, и не пища многостраничных романов.

Юра Малецкий не получил вожделенную премию — что ж. Жаль, конечно. (Вы пишете, что он очень стеснён материально.) Но как писателя его от этого, будем надеяться, не убудет.

Могу Вам открыть секрет, о каком таком подарочке говорила, как я подозреваю, Лена Шубина. Она мне звонила, и я ей звонил. Она имела в виду возможную оказию. Дело в том, что книжка вышла. Лена мне об этом сообщила позавчера, собиралась послать с Вами экземпляр для автора. (Обычай автоматически и бесплатно высылать авторские экземпляры в России отменён.) Мне, конечно, сейчас не до книжки, но я надеюсь, что выход незначительным тиражом романа, который на книжном рынке, по всей вероятности, вовсе не будет «присутствовать», по выражению нашего друга Чуприна, не помешает публикации в «Зарубежных записках». А вот то, что Вы не отказались от абсурдной мысли предложить роман для премии, удивительно.

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Что ещё хорошего Вы увидели в Москве?

Ваш Г.

12.12.2007

Дорогая Лёля, я только что вернулся из больницы. Ситуация без перемен.

Насчёт пиров Валтасара... меня ведь и раньше, давно ещё, в Москве, вместе с нутряной уверенностью, что такая огромная страна не может взять да и пойти ко дну, что всякий раз, когда крах казался неминуем, ленивый русский Бог просыпался, чтобы выволить свою несчастную страну, авось проснётся и ныне, — всякий раз вместе с этой уверенностью, абсурдной верой в вечность России, буравил вопрос: на чём всё это держится? Казалось, подгнили сваи — и вот-вот всё повалится в тартарары. Сейчас такой вопрос как будто не стоит на повестке дня. И всё же, когда я слышу о каких-то невероятных богачах и богатствах (кто, кстати, финансировал ваше пиршество?) и рядом с ними жуткой нищете, о взлёте цен, хищнической экономике и новых вооружениях, об этих судорожных попытках доказать кому-то там на Западе, что мы по-прежнему великая держава, и сами с усами, и нас не замай, — то кажется, что на стене опять горят эти знаки.

Пили вино с этикеткой *château*. Собственно, это слово означает замок, но часто так называют просто красивый старинный дом где-нибудь на природе. Вин разных сортов с таким обозначением, из такого-то винодельческого хозяйства, великое множество. Ба! уж не тем ли славным *Châteauneuf du Pape* Вас потчевали на пиру муз и козлоногих фавнов? («Каким вином нас угощали...»).

Между прочим, я там бывал, на виноградниках близ Авиньона и городка Оранж, откуда меня и возили туда, и пил это вино (которое так любит Лора) с сыном хозяина, в прохладном полуподвале, перед огромными бочками.

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.
Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

Странная заминка. Конечно же, надо выбрать «шатонёф дю пап».
Жму руку. Ваш Г.

14.12.2007

Не помню, дорогая Лёля, каким поездом мне приходилось ездить в Киев, но помню другое: в 45 году я был рабочим на газетно-журнальном почтамте, на улице Кирова, ныне снова Мясницкой, наша экспедиция называлась «Отправка». Мешки и пачки с печатной продукцией сыпались из люка на лоток, их сгружали, регистрировали, затем на конвейер и вниз, на платформу, где ждали фургоны, — на вокзалы, в почтовые вагоны дальнего следования, и я знал наизусть все тогдашние маршруты: из Москвы — чётные номера, назад — нечётные. Утренний киевский был № 2, из Киева в Москву — № 1.

Могу сказать Вам: когда начался распад Советского Союза, мне тоже стало не по себе. Что-то похожее — как ни странно — на осиротелость. Казалось бы, что нам Гекуба? А вот так. Наше бывшее гигантское государство было сооружением архаического типа — Византия, Рим. Срок жизни классических империй — 1000 лет. Как и они, оно приблизилось к роковому порогу, даже переступило его. В годы революции как будто уже началась агония. Большевики сумели продлить этому монстру жизнь почти на три четверти века. Мне казалось, что происходит нечто сопоставимое с крушением Римской империи, я даже написал роман на эту тему, под названием «После нас потоп».

Да, конечно, мы привязаны к России — языком прежде всего. Вы спрашиваете, хотел бы я писать на «прекрасной, но мёртвой» латыни. Но ведь язык моих сочинений — это и есть латынь. Не знаю, прекрасная ли, но в том, что она воспринимается «там», и не без основания, именно так — как архаичная и полумёртвая, как русский язык, на котором уже никто не говорит, да, пожалуй, и не пишет, — в этом не приходится сомневаться.

Я однажды написал статью для нью-йоркского «Нового журнала» по поводу дискуссии о языке, которую они намеревались там затеять. Вот, с Вашего разрешения, автоцитата:

Все помнят слова Набокова: замороженная клубника. Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

В Москве я слышал, видел, обонял язык, на котором уже не говорю. Слова-окурки, язык, пахнувший выгребной ямой. Сумел бы я воспользоваться художественными возможностями наречия, на котором изъясняются соотечественники — представители нового люмпенизированного общества? Вопрос. Я житель острова, который стремительно опускается на дно. Разумеется, на смену умирающей культуре идёт другая, но ей потребуется много лет, если не столетия, чтобы созреть.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сберечь язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, эмигрантам 20-х и 30-х годов. Их, как и нас, ужасал жаргон метрополии. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения теряет отвратный запах, становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простонародья, язык гостей Тримальхиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не *aurea latinitas* Цезаря и Цицерона. Есть прекрасные стихи Семёна Липкина о «ломовой латыни молдаван». Но для этой трансформации потребовались века.

Теперь об этом: «Я пью за военные астры...» Бахромчатые эполе-ты, мне казалось, что я сам о них догадался. Ваше, Лёля, толкование выглядит убедительней. Но обратим внимание на то, что сказано сразу в следующей полустроке: «...за всё, чем корили меня». Чем меня корили? На вопрос, что такое был акмеизм, поэт, как Вы помните, ответил: «Тоска по мировой культуре». Волшебное стихотворение, одно из самых замечательных в русской поэзии, — вполне с Вами согласен, — говорит о том же. Он вспоминает культуру Петербурга, который был самым европейским городом в стране. А там и Европу. Портреты героев 1812 года в Эрмитаже, в галерее Доу, и Париж XX века. Испанию и стада, которые осенью спускаются с альпийских лугов (в швейцарских селениях это целый праздник — я сам видел). И он было уже поднял бокал, но медлит, не зная, которое из двух вин, итальянское или фран-

цузское, предпочесть. Поэзию, как у Гейне, венчает улыбка. А на дворе страшный год коллективизации в наглухо запертой стране. Ночная темень, сладко пахнет белый керосин...

Стихи Бродского я узнал от Вас впервые. Они даже как будто не совсем в его манере, что не делает их менее прекрасными. Видели ли Вы, кстати, фильм Анджея Вайды, где первые кадры — конный уланский полк проходит через польский городок?

Жму руку. Ваш Г.

17.12.2007

Дорогая Лёля,

сегодня утром я проводил моего сына до платформы S-Bahn, электричка до аэропорта, и стало так тоскливо, когда он уехал. Потом я отправился в больницу...

У Вас всё ещё аврал?

«На майдане» — это такое хрестоматийное стихотворение Павло Тычины? Был ли Тычина серьёзным поэтом?

Если Вы помните, я включил в свою Антологию (которая удостоилась в России самых презрительных отзывов, и уж не знаю, купил ли её кто-нибудь) стихотворение Вальтера фон дер Фогельвейде «Под липой». У него есть не менее прекрасные стихи — элегия, которая начинается словами:

Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr!

Ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?

(т.е.: Увы, куда исчезли все мои годы. Приснилась ли мне моя жизнь, или это правда?)

Это средневековый *Mittelhochdeutsch*, но в общем-то всё можно понять и наслаждаться этой музыкой, этим лёгким перебоем ритма во второй строке. Ах, Лёля, учите как-нибудь хоть немножко немецкий, будем вместе читать и обсуждать.

Пишу Вам на этот раз совсем кратко, не следуйте дурному примеру. Ваш Г.

28.01.2008

Дорогая Лёля,

последнее письмо к Вам, — я посмотрел в интернете, — отправлено было за несколько часов до смерти Лоры. И вот уже прошло больше месяца.

Я всё ещё никак не могу приспособиться к европейскому суточному ритму — не говоря о том, что вообще не могу свыкнуться с потерей. Днём засыпаю чуть ли не на ходу, ночью бодрствую. Или начинаю дре-

мать, и мне кажется, что Лора входит в комнату. Не спи, не спи, художник... Это было написано в покое и уюте, на благоустроенной даче, где поэт, вероятно, отлично выспался.

Вы просили посмотреть роман Бусина. По первому впечатлению, это талантливый писатель. И умелый: похоже, что не первая проба пера; а если первая, то тем лучше. Видите, и самотёк может кое-что принести. Хорошо, что Вы его напечатали. Кстати: там есть испанские фразы (стр. 133 и др.). По правилам испанской орфографии, знак вопроса в вопросительном предложении ставится дважды: спереди в перевёрнутом виде, сзади нормальный.

У Бенционовны, к несчастью, две ошибки в иностранных словах (а ведь она, кажется, учёная дама). Вместо *La condition humain* нужно: *humaine*, вместо *das Sorge* — *die Sorge*. Оба слова женского рода.

Её диатриба с Губайловским — первое, что я прочёл. (Дурная привычка читать журналы с конца). К большому сожалению, я не знаком почти ни с одним из писателей, о которых идёт речь. Правда, мне показалось, что это, должно быть, скучноватая литература. Винываты в этом, собственно, не сами писатели, а Роднянская и её собеседник. Бенционовна рассуждает как-то уж очень вязко и скучно. Но дело не в этом. Важно, что они нащупали, если я не ошибаюсь, самоновейший «тренд» — возобновившийся интерес к бытовому реализму. Это такой поворот на круги своя, который время от времени совершается в литературе. К этому беседующие несколько произвольно прицепили экзистенциализм, который давно отзвучал, но сама по себе тема заслуживает внимания, и я подумал: вот Вы предлагаете мне самому придумать материю для вещания. Не хотите ли такую тему — правда, необъятную: писатель и действительность?

Крепко жму руку. Ваш всегда Г.

По немецкой пословице, чем позже вечер, тем красивей хозяйка. Чем позднее вечер, тем моя работа нравится мне всё меньше, я спрашиваю себя: какого хрена? — и вся надежда только на то, что утром рассветёт и станешь снисходительней. Я полночи не сплю, иногда читаю. Едва успел приехать из Чикаго, как подоспел очередной концерт в Гастайге: у меня много лет абонемент в Большом зале филармонии. А вчера я отправился туда же, чтобы послушать доклад Иоахима Кайзера (весьма известный в Германии музыковед и литературный и театральный критик) об одном из последних квартетов Бетховена. Билетов не оказалось, но меня подвели к одному дядьке, у которого заболела жена, и я с ним вошёл в зал Карла Орфа. Такие развлечения. Но хуже всего возвращаться домой.

Алик Мильштейн сказал мне, что некий В. Топоров, есть такой одиозный журналист, в какой-то статейке упрекнул столичные журна-

лы и даже чуть ли не всю отечественную словесность в том, что там будто бы имеет место засилие эмигрантов. Я прочёл в «Новом мире» Вашу подборку. Так как я не знаю, каков был проект автора, подборка показалась мне очень удачной, только слишком короткой. Не могу высказываться профессионально, можно лишь говорить о своём мимолётном впечатлении. Вообще-то мне понравились — в большей или меньшей степени — все стихи, жаль только (как уже сказано), что их немного. Иногда смущает нанизывание рифм (это, кажется, Ваш любимый приём). Особенно понравились своей интонацией, лаконизмом, горестной искренностью «И затем что печальные эти места...» и «Ну вот и потерял ключик».

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Пишите. Ваш Г.

30.01.2008

Дорогая Лёля, это Вы хорошо сказали — привыкнуть к непривыканию.

Между прочим, как Вы, может быть, заметили, я хоть и не писал автобиографических романов, однако в своих писаниях без зазрения совести пользовался материалами собственной жизни, кулисами, разными мелочами, медицинскими случаями и т.п., — но никогда не писал о нас с Лорой. Эта тема была табуирована. И я должен сказать, безо всякой посмертной идеализации, что это была по-настоящему счастливая жизнь.

Насчёт мелких ошибок у Бенционовны — не думайте, что я хотел упрекнуть редактора, то есть Вас. Скорей уж автора. Вообще это пустяки. Когда-то во время войны, в эвакуации, где я учился в сельской школе (очень хорошей), у нас были учителя, приехавшие из Ленинграда. Однажды у доски, это была алгебра, я начал путаться, хотя и считался первым учеником. Учительница сказала: «И на старуху бывает проруха». Я никогда не слышал этой поговорки, оттого, должно быть, и запомнил.

По немецкой пословице, чем позже вечер, тем красивей хозяйка. Чем позднее вечер, тем моя работа нравится мне всё меньше, я спрашиваю себя: какого хрена? — и вся надежда только на то, что утром рассветёт и станешь снисходительней. Я полночи не сплю, иногда читаю. Едва успел приехать из Чикаго, как подоспел очередной концерт в Гастайге: у меня много лет абонемент в Большом зале филармонии. А вчера я отправился туда же, чтобы послушать доклад Иоахима Кайзера (весьма известный в Германии музыковед и литературный и театральный критик) об одном из последних квартетов Бетховена. Билетов не оказалось, но меня подвели к одному дядьке, у которого заболела жена, и я с ним вошёл в зал Карла Орфа. Такие развлечения. Но хуже всего возвращаться домой.

Алик Мильштейн сказал мне, что некий В. Топоров, есть такой одиозный журналист, в какой-то статейке упрекнул столичные журналы и даже чуть ли не всю отечественную словесность в том, что там будто бы имеет место засилие эмигрантов. Я прочёл в «Новом мире» Вашу подборку. Так как я не знаю, каков был проект автора, подборка показалась мне очень удачной, только слишком короткой. Не могу высказываться профессионально, можно лишь говорить о своём мимолётном впечатлении. Вообще-то мне понравились — в большей или меньшей степени — все стихи, жаль только (как уже сказано), что их немного. Иногда смущает нанизывание рифм (это, кажется, Ваш любимый приём). Особенно понравились своей интонацией, лаконизмом, горестной искренностью «И затем что печальные эти места...» и «Ну вот и потерян ключик».

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Пишите. Ваш Г.

Дорогая Лёля,

насчёт того, что (как Вы пишете) мы рано или поздно узнаем, что будет «там», и будет ли что-нибудь, — я вспомнил одну вещь. Когда-то я много занимался Лейбницем, перевёл его философскую переписку — правда, небольшую часть, 22 печ. листа; всего известно около 15 тысяч писем. Он дружил с прусской принцессой Софией-Шарлоттой, толковал ей свою систему. Она умерла молодой женщиной и будто бы перед смертью сказала: «Теперь я, наконец, узнаю, прав ли был герр Лейбниц!»

Сейчас поздно, скоро полночь. Всё же я решил снова включить компьютер и написать Вам. Написать — о чём?

Занимался я эти дни записями, которые привёз из Америки. Переписал заново одно хаотическое сочинение, не беллетристическое, а «просто так», винегрет литературно-философический, куда всунул много старого, так что работа не слишком трудная. Там же, в Чикаго, я поправлял два рассказа и завяз на третьем. В общем, что говорить; горбатого могила...

Куплеты, Вами присланные, прелестны. Я смеялся от первой строчки до последней, — хотя стихи, если подумать, не такие уж несерьёзные. Сделаны замечательно. И рифмы, как всегда у Вас, свежие, неожиданные. Песню о любимом городе, конечно, помню. Перед войной я был один раз в пионерском лагере — жуткое времяпровождение, и там впервые её услышал.

Редактор журнала «Дружба народов» И.Я. Доронина прислала сообщение о том, что несколько моих рассказов (они пролежали там, кажется, не меньше полутора лет) опубликованы, но где-то там напечата-

но: Геннадий Хазанов. Ужасно сокрушается, просит извинения. Ну и что? (Как говорили старые евреи: вус?) Меня это нисколько не огорчает, лишь бы только артист не обиделся.

Ну вот, письмо получилось совсем пустяковое, да и коротенькое; пора спать. Крепко жму Вашу руку, дорогая Лёля, упаси Бог, не заболите. Ваш Г.

04.02.2008

Дорогая Лёля, ещё я вспомнил по поводу песни, Вами так здорово пародированной, что мой сводный брат, когда был маленьким, вместо «Любимый город в синей дымке тает» пел, и, конечно, совершенно серьёзно: «Любимый город синий дым Китая», а в другой песне, о трёх танкистах, вместо «Край суровый тишиной объят» — «тише ноября», Так рождаются составные, или каламбурные, рифмы, которые в XIX веке считались исключительным достоянием альбомной и шуточной поэзии. Когда я учился в университете, там был парень, который прославился тем, что изобрёл рифму «он сам был» — «ансамбль». В те годы все писали стихи. Кто во что горазд.

А тут получаю от Вас письмо, жалостное, даже горькое. Что делать? Держитесь... Но зато замечательно написано об украинском детстве. Я-то ведь Украину совсем не знаю (был только в Киеве, в Харькове, но Харьков, кажется, лишь наполовину Украина). Мои впечатления о русской деревне другие. А детство моё прошло в Москве, во дворе, который вижу перед собой, словно это было вчера, помню до мельчайших мелочей, и несколько раз описывал его. Есть такое правило, не мной установленное: события измышляются, фантазировать можно сколько угодно; но кулисы должны быть реальными, всамделишными, известными автору досконально.

Каким-то образом зашла речь об ангелах. Есть картина (картон) Пауля Клее «Angelus Novus», то есть Новый ангел, я видел только репродукции. Она находится в Музее Израиля, в Иерусалиме, когда-то принадлежала Вальтеру Беньямину. (Этого ангела можно найти в Интернете). Никто, кажется, не знает, что или кого имел в виду художник, скорее всего оставил свою работу открытой для разных домислов и толкований. Беньямин истолковал по-своему, у него есть тезисы «О понятии История». Так как всё это — как Вы, может быть, заметили в романе — меня очень занимало, я перевёл IX тезис:

Изображён ангел... Кажется, он сейчас отшатнётся от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза вытучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он обратил к прошлому. Там, где нам представляется цепь случайных происшествий, он зрит непрекращающуюся катастрофу, груды развалин, которые она без устали швыряет к его ногам. Ему

хочется крикнуть: «Остановитесь!», разбудить мёртвых, возродить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несётся из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, к которому он повернулся спиной, — а лицом к горе обломков, что растёт до неба. Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом.

Я, как всегда, отвлёкся. Что я хотел сказать?

Эхехе. Жму Вашу руку. Ещё раз: держитесь! Есть такой глагол, который любил Старый Фриц — прусский король Фридрих Великий и который употреблял писатель Ашенбах, персонаж Томаса Манна: *aushalten*, выдерживать, выстоять.

Ваш всегда Г.

08.02.2008

Дорогая Лёля! Я вовсе не думаю, что нужно непременно отвечать «вовремя», прекрасно понимаю, что мой рабочий день, если можно его так называть, не может сравниться с Вашим ни по времени, ни по нагрузке. И вообще, пишут, когда есть настроение, когда есть о чём писать. Главное, не хворайте.

Сегодня прилетели мои внуки, большой обед у китайцев вместе с родителями Сузанны, и сейчас, усталые, спят. Завтра отправляются до конца недели в Австрию, потом ещё несколько дней пробудут здесь.

Мой сын, к сожалению, улетит немного раньше. Хорошо, когда вечером есть кто-нибудь. И я вспоминаю, как мы проводили вечера с ним вдвоём, когда он был маленький, когда Лора была на дежурстве. Она, как Вы помните, была акушером-гинекологом, часто дежурила, много оперировала. А мы с Ильёй сидели дома. И это было счастливое время.

Я тут как-то был на лекции Йоахима Кайзера, его выступления в Гастайге собирают весь город, на этот раз он толковал один из последних квартетов Бетховена. Вчера вечером я решил послушать последние фортепьянные сонаты. Когда-то давно я сочинил рассказик под названием «Соната опус 90», о которой Шиндлер, многолетний друг и биограф Бетховена, рассказывает, будто князь Мориц Лихновский (который тогда женился, к ужасу всей родни, на актрисе и которому посвящена двухчастная ми-минорная соната) спросил, о чём эта вещь, не о нём ли, и композитор сперва расхохотался, а потом ответил, что первая часть — это борьба сердца с рассудком, а вторая — беседа с возлюбленной. Эта вторая часть — может быть, Вы её знаете — построена на теме изумительной красоты, искренности, задушевности и простоты.

С неё начинаются последние сонаты. Самая последняя — род заветания — это опус 111, та самая, о которой, если помните, вещает Вендель Кречмар в романе «Доктор Фаустус». Что касается моего рассказа,

то там речь идёт о встрече двух людей, бывших студентов консерватории, через много лет, гость подходит к роялю (хозяйка даёт уроки музыки) и видит на пюпитре раскрытые ноты — соната № 27, опус 90.

Ну вот, а других новостей у меня нет. Что Вам пишут интересного? Как поживает наш друг Чупринин, есть ли какие-нибудь известия от него.

Жму руку, надеюсь увидеть Вас 14-го, в четверг. Ваш Г.

12.02.2008

Отвечаю Вам, дорогая Лёля, хоть и надеюсь Вас на этих днях увидеть воочию. Ваши (и наши) благодетели вновь демонстрируют свою полную некомпетентность, неумение представить себе, что значит быть редактором серьёзного литературного журнала, что такое вообще — быть редактором. Кошелёк, как они думают, даёт им право распоряжаться тем, в чём они ни хрена не смыслят. Приходится терпеть.

Я люблю Некрасова, в иные времена он играл в моей жизни большую роль, я и теперь не могу читать его без волнения, но его биографией никогда регулярно не занимался. О сифилисе нигде не встречал никаких упоминаний. Известно, что он умер от рака прямой кишки. Что касается люэтической инфекции, то это как раз та область, которой я некогда очень увлекался, хоть и не стал венерологом. Сифилис в его классических проявлениях, которые сейчас уже почти не встречаются, — я, впрочем, видел больных со всеми тремя стадиями, а также с «четвертичным сифилисом» — прогрессивным параличом, тоже теперь достаточно редким, — сифилис, говорю я, представляет собой чрезвычайно интересную патологическую модель, которая имеет значение и для философии медицины. (Кстати, я написал когда-то две популярных книжки, одну о профессии врача, она была издана, другую — о философии медицины и врачевания, набор был рассыпан, когда узнали, что я собираюсь поднять якорь.)

Это долгая тема — включая сюда и теории происхождения сифилиса, и то, как изменилось его течение под влиянием терапии и в связи с общим изменением реактивности человечества, по крайней мере в цивилизованных странах. Хочу только сказать, что отзывающаяся мещанством сенсационность внезапных открытий — оказывается, у NN, подумать только, был сифилис! — основана на множестве недоразумений и предрассудков. В XIX веке, да и вплоть до недавнего времени, сифилис, и половой, и так называемый бытовой, был весьма распространённым заболеванием. Чтобы заразиться, вовсе не обязательно было предаваться разврату. В начале минувшего века в Калужской губернии 2 процента населения были больны бытовым сифилисом.

В Берлине, в начале 20-х гг., на фоне инфляции, экономического краха и т.д. болел 21 процент. Ведь сифилис, как и туберкулёз, — социальная болезнь. Я помню, как в Москве, в конце войны, заборы и стены домов запестрели табличками врачей-дерматовенерологов. Но статистика заболеваний, любых заболеваний, в СССР была сугубой государственной тайной. Это была негласная эпидемия.

Вы упомянули Кушнера. Хотя мне попадались и совсем слабые стихи, я ценю его, да и вообще о поэте и писателе, не правда ли, надо судить по его высшим достижениям. У него благородное происхождение, он наследник венединско-баратынско-тютчевской линии. В самом ли деле он считается Главным поэтом? Однажды я встретил Кушнера во Франкфурте, это было в тот год, когда Россия была титульной страной на книжной ярмарке (почему-то в России писали: «почётным гостем», — там гостей не бывает, только участники). Но он не стал разговаривать, спешил куда-то, к тому же он тугоух.

Теперь о романе Александра Мелихова «Нам целый мир чужбина». Я получил его, как Вы знаете, с дружеской и даже почтительной надписью, с намёком на то, что от меня ждут ответа. Да и название располагающее. Но я чувствую себя очень неловко, пусть это останется между нами. Опять же Вам известно моё отношение к Мелихову, глубоко уважительное; это замечательный, оригинальнейший публицист. А вот что касается художественной словесности... Дело в том, что я потерпел с этим романом постыдное фиаско. Я не в состоянии его прочесть. Мы с Вами как-то обсуждали рассказы Мелихова, Вы говорили, что это его ранняя проза. Но роман, датированный 2001-м годом, выдержан в той же манере. Я не в силах проглотить эту болтливую, многословную, растянутую почти на 600 страниц, написанную модным, всё ещё модным говорком, другими словами, целиком выдержанную в стиле новейшего сказа, намеренно вульгарную и до ужаса тривиальную прозу. Я понимаю, что автор не заслуживает этой брани, но ничего не могу с собой поделать: мне скучно. Тут вопрос личного вкуса, личных предпочтений: Вы знаете, что я сторонник дисциплинированной прозы, а сказ — всякий сказ: архаизирующий, псевдонародный, олонечно-тмутараканский, полублатной, московско-кухонный и пр. — вообще дело рискованное и может быть предложен лишь в очень умеренных дозах.

Писатель может возразить: такова среда, которую я описываю, и рассказ о ней должен быть адекватным. Я с этим не согласен. Книга, лишённая дистанции, — как кастрюля перловой каши до краёв. Вот тебе деревянная ложка — садись, давься.

Ещё Вы просите прислать Вам рассказец, о котором говорилось прошлый раз. У него есть единственное преимущество: он, по крайней мере, короткий. Жму Вашу руку, дорогая Лёля. До встречи.

19.02.2008

Дорогая Лёля, передачу я прослушал — через свой компьютер. Когда-то я имел дело с радиостанцией «Свобода» и сразу узнал профессиональные интонации ведущего. Передача получилась очень хорошей. Хорошо, что разные голоса, несовпадающие мнения. Мне понравилось Ваше выступление, центральное во всей программе: свободное, непринуждённое и при этом достаточно информативное. Интересно говорил Гиршович. Саня Лурье был блестящ, как всегда. Мила Агеева — тоже неплохо, очень по-женски. Наш друг Юрий Малецкий несколько растёкся по древу, но и его речь приятно разнообразила передачу.

О Некрасове спорить не буду, болел так болел, хотя к свидетельствам такого рода всегда надо относиться осторожно. В 20-х годах (другая эпоха) люэс был в моде, существовал термин «сифилизация общества» и каламбур (по-французски): syphilisation — civilisation. И я помню одну бульварную книжку, немецкую, этого времени, она называлась «Великие сифилитики». Считалось, что прогрессивный паралич поражает гениальных людей, и пожалуйста — богатейший набор: Шуман, Бодлер, Жерар де Нерваль, Мопассан, Ницше, Врубель, Гуго Вольф (с которого отчасти списан Адриан Леверкюн) и tutti quanti; сюда же погибшие от табеса, так называемой спинной сухотки, Гейне и Альфонс Доде. Но в славный список угодили и посторонние. Например, там фигурировал Лукич. Слух был подхвачен русской эмиграцией. Приятно, конечно, узнать, что враг рода человеческого был клеймён такой болезнью, отсюда даже выводили чуть ли не весь ленинизм, а там и революцию, и всё прочее. Увы, основатель советского государства болел вполне тривиальным атеросклерозом сосудов мозга, относительно рано развившимся: у него и внешность была характерной, и он в точности повторил судьбу своего отца.

Стихи Бродского про амбарного кота я знаю. Кушнер их комментирует в своём большом и, по-моему, очень хорошем очерке об Иосифе.

«Чтоб им ни дни» — разумеется, печатка.

«Большевицкий». Ядовитое словцо, которое заслуживает комментария. Его пустили в ход люди первой послереволюционной эмиграции, может быть, по аналогии с мужицким, дурацким. (Я слышал в деревне слово «кусацкий» — о муравьях, клопах). «Большевицкий» дожил и до нашего времени. Его употребляли кондовые патриоты, те, кто считал себя монополистами борьбы с большевизмом и советской властью. Я вставил его намеренно.

Отдыхайте, Лёля, спокойной ночи.

21.02.2008

Дорогая Лёля!

Обыкновенно моя работа начинается с сочинения чего-нибудь эдакого, после чего я принимаюсь за спасательные работы — попытки

поднять посудину, не способную держаться на воде, со дна морей. Этим я и занимался до обеда, а потом увидел Ваше письмо, дай, думаю, сразу же и ответу. Тем более что приближается худшее время дня — вечер. Только вот о чём...

Вы спрашиваете насчёт рукописи. Она, собственно, мне не нужна. Что я с ней буду делать? Разве что потрясать кулаками после драки. Выбросьте её в корзину. У Вас ведь есть корзина? Вот, кстати, богатейшая тема, предложить бы её Сане Лурье: Редакторско-Издательская Корзина. Уж он бы нашёл, как сотворить из неё маленький литературный шедевр. Что он Вам ещё пишет хорошего?

Я всегда мечтал сочинить синтетический роман, — не от слова «синтетика», а от слова «синтез», синтез эпохи. Как Вы помните, над чем-то в этом роде трудился, вернее, собирался трудиться помещик Тентетников. Незачем говорить о том, что, как и он, я потерпел фиаско — не хватило пороха. Отсюда знакомые Вам глубокомысленные рассуждения о том, что-де современный роман оказывается в конце концов набором фрагментов, такая уж, видите ли, эпоха. Она похожа на отбивную, кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И что связное повествование — это роскошь минувших дней, когда герой романа был субъектом Истории, а сейчас он только объект. Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. На самом же деле, может быть, как говорит Фауст,

Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist.

«То, что вы именуете духом времени, — это ваш собственный дух и ничего более». Ссылки на веление времени — лучшее оправдание. А на самом деле кишка тонка.

Это я так, мысли вслух.

Как Вы относитесь к Давиду Самойлову? Когда-то мой друг Марк Харитонов написал о нём прекрасный очерк. А тут я копался в интернете и увидел в «Нашем современнике» замечательную в своём роде, комически-мерзостную статью Куняева о покойном Дезике. Взгляните, если будет время (№ 9, 2007).

С удовольствием приеду к Вам в гости, дорогая Лёля, надо только договориться, когда. И придумать солидный повод для визита.

Жму руку. Ваш Г.

29.02.2008

Ну вот, дорогая Лёля, я дождался Вашего письма. Погода — как эпоха: на неё всё можно свалить, ею всё можно объяснить. (В чеховские

времена предпочитали говорить о среде.) Впрочем, для слова «метеозависимость» есть солидный медицинский заменитель: метеопатия. «Они вам скажут по-латыни, что вы больны», замечательная фраза Мольера. (В нашем случае, правда, это не латынь, а греческий. Ещё лучше.) Становится легче на душе, когда на неизвестно с чего навалившееся недомогание, упадок сил, головную боль, скверные мысли нацепляется медицинский ярлык: значит, всё в порядке, наука предусмотрела, и вы числитесь в картотеке.

Я не жил в литературной среде, да и много лет находился вне Москвы, поздно узнал о существовании Давида Самойлова, поздно прочёл его стихи (некоторые мне очень нравятся). Однажды провёл вечер в компании, где был Самойлов. Он был пьян и наскакивал на одного из гостей: маленький, лысый, в толстенных очках поэт и крупный, толстый, добродушный учёный-биолог. Из-за чего разгорелся сыр-бор, не помню. О Самойлове говорили, что его никто никогда не видел трезвым, но его двухтомный дневник как будто этого не подтверждает.

Я думал о том, почему этот очень хороший, серьёзный, настоящий, как мне кажется (сделайте скидку на недостаточную компетентность), поэт, который имел все основания стать первым поэтом своего поколения, почему он всё-таки им не стал. И я придумал ответ. Причин было, по крайней мере, две. Первая та, что он был слишком традиционным поэтом, порой на грани эпигонства. Вторая — как бы её сформулировать? Мировоззрение государственного патриота. Не советского патриота в официальном смысле и уж, конечно, не кондового националиста, но патриота тысячелетней России. В этом мировоззрении содержалось нечто державшее его в узде, лишившее той божественной свободы, которая была уделом Бродского, и в каком-то смысле предопределившее поэтику Самойлова.

Вы пишете о соотношении качества и объёма. Может ли маленькая вещь быть великой — или равновеликой какому-нибудь эпосу, грандиозной поэме, эпохальному роману. Отчасти Вы сами ответили, сопоставив песню Шуберта и бетховенскую симфонию. Ведь никто не скажет: первое хуже или мельче второго. Не говоря уже о поэзии, где монументальные жанры вовсе ушли в прошлое, как считается, навсегда, и эту потерю не может возместить ни цикл стихотворений, ни то, что называется поэтической книгой. Когда заходит разговор о Чехове, вспоминают притчу. У птицы спросили: отчего твои песни так коротки? Она ответила: у меня слишком много песен, и я тороплюсь все их спеть.

Но это скорее ответ на вопрос о шедеврах. Да, конечно, и миниатюра может оказаться шедевром. «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей». Больше того: самое это слово *chef-d'oeuvre* лучше подходит для малогабаритных вещей; было бы странно, если бы кто-нибудь назвал — или обозвал — «Братьев Карамазовых» шедевром: не

тот масштаб. Мы возвращаемся к пресловутой фрагментарности, к недоумённому вопросу — его задают многие: куда девался великий роман? Ведь ещё совсем недавно жили Пруст, Томас Манн, Музиль. Не знаю — во всяком случае, ответ не может быть односложным. Одно из возможных обстоятельств — то, что изменился ритм: напор исторических событий, ритм цивилизации, ритм жизни, ритм повествовательного искусства, ритм чтения. Изменились место и роль человека в мире или — если, повернув кремальеру бинокля, приблизить видимый мир — в массовом обществе, этом доселе неслыханном порождении нашего времени. Центральный предмет литературы, высшая ценность, единственное, что её по-настоящему занимает, — это неповторимая человеческая личность; а между тем ценность человека после двух мировых войн и всего прочего упала как никогда.

Как видите, я рискую впасть в риторику — вернее, уже впал. Вдобавок Вы скажете, что я повторяюсь. Конечно, повторяюсь. Но уж надо договорить. Литература воплощает достоинство человека. В этом её скрытый пафос. В этом, может быть, и её последнее оправдание. Сопrotивляться! То, чего не достигла религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, посреди сумасшедшего дома истории, принимает на свои плечи литература, *Dreifaltigkeit von Wort, Freiheit und Geist*, как пышно выразился Эрнст Юнгер, «троица, или триединство, Слова, Свободы и Духа». Но ситуация обороны, сидение в окопах, как-то не очень предрасполагает к широкомасштабным операциям в чистом поле — к эпическому размаху.

(Но тут же я вспоминаю, что некоторые писатели по крайней мере пытались перейти в контрнаступление: Пастернак с «Доктором Живаго», Гроссман — «Жизнь и судьба», Горенштейн — «Псалом».)

Я сегодня весьма растёкся — но вот ещё один вопрос о сочинительстве, заданный Вами, может быть, столько же мне, сколько и самой себе. «Но целиком же Вы сначала эту штуку в голове («на дне души», хм) видите? Или нет? Или как импровизация?»

Была пора, когда я с увлечением читал романы Франсуа Мориака, и, возможно, отчасти под влиянием этого чтения мне стало ясно, что семейная жизнь, а не что-нибудь другое, — королевский домен литературы. Однажды я шёл в какой-то научный институт в надежде пристроиться там (врачу в СССР постоянно приходилось искать приработок), и мне пришла в голову такая сцена: мальчик шести или семи лет случайно застаёт родителей, обнимающихся в постели, и это производит на него страшное впечатление: ему кажется, что он видит сцену насилия. Из этого потом получилась повесть или маленький роман о ребёнке, «Я Воскресение и Жизнь». Обыкновенно так и бывало: я никогда не составлял планов или конспектов, не держал в голове всё от начала до конца, но примерно знал, с чего начать, и видел конец или

кульминацию; всё остальное — по принципу куда кривая вывезет. Но постепенно и это правило утратило силу, и в последнее время я принимался за писание, ухватив за хвост какую-нибудь идею, не имея представления о том, куда я двинусь: по ходу дела будет видно. При этом от первоначального намерения часто вообще ничего не оставалось, как на пожарище невозможно найти спичку, от которой загорелся дом.

Сегодня 29-е, день Иоанна Кассиана, одного из основателей западного монашества. Я вспомнил, что нынче високосный год. Есть такая легенда. Иисус шёл по дороге с двумя святителями, Егорием и Касьяном. Видят, мужик с возом застрял в грязи. Иисус говорит, надо пособить. Святой Егорий засучил порты и полез в грязь. А Касьян стоит на обочине, не хочет пачкаться. Тогда Спаситель им обоим говорит: за то, что ты помог человеку, Егор, тебя будут праздновать два раза в году, а твою память, Касьян, за то, что ты такой чистоплюй, будут отмечать только раз в четыре года, и год этот будет несчастливым.

Очень буду рад, дорогая Лёля, увидеть Вас, а заодно повидаться с Майей Туровской. А уж об оладьях не дерзаю и заикнуться.

07.03.2008

Дорогая Лёля,

мы провели прекрасный *Nachmittag*. Уютный дом, разговоры, стол и вообще вся атмосфера — всё было замечательно. Большое спасибо. Майя в хорошей форме.

Я не успел ответить на Ваше последнее письмо. Рассказ о том, как старый фавн гонялся за девочкой и загнал в кладовку, и... и чуть-чуть было не случилось что-то, как вдруг обрушилась коробка с игрушками, — прелесть.

Насчёт Бродского — бывает так, что человеку искусства трудно жить, пока где-то неподалёку живёт и творит большой современник. Шуберт преклонялся перед Бетховеном и, однако, словно вздохнул с облегчением, вернувшись с похорон Бетховена, чтобы почти неправдоподобно развернуться в немногие месяцы, оставшиеся ему самому. Так было с Бродским, который подмял под себя чуть ли не всех своих поэтических современников, и продолжалось после его смерти, насколько я могу судить, чуть ли не до самого последнего времени. С прозой дело обстояло иначе: тут горизонт изначально был свободней.

И ещё я хотел сказать два слова о фильме Балабанова. Убийственное впечатление от всего увиденного — несмотря на то, что мы ведь тоже не вчера родились. Он как будто хотел сказать всем и каждому: опомнитесь, взгляните, во что вы все превратились, во что превратилась страна. Это уже не гниение, — Вы правы, — а то, что осталось после того, как процесс разложения завершился. Действие происходит в первой половине 80-х, но не думаю, чтобы режиссёр имел виллу только

эти годы. Об этом фильме невозможно сказать, хороший он или плохой, он вне этих оценок. После него чувствуешь себя избитым, подавленным, расколошмаченным, но ожидаемого катарсиса не происходит. Я как-то не мог даже говорить, не мог с Вами как следует попрощаться.

Там есть эпизод, который служит как бы идейным ядром, — или это что-то близкое к нравовучению: ночной разговор «хозяина» с карикатурным профессором научного атеизма. Диспут о душе и Боге. Парадокс заключается в том, что персонаж, который читает профессору это нравовучение, сам лишён души. Он скроен по мерке тех сильных, жёстких, немногословных, прошедших огни и воды мужиков, которые кочуют из фильма в фильм. Они когда-то прибыли в Россию из прозы Хемингуэя, из этой компании настоящих мужчин, а «старик Хему», в свою очередь, с приветом от устричного пирата Джека Лондона. По правилам такой литературы и этого кино подразумевалось, что где-то глубоко под задубелой кожей у мужиков скрывается подлинная человеческая душа. Но Балабанов пошёл дальше. Он нарушил это правило. Его персонажи — и в перспективе молодые ребята, тот самый парнишка, который заехал к хозяину и, уже пьяный вдрызг, лепечет: «а мы что, разве не мужики?» — эмансипировались и от души, и от морали, и вообще наплевали на всякую *fair play*.

Особенность всех, кто населяет фильм: это народ без души, одномерные люди. Не то чтобы пропили свою знаменитую духовность, но там изначально ничего такого не ночевало, так что и пропивать оказывается нечего. Но нельзя сказать, что это всего лишь литературно-кинематографические монстры, успешно пересаженные на русскую почву, — нет, конечно. Я видел таких людей в жизни, много видел. И вот снова спрашиваешь себя, как оценить этот фильм. Вам он понравился. О себе я не знаю, что сказать. Он представляет собой то, что обыкновенно именовалось грубым натурализмом (тут даже уже грубейшим, рассчитанным на перепиливание нервов у зрителя, — например, сцена дефлорации при помощи бутылки или труп жениха, который швыряют на постель вконец униженной девушки, да, собственно, вся картина состоит из эпизодов в этом духе; кажется, что постановщик фильма хочет вместе с действующими лицами раздавить и зрителя. Не завидую актёрам, которым пришлось это играть).

Конечно, всегда могут возразить: такова жизнь, такова жестокая действительность нашего отечества. И нечего воротить нос. Ещё Горький говорил о «свинцовых мерзостях» русской жизни. Что ж, я сдаюсь: в жизни, которую я сам видел, бывает и такое. Вообще всё самое худшее, что можно сказать о человеке, что в состоянии представить себе самое ожесточённое воображение, — всё это бывает на самом деле.

А у меня после такого фильма попросту опускаются руки. Спрашиваешь себя, чего стоит наша литература, какого хрена мы разглагольст-

вuem о языке и стиле, о хорошей или плохой прозе, чего вообще стоит вся наша культура — когда рядом с нами эта жизнь. Такое чувство у меня было, когда я вернулся из лагеря; я смотрел на мои университетские книжки и думал: всё обман.

Много лет спустя мы с Лорой жили в Чертанове, я вёл в свободное время высокоумную переписку о философии и религии с Юлей Шрейдером, а рядом на пустыре, на задворках винного магазина, среди старых ящиков, грязных коробок и ключев обёрточной бумаги лежал упившийся инвалид, ветеран войны, безногий, привязанный ремнями к своей тележке, — лежал колёсиками кверху.

Но что-то шепчет мне, что удовольствоваться рассказом о стране и обществе одномерных людей, чьё поведение ограничено примитивнейшими реакциями, мышление — простейшими полумыслями, чувства — элементарными эмоциями, что такое искусство, — недостойно искусства и убивает само себя.

Жму Вашу руку, Ваш Г.

08.03.2008

Дорогая Лёля,

комично помахивать Аристотелем, когда пытаешься что-то сказать об этом фильме, какое уж тут *очищение* (буквальный перевод слова катарсис), когда такое чувство, что все мы, вместе с действующими лицами (и самим режиссёром), сидим даже не в печи огненной, а в разъедающей жиже из дерьма и серной кислоты. И всё же греческая мысль вечна. Говорится (во фрагментах «Поэтики») о воздействии трагедии на зрителя. Там это выглядит как моральная и даже терапевтическая функция искусства. Страшная судьба трагического героя, например, царя Эдипа, должна потрясти, испугать, но и пробудить сострадание, и в конечном итоге освободить от тёмных инстинктов и злодейских поступков. А тут? В том-то и дело, что это не трагедия. Кровавые пузыри.

Вы всё-таки выудили из фильма какой-никакой message. А мне кажется, что его там нет. И что искусство может-таки умертвить самое себя. Я немного занимался Луи Селином, Вы помните его «Путешествие на край ночи». Это нечто близкое: полное разрушение, распад жизни — и соответственно распад романной формы. Но во Франции его и сейчас ставят весьма высоко, парень числится чуть ли не в первом ряду классиков XX века. Пруст, Валери, Андре Жид, Жюльен Грин, Мориак, Камю... странная компания для Селина. Но, как у Селина ценится небывалый язык и некая новая форма, так в картине Балабанова, очутившись немного, невозможно не оценить мастерство. Удивительно, как в кино, подчас ещё больше, чем в литературе, даёт о себе знать антагонизм между искусством и мастерovitостью. Мастерство может

быть очень высоким, а искусство издыхает в корчах. Формализм каким-то извращённым образом приходит на помощь. И я думаю, киношники так и относятся к этим произведениям. Какой ракурс, какая раскадровка. А что вы скажете, например, о такой секвенции: вначале камера медленно движется навстречу, потом вдруг...

Чем Вы сейчас заняты? Остаётся ли время для поэзии?

Пишу Вам на этот раз кратко, но не следуйте этому дурному примеру.

Жму руку, Ваш Г.

20.03.2008

Ваша Апология, дорогая Лёля, требует обстоятельного, длинного ответа; я это сделать не могу. Тем более, что многое вообще не вызывает никаких возражений. Ограничимся отдельными пунктами.

Попытки оценивать «моральную позицию» и т.п. обычно пресекаются весомым возражением: вы в то время не жили, а вот неизвестно, как бы вы повели себя, окажись вы на их месте, и так далее. Но существует суд потомков — именно тех, кто пришёл позже, «кого там не стояло». Я, однако, далёк от намерения судить Пастернака, я готов судить о Пастернаке.

Голо Манн заменил упоминания о Гитлере инициалом *H*, чтобы не пачкать этим именем страницы своей «Немецкой истории XIX и XX вв.». Итак, речь идёт об отношении к *C.* и всему режиму. Вы упоминаете о том, что и Мандельштам, и Ахматова написали оды в честь вождя. Написали, хорошо зная цену этому ублюдку. По-Вашему, это хуже, чем верить и петь искреннюю хвалу. «Мы заблуждались, но мы были искренни, мы верили». Нет. Поступок Ахматовой и Мандельштама был вынужденным, и никто не смеет бросить в них камень. Между тем как *вера* в таких случаях недорого стоит. Наивность, на которую Вы ссылаетесь, и особенно наивность взрослого человека, крупнейшего поэта и мужчины, — непростительна. Бонгёффер, размышлявший об этих предметах (Вы знаете, что он был повешен в концлагере Флосенбург — за месяц до конца войны), выразился ещё жёстче: глупость — это преступление.

Существует гипноз имени. Существует очарование власти — особенно, если речь идёт о безграничной власти, о всемогуществе. Тогда и получается что-то вроде: «Накануне долго и упорно думал о Ст. — как художник впервые». Разумеется, думал не уничижительно. После раскулачивания, после голода на Украине и т.д. Тут мы не будем долго распространяться, я просто процитирую то, о чём когда-то писал.

Великое унижение нашего времени состояло в том, что на ролях всесветных властителей оказались люди низкие и бессовестные, умственно ограниченные, люди примитивного образа мыслей и невысокой

культуры. «Руководство, — заявил в одной из своих речей Геббельс, — имеет мало общего с образованием». Он был прав. Можно сколько угодно говорить о выдающемся коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и механизмов неограниченной власти, — достаточно прочесть сочинения вождя, чтобы оценить его убогий интеллект. Можно отдать должное дару гипнотизировать толпу, которым владел Гитлер, — его хаотическая книга оставляет такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с величием — речь идёт о выдающейся низости.

Власть развращает её носителя, власть даёт возможность развернуться вволю его низменным инстинктам. Но существует обаяние власти. Власть, и тем более — всесильная власть, бросает особый отсвет на всё, что творит властитель. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преобразуется в глубину мысли, площадной юмор становится тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм — воспринимаются как веления высшей необходимости. Аура всемогущества заставляет рабов романтизировать властителя, поклоняться божественным сапогам. Этим объясняется желание видеть в диктаторе, вопреки очевидности, великого человека, на худой конец представить его демоном, возвести в ранг Антихриста. Мысль о том, что нами правил карлик, невыносима.

Два слова о прозе. Вы приняли слово «сурьезный» всерьёз. Я всего только и заикнулся о том, что природа прозы противится всякой выпренности. Поэзии она, по-видимому, не противопоказана. Что касается «Доктора Живаго», то, если всё-таки считать этот роман неудачей (я тут как-то не совсем уверен), то, возможно, это связано с устарелостью жанра, с невозможностью писать историко-народные эпопеи. Пастернак, по-видимому, хотел соединить лирическое повествование с эпосом; это само по себе предопределило неудачу.

Что мне в самом деле кажется натужным, придуманным и нелепым, так это квази-христианская историософия романа, которая к тому же ещё и должна оправдать не вполне красивые высказывания о еврействе.

Между прочим, я однажды нашёл (в письме Пастернака Спендеру, 1959 г.) такое изложение замысла «Доктора Живаго»:

«В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий». Поразительные слова. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила.

Ну, и наконец, евреи. То, что поэт тяготился своим происхождением, готов был от него отречься, передал эти чувства мальчику Гордону, — это его дело. Поразительно другое: историческая дискредитация и призыв к полному отказу свидетельствуют о странной, чтобы не сказать непростительной, нечувствительности. И это, конечно, черта тогдашней советской и нынешней послесоветской интеллигенции. За редкими исключениями (Василий Гроссман), Освенцим, то есть то, что в еврейском литературном и духовном обиходе именуется Катастрофой, отсутствует в сознании интеллигентной публики в России. «Не наше дело». То, что человечество живет после Освенцима и под тенью Освенцима, память о котором не зачеркнуть никакими силами, в нашей стране неизвестно, непонятно ни публицистам, ни церковникам, ни новообращённым христианам, ни фашистам. Так же как не дошло до сознания то, что Освенцим предъявил страшный счет христианству, что невозможно и непозволительно перед видением Освенцима рассуждать о Христе, евреях и христианстве так, словно Голокауста не существовало.

Жму Вашу руку, дорогая Лёля
Ваш Г.

24 марта 2008

Дорогая Лёля! Я получил 13-й номер, где чуть ли не половина книги посвящена моей персоне. Боюсь, как бы не загордиться. Спасибо! Всё выглядит очень импозантно. Статья Юры Колкера показала мне очень интересной, острой, неожиданной. Его похвала для меня драгоценна. Да и другие тексты и поздравления. Чувствую себя именинником.

Я написал Юре и хотел написать или позвонить Майе Туровской, но оказалось, что у меня почему-то нет её телефона. Сообщите мне, пожалуйста, её номер (или электронный адрес, если он у неё есть).

Пока на этом закругляюсь, сердечно Ваш Г.

03.04.2008

Если Вы, Лёля, ещё и расхвораетесь, что же будет с журналом? Предвидели ли Вы, что станете центром литературного круга (где-то на верхотуре сижу в этом амфитеатре и я), и круг этот будет усердно эксплуатировать Вас и впредь, вымогать у Вас похвалу и поощрение, местечко на страницах журнала, лестное упоминание, какую-никакую рецензиюшку. Разумеется (раз уж я заикнулся насчёт рецензии), Саня Лурье не из тех, кто вымогает, но и он, возможно, был бы не прочь прочесть в «Зарубежных записках» что-нибудь этакое. Что-нибудь вроде: *К чему читать вам Бокля? Не стоит этот Бокль хорошего бинок-*

ля — купите-ка бинокль. Зачем читать Пелевина, Сорокина и т.п., какого-то там Климонтовича и всю эту шушеру. Прочтите лучше новую замечательную книгу Самуила Лурье!

Всё — шуточки, не принимайте всерьёз. Но я тут несколько призадумался. Во-первых, книга, оказывается, не совсем новинка. И уже были отклики. Во-вторых, наш (или мой) отзыв появился бы лишь в конце года, то есть совсем уже не ко времени. И, наконец, мало ли что может случиться, ненароком заденешь автора, хотя бы это вовсе не входило в намерения рецензента.

А вот то, о чём Вы пишете, «републикация» (не от слова ли Republik, фр. *république*, как «ерунда», согласно Лескову, от нем. hier und da), — вот эта идея мне нравится. Вы сами говорите: сыграем в открытую. Почему бы не написать (врез от редакции): все хорошие книги выходят мизерными тиражами. Блокируемые мусорными издателями-сребролюбцами и беспринципными книготоргащами, настоящие писатели почти не доходят до читателей. Мы решили хотя бы отчасти возместить этот прискорбный дефицит и призываем другие журналы последовать нашему примеру. Публикуем, с разрешения автора (на издателя нас...ть!), избранные главы из недавно вышедшей, но практически недоступной книги высокоталантливого... одного из самых... и так далее. И это будет лучше всяких рецензий.

Хочу вернуться к надоевшему вам пункту. Саня Лурье, понятное дело, загружен текущей работой. И всё-таки: не создать ли для него персональную рубрику. Темы — какие ему вздумается, записки писателя, мечтателя, всё что угодно. Всего-то четыре раза в год. Ко всему прочему, мне кажется, что в «ЗЗ» он будет чувствовать себя свободней.

Дорогая Лёля, не болейте. Ваш Г.

07.04.2008

Дорогая Лёля, мне и в голову не приходило «смеяться над слабой женщиной». Не говоря о том, что как медик я хорошо знаю, что слабый пол вовсе не слабый, и мог бы подтвердить это множеством примеров из своей былой практики. Из каждого письма я узнаю о Вас что-то новое; и, например, о том, каким тяжёлым трудом Вам пришлось начать новое существование в чужой стране, я мог лишь догадываться. Лишний раз убеждаюсь, как мне повезло: я-то ведь приехал не один, и притом в отнюдь не враждебное мне государство. Кстати: Вы упомянули вскользь об «израильском отказе», was ist denn das? — я об этом никогда не слышал.

Конечно, передайте Сане Лурье и мою присоединившуюся просьбу. Хорошо бы, если он согласится, снабдить его индивидуальную рубрику особой шапкой и, разумеется, — о чём мы уже говорили — предоставить автору неограниченную свободу. Начиная со следующего года.

Пусть это будет что угодно, «болтовня с надрывом», как кто-то назвал прозу Гейне, — ведь всё, что выходит из-под пера Лурье, становится настоящей литературой.

(Его новую книгу я пока ещё не видел.)

Сегодня приезжали мои сваты, так это называется по-русски, — обедать у китайцев, и вместе с родителями моей снохи Сузанны её младший брат Томас с женой и трёхмесячным дитятей. Он взялся продать машину, которая стояла в подземном гараже, осиротевшая, как и я. Отдал мне Лорины тёмные очки, карту дорог. Сели и поехали на Ostpreußenstraße. А потом он укатил. И больше я не увижу нашу серо-серебристую Audi, которой Лора так радовалась, на которой мы ездили по городам и странам, и я пел песни, а Лора нажимала на газ.

Мне пришлось прервать это письмо, продолжаю на другой день. Я прочёл подборку стихотворений в «Неве».

Честное слово, это оказалось самым лучшим из всего Вашего, что доводилось мне видеть и читать! Даже первое, вступительное стихотворение — империя-птеродактиль, — с несколько сомнительным, если бы нечто такое было сказано в прозе, содержанием, которое, однако, не то чтобы оправдано звучной поэзией, но как-то ею опосредуется. Выясняется, что у неё, у поэзии, есть свой резон. Прелестное второе стихотворение, щемящий некрасовский дактиль. И дальше одна вещь лучше другой. Великолепные гардемарины — сколько в них щёгольской (щигольской) выправки, юного кокетства, тайной тоски. Словом, чудный цикл.

Семнадцатого состоится мой вечер. Прошу пожаловать.

Ваш Г.

09.04.2008

Дорогая Лёля, какие темы можно предложить для Сани Лурье... Их огромное множество, и всё же нет уверенности, что хоть одна какая-нибудь его вдохновит.

Прежде всего хочется чего-то персонального, непосредственно, а не косвенно, соотнесённого с личностью автора. Ведь смысл этой рубрики, как я её себе представляю, это сам Лурье, его личность, его жизнь, его мировоззрение. Это не просто «наш постоянный автор», каких много.

Что-то наподобие диалога или, если угодно, сведения счётов с самим собой. Разумеется, это не отменяет излюбленный жанр — этюды о русских писателях. Но почему бы не поговорить и о писателе по имени Самуил Лурье.

Как сложилась моя судьба. Существует ли вообще судьба, некий предreshённый проект жизни, — или это игра случайностей, «шёл в комнату, попал в другую».

Что я люблю и чего — или кого — не люблю.

Памятные встречи.

Женщины.

Дети.

Война.

Небесный Иерусалим (идеальная Россия, Россия духа) и земной: жизнь в сегодняшней, реальной стране, караул у разбитого корыта.

Историософия разбитых корыт — растрескавшихся копыт.

Осмелюсь ли я назвать себя патриотом.

Остались ли какие-нибудь упования, надежды. Опыты гадания на кофейной гуще: что могло бы получиться, если бы.

Мысли об упущенных исторических возможностях.

Литература сегодня. Что от неё останется. Вообще — какой смысл заниматься литературой.

Крушение кумиров.

Портрет земляного писателя, Портрет элитарного писателя. Портрет известной писательницы. Портрет писателя-неудачника. «Но поражения от победы ты сам не должен отличать».

Интервью с классиками русского Золотого века.

В перспективе — а её, я думаю, надо иметь в виду с самого начала — регулярные, из номера в номер, публикации в «Заруб. Зап.» должны составить книгу.

Возможные названия рубрики (колонки):

«Записки мечтателя» (в память о журнале, выходящем в первые годы революции).

«Взгляд и нечто. Самуил Лурье».

«Заметки на полях».

«Дневник отщепенца».

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Ваш Г.

30.05.2008

Дорогая Лёля, наш вчерашний разговор не выходит у меня из головы. Я не устаю удивиться и возмущаться глупостью и жадностью Ваших работодателей. Мало того, что они беззастенчиво пользуются Вашим материальным положением, полагая, что облагодетельствовали Вас уже тем, что поручили Вам ведение журнала, — но при этом лишили Вас минимальной зарплаты. Мало того, что эти суки даже не подумали о том, чтобы возместить Вам редакционные расходы. Они ещё и не выполняют обязательства, вытекающие из их положения финансирующего журнал кошелька. Ведь ничего другого, ни одной капли молока от этих козлов ждать не приходится. А Ваш Даня! Это не мужчина, это какая-то баба. Поглощён семейными делами, прекрасно. Но он думает, что это даёт ему право, числясь шефом и пожиная плоды Вашей

работы, Вашего энтузиазма и самоотверженности, палец о палец не ударять, чтобы хоть как-то поучаствовать в редакционной работе, чуть-чуть пособить реальному редактору, который тащит весь воз. Что за люди. Ей-Богу, хочется выматериться по-лагерному.

У меня предложение. Не хотите ли Вы, чтобы я — правда, это можно сделать только после моего возвращения — от своего имени написал письмо Вашим благодетелям, разумеется, корректное, но всё же решительное, сообщить, какое место теперь занимает журнал в русской литературе и культуре, кому и чему они обязаны его престижем, и т.д.

Ваш ГФ.

24.07.2008

Дорогая Лёля,

прочитав Ваше письмо (и письмо Медведева), я взялся было снова за чтение статьи Малецкого в «Континенте», но не смог её одолеть. Статья эта, между нами говоря, очень плохая: хаотически-болтливая, бессвязная, неопрятная, написанная нарочито безобразным, манерно-кокетливым языком, безвкусная и просто скучная. Любопытные мысли шлёпаются на бумагу как попало и растекаются, как яйцо. То, что я ценю в прозе, может быть, больше всего — дисциплина, сдержанность, энергия сжатой пружины, — ему не то чтобы чуждо, но он как будто даже не подозревает о том, что у читателя слишком мало времени для того, чтобы выслушивать слюнвявые монологи этого полуголого Нарцисса.

Но надо всё же отдать справедливость Юрию Малецкому. Честь и хвала ему за то, что он написал о Вас, и написал с любовью. Больше того, сумел подобрать примеры, которые на фоне его болтовни смотрятся и звучат ещё ярче, — от поразительной баллады об истекающем кровью Георгии Побенодосце, который всё ещё едет, едва держась в седле, на хромающей лошади, до грустно-ёрнической «улицы Дахау» (истинно-русской, ведь по-немецки ударение стоит на первом слоге, и слово двусложное, отчего оно приобретает другой вкус и даже другой смысл) и прелестного стихотворения «Вариант сюжета» размером не только пушкинским, но и поэмы «У самого моря» Ахматовой.

Если (в письме Медведева) Бродский чудится, «как чёрт с похмелья», то скорее не с похмелья, а при абстиненции, как бывает у больных с алкогольным делирием, белой горячкой.

Also — что сказать Вам нового? Нового ничего нет. Я живу — точнее, существую. Дописал одну повесть, которой занимался, вместе со статьёй о Вагнере, ещё в Чикаго, и сочинил маленький рассказ о предсказании будущего (вечная зацикленность на одно и том же).

Ваш Г.

25.07.2008

«...потому что всех точек над всеми *i* расставить, мне кажется, нам не удастся, а жить дальше вместе как-то надо, то есть хотя бы немножко терпеть (а может, и уважать-ценить) и других, отличных от нас, — нам же самим легче будет...»

Совершенно справедливо, дорогая Лёля.

Сегодня за мной заедет Вольфганг Виккель (отчим моей снохи Сузанны), мы отправимся в Гермеринг, где я проведу два дня с внуком Яшей, может быть, съездим с ним в город, в Старую пинакотеку. Так что отвечаю Вам сразу же.

Конечно: уважать, быть терпимым и т.д., — и ведь незачем напоминать, что я говорил только о писателе, о том, что написано, о языке и слоге, и говорил притом в сугубо частном письме. Встречаясь с Юрой, я, мне кажется, всегда выказывал ему уважение, и он отвечал мне тем же.

Почему «полуголый» Нарцисс. Потому что автор в иных пассажах готов чуть ли не раздеться перед зеркалом. Оставим это; тут вопрос более общий.

Если бы я был литературным критиком, я выражался бы аккуратней. Но я принадлежу к тому же цеху, что и Малецкий, и меня удручает то, что писатель независимый, писатель-одиночка, как и положено художнику, не живущий в России, поехал в общем вагоне, поддался захватившему всех или почти всех поветрию модного многоглаголанья, литературной расхристанности и мании самовыражаться, иначе говоря — вульгарности. Ведь этот стилёк настигает вас на всех перекрёстках. Кроме того, писать так — не правда ли — гораздо легче, чем работать над текстом, контролировать и одёргивать себя, относиться к себе без пощады.

Вы сослались на мнение Андрея Битова и его собственную манеру. Это не та порода. Битов — высококультурный, чуть ли не рафинированный писатель и от популярности во всяком случае далёк. Другое дело, что «Пушкинский дом» написан, на мой взгляд, безмускульной прозой, но тут разговор особый, мы сейчас толкуем не об этом. Мало ли что ему может понравиться — по контрасту, может быть.

Разумеется, каждому из нас в спорах и отзывах хочется отстоять свою манеру. Писатель, выступающий в роли критика, всегда (в отличие от критика-профессионала) самоутверждается, ораторствует *pro domo sua*, всегда оказывается — сознаёт он это или нет — адвокатом собственного взгляда на литературу. В конце концов, полемика такого рода, подчас весьма зубастая, — интегральная часть литературного процесса, без неё скучно. Но есть литература хорошая и плохая. И я боюсь, что моя брань по поводу юриной статьи не только вызвана (как Вы пишете) «полным несовпадением с Вашими о предмете представлениями». Если бы дело было только во мне!

Мы как-то говорили о «плохописи». Довольно много людей скажут вам: а почему бы и нет? Вот возьму и буду назло всем вам писать плохо. Тем более, что в «наше время» критерии качества отменены. Дух времени! Фауст говорит в сцене с Вагнером:

Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist.

И к несчастью, оказывается, что — совсем не назло, а наоборот: как все. Боюсь, что статья нашего друга (без кавычек!) Юры Малецкого — тоже «как все».

Надеюсь получить от Вас достойный отпор. Ваш Г.

27.07.2008

Дорогая Лёля, в Вашем письме много интересного, теперь уже касающегося не столько Юрия Малецкого, сколько меня самого. Вы можете мне поверить: в моей готовности отстаивать свои литературные постулаты всегда была изрядная доля сомнения — как соль в сладком пироге, с той только разницей, что примесь соли улучшает вкус пирога, а сомнение разрушает всю конструкцию. Вы оговорились в одном месте, что отрицание — в моём случае отвержение расхристанного кое-как-писания — «если не залог, то принцип развития, а если не развития, то, по крайней мере, движения». Это и есть тот самый упрёк, который я то и дело обращал против собственного писания или, лучше сказать, собственной заносчивости. То, что доктор Фауст называет «духом этих господ», чего доброго, в самом деле могло оказаться духом времени. Слишком часто я, с моим преувеличенным вниманием к языку и стилю, со своим, если угодно, снобизмом, выглядел в собственных глазах старой задницей, анахронизмом.

Однажды, уже довольно давно, я сочинил рассказик, который, может быть, Вам известен, а может, и нет: он назывался «Пока с безмолвной девой». Это строчка Горация: *dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex* (пока на Капитолий восходит с молчаливой девой жрец). Там Гораций жалуется Мecenату на то, что его поэзия, при всём её совершенстве или, вернее, из-за своего совершенства, холодна, бесстрастна и, в сущности, мертва. То ли дело Катулл! Вопрос стоит так: способна ли совершенная проза (идеал, которого я, разумеется, не достиг, хотя и стремился к нему), может ли она стать тем глаголом, который жжёт сердца людей, быть живой, страстной, пульсирующей, заражающей читателя? А как же Лермонтов с «Героем нашего времени»?

Тут оставалось лишь одно утешение: слишком очевидной была немощность альтернативной, современной прозы. Но зато она была современной. И, кто знает, может быть, таила в себе залог (Ваше слово) обновления литературы.

У меня давно было две мечты. Первая — та, о которой сейчас говорилось: влить в абсолютную прозу живую кровь. Вторая, как-то связанная с ней, но на более обширную тему: создать синтетический роман, не от слова «синтетика», а от слова «синтез». Роман, который бы подвёл итог ушедшему столетию. Не эпопея, соблазнявшая столько писателей под тенью Толстого, а нечто такое, что сохранило бы дыхание эпоса, но было бы одновременно новой мифологией и в конце концов реабилитировало бы униженную человеческую личность перед лицом зловещих фантомов — Нации, Державы, Истории, развенчало бы их раз и навсегда. Это, впрочем, долгий разговор. Обе мечты так и остались неосуществлёнными.

Засим, до свидания. Всегда Ваш ГФ.

02.08.2008

Дорогая Лёля, я сейчас не буду писать подробно, мы можем вернуться к теме позже. Эта девушка, Александра Берлина, — редкая и драгоценная находка. Мне понравились её переводы, рассказ — немного меньше, но не в этом дело, со временем она окрепнет. Но сейчас надо её поддержать, я бы её немедленно напечатал — и прозу, и переводы, вместе, в одном номере.

Чтобы не забыть, две мелочи:

В первом стихотворении Рингельнаца («тц» в русской транскрипции писать не надо) я предложил бы переводчице изменить строчку в строфе «Герзаеет козявка в окне...»: Кругами ползет через силу. Звонк. Бедняк предлагает мне Шнурки. Или, может, мыло.

Что это Hausierer (бродячий торговец, который ходит по квартирам), понятно и так.

В русском названии второго стихотворения я бы поставил запятую и переименовал транскрипцию имени и фамилии знаменитого английского борца с работорговлей в XVIII в. на принятую в России:

Обращение Незнакомца к Накрашенной, перед памятником Уильяму Уилберфорсу.

Крепко жму руку. Ваш Г.

03.08.2008

Дорогая Лёля! Я неожиданно увидел Вашу подборку в «Интерпозиции». Стихи очень разные, хоть и пропитаны общим настроением, — должно быть, отсюда и название цикла, если это цикл. Мне понравились больше других «У ангела домика нет...» и «Обрастая плющом...». Секрет таких стихов, как «У ангела» или «Ледяную избушку построю», в том, что на первый взгляд они кажутся совсем непритязательными, чуть ли не детскими, — на первый взгляд.

Центральное, превосходное стихотворение, очевидно, не зря снабжено эпиграфом из Бродского, в нём очень хитро спародирована интонация И.Б. («Назидание»), особенно во второй строфе.

Ну и, конечно, невозможно было пройти мимо защитительной речи (первоначальное значение слова «Апология») по делу Бориса Пастернака. Тут я, тэ-сээть, заинтересованное лицо, это затрудняет поэтическую оценку.

07.08.2008

Дорогая Лёля,

я не смог разделить Вашу с Майей трапезу у хинезов (на Goetheplatz), о чём, конечно, весьма жалею. Я три дня бродил и ездил с гостями — Еленой Бальзамо, моей французской переводчицей, и её мужем, приехавшими из Шартра. Накануне умер Солженицын. Последнее время о нём как-то не было слышно. Читали ли Вы его книги?

Что вообще нового? Как Ваше настроение и каков общий взгляд на мир?

22 августа приедет на три дня мой сын, сам же я собираюсь в начале сентября махнуть в Берлин, а оттуда в Дрезден. Вся поездка должна занять 6–7 дней. Потом снова лежание на печи.

Время от времени листаю замечательный «Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» и вдруг натолкнулся на собственное имя. Цитата-иллюстрация из старого романа «Хроника N». Я был несколько ошарашен, но и польщён. Правда, в оригинале нужное слово автор заменил многоточием. В словаре, конечно, набрано полностью

«Ну-ка, милый,— промолвила она, — покажи документы».

«Чего?»

«Документы, говорю, покажи».

Человек повернул голову в мою сторону.

«Вали отсюда,— сказал он коротко, не повышая голоса. — Муж с женой разговаривают, не х... тебе тут ошиваться».

Напишите мне, дорогая Лёля, подлиннее, поподробней, повеселей.

Ваш Г.

30.08.2008

Дорогая Лёля!

Я проводил моего сына, он пробыл совсем недолго. Брал напрокат машину, мы поехали немного, совершили небольшое путешествие в Мурнау и к Staffelsee, побродили по Мюнхену, пировали в разных местах. Сам же я, как уже писал Вам, собираюсь полететь в четверг в Бер-

лин, оттуда с Анной и Вадимом Фадиными в Дрезден на ПЕН-сборище, потом назад в Берлин, два вечера, один по-русски, другой по-немецки. И, наконец, с Божьей помощью, 10-го восвосяси.

В остальном — живу по-старому. Существование показалось бы странным, если бы не было таким скучным. Скучно без Лоры.

Читали ли Вы рецензию Сани Лурье в «Звезде» (или «Неве»?) на книгу переводов Эрнста Левина? Видели ли роман Маканина «Асан» о войне на Кавказе?

Я почти собрал книгу, о которой тоже Вам говорил, — не публиковавшиеся или старые, потонувшие в болотах (как я однажды в лагере) тексты. Из новых — рассказ о бывшем священнике, которому приснился его столетний юбилей, рассказик о предсказании будущего, которое оказывается прошлым, и небольшая повесть под названием «Плюсквамперфект», где среди разных приключений и рассуждений говорится о том, что мы не можем реконструировать прошлое, каким оно было на самом деле, потому что это «на самом деле» искажено более поздним прошлым. Всё какие-то заплесневелые темы.

Но даже если бы я жил в России, я не мог бы писать о том, что происходит под окнами.

Теперь наступила пауза. Время поразмыслить о тщете бытия и тщете литературы.

Что Вы и как Вы?

Ваш Г.

01.09.2008

Дорогая Лёля, отвечаю Вам, как видите, сразу, так как должен отвалить уже через два дня. Видите, оказывается, Рафаэль Шустерович — поэт очень разнообразный. Раздавать советы и пожелания, как известно, много легче, нежели исполнять их. Даже если бы его поэзия была ограничена одним лишь кругом тем и приёмов, которые мне теперь известны, я не мог бы взяться за статью, рецензию или что-нибудь подобное: мне это не по зубам. Я ещё подумал о том, что, может быть, сам поэт подыскал бы кого-нибудь подходящего в Израиле. Профессор Р. Тименчик?

Вы пишете о книге, которую я тут собирал, как о чём-то застолблённом. Получился толстый том, и надо бы что-то выкинуть. Между тем всё это ещё, весь проект, вилами на воде писано. «Вагриус» окончательно отпал. Кто вообще мог бы издать книжку, коммерчески — Вы это знаете — абсолютно безнадежную? Я подумывал о НЛЮ, но это тоже дело сомнительное. Там всё зависит от одного человека — Ирины Прохоровой, а её вкусы загадочны. Вообще легко заметить, что живущим за границей сочинителям публиковать свои изделия в нашем оте-

честве становится всё труднее. Интересно, упомянул ли об этом Чупринин в своём третьем томе. Уговорите его прислать Вам хотя бы один экземпляр — интересно всё-таки.

Что касается Вашего желания что-нибудь напечатать, пока суд да дело, — спасибо, конечно, но не кажется ли Вам, что «Зарубежным запискам» надо бы маленько отдохнуть от Б. Хазанова. Впрочем, это так или иначе откладывается на будущий год, у Вас есть эта повесть, а если она почему-либо перестала Вам нравиться, можно подобрать что-нибудь другое.

«Нам некуда деваться с этой подводной лодки». Хорошо сказано. И ещё кто-то сказал:

Плывём. Куда ж нам плыть?

Крепко жму руку. Ваш Г.

12.09.2008

Дорогая Лёля,

спасибо за ссылки и тексты. К несчастью, я почти совсем, если не считать публикаций в «Заруб. записках», не читал прозу Марины Палей (хоть и знаком с автором), и теперь мне приходится судить о её новом романе даже не из вторых рук, а из третьих: от Костырко я узнаю о Белякове, от Белякова — о самой Палей. Читали ли Вы роман?

О новой роли Сергея Костырко — его комментариях — мы уже, кажется, говорили. Бесспорно, это опытный литератор, заслуженный человек, которому мы обязаны регулярными аннотациями новинок и прежде всего Журнальным залом. Это человек благородный. Но как плохо, убого он пишет. Подобно многим, он стремится выдержать тон непринуждённой беседы, хочет отмежеваться от академизма, от засушенной книжности. И даже просто от нормального русского языка. Получается рабское следование моде: пошловатый говорок, случайное и неточное употребление слов, тривиальность мысли. Очень жалко.

А теперь ещё снова, как в былые дни, всплывает дурацкая «русофобия». (Правильней говорить: русофобство. Но мы, как говорится, университетов не кончали.) Никто, по-видимому, сейчас уже не помнит, что словцо это ввёл в широкое употребление наш почивший пророк. Оно стало весьма популярным в эмиграции лет 20–25 тому назад, при этом оказалось, что эмигрантско-диссидентская братия кишит ненавистниками России. Среди них был и я. Теперь — Костырко прав — оно снова в ходу. Беляков вроде бы культурный человек — и туда же.

Я нахожусь в состоянии, похожем на то, что происходит с нашим другом Лурье, — видно, под влиянием разговоров о нём. Сотворил маленький и малосерьёзный рассказ, и далее ни с места. То, что я на-

чал собирать старую прозу для книги, притом достаточно проблематичной, — вместо того, чтобы заниматься «делом», — тоже ведь скверный симптом.

Жму руку. Ваш Г.

13.09.2008

Дорогая Лёля, вчера только я писал Вам, Вы, как всегда, сразу ответили, а сегодня, изволите видеть, пишу снова. Не взирая на то, что Вы заняты, — между тем как я тут бью баклуши.

К Марине Палей, надеюсь, мы ещё вернёмся. Сейчас — по другому поводу, тоже, правда, несрочному.

Как Вы знаете, я собираю книжку. Скорее от нечего делать, потому что затея предложить её НЛЮ, по всей видимости, бесплодна: несколько времени тому назад, до поездки в Берлин, я написал короткое письмо Евгению Шкловскому (с которым не знаком), он ответил очень любезно, однако — всё решает Прохорова, а она, как известно, абсолютно недоступна. «Лорд Гамлет — принц, не тебе чета», говорит Полоний (not of thy star), к тому же её литературные вкусы, предпочтения или «установки», как можно предполагать, перпендикулярны к моим. Даже если бы мои сочинения каким-то образом попались ей на глаза, она, я думаю, не стала бы и читать. Это естественно, и речь не о том.

А о том, что, собирая разные тексты, я возымел благую мысль включить одну вещь, написанную очень давно, в манере, которая для меня принадлежит далёкому прошлому. Да и «тематика», того... Это небольшая повесть под романтическим заголовком «Запах звёзд», некогда напечатанная в Израиле, в сборнике прозы тиражом 150 экземпляров. На неё, разумеется, никто не обратил внимания (кроме известного ведомства: нашли у меня этот сборник при обыске, потом вызов на допрос и т.д.; дела давно минувших дней). И вот я её сейчас читаю — уже совершенно чужими глазами — и, представьте себе, неожиданно она произвела впечатление. Что со мной бывает нечасто. И мне захотелось дать её Вам прочитать — просто так, если удастся выкроить время. Вот, собственно, и всё.

Засим остаюсь Ваш

23. September 2008

Дорогая Лёля,

изделие из тресковой печени оказалось необыкновенно вкусным, я доел его всего, как Собакевич, на другое утро.

Алик Мильштейн сообщил мне, что в газете «Взгляд», подзаголовок «Деловая газета», <http://www.vz.ru/culture/2008/9/22/210578.html> Сергей Беляков (о котором мы с вами говорили) поместил несколько аннотаций о произведениях, помещённых в 14-м номере «Зарубежных

записок». Конечно, с газеты спрос невелик, и задаёшь себе вопрос, зачем им нужна литература, занимались бы своим деловым делом. Но — спасибо и на том.

Он упоминает Мелихова и цитирует его статью (в том же №) о ксенофобии: «...Усиленное покаяние перед мертвыми евреями служит отличным прикрытием неприязни к живым... когда “покаявшихся” немцев начинают приводить в пример “непокаявшимся” русским, ничего, кроме ревности и желания вытащить наружу побольше чужих грехов, из этого произойти не может... И уж евреям заниматься этими сопоставлениями следует в последнюю очередь — защищать тех, кто в твоей защите не нуждается и думает только о себе, не только опасно, но и крайне наивно».

Я читал эту статью ещё раньше. Как всегда, Саша Мелихов и остроумен, и более или менее оригинален, и всё же сказано очень некрасиво. К тому же чувствуется, что он не живёт в Германии: получает информацию из вторых рук, повторяет заезженные клише. Немцы не «каются» (хотелось бы знать, кто именно), уже третье поколение живёт без Гитлера, и вообще дело совсем не в этом.

Мы говорили также о Чупринине. Если будете ему писать и встанет вопрос о приезде, напишите, что он всегда может остановиться у меня, мы его встретим и постараемся, чтобы он не скучал в Мюнхене.

Кажется, я писал Вам, что занялся лёгкой работой — эксгумацией неопубликованных или погребённых в разного рода братских могилах сочинений — и решил снова попытать счастья в России: написал, по совету Елены Шубиной, редактору НЛО Евг. Шкловскому. Он ответил, что всё единолично решает И. Прохорова, которая вернётся из отпуска в начале сентября. Написал и ей. Ответа нет и, очевидно, не будет.

Но литература, мы-то с Вами это знаем, — область патологии, разные жанры можно уподобить нозологическим единицам: рассказ — острое лихорадочное заболевание, обычно с благоприятным исходом, роман — хронически-рецидивирующий недуг, рассчитывать на полное выздоровление не приходится, но можно добиться ремиссии, протянуть жизнь ещё на сколько-то лет.

Я сочинил между делом два крохотных рассказика, а что дальше? Дальше собираю старьё. Почти всё приходится поправлять, кое-что переписывать. Хорошо, что я не живу в России, я бы там помер с голоду. А здесь худо-бедно, со скудной пенсией и довеском от Президентского совета, можно сидеть дома и делать вид, что занимаешься серьёзным делом.

Напишите мне что-нибудь этакое. Что-нибудь утешительное. Ваш Г.

26. September 2008

Дорогая Лёля, я должен Вас удивить: проза Петра Ильинского (похоже, что это псевдоним) не показалась мне такой уж безнадежной. Рассказ нарочито литературный, то и дело кого-то напоминает — некоторых шведов, вероятно. Местами очень вязкий, похожий на непропеченный хлеб, душноватый. Ему явно не хватает повествовательной энергии. Но отказываться от него я бы не стал. Может быть, предложил бы автору дать этой прозе немного отлежаться, а затем пройти по ней ещё раз с метлой, сократить длинноты, опустить излишние объяснения, быть поэкономней с псевдоиспанскими реалиями, вообще по возможности ослабить несколько навязчивое стилизаторство.

Voilà!

Ваш Г.

29. September 2008

Дорогая Лёля,

я перечитал сейчас Ваше письмо и вспомнил одну книжку, подаренную мне — вероятно, с умыслом, — когда я вернулся в Москву: Вал. Парнах, Поэты-евреи, жертвы инквизиции. К сожалению, книга пропала. Там были собраны биографии поэтов — это были марраны — и протоколы испанской, португальской и мексиканской инквизиции. Читать эти протоколы было интересно, между прочим, и потому, что протоколы допросов велись добросовестно, записывалось слово в слово то, что показывал свидетель или подозреваемый, и ничего более. Составлял и подписывал такой протокол лицензиат прав. Если показания давались под пыткой, так и отмечалось: применено то-то и то-то.

Вы, конечно, правы (по поводу рассказа Петра Ильинского): внесудебные расправы, по-видимому, не практиковались.

О судебной процедуре я вычитал следующее.

Инквизитор допрашивал свидетелей в присутствии секретаря и двух священников, которым было поручено наблюдать, чтобы показания верно записывались, или, по крайней мере, присутствовать, когда давались показания, чтобы выслушивать их при чтении полностью. Это чтение происходило в присутствии свидетелей, у которых спрашивали, признают ли они то, что сейчас им было прочитано. Если подозрение в ереси было доказано на предварительном следствии, то оговорённого арестовывали и сажали в церковную тюрьму, в случае если в городе не было доминиканского монастыря, который обыкновенно заменял ее. После ареста подсудимый подвергался допросу, и против него тотчас же начиналось дело согласно правилам, причем делалось сравнение его ответов с показаниями предварительного следствия.

Придумали ли Вы, что делать с Ильинским?

Расскажу Вам маленькую историю. Это уже другая тема. Я тут толкнулся в «Знамени» на воспоминания Л. Лазарева о двух женщинах — Ирине Эренбург и Надежде Мандельштам. Лазарев — псевдоним Лазаря Шинделя, с которым вместе я учился на филологическом факультете, встречался с ним и позже. Он стал довольно известным советским литературоведом и литературным критиком, сейчас главный редактор «Воплей». Когда-то в университете я знаком был с ним шапочно. Он был фронтовик, учился на русском отделении, был членом партбюро. Разница в возрасте между нами была, вероятно, каких-нибудь пять лет. Но война и послевоенные годы сделали нас людьми разных поколений и «мировоззрений».

Ирину Ильиничну Эренбург я тоже знал — несравненно меньше, чем Шинделя. Иногда она давала мне книги почитать, первый раз это был роман Эмиля Ажара (он же Ромен Гари) «Жизнь впереди», по-французски *La vie devant soi*, в то время только что вышедший в Париже. Ирина рассказывала, что девять переводчиц, и она в том числе, подали заявку на перевод, но получили отказ, так как главное действующее лицо, Вы, вероятно, помните, — еврейка. В другой раз я брал у неё Роже Вайяна из подаренного отцу автором собрания сочинений — оно стояло на полке в кабинете Эренбурга.

В воспоминаниях Л. Лазарева, не свободных от разных умолчаний, есть такое место, о самом Илье Эренбурге:

«Когда он написал в своих воспоминаниях, что ему пришлось провести на «скамье подсудимых» “почти всю жизнь”, я понимал, что это правда. Никто в ту пору не хотел (или не умел) сказать то, что удавалось ему. И тем, что мы умнели, начинали понимать какие-то вещи, мы обязаны ему, его смелости, его умению в каких-то случаях обойти цензурные и редакторско-охранительные рогадки.

А потом, что греха таить, в “оттепель” (кстати, это его определение возникших в стране перемен) появились “свободомыслящие”, которые стали высокомерно осуждать Эренбурга за то, что он не сказал все до конца, не осудил бескомпромиссно советскую власть, не разоблачил наших правителей, и т.д., и т.п. Эта публика не вызывала у меня ни малейшего сочувствия, если говорить о глубинной сути, за проявления вольномыслия выдавались, в сущности, безнравственные, “мародерские” явления. Задним числом возникшее высокомерное “свободомыслие” распространялось, становилось даже чем-то похожим на моду. Однажды мне пришлось выступать у каких-то физиков, и там я получил хамскую записку об Эренбурге: того он, мол, не касался, против этого не протестовал, а надо было бы. Вообще он никуда не годится, слава его сомнительна. Я разозлился: “Эренбург не писал того, что вы сегодня от него с такой легкостью требуете, потому что вы молчали, хо-

тя вам грозили несравнимо меньшие неприятности, чем ему. Он, а не вы, постоянно тогда был под боем, был для властей бельмом, с которым они не могли справиться».

Дальше он пишет:

«...процитирую одно из мест [моей статьи], посвященных тем критикам, которые решили, что они должны поставить Эренбурга на малопочтенное место прихлебателя тоталитарного режима: “Конечно, нынче с высоты той позиции, на которую нас вознесло время или, лучше сказать, усилия многих людей, постепенно прозревавших, так или иначе пробивавшихся к правде, в том числе и Эренбурга, немало для этого сделавшего, очень просто его осудить за конформизм, за былое молчание. Но, может быть, стоило бы, памятуя об историзме и справедливости, сначала выяснить, какое место для проявления свободной воли оставляли трагические противоречия эпохи, какой выбор они предоставляли? Увы, с этим не все сегодня желают считаться, хотя не учиться у истории, а учить ее. Кстати, хочу напомнить, что обвинения Эренбурга в “молчании” не новы — правда, четверть века они раздавались из другого, противоположного “угла”. Те, кто в сталинские и послесталинские времена зажимали рот писателям, испуганные правдой, которую несли мемуары “Люди, годы, жизнь”, таким образом боролись — безуспешно — с этой правдой. Стоит, наверное, задуматься над этим...”».

Мне это место показалось замечательным. Люди, о которых он пишет, были разные, но я почти уверен, что он имел в виду и меня. Вероятно, он прочёл мои статьи: «Величие советской литературы» и «Эренбург и Вайян». Тут как раз и виден воочию водораздел между двумя поколениями, хотя теперь мы — почти ровесники. Думаю, что Шиндель защищает не только Эренбурга, но и самого себя.

В таких случаях всегда говорится: вы не жили в то время, не вам судить. Посмотрели бы мы, как вы, обличители и разоблачители, повели бы себя, окажись вы на нашем месте. И так далее. Но дело в том, что если кто и вправе судить и упрекать, то это именно следующее, новое поколение. Существует такая ужасная вещь, как суд потомков.

Жму Вашу руку, дорогая Лёля. Ваш Г.

1. Oktober 2008

Дорогая Лёля, отвечаю Вам сразу, хоть и не без угрызений совести: я человек бездельный, а Вы загружены выше головы. Так что отвечать мне — дело вовсе не срочное.

Хочу Вам немного сказать об Эренбурге. Я отдаю себе — ещё бы! — отчёт в том, что негоже хулить покойного писателя, который оставил такую глубокую борозду, прожил такую насыщенную жизнь, написал

уйму блестящих книг, сделал так много хорошего. Если бы я не ценил Эренбурга, не восхищался им как человеком и писателем в разные годы моей жизни, я бы вовсе не стал о нём говорить.

Не помню, рассказывал ли Вам о том, как я познакомился с творчеством Эренбурга. (Видел его один раз в жизни, но это было гораздо позже.) Когда-то давно, мне было лет 15, и мы жили в эвакуации, я получил письмо, треугольник со штампом военной цензуры, от моего двоюродного или троюродного дяди, который в то время был студентом Энергетического института и тоже оказался в эвакуации, на Урале; он предложил «затеять что-нибудь вроде литературной переписки». Для начала назначил тему: что я думаю о писателе Илье Эренбурге? Я откликнулся с восторгом, начался обмен посланиями. К великому моему огорчению, письма пропали — были изъяты в Москве, при обыске, когда эти крысы пришли с ордером на арест.

Правда, мне пришлось ответить на его первое письмо, тогда, в 43 году, что я об Эренбурге ничего не думаю, так как этого писателя не читал. Когда вернулись в Москву, дядя, у которого была превосходная библиотека, оставшаяся от расстрелянного отца, давал мне читать книжки Эренбурга, первоиздания начала тридцатых годов, — и с каким увлечением я их читал!

Что касается других произведений, ранних романов, то один из них, «Жизнь и смерть Николая Курбова», я прочёл (не удивляйтесь) в тюрьме. «Падение Парижа», имевшее огромный успех, читал, когда был рабочим на почтамте, в последний год войны. Тогда же — газетные статьи Эренбурга, никто с ним в те времена не мог соперничать. «Хулио Хуренито», книга, находившаяся под запретом, почему-то большого впечатления не произвела. «День второй» скорее понравился. В лагере была небольшая библиотека при КВЧ, я читал сборник статей «За мир!», с обращениями к западным писателям — Хемингуэю, Стейнбеку, Дос Пассосу, Андре Шамсону, Эрскину Колдуэллу и другим, статьи о Париже, где было немало великолепных страниц. Там же дошла до нас и прогремевшая «Оттепель». Роман «Буря» был прочитан (кажется, позже) с некоторым отчуждением. А когда — мы жили в деревне — «Новый мир» начал публиковать «Люди, годы, жизнь», книга сперва прошла мимо меня, мемуары эти меня как-то не слишком интересовали. Время от времени я возвращаюсь к ней, чтобы прочесть одну-две страницы, — больше не могу.

Читал, разумеется, в разное время и начальственный окрик в «Правде», в конце войны, и хамскую речь Шолохова на съезде писателей, и все эти инсинуации, грязные наскоки на Эренбурга, доносительские статьи и прочее

Вернусь к Вашему письму. Нет, речь вовсе не идёт (или не шла) о том, чтобы осудить Эренбурга и других чохом, раззудив плечо, ничего

не желая слушать, не разбирая нюансов, не вдаваясь в частные судьбы, — зачем они работали официально в СССР, зачем не выступили против власти открыто, не уехали, и т.п. Я подумал, что лучше будет, если я просто здесь приведу то, что я писал об Эренбурге, на случай, если Вы это не читали.

Между прочим, для меня остаётся загадкой его увлечённость «борьбой за мир»: годы спустя, на пороге смерти, он пишет об этой своей работе, о конгрессах, воззваниях, заграничных турне, собирании подписей совершенно серьёзно. Человек всю жизнь занимался политикой; не мог же он не понимать, каков был подлинный смысл всей этой деятельности.

Итак, я решаюсь (наберитесь терпения!) процитировать кусок из статьи о советской литературе, а затем — лучше уж целиком — статью об Эренбурге и Роже Вайяне. Всё это было когда-то напечатано в «Дружбе народов» и, пожалуй, успело устареть; но всё же.

(См. два других приложения.)

А пока — всего, всего хорошего. Держитесь, не хандрите, дорогая Лёля. Ваш.

9. Oktober 2008

Дорогая Лёля! Перечитал сейчас Ваше письмо об Эренбурге и всех этих делах, возражать не приходится; разве только добавить к сказанному, что окончательное возвращение в СССР, пожалуй, имело (как и у Горького) ещё и ту простую причину, что обстоятельства сложились так, что некуда было деваться; а вернувшись, ничего другого не оставалось, как, пусть и спотыкаясь, пусть даже под собственным индивидуальным флагом, но всё же маршировать в ногу.

Если же снова, в который раз, задать себе более общий вопрос, чем можно было объяснить симпатии столь многих к советскому строю, готовность служить ему и это особое уговаривание самих себя (о чём Вы так хорошо написали), то нужно, конечно же, указать, среди прочих, на одно общее обстоятельство: оно было настоящей эпидемией времени. И никто не оставил в СССР диагноз более точный, чем захваченные, замороченные, зачарованные ею поэты. Речь идёт о крушении гуманизма. Вы помните, что так называлась статья Блока, прочитанная в виде доклада весной 19 года. Речь идёт о торжестве великого Мы и ничтожестве презренного Я, что, собственно, и означает крах гуманизма. О восторженном исповедании приоритета массы перед личностью, о том, что единица — вздор, единица — ноль, голос единицы тоньше писка, и о том, что открылась песня с топотом шагов, и мы рождены, чтоб сказку сделать былью, и о том, как я наблюдал, боготворя. О том, что тёмный, стадный разум народных масс есть не что иное, как разум истории. Словом, речь идёт о религии коллективизма, от которой до

военно-дисциплинарного режима — один шаг. Вы скажете, что Эренбург всю жизнь пытался так или иначе перечить, — верно. Но и капризовал то и дело.

Мне тут звонила Лариса Миллер с просьбой участвовать (заочно) в вечере памяти Юрия Карабчиевского, которому исполняется 70 лет. Когда-то мы публиковали главы из книги «Воскрешение Маяковского» в нашем журнале, а потом издали всю книгу; по этому поводу я разговаривал раза два с Юрой по телефону. Он был первым, по крайней мере в СССР, кто назвал своего с детства любимого поэта певцом тоталитаризма. Но я никогда не видел Карабчиевского и должен был отказать Ларисе Миллер. Зато я нашёл в интернете (на «Странице Юрия Карабчиевского» в Журнальном зале) одно забытое интервью Ю.К., очень характерное и любопытное, которое советую и Вам почитать. (Хорошо бы вообще почтить память Карабчиевского каким-нибудь образом). В этом интервью изложено его литературное кредо, диаметрально противоположное тому, что я думаю о сём предмете.

Когда точно придёт Андрэ Грицман?

Жму руку. Ваш Г.

Я хотел Вас немного повеселить, дорогая Лёля, и, ей-Богу, был далёк от желания «поиздеваться». Над кем?.. И, конечно, отнюдь не злорадствовал. Я никогда не злорадствую. Другое дело, что нам (мне, во всяком случае), видимо, не чуждо известное высокомерие эмиграции.

Что другой родины у нас нет, само собой разумеется, хоть и корчат немного эти фразы. Но в Ваших устах это не фраза. А для меня не фраза — слова о том, что моё подлинное и неотчуждаемое отечество — русский язык, я их придумал и повторял задолго до того, как уехал. Несчастье людей вроде меня — то, что и родина была мачехой. Спору нет, мы к ней прикованы так или иначе по сей день. Но мне известен только один способ справиться с этой коллизией. Это писательство, литература. Заниматься ею можно только за пределами отечества. Писателю надлежит держаться подальше от своего народа и, насколько это возможно, избегать участия в общественной жизни. И я по-прежнему думаю, что лучшие условия для сочинительства предлагает именно изгнание. Лучшее, что создал Овидий, было написано за тысячу вёрст от Рима.

Жму руку, Ваш Г.

Дорогая Лёля,

монолог Марины Палей, сочинённый при Вашем участии, великолепен: остроумен, красочен, велеречив, в меру кокетлив; выступле-

ние актрисы, умеющей нравиться. Можно придраться к двум-трём неудачным оборотам («нахождение... подтверждает наличие»), но это не меняет дела.

Фотография — тоже недурственно.

Я стал думать, какой из повестей Белкина я отдал бы предпочтению. Вам не приходило в голову, что «Барышня-крестьянка» — пародия на «Ромео и Джульетту»? А заголовок должен напомнить (и это сделано сознательно) «Мещанина во дворянстве», во французском оригинале — «Буржуа-дворянин».

Я бы, может быть, предпочёл «Станционного смотрителя».

Ваш Г.

22 мая 2009

Дорогая Лёля, посылаю Вам для Андрея Грицмана — Вы просили — рассказ, вполне традиционный, без затей. Он был написан довольно давно, опубликован пять лет тому назад в книге «Пока с безмолвной девой», тираж 1000.

Если он подойдёт, попросите тщательно выверить по моему тексту французские фразы.

Жму руку, Ваш Г.

10 июня 2009

Дорогая Лёля,

ЦУ получены и выставлены на видном месте.

Я получил письмо следующего содержания:

Добрый день!

Г. М., поздравляем вас с выходом в финал вашего произведения! Сейчас начались завершающие этапы, которые проходят одновременно (июнь — ноябрь текущего года) — это «Народное голосование», и голосование жюри (определение лауреатов премии).

Мы приглашаем вас на церемонию, на которой будут объявлены победители. Церемония состоится в последней декаде ноября (дату точную определим позже). Мы можем сделать визу, оплатить билет эконом-класса и проживание в гостинице, если у вас нет других предпочтений.

Если у вас есть возможность приехать, напишите нам.

Возможность есть, написал.

Письмо подписано: Ольга. Кто это такая?

Ваш Г.

21 июля 2009

Дорогая Лёля,

под каждым пунктом статьи рава Кардосо я готов подписаться обеими руками.

Думаю, что никакого влияния на военную, политическую и экономическую ситуацию в Палестине (Израиль и его арабские соседи) статья не окажет. Её прочтут и забудут.

Ссылки на историю так же бесполезны, как бесполезны разумные аргументы в полемике с антисемитизмом, как бесплодна сама эта полемика.

Фактически вести переговоры не с кем.

Арабская сторона будет конфликтовать и в конечном счёте добиваться уничтожения государства Израиль, потому что большое число арабов, проживавших на территории нынешнего Израиля лишилось своей земли — неважно, по чьей вине;

потому что всем не хватает плодородной земли и воды;

потому что подавляющее большинство этого населения не в состоянии вписаться в современное западное государство, каким хочет стать или уже стал Израиль;

потому что арабские братья не возьмут на иждивение нищих, не говоря уже о том, чтобы впустить их на свои земли;

потому что людьми владеет древневосточная мстительность;

потому что не отдают себе отчёта в том, что, если Израиль исчезнет с лица земли, им станет ещё хуже;

потому что зловещую роль играет религия — злокачественный ислам и еврейская ортодоксия;

потому что массы арабской молодёжи не могут найти иного способа зарабатывать на жизнь и жизненные блага, кроме войны;

потому что мусульманские учителя и главари террористических банд разжигают национально-религиозный фанатизм, получая деньги и оружие из ближних и дальних стран, — кончится кровопролитие, кончатся и деньги;

потому что в самом Израиле, в его военно-политическом эшелоне арабскому национализму противостоит национализм с обратным знаком;

одним словом — потому.

Единственное решение — военное превосходство, кулак наготове, политическая гибкость, стойкость.

Крепко жму руку.

Пишите, Лёля.

Ваш всегда Г.

31 декабря 2009

De anno novo MMX ex corde meo gratulor.

(Перевод на язык родных осин: Сердечно поздравляю с Новым 2010 годом!)

Письма к Вольфгангу Казаку¹

München, den 3. Sept.1998

Lieber Wolfgang,

haben Sie Dank für Ihren Brief vom 28. August (der erst heute gekommen ist) und nicht zuletzt für eine sehr interessante Seite aus «Книжное обозрение», dem Blatt, das ich leider schon lange her nicht zu Gesicht bekomme.

Sie in München nach langer Pause wiedersehen zu können, freut mich sehr. Ich bin im November da. Übrigens: Bei uns kann man übernachten. Eine Freude auch für Lora. Also warten wir auf Ihre Nachricht.

Seien Sie herzlich begrüßt von Ihrem

10.11.1998

Lieber Wolfgang,

текст не вызывает принципиальных возражений, но в нём есть, на мой взгляд, одна неточность. «Чистка» и полицейский террор в собственном смысле (аресты, расстрелы, отправка в лагеря), разумеется, связаны друг с другом, но не являются синонимами. Чистка (проверка и обмен партийных документов, перерегистрация, последующее исключение из партии) могла быть прелюдией к аресту, но, в отличие от того, чем занималась тайная полиция, чистки не держались в секрете, наоборот, о них широко объявлялось, они рассматривались как важнейшая политическая кампания и сопровождались исторической шумихой.

Первая крупная чистка партии с целью отсева «недостойных», «примазавшихся», «неустойчивых элементов», «пассивных», ведущих «буржуазный образ жизни», взяточников, карьеристов и т.п. была организована ещё при Ленине (см. Л.Шапиро. Коммунистическая партия Советского Союза. Firenze 1975. Стр.331 sq.). О необходимости чистки партийных рядов говорилось на X съезде в марте 1921. До начала 1922 г. было исключено около 140 тыс. — пятая часть всего состава партии. В то время это ещё не означало безусловного вмешательства ГПУ в судьбу исключённых.

¹ Вольфганг Казак — крупнейший немецкий славист, литературный критик, создатель Энциклопедического словаря русской литературы XX века.

Но, конечно, расцвет «чисток» приходится на сталинское время. Вначале они ещё не носят, по крайней мере внешне, характер чисто политических репрессий. Например, чистка, объявленная накануне XVI съезда, привела к тому, что летом 1930 г. из партии было исключено 116 тыс. человек и вдобавок 14 тыс. вышли из партии сами, не дожидаясь, когда их выгонят; при этом, наряду с «недисциплинированностью», «бюрократическим отношением к работе» и принадлежностью к «чуждым элементам», довольно часто официальной причиной исключения было пьянство. Опять-таки изгнание «из рядов» в то время еще не влекло за собой немедленный арест.

Две самых крупных чистки 1933–1934 и 1936–1938 гг. уменьшили численность ВКП(б) на 850 тысяч членов. Тут уже речь шла о переструктурировании партии, которая превратилась из ленинской в сталинскую, причём вторая чистка была уже явно террористической операцией, за вычищением следовало почти всегда исчезновение. Но и тогда ещё чистки сами по себе отнюдь не держались в секрете.

После 1938 года чисток не было, о них лишь сообщалось (без подробностей) в вышедшей тогда же культовой книге «История ВКП(б). Краткий курс».

Мы Вас ждём. Встретим Вас, как условлено, на вокзале в среду 18 ноября, в 15.12 на 14-м перроне.

München, den 19.Dez.1998

Lieber Wolfgang,

mit Dank und großem Interesse lese ich Ihren Jahresbericht (wie erstaunlich Ihre Leistungsfähigkeit — über 60 Publikationen, ein fertiggebrachtes Buch-Manu-skript über Christus in der russischen Literatur, eine ganze Menge von Vorträgen und Kindlers-Artikeln, und, und, und...), sowie die anderen Materialien und nicht zuletzt das schöne Büchlein über das Leben und Werk Dostojewskis. Sofort, kaum geöffnet, begann ich mit dem Lesen, Durchblättern, Herauspicken aus den Kapiteln zu Werken, auf die mir besonders ankommt. Ihre Übersetzungen aus «Bei Tichon» sind hervorragend. Und als ich jenes, übrigens von mir längst vergessenes Herzen-Zitat S.99–100 gesehen hatte, dachte ich mir: Ob nicht das Gesagte auch auf unseresgleichen, auf meine Wenigkeit zum Beispiel, nur zu gut paßt?

Noch einmal vielen herzlichen Dank, alle lieben Beglückwünschungen zu Weihnachten für die ganze Familie und glücklichen Rutsch ins Neue Jahr!

P.S. Kennen Sie das eben erschienene — leider mit unzähligen Fehlern und Ungenauigkeiten — Lehrbuch der russischen Auslandsliteratur von Professor W.Agenossow (В.В.Агеносов. Литература русского Зарубежья 1918–1996. М., «Тerra — спорт» 1998)?

9.01.1999

Lieber Wolfgang,

с Вашего позволения я буду на этот раз писать по-русски. Рассказ, который вначале назывался «Хроника о Картафиле», был когда-то, лет 5–6 тому назад, напечатан в «Литературной газете», никаких откликов не вызвал, вряд ли его кто-нибудь и прочёл. (Освенцим — тема, которая мало занимает людей в России. Православная церковь ею тоже не интересуется.)

Один только старик С.И.Липкин (Kasack's Lexikon, 670 sqq.) откликнулся небольшим стихотворением, которое он поместил в этой же газете, с посвящением Б.Хазанову. Легенда об Агасфере, как Вы знаете, меня занимала и прежде. И, может быть, я к ней когда-нибудь снова вернусь.

Я попробую ответить на Ваши вопросы. Что меня всегда поражало в этой легенде (я говорю о наиболее известных вариантах), так это странное противоречие: Агасфер — или Агашверош, или Картафил, или Бутадеус, или Вечный Жид — проклят и обречён на вечные скитания за то, что отказался помочь Христу во время его страдальческого пути на Голгофу; только Спаситель, когда он вернётся, может снять это проклятье. Это с одной стороны. А с другой, Агасфер — единственный живущий на земле человек, который видел Христа своими глазами и может свидетельствовать о нём. Мне казалось, что в этом выражен исторический (или даже метаисторический) парадокс еврейства. Еврейство — это всё ещё сохранившийся на земле свидетель.

В этом выражается также труднодостижимая, не только историческая, но и метафизическая связь иудейства как религиозной традиции и жизненной философии — с христианством. Отказавшись признать центральный догмат христианства — Богосыновство Иисуса Христа, — иудаизм вместе с тем приковал себя к христианству (или христианство, сделавшись упорным, многовековым врагом иудаизма и евреев, приковало себя к иудаизму).

Отец Сергей (Сергей Алексеевич) Желудков, один из самых светлых людей, каких мне посчастливилось встретить в жизни, говорил о поражении, которое потерпело христианство в XX веке. Он имел в виду две мировых войны и Освенцим. Вы знаете, что в Германии много говорилось о том, что после Освенцима нельзя исповедовать христианство в его прежних, традиционных (и более или менее антиеврейских) формах. Например, я вспоминаю статьи и речи Й.-Б.Меца, основателя так называемой политической теологии, которая была популярна среди молодёжи в Германии лет 15 назад; его книгу я переводил в Москве для Самиздата, позднее кое-что печатал в нашем мюнхенском журнале «Страна и мир». Есть и работы иудейских теологов о сокрушительном действии Освенцима на традиционный иудаизм. Но я отвлекся.

Я сейчас не могу вспомнить, вычитал ли я где-нибудь сведения о том, что в трудах Агриппы Неттесгейского имеется текст об Агасфере, или просто приписал это Агриппе. Но помню, что где-то читал, что среди сообщений о появлении Вечного Жида (их очень много, они повторялись вплоть до XIX века) была такая версия: Агасфер посетил знаменитого Агриппу в Гренобле, причём доказал, что он не самозванец, сославшись на картину какого-то художника. Всё остальное в рассказе, начиная с «выставки в Базеле», рукописи, якобы принадлежащей Агриппе Неттесгейскому, и сконструированного им загадочного прибора, как и весь сюжет, — мною выдуманно.

С чисто литературной точки зрения мне показалось интересным ввести в рассказ мотив, напоминающий (или пародирующий) science fiction, а также придать ему богословско-схоластический колорит. Рассуждения Агриппы о принципе действия прибора, об «экспериментальной теологии», искусственной вечности и т.п. имеют целью, грубо говоря, запудрить мозги читателю.

Но в рассказе, очевидно, есть и какая-то концепция. Как её понимать? Мне непросто на это ответить. Тем более что я, не будучи философом, а всего лишь писателем, не хотел однозначности. Странник, явившийся, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось скитаться, и учёный немец XVI столетия, у которого наука перемешана с магией, а богословие подчас отдаёт чертовщиной (в духе исторического Георга Фауста), представляют собой два полюса, если угодно, выражают два полярных взгляда на христианство. Картафил — еврей, иерусалимский сапожник, на его глазах происходила казнь Иисуса, он видел Христа в человеческом образе, Христос для него — это только человек, «ложный Мессия», каких было немало. По логике этого взгляда, Христос, если бы он явился в эпоху Голокауста (слово, которое, кстати, давно существует в русском языке и пришло к нам непосредственно из греческого, поэтому я не могу заставить себя употреблять введённую журналистами — и отвратительно звучащую для русского уха — американизированную форму «холокост»), должен был бы разделить судьбу всех евреев. Картафил видит будущее, так сказать, в том варианте, который соответствует этому взгляду: это его собственное будущее. Конец его тягостного бессмертия — конец всех евреев. Он будет отравлен газом и сожжён в печах заодно с ними и, конечно, вместе с Иисусом: ведь Иисус — «сын нашего народа». Картафил пытается объяснить людям, что их ожидает, но его не слушают. Христос выполнил своё обещание, он явился во второй раз; но он не может выйти из очереди: это значило бы предать обречённых. А для эзсовцев он просто жид — как все.

Что же касается Агриппы, то хотя он и впадает то и дело в ересь, он остаётся всё же христианином. Для него смерть Христа — абсурд. Он не верит старику, когда тот возвращается из будущего и рассказывает изо-

бретателю хроноскопа о том, как он, Картафил, видел Христа в очереди перед газовой камерой. Агриппа потрясён и хочет уверить себя, что старец бредит или ошибся. Но когда опыт по настоянию Картафила повторяется, Вечный Жид уже не возвращается. Он сгорел. Агриппу точат сомнения: в самом ли деле придёт время, когда христианская вера будет настолько поругана, что от неё больше ничего не останется?

Дорогой Вольфганг, тут можно философствовать до бесконечности. В конечном счёте я хотел показать сложную диалектику всех этих дел. А кроме того, — Вы это знаете, — для меня литература всегда была и остаётся лекарством от отчаяния.

16. Jan. 1999

Lieber Wolfgang,

zwar kenne ich Lipkin persönlich, von seiner Replique aber hat mir Ben Sarnow mitgeteilt.

Ein rätselhaftes Gedicht.

Eine der möglichen Interpretationen, die mir einfällt:

Ich habe versprochen (spricht der Herr), wiederzukommen, um dich, du seltsamer, dem menschlichen Verstand unfassbarer Greis, zu erlösen. Doch wenn man dich im Vernichtungslager verbrennt, dann wird die Hölle triumphieren! Dann wird behauptet werden, Mich gebe es nicht mehr, denn Ich sei als Jude mit Juden zusammenverbrannt. Mögen die Lebenden ein Totenmahl für Mich feiern. Ich bin und werde ewig sein. Aber Ich komme zu Euch nie wieder.

Herzlich Ihr

München, 10. März 1999

Lieber Wolfgang! Ich habe drei Wochen in einer Kurklinik in Unterbayern wegen meiner Radikulitis-Geschichte verbracht, daher die verspätete Antwort. Danke für Ihre Materialien.

Zum Namen Cartaphil(us):

«Имя Агасфер — стилизованное библейское имя, произвольно заимствованное из ветхозаветной легенды об Эсфири, (где еврейским Ahashwerosh передаётся имя персидского царя Ксеркса); в более ранних версиях легенды встречаются и другие имена: Эспера-Диос, Бугадеус, Картафил» («Мифы народов мира. Энциклопедия. Том I, ст. «Агасфер». Москва, 1987).

Herzlichen Gruß von Ihrem

München, 22. März 99

Vielen Dank, lieber Wolfgang, für Ihre beiden Artikel und das interessante, aber wirklich interessante Buch.

Merkwürdig: Unter «100 Wörtern, in denen sich einprägsame Situationen und Veränderungen unseres Jahrhunderts spiegeln», gibt es kein einziges aus dem Bereich Geistige Kultur. Ein Zeitalter ohne Kunst, ohne Philosophie, ohne Literatur, ohne Religion; ein Zeitalter des Fernsehens, des Kaugummis, des Reißverschlusses und des Rock´n´Rolls.

Ich hoffe, es geht Ihnen gut.

Herzlich Ihr

6 apr. 1999

Lieber Wolfgang,

vot перевод. Все пушкинские цитаты сверены мною с десятитомным Полным собранием сочинений (Л., 1977). Цитату из Мицкевича (S.128) я, не имея возможности видеть оригинал, перевёл с немецкого, слегка стилизовав её под язык первой половины прошлого века. Кроме того, я позволил себе исправить некоторые незначительные, случайно вкравшиеся в немецкий текст неточности. Шуйский не просит у гостей прощания (S.130). «Простите» в словоупотреблении XIX века означало прощайте, до свидания. В стихотворении о Москве (S.133) у Пушкина говорится о мощах святого, а не святых. В стихотворении «Странник» (S.136–137) нет упоминаний о лесе, там говорится о «долине дикой».

Сердечный привет!

Ваш

München, den 30. Apr. 1999

Lieber Wolfgang,

Verzeihung für die verspätete Antwort. Ich war wieder verreist (eine PEN-Tagung im Schloß Wendgräben, Land Sachsen-Anhalt, mit Ausflug nach Wittenberg und Zerbst).

Die korrigierten Stellen sind, wie mir scheint, in Ordnung.

Die Antwort des Suhkamp Verlags ist im Grunde genommen keine Antwort. Der Herr hat nicht, worum es geht, verstehen wollen.

Herzlich Ihr

München, 8.05 1999

Lieber Wolfgang! Ich ergreife die Gelegenheit, um wieder zu sagen, wie ich Ihnen dankbar bin für die für mich so wertvolle und schön verfaßte Laudatio.

Zum Brief von Waldemar Weber: Ich kenne den Mann ziemlich lange. Sogar wurde ich einmal gebeten, für die Russisch-Deutsche Zeitung zu schreiben. Es war eine schlimme Erfahrung, doch sind unsere Beziehungen dadurch nicht verdorben worden.

Was man unter dem Postmodernismus in Rußland sowie in den russischen Kreisen hierzulande versteht, ist mir völlig unklar. Z.B. wurde Ihr

Diener von Grischa Pomeranz u.a. ebenfalls den Postmodernisten zugerechnet. Diejenigen aber, für die, Weber zufolge, sich die deutschen Slavisten besonders interessieren, sind, soweit ich weiß, die sog. «концептуалисты», jenes Dreigespann von Пригов — Сорокин — Рубинштейн, das auch in Rußland berühmt ist. Drei nackte Könige, denen die Hofweber (Literaturkritiker und wissenschaftler) ihr neues Kleid auf leeren Webstühlen weben.

Herzliche Grüße von Ihrem

14.05.1999

Lieber Wolfgang,

von «Литературный европеец» habe ich bedauerlicherweise ebenso wenig wie vom Verband russischer Schriftsteller in Deutschland gehört. Ich glaube, Vladimir Batschew (dessen Name mir auch unbekannt ist) begeht einen Fehler, indem er Angebote verschickt und nicht die Probeexemplare seiner Zeitschrift. Sonst wird man ja nie wissen können, was da für eine Katze im Sack zu kaufen ist. Auch die Hoffnung, vom Bundesland finanziell unterstützt zu werden, scheint mir von Haus aus falsch gewesen zu sein, denn die deutschen Behörden helfen gern den einzelnen Personen, den dunklen Unternehmen aber nie.

Wie dem auch sei, ist die Nachricht interessant, und ich würde wöglichlich an der Zeitschrift teilnehmen, wenn ich sie einmal zu sehen bekäme.

Herzlich Ihr

Mü., 20.Mai 1999

Lieber Wolfgang,

John Glad (Washington) hat einen 700-seitigen Band, «Russia Abroad», herausgebracht, ein Titel, den ich etwa wie «Rußland außerhalb Rußlands» übersetzen würde. Übersicht und Analyse der Emigrantenliteratur. Kennen Sie das Buch?

Ihr

München, 13.Juni '99

Lieber Wolfgang, danke, wenn auch mit gewisser Verspätung, für die «B.Chas.»-Abdrücke und Ihre letzten Publikationen. Übrigens habe ich das umfangreiche Volume von Donald M. Thomas vor einigen Monaten geschenkt bekommen. Ihre kritischen Bemerkungen, beispielsweise in Bezug auf die Verwendung der Diminutivformen von Namen in Rußland, geschweige denn die prinzipiellere Kritik, treffen vollkommen zu. Meinerseits würde ich zu den nicht unwichtigen Mängeln des Buches die offensichtliche Unfähigkeit des Verfassers hinzufügen, Gründe zu erörtern, weshalb die Popularität Solschenizyns im Rußland des letzten Jahrzehnts so schnell zurückgegangen ist.

Haben Sie S.'s Artikel über Warlam Schalamow im letzten Heft *Novyi Mir* gesehen?

Mit herzlichem Gruß

Ihr

München, 19.08.99

Lieber Wolfgang,

die Lyrik Brechts habe ich sehr lieb (zum Unterschied mit seinem Theater, das mir kaum was sagt), und zwar seit vielen Jahren, als ich an die Auswanderung noch keinen Gedanken hatte. Kennen Sie z.B. «An die Nachgeborenen»? So was hätte man, dachte ich damals, ebensogut über uns, über mich schreiben können. Oder «Gedanken über die Dauer des Exils»? Ich darf Ihnen das Gedicht anbei schicken samt einer Übersetzung, die ich einst für unsere Zeitschrift gemacht habe.

Hilde Domin, heute 90, ist unter anderem Autorin eines schönen Essays, der zum Thema mitgehört: «Odyssee der Sprache».

Vom Interview in «Беседы в изгнании» habe ich weder Marion Munz noch Ihnen erzählt, weil ich dachte, der Text wäre nicht so wichtig, noch dazu Schnee von gestern. Es tut mir leid; um mich zu entschuldigen, schicke ich Ihnen einen kurzen Artikel, der vor einigen Jahren in der «Литературная газета» gedruckt wurde, übrigens gekürzt und verzerrt durch die redaktionelle Zensur.

Die Zeitschrift «Октябрь» beabsichtigt, im Heft 10 d.J. einen Text von Ihrem Diener, eine Art literarische Autobiographie unter dem Titel «Понедельник роз», zu veröffentlichen.

Professor John Glad kenne ich über zehn Jahre lang, ein hochtalentierter und leistungsfähiger Mann, spricht viele Sprachen, klug und witzig; meines Eindrucks nach ein typischer Amerikaner, wenn auch slawischer (kroatischer) Abstammung. So habe ich seinen Vorschlag, etwas zusammenzumachen, ein Buch vielleicht, gern akzeptiert.

Ich warte auf die Erscheinung Ihres Christus-Werks.

Herzliche Grüße, auch von Lora.

7.10.1999

Lieber Wolfgang,

пишу Вам на этот раз по-русски. Я с большим удовлетворением прочёл Вашу рецензию на двухтомный словарь «Русские писатели» в журнале В.Батшева «Литературный европеец». Дело в том, что несколько времени тому назад я выписал этот словарь по каталогу — и пожалел о потраченных деньгах. Ничего более постыдного, чем эти статьи Шошиных (видимо, отца и сына) и т.п., я давно не читал. Похоже, что их появление связано с общей реставрационной тенденцией последних лет. Вы дали словарю надлежащую и очень взвешен-

ную, авторитетную оценку. Нет ли возможности опубликовать рецензию в каком-нибудь более распространённом журнале? Крепко жму Вашу руку,

Ваш

Lieber Wolfgang,

«Posle nas chot' potop» (После нас хоть потоп) ist ein falscher Titel, bitte streichen. Der richtige lautet: «Posle nas potop» (После нас потоп).

Zum Werk:

Sapach zvyozd. Erzählungen. Tel Aviv 1977.

Ya voskreseniye i zhisn`. Zwei Romane und eine Povest'. N.-Y. — Jerusalem — Paris 1985.

Idushchiy po vode. Essays u. Briefe. München 1985.

Mif Rossiya. Ess. N.-Y.1986.

Strakh. Rassказы. M.1990.

Chas korolya. Antivremya. Povest'. Roman. M.1991.

Polnoye sobraniye sochineniy Tuchina. In: Rassказы sovremennykh russkikh pisateley. München (DTV zweisprachig) 1996.

Zur Lit.:

Glad, J. In: Besedy v izgnanii. M.1991.

Lanin, B. In: Proza russkoy emigratsii. M.1997.

Es grüßen Dich herzlich

München, 16.12.99

Lieber Wolfgang,

soeben habe ich Deinen Rundbrief und das Buch bekommen. Vielen herzlichen Dank! Ich erinnere mich noch an unser Gespräch im Auto, auf dem Weg von Köln nach Much, ziemlich lange her, als Du mich ins Projekt eines Werks über die christlichen Motive in der russischen Literatur eingeweiht hast. Nun ist das Buch fertiggebracht, und es verspricht, nach dem ersten Eindruck, sehr interessante, lehrreiche Lektüre. Mes compliments! Und natürlich besten Dank für Deine Analyse — unter anderem — einiger meiner Sachen.

Hatte jene Geschichte mit Kreyd (will sagen mit der Publikation des Puschkin-Artikels) irgendwelche Fortsetzung?

Es ist mir aufgefallen, indem ich in «Christus in der russischen Literatur» blätterte, die meiner Ansicht nach sehr gut gelungene, rührende deutsche Nachdichtung eines Puschkin-Gedichtes («Отцы пустынноики и жёны непорочны...») von Friederike Kasack.

Wir beide beglückwünschen von Herzen Dich und Frau Friederike zu Weihnachten. Alles, alles Gute und glücklichen Rutsch in das Neue Jahr!

Dein alter

München, 9.02.00

Lieber Wolfgang,

Kreyd hat einige wenige Sätze in meiner «Russia Abroad»-Rezension verkürzt bzw. ausgelassen; ein unveränderter Text ist in «Знамя», 1999/12, erschienen.

Zum Kasack-Lexikon: Ich weiß noch ganz genau, wie einige Emigranten sich damals über die Anwesenheit mancher sowjetischer Literaturbonzen im Lexikon ärgerten. Und ich mußte den Verfasser verteidigen, indem ich darauf hinwies, daß es im Fall der Sowjetliteratur doch um eine Organisation besonderer Art ging, deren Geschichte nicht umhin könnte, die Rolle und Bedeutung der leitenden Nomenklatura deutlich zu machen. Auch nahm ich auf Deine Erläuterungen im Vorwort Bezug, wo u.a. steht, das Prinzip der Auswahl sei «nicht primär ästhetisch» gewesen.

Herzliche Grüße von Haus zu Haus.

Dein

München, 24.03.00

Lieber Wolfgang,

gerade gestern abend dachte ich an Dich, und heute kommt Dein Brief mit allen interessanten Materialien. Wladimir Batschew wird sich bestimmt geschmeichelt fühlen durch Deine Rezension. Vor kurzem hat er mich um einen neuen Text gebeten.

Wir wollen Anfang April zu unserem Enkelkind nach Chicago fliegen. Retour am 18/19. April.

Mit allen lieben Wünschen von uns beiden,

Dein

München, 4.05.00

Lieber Wolfgang,

unsere Reise nach Amerika war diesmal besonders interessant: Chicago — San-Francisco — The Yosemite National Park (ein riesiges Wunderland in der Sierra Nevada).

Herzlichen Dank für den *sehr* guten Artikel. Mich hat die Äußerung Анастасьев´ s ein wenig gewundert: »Ein KZ, das sind für meine Landsleute vor allem Auschwitz, Dachau, Mauthausen...« Du hast darauf eine treffende Antwort gegeben.

Beste Grüße von uns beiden.

6.01.2000

Lieber Wolfgang,

hier ist meine e-mail-Adresse: o89936161-0001@T-Online.de

Nur: mein Gerät empfängt die kyrillische Druckschrift nicht. Mitteilungen in russischer Sprache müssen darum mittels lateinischer Schrift

gesetzt werden. Falls es um einen längeren russischen Text geht, ist zu empfehlen, die «Anlage» (attachment) zu benutzen.

Herzliche Grüße von uns beiden!

Dein

Lieber Wolfgang,

der Präsident der russischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (wenn ich richtig übersetze) schickte mir vor kurzem, dank Deiner Vermittlung, das GULag-Buch, das mich sehr bewegte. Nun teilt mir Vadim Kreyd mit, daß Du auch eine Rezension geschrieben hast und die beiden Buchbesprechungen im Dezember-Heft zusammengedruckt werden sollen.

Herzlichen Dank für die Einladung nach Much. Die Situation mit der Bonner Veranstaltung «Autoren für Kinder 2000» sieht folgendermaßen aus. Nach einem Vorgespräch mit Herrn Marc Haunschild, dem Vorstand der Bezirksgruppe, erhielt ich von diesem das Projekt der Veranstaltung und die Einladung zum Leseabend am 6. November. Da ich aber vom 3. bis 5.11 an einer PEN-Tagung in Stuttgart teilnehmen muß, bat ich Herrn Haunschild darum, mir zwei Übernachtungen (5.–6. u. 6.–7.) in Bonn zu ermöglichen. Auch wollte ich es vermeiden, mit W. Kuprijanow, der mit dabei sein soll, zusammen lesen zu müssen Falls dies alles klappt, werde ich am Tag darauf sehr gerne Dir einen kurzen Besuch abstatten. Natürlich melde ich mich rechtzeitig.

Mit allen lieben Grüßen, auch von Lora

Lieber Wolfgang,

ja, in München bin ich — leider oder zum Glück — doch vielmehr zu Hause, als in Moskau. Überhaupt scheint mir Moskau keine Stadt fürs Leben zu sein, heute noch weniger als je.

Daß ein Text derart, wie S. Lurje ihn geschrieben hat, einen ernsten Literaturhistoriker nur ärgern kann, verstehe ich nur zu gut. Zur Verteidigung des Autors wäre vielleicht zu erwidern, daß der Artikel keine Rezension, sondern eher ein Pamphlet ist.

Bonn schweigt. (Meine Lesung mit Kuprijanow).

Herzliche Grüße! Dein G.

Mü. 9.01.01

Lieber Wolfgang,

wir haben zehn Tage bei unserem Sohn Ilja in Chicago verbracht, ein kurzer Urlaub, der vor allem für Lora äußerst notwendig war, wir sind erst gestern wiedergekommen, und da finde ich in meinem Briefkasten eine

Sendung von Herrn Professor Kasack mit einer ganzen Menge von interessanten Materialien. Herzlichen Dank! Heute kommt der Brief über Schingarjow.

Meine erste Bekanntschaft mit dem dichterischen und philosophischen Werk von Daniil Andrejew, mit seinem märtyrerhaften Leben datiert wohl aus den 70ern. Übrigens hat sich mein alter Freund Grigorij Pomeranz für die Mythologie und Gnostik des D.A., wie sie in dessen «Rosa Mundi» ausgelegt ist, besonders interessiert, und er hat mehrmals über ihn geschrieben. Ein anderer Freund, der verstorbene Professor Wassilij Wassiljewitsch Nalimow, war mit der Witwe A.'s befreundet.

Da die Bezeichnung K.d.-Partei, deren ZK-Mitglied Sch. war, als «конституционно-демократическая» entziffert wurde (кадетская hieß sie im Volksmund), scheint es angemessen zu sein, Schingarjow «einen führenden liberal-demokratischen Politiker» zu nennen.

Danke für die Geburtstag-Beglückwünschung. Wir gratulieren Dir ebenfalls zu Deinem kommenden Geburtstag.

Dein G.

Mü. 30.01.01

Lieber Wolfgang,
danke. Großartig ist alles.
Ein paar Kleinigkeiten.

S.3, Zeile 9 v.u.: Herausgeber war ich nie. Voronel «veröffentlichte» in «Евреи в СССР» meinen Essay «Новая Россия» unter dem von ihm erfundenen Pseudonym Борис Хазанов (echter Name eines nach Amerika ausgewanderten Ingenieurs), das war mein Debüt in der Samizdat-Zeitschrift. Nach der Abreise von V. wurde ich zu einer Art Literaturberater bei der Redaktion. Auch die «Publikation» von «Час короля» kam erst nach V.'s Auswanderung zustande. Aber all diese Einzelheiten sind doch belanglos.

S.4, Z.10 v.o. «Russische Föderation». Die einleitenden Anführungszeichen fehlen.

S.5, Z.7 v.u. Der Totenschiff Naglfar ist nicht aus den Knochen, sondern aus den Nägeln der Verstorbenen gebaut («Da geschieht es auch, daß Naglfar flott wird, das Schiff dieses Namens, das ist gebaut aus den Nägeln von Toten, deswegen lohnt sich Vorsicht dabei, wenn jemand mit unbeschnittenen Nägeln stirbt, denn ein solcher vermehrt den Baustoff zu dem Schiffe Naglfar...»).

Herzlich, herzlich Dein

Lieber Wolfgang,

у меня авария с компьютером, нарушилась вся моя работа, и пришлось долго возиться, прежде чем удалось кое-что поправить. Но не всё. Например, не получаются маленькие цифры-сноски для примеча-

ний. Пропало тире. Вместо шрифта New Times Roman приходится пользоваться шрифтом Cyrillic Roman и т.д. Всё это ты заметишь в тексте, который я только что послал по e-mail. Твой Г.

Lieber Wokfgang,
die unendlichen Computer-Pannen haben mich aus dem Gleis geworfen. Moege das als Verzeihung gelten fuer manche Fehler.

Следующего этой концепции. Согласен.

Mit Hilfe des Kulturministeriums usw. Немецкий текст слишком лаконичен, буквальный перевод собьёт с толку читателя. Речь идёт о разных русских изданиях за границей, и я сам запутался в датах.

Сделаем так:

При поддержке министерства культуры Российской Федерации, в качестве первого словаря русской литературы XX века, следующей этой концепции, в 1996 году в России был выпущен мой словарь на основе зарубежного издания 1992 г. В советское время книга была предметом поношений, но лондонское издание 1988 г. ценилось в кругах специалистов. Вслед за появлением словаря в России к изданию аналогичных пособий и т.д.

Вместо «объём отдельной статьи» (звучит тоже не очень внятно) предлагаю просто:

Объём статьи в обоих словарях значительно больше.

Но можно и так: *Объём отдельной статьи. Или: Размер отдельной статьи.*

...отобрать имена писателей. Думаю, что слово «канон» здесь не подходит. Читателю будет непонятно.

«...возможны благодаря тому, что они финансируются».

Немецкая фраза звучит невнятно. Ведь её смысл в том, что пригласить серьёзных специалистов возможно лишь благодаря тому, что издание кем-то финансируется и можно платить приличные гонорары, — не так ли?

Но сделаем так, как ты предлагаешь. Правда, длинное объяснение не нужно: слово «финансируется» само по себе означает, что деньги выделены каким-нибудь фондом или государством.

Найти специалистов по творчеству известных писателей сейчас в России не представляет труда — издания этого рода возможны лишь в том случае, если они финансируются.

«Но и объём статьи, написанной» и т.д.

Предложенный тобою вариант звучит на мой слух несколько коряво, смысл неясен. Моё предложение:

Но и тогда, когда статья поручена заслуженному специалисту, редактору зачастую бывает трудно хотя бы приблизительно установить приемлемый (вариант: разумный) объём.

«Особой потребности в повторной информации об этих писателях нет». Сделаем вот как:

Необходимости (особой надобности) включать этих писателей в справочник литературы XX века нет (не было).

Вместо «единодушное осуждение» — *решительное, безоговорочное, недвусмысленное, безусловное осуждение.*

Конечно, *при*належащая.

«В.А.Шошину большую часть...»: ударение стоит над «о», то есть наибольшую часть (большинство статей), но, к несчастью, у меня выпал соответствующий знак.

«художественный уровень... и знаковость имён...» Цитата мною искажена, надо, конечно, восстановить по оригиналу.

«об Алексее Фатьянове, Василии Лебедеве-Кумаче...» Окончания падежей правильные.

О Дружникове. Сделаем так:

Зато включён прозаик Юрий Дружников; приехавший позже, он не привлёк моё внимание.

О Хазанове. Согласен: *получившим в Германии премию.*

П.Алешковский и другие. Ты прав: единообразия ради нужно и здесь восстановить *Vogname*. Я ввёл их в текст, так как в России обычно принято называть писателей и поэтов — но лишь современников — по имени и фамилии. (Распространившаяся сейчас манера называть классиков по-приятельски по имени и отчеству, не употребляя фамилию: Александр Сергеевич, Фёдор Михайлович — дурной тон).

NB. Можно было бы написать целую работу о русской номенклатуре — правилах, обычаях, социальном, этикетном и стилистическом значении употребления трёх имён по отдельности и в разных комбинациях.

Шошин в словаре Николаева. Сделаем так:

Николаев не привлёк В.Шошина в качестве постоянного сотрудника, поручив ему лишь статью о Чаковском, «который некоторыми сегодняшними аналитиками воспринимается как „идеолог конформизма“, но...».

В.М.Озеров.

Однако известный своими верноподданническими статьями советского периода В.М.Озеров пишет в таком же духе о Фадееве и Фурманове, чьё творчество он пропагандировал и в те времена.

Радзишевский указывает на ряд серьёзных ошибок. Einverstanden.

«В результате многие малозначительные писатели, сведения о которых общедоступны, удостоились» и т.д.

Вместо этого, может быть, так:

Погоня за гонораром привела к тому, что многим малозначительным писателям, сведения о которых собрать не представляет труда, посвящены куда более пространные статьи, чем писателям с мировыми именами.

«Наряду со специалистами (В.Агеносов...)»

Наряду со специалистами, как например, В.Агеносов...

Разному научному уровню и добросовестности авторов... и т.д.
Согласен с твоей редакцией.

«Учебное пособие весьма выиграло бы...»

Напишем так (чтобы не повторять без конца одно и то же слово «словарь»):

Справочное издание...

Это выражение может означать и словарь, и учебное пособие, и справочник, и энциклопедию.

«Но указатель в словаре Николаева... состоит...» и т.д.

Я действительно не понял это место и перевёл неверно. Предлагаю вместо этой фразы:

Такого указателя в словаре Скатова вовсе нет, а в словаре Николаева приводятся только надстрочные названия статей на соответствующих страницах.

Вместо «Тем не менее мой словарь этими пособиями отнюдь не превзойдён» напишем так:

Тем не менее эти пособия не сделали мой словарь излишним.

Herzliche Gruesse von Deinem G.

Lieber Wolfgang,

«паршивые» ist richtig, klingt aber recht grob.

Mein Vorschlag:

Четыре статьи, порученные другому Шошину (Р.В.), несколько не лучше статей Шошина-старшего. Читателю рекомендуется проверить, нет ли той же статьи в Handbook of Russian Literature, ed. by Victor Terras (1985).

Publikationsort von T.'s Handbuch?

Вольфганг Казак

О Б.Хазанове

10 мая 1998 года город Гейдельберг присудил премию «Литература в изгнании» Борису Хазанову. Тридцать пять лет тому назад в этот день на площади перед оперным театром в Берлине происходило учинённое национал-социалистами публичное сожжение книг. Церемония вручения премии Б.Хазанову происходила в присутствии первого лауреата премии «Литература в изгнании» — известной немецкой поэтессы Хильды Домин, некогда проведшей в эмиграции много лет и вернувшейся на родину. Так были продемонстрированы сходство и разница судеб писателей-изгнанников. Известный ныне по переводам Борис Хазанов врач и филолог-классик д-р Геннадий Файбусович, родившийся 16 января 1928 г., находился с 1949 по 1955 год в лагере. Когда несколько позже он связал с себя с литературой, сочетая её с профессиональной деятельностью, стало ясно, что то, что он писал, написано слишком честно, слишком близко к реальной действительности, чтобы можно было это опубликовать в СССР. Писатель предпочёл официальному месту в литературе распространение своих текстов под псевдонимом в Самиздате, а затем (с 1976 г.) в Тамиздате. Это не могло пройти даром — последовали домашние обыски, вызовы в КГБ и допросы; в конце концов он оказался перед альтернативой: покинуть страну в качестве еврея или опять загреметь в лагерь. Эмиграция не была для него делом свободного выбора. Борис Хазанов принял решение обосноваться в Германии, где он и живёт с тех пор (с 1982 г.) в Мюнхене. Хильда Домин не подвергалась прямым преследованиям, уже в 1932 году она увидела грозящую опасность и оставила Германию, не дожидаясь, когда грянет гром: эмиграция в подлинном смысле слова. Возвратившись в 1954 г., Домин живёт в Гейдельберге. Что касается Хазанова, то он считает для себя возвращение в Россию невозможным, но его произведения выходят сейчас и в России, и в Германии — в его постоянном издательстве Deutsche Verlags-Anstalt, в переводах Аннелоре Ничке, с которой автор сотрудничает много лет.

Короткая цитата из романа «Я Воскресение и Жизнь» может дать представление о некоторых особенностях творчества Б.Хазанова. Действие происходит в советской коммунальной квартире — знаменитой «коммуналке». Взаимная неприязнь, зависть, мелкие склоки, спор, кому первому идти в уборную, составляют повседневную жизнь. Разумеется, реальность подобного рода тщательно скрывалась от глаз иностранцев, с 1956 г. получивших ограниченную возможность посещать Советский Союз по строго определённым туристским маршрутам. Зарубежные поклонники советской литературы тоже не подозревали о ней: социалистический реализм отнюдь не предусматривал реалистическое воспроизведение действительности. В романе Б.Хазанова мы оказываемся за кулисами показной жизни. В тесной прихожей ночует женщина, которая ведёт хозяйство и заботится о ребёнке овдовевшего мужчины (этот ребёнок, видимо, — сам автор):

«То была крохотная, пёстро оклеенная каморка, где двадцативсечовая лампочка разбрызгивала по стенам болезненный свет. Над головой висели колёса велосипеда, одно колесо всегда покачивалось, доказывая этим факт вращения земли. За линялой занавеской помещалась девическая кровать Полины. Из прихожей попадали в собственно первую комнату. Тут стоял запах шоколада; его источал тёмный паркет, натёртый воском».

Отрывок показывает умение писателя наглядно представить обстановку, его чувство юмора, ироническую дистанцию по отношению к пережитому, по сути дела ужасному. Небольшой роман, о котором идёт речь, принадлежал к числу первых опубликованных за границей произведений Хазанова. Вскоре, как уже говорилось, последовало прощание с родиной. Возможность быть по крайней мере высланным он был обязан тогдашней политике советского правительства, позволявшего ограниченному числу евреев выезжать из страны. Доктор Файбсович с семьёй тоже получил израильскую визу. В юности он изучал в Московском университете классические языки — латынь и древнегреческий, с детства знал немецкий (посещал частную языковую группу для дошкольников); это побудило его поселиться в Германии.

Жизнь в коммунальной квартире он узнал в детстве. В послевоенное время, накануне окончания университета, он был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и до 1955 года находился в Унженском «исправительно-трудовом» (концентрационном) лагере. Хрущевская оттепель принесла ему освобождение, но не реабилитацию, — специфическая низость режима и здесь дала себя знать. Бывший заключённый не имел права вернуться в Москву. Людям этого сорта вообще запрещалось проживание в крупных городах. Как это ни удиви-

тельно после лагерных лет, он сумел успешно сдать вступительные экзамены в медицинский институт в Калинин (ныне город Тверь), был принят и на этом основании получил временную прописку в городе. Окончив институт, он 15 лет работал врачом, сначала в деревне, затем в больницах Москвы, защитил кандидатскую диссертацию. Его тянуло к литературе. Подобно некоторым другим русским писателям, таким, как Даниил Хармс или Александр Введенский, он писал для детей, две книжки — рассказы о профессии врача и биография Исаака Ньютона — вышли в СССР, набор третьей книги был рассыпан.

В 1976 г. д-р Файбусович оставил врачебную практику и стал научным редактором журнала «Химия и Жизнь», в котором поместил много статей по истории медицины и естественных наук. К филологии, медицине и писательству прибавилось ещё одно поле деятельности — редакционно-журнальная работа. Можно упомянуть о его интересе к философии и теологии; знание языков дало ему возможность опубликовать, частью официально, частью в Самиздате, значительное количество переводов (обширная философская переписка Лейбница, произведения Кюнга, Бонгёффера и мн. др.).

В Мюнхене Борис Хазанов полностью отдался литературе. Он опубликовал написанное в СССР, создал новые романы, рассказы, эссе и активно работает по сей день. Библиография его произведений (до 1994 г.) приведена в работе Марион Мунц¹. В годы 1984–1992 он был редактором русского культурно-политического журнала «Страна и мир» (Мюнхен). После 1989 г. Хазанов пополнил ряды эмигрантов, печатающихся в СССР. Первый небольшой сборник прозы вышел в Москве тиражом 150 тыс. экземпляров.

Во время проведённого мною в 1994 г. детального опроса русских эмигрантов в разных странах мира — результаты этого опроса обнародованы в журналах «Osteuropa» и «Знамя» — Борис Хазанов дал весьма взвешенный ответ, смысл которого — в том, что эмиграция, подобная Третьей волне, в сущности, никогда не кончается.

«Я привык жить за границей. Хоть и с трудом, но построил здесь своё существование. Мой сын больше, чем я и моя жена, врос в западную жизнь. Я по-прежнему чувствую себя эмигрантом (я выехал из России в пятьдесят четыре года) и испытываю благодарность к стране, приютившей меня. Меня интересуют её проблемы. Её язык и культура мне не чужды. Возвращение было бы второй эмиграцией»².

¹ M. M u n z. Boris Chasanow. Erzählstrukturen und thematische Aspekte. 1994. (Arbeiten und Texte zur Slavistik 59).

² W. K a s a c k. Ende der Emigration? Zur Lage der russischen Schriftsteller der Dritten Welt im Jahre 1994. In: Osteuropa 45 (1995), 4, S.315–328.

Государство, заставившее уйти в изгнание многих замечательных русских писателей, больше не существует. Теперь они могут ездить в Россию. Однако исцелить перелом невозможно. «Меня, — продолжает Хазанов, — встречают радушно, как гостя, которому говорят: Пожалуйста, почувствуйте себя как дома. Гостей не спрашивают, хотят ли они остаться насовсем».

Первый ставший известным у нас в Германии роман писателя, которому теперь уже стукнуло 70 лет, носит название «Антивремя», подзаголовок — «Московский роман». Советские органы госбезопасности конфисковали рукопись в 1980 году во время домашнего обыска (согласно официальной бумаге, роман был арестован). Автору пришлось писать свою книгу заново. Вскоре после появления в Германии роман был переиздан в виде *rareg-back* (в мягкой обложке), что является знаком признания. Вышел также французский перевод.

Придуманное автором словечко «антивремя», по-немецки *Gegenzeit*, подразумевает взгляд на жизнь и пережитое с точки зрения того, что наступило после. События жизни сперва воспринимались нами в физическом времени и представлялись сцеплением случайностей. Но когда мы обзираем их ретроспективно, в направлении, противоположном току времени, когда мы вспоминаем о своей жизни и пытаемся её описать, мы находим в ней связи, прежде ускользавшие от внимания. Антивремя — это способ упорядочить свою жизнь, отыскать в ней внутреннюю логику и высший смысл. Такова функция памяти, и такова же задача литературы. Представление о двух разнонаправленных потоках времени, о случае и предопределении, об амбивалентности жизни носит философский, отчасти даже мифологический характер. Подобный способ осмысления действительности можно считать характерным для Хазанова.

Роман «Антивремя» в некоторой степени автобиографичен. Мы узнаём о событиях в жизни автора с 1941 (когда ему было фактически 13 лет) до 1945 года. В книге господствует атмосфера всеобщего доносительства, страха и недоверия, но вместе с тем в этой жизни сохраняются и незабываемые человеческие ценности — любовь, дружба, готовность прийти на помощь; есть в ней место и для поисков опоры в религии. Известный поэт, романист и литературный критик Хайнц Пьонтек, предъявляющий высокие стилистические требования к прозе, в своей рецензии о романе Хазанова высказал предположение, что это определённно не первый опыт автора, ибо роман обнаруживает «высокое художественное мастерство и эпическую суверенность». Он был прав — если взглянуть на книгу, так сказать, с позиций антивремени, вспомнить историю с конфискацией, исчезнувшим и заново написанным романом.

Следующее крупное произведение писателя появилось в 1990 г. уже в Москве, затем вышел и немецкий перевод. Это роман «Нагльфар в океане времён». Его название отсылает к скандинавской мифологии: нагльфар — это корабль, построенный из ногтей мертвецов. Когда он срывается с якоря, наступает конец мира. Тем не менее сюжет книги достаточно прозаичен. Действие снова происходит в Москве, в старом жилом доме, где вместе с легальными жильцами прячутся нелегальные. Тринадцатилетняя девочка — дочь исчезнувшего «врага народа» и внучка еврея-сапожника, обитающего в бывшей котельной. Кто-то назвал его случайно Агасфером, это становится поводом для того, чтобы донести на него. Абсурдная ситуация: легендарный персонаж, будто бы отказавшийся помочь Христу нести крест и обречённый скитаться по свету до Второго пришествия, в предвоенной советской Москве превращается в подозрительную личность, едва ли не в шпиона, и всё это несмотря на то, что официальная атеистическая пропаганда, вообще говоря, решительно отрицает существование Христа. Сцены допроса в романе, несомненно, отражают личный опыт автора; смена перспективы, когда события изображаются то с точки зрения участников, то глазами повествователя, свидетельствуют о незаурядном писательском мастерстве. Австрийский литературовед Курт Марко комментирует писательскую манеру автора следующим образом: «Дереализация реального мира благодаря присутствию фикционального будущего — будущее постоянно примысливается к происходящему — как бы сотрясает обыденный опыт самого рассказчика, его восприятие времени и пространства»¹. А вот какой выход из хитросплетений бытия находит одно из действующих лиц — простая старая женщина, приехавшая из деревни: «Наш душевный комфорт восстанавливается, коль скоро нам удаётся убедить себя, что абсурд мира есть всего лишь аберрация нашего времени. Легче допустить беспорядок в собственной голове, чем ошибку в конструкции мира; так и бабуся утешала себя ссылкой на собственную забывчивость».

Третий роман Б.Хазанова «Хроника N. Записки незаконного человека» был напечатан в московском журнале «Октябрь» в 1995 г. и в следующем году вышел по-немецки в Штутгарте. Если заголовок намекает на некоторую необязательность точного места действия, то подзаголовок имеет в виду фиктивный характер этой «хроники», но также и аномальное положение героя-повествователя, человека, находящегося с официальной точки зрения вне закона. Перед нами некий провинциальный городок, напоминающий город, где жил сам автор после выхода из лагеря; бесправие бывшего заключённого, у которого в кармане

¹ K. M a r k o. Boris Chasanow — writer in freedom? Herkommen und Vertreibung. Zwei Millennien. In: Europäische Rundschau 24 (1996), 4, S.93–103.

вместо паспорта волчий билет, но и сочувствие, которое он встречает у чужих людей, у тех, кто живёт на сомнительной «воле», кто сам многое пережил, всё это — часть жизненного опыта писателя. Один из важных мотивов этого романа — оживление русского национализма. Как уже сказано, повествование опосредовано присутствием фиктивного рассказчика, хронология то и дело нарушается, вводятся эссеистические пассажи и даже небольшие пародийно-философские тексты; диалог, описание, информация сменяют друг друга.

Впечатляюще-гротескной картиной открывается вышедший в Москве в 1996 и осенью 1998 г. — в Германии роман «После нас потоп». Огромные стаи чёрных птиц появились над Москвой. Откуда они прилетели, неизвестно.

Улицы города покрыты толстым слоем ядовитого помёта. Власти принимают меры к предотвращению паники, но ничего не помогает: странное происшествие воспринимается как зловещее знамение — предвестие близящегося конца. Название книги можно толковать по-разному; возможно, здесь имеется в виду образ мыслей паразитического правящего слоя в коммунистической классовой системе накануне её краха. В романе появляется фигура идеалиста, противника системы — «последнего могоканина духа» и редактора полуреального самиздатского журнала. Среди действующих лиц есть и крупная шишка — высокопоставленный функционер, прибывший в столицу из какой-то восточной республики: этот партийно-национальный хан жаждет быть не только хозяином в политике и экономике своего края, но и национальным поэтом — с помощью мнимого переводчика, который должен переложить и издать в Москве несуществующие оригиналы. У персонажей Бориса Хазанова есть реальные прототипы, любовные мотивы связаны в единый сюжетный узел с деятельностью тайной полиции; роман многослоен и соединяет тусклую действительность с причудливой фантастикой. Как и в других книгах, мы встречаемся с посредником-повествователем, при этом романное действие осложнено излюбленной автором игрой с различными возможностями творческого преобразования действительности, и рассказ о событиях как бы постоянно ставится под сомнение внутри самого повествования.

Начав когда-то с произведений малого жанра, Борис Хазанов постоянно писал, наряду с романами, рассказы и повести. Название повести «Час короля» (опубликованной вначале в Израиле, затем в Италии и Германии и, наконец, в России) не зря было избрано им в качестве заголовка для сборника, вышедшего в 1990 г. в Штутгарте: оно служит обозначением впечатляющей притчи. Вопреки обыкновению автора, действие на этот разыгрывается не в России, а в некотором миниатюрном — и достаточно абстрактном — монархическом государстве, которое подверглось военному нападению и оккупации. Ко-

роль-христианин решается на небывалую демонстрацию: он выходит на улицу, нацепив на себя жёлтую еврейскую звезду. Он протестует против насилия, несвободы, против национал-социализма; король — это персонификация народа. Мы, немцы, хорошо помним опозорившее нашу страну преследование и уничтожение евреев во времена гитлеризма, помним мы и успешные демонстрации протеста против режима в ГДР зимой 1989—90 г. в Лейпциге. Повесть-притча, написанная во времена, когда автор ещё был москвичом, сохранила своё значение и актуальность. Больше того, идеал открытого протеста против унижения человеческого достоинства, идеал, повелевающий следовать голосу совести вплоть до самопожертвования, — нашёл последователей и улучшил наш мир.

Повесть «Час короля», как и всё, что пишет Хазанов, не укладывается в рамки чисто политических категорий. Это притча о прошлом и настоящем, о жизни и смерти.

«...Открыв глаза, Седрик увидел, что чёрные шторы затемнения закатаны чьей-то рукой кверху и во тьме перед ним выставились два окна — совершенно пустые. Но что-то мешало ему разглядеть предметы в комнате и даже мебель. Что-то зыбкое окружало кровать, скрыло пол, и в этой массе тонули внизу окна. Вглядевшись, он понял, что вся комната заросла водорослями.

Недовольный и даже огорчённый, он встал и нашарил ночные туфли — она оказались полны ила — и в туманной зеленоватой воде стал пробираться к выходу, стараясь не поднимать шума (...) Внизу Седрика ожидал сюрприз. Когда он шёл по бельэтажу, волоча мокрые туфли, и по привычке оборачивался на зеркала, приглаживая на голове ёжик, то вдруг оказалось, что в зеркалах никого нет: кто-то двигался, кто-то шелестел в полутьме туфлями по эту сторону зеркал, но ничего не отразилось в их тусклой бесконечности, они остались пусты, и по тому, как он спокойно отнёсся к этому, Седрик понял, что он умер, умер в самом деле, или, как принято выражаться о королях, почил в Бозе. Что было, в общем, неудивительно в его возрасте».

Хазанов истолковывает смерть как переходное состояние, при котором даже сохраняется сознание, — как продолжение личного существования после земной смерти.

Вернёмся к цитированному выше отрывку о комнатке и велосипеде из романа «Я Воскресение и Жизнь», в котором просматриваются мотивы детства писателя, без матери, в интенсивной близости к отцу. Евангельская цитата, послужившая заголовком романа, указывает на христианское сознание женщины, взявшей на себя заботу о мальчике. Оно воспроизведено косвенно, в перспективе ребёнка — типичный для автора пример языковой и психологической неоднозначности. Это од-

новременно и перспектива взрослого человека, анонимного повествователя, вспоминающего своё детство в его раздвоенности между официальной пропагандой и собственным опытом, а также религиозными убеждениями Полины:

«В глубине души она знала, что то, что записано в Евангелии, и то, что говорится по радио и о чём пишут в газетах, — вещи несовместимые. С одной стороны, Спаситель, грех и искупление, а с другой — Ленин и Сталин, склеенные щеками; как это согласовать?»

«Скленные щеками». Кто не помнит эти две головы в профиль, кто не улыбнётся, прочитав юмористическую фразу автора?

В другой ранней повести Б.Хазанова, «Запах звёзд», вышедшей в 1977 г. в Израиле, а в 1990 — в Германии, нашло отражение лагерное прошлое писателя. В центре повести — рабочая лошадь (автор сам был одно время возчиком), почти мифологическое существо, более благородное, чем окружающие его и командующие им люди. При этом автор просто описывает всё, что было: повседневную жизнь рабов на грани жизни и смерти, где-то на северо-востоке России; зло и добро. Описывает труд, «который был объявлен делом чести и доблести и который называли почётным долгом те, кто никогда им не занимался». Читатель повести проникается особым уважением к человеку, как бы ни был унижен этот раб. Другая черта повести: она полна преклонения перед молчаливой красотой русской природы.

Проза Бориса Хазанова выдержала испытание временем. Её отличительными признаками в равной мере являются и глубина мысли, и художественная пластичность.

Несколько слов о публицистике Хазанова. Ещё в 1986 г. он опубликовал ценную эссеистическую книгу под названием «Миф Россия», по-русски она была опубликована в Америке, по-немецки — в небольшом издательстве в Майнце. Его перу принадлежит более полусотни этюдов о русской и западной литературе и культуре. В 1988 г. выходящий в Мюнхене журнал «Merkur» поместил статью «Москва как знаковая система»; короткий пассаж из этой работы даст представление о стиле Хазанова — публициста и эссеиста. Речь идёт о памятниках в советской столице.

«Вопреки значению слова “памятник”, эти монументы отнюдь не предназначены для того, чтобы оберегать память о русской истории; скорее они воплощают фиктивную историю страны. Оперный богатырь на коне, простёрший руку к окнам учреждения, за которыми сидит когорта чиновников, по меньшей мере вдесятеро превышающая его дружину, изображает лицо, которого никогда не было. Никто не знает, как выглядел Юрий Долгорукий. Ни один русский историк не называл его основателем города».

В статье с латинским заголовком «Exsilium», то есть «Изгнание», напечатанной в «Новом мире» (№ 12 за 1994 г.), Хазанов пытается объяснить читателям в России, что, собственно, значит быть русским эмигрантом. Он рассказывает о том, как он постепенно входил в немецкую и европейскую жизнь. «Человек, живущий в России, живёт в России. Американец живёт в Америке. Тот, кто проживает в Германии, живёт в Европе». Автор очерка «Изгнание», с его хорошим знанием немецкого языка, может позволить себе сделать следующее замечание: «...Живущий в Германии иностранец вынужден, в сущности, осваивать два языка — литературный немецкий и местный диалект». Хазанов принципиально сдержан в своих суждениях о нашей стране. Он знает, что «нужно прожить здесь много лет, чтобы начать — с трудом и понемногу — разбираться в здешней жизни. Не знаю, могу ли я сказать это о себе».

Если эмигрировавший писатель оценивает свою судьбу так, как это делает Борис Хазанов, тогда то, что он пишет, становится служением двум культурам: той, из лона которой он вышел, и той, которая его интегрировала, в которую он вошёл. После крушения Советского Союза произведения писателей Зарубежья добрались, наконец, и до читателей на родине. В своём творчестве Борис Хазанов стремится к преодолению коммунистического прошлого родной страны, живописуя реальную жизнь советского времени со всей её политической ложью, демагогией и бесчеловечностью, организуемой государством, но и с противостоящей ей человеческой солидарностью, превосходством сердца, мужеством духа. Ироническая дистанция и юмор помогли ему идти своим путём и в советских условиях. Он оказался достоин вручённой ему в Гейдельберге премии «Литература в изгнании». В своём немецком изгнании он живёт во имя литературы — русской и немецкой.

СОДЕРЖАНИЕ

Об эпистолярной прозе. <i>Вместо предисловия</i>	5
Письма к Нине Кацман	7
Письма к Юрию Колкеру.....	26
Письма к С. Майзель.....	40
Письма к Я.И. Мееровичу.....	48
Письма к Г.Н. Новикову.....	59
Письма к Г.С. Померанцу	85
Письма к М.А. Поповскому	132
Два письма к Б.М. Сарнову.....	155
Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007) <i>Часть первая</i>	168
Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007) <i>Часть вторая</i>	199
Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007) <i>Часть третья</i>	235
Письма к Б.М. Сарнову (2006–2007) <i>Часть четвертая</i>	271
Письма к О.А. Седаковой	308
Письма к Л.Н. Щиголь	314
Письма к Вольфгангу Казаку	395
<i>Вольфганг Казак. О Б.Хазанове</i>	410

Борис Хазанов
ПИСЬМА ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА
Эпистолярный 1900–2000 годов



Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, grop1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Печать цифровая. Заказ № 26618_065. Отпечатано в типографии
ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искаргота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература